

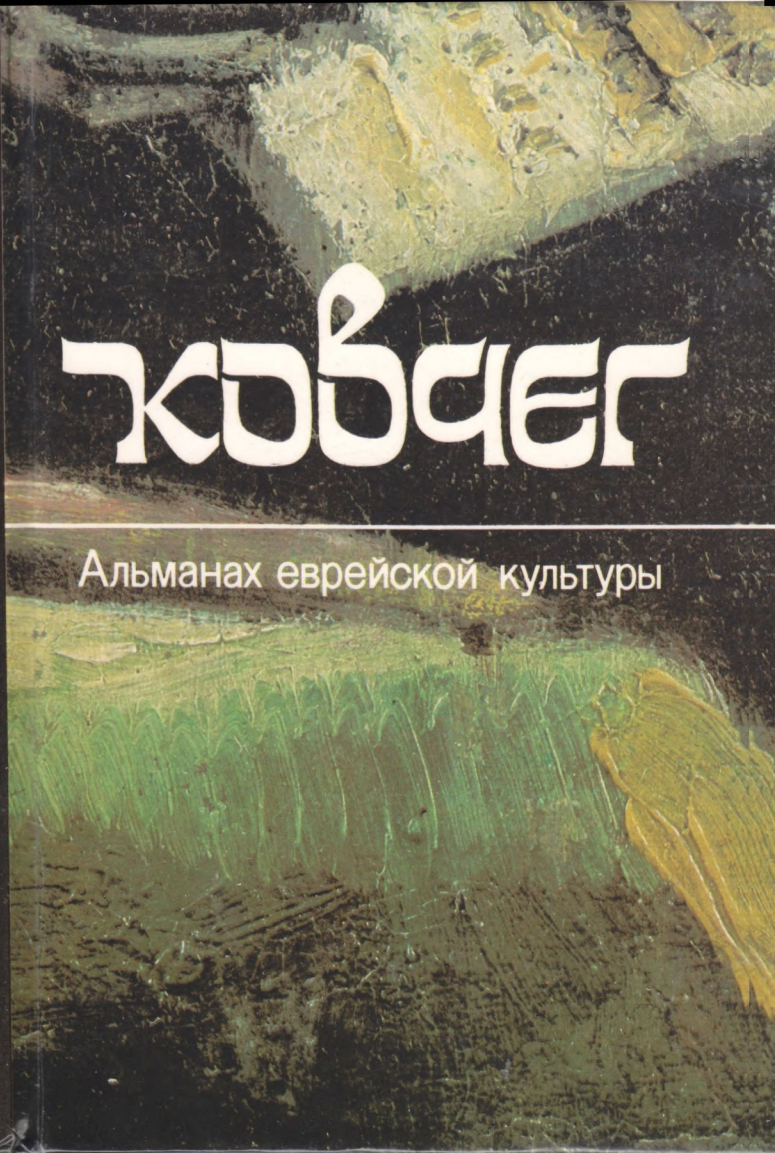
Ковчег

Альманах

Выпуск 1

# Ковчег

Альманах еврейской культуры



# Ковчег

Альманах еврейской культуры

“Художественная литература”

Еврейская культурная ассоциация

Тарбут

Москва Иерусалим

1990 5471

ББК 84.5И  
К 56

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

*Феликс Дектор* (Иерусалим), *Роман Спектор* (Москва)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

*Яков Басин, Владимир Глозман, Барух Гур, Вита Демихова, Эмануэлис Зингерис, Александр Златкин, Ицхокас Мерас* (сопредседатель, Израиль), *Ицхак Орен-Надель, Леонид Ройтман, Бен-Цион Томер, Григорий Канович, Велл Чернин, Михаил Членов* (сопредседатель, СССР), *Менахем Яглом.*

Издается при содействии фонда им. Л. Пинкуса

Художник

**Д. Черногаев**

В оформлении использована  
картина Марка Шагала  
«Раввин» (1914 г.)

К 4703020600-462 без объявл.  
028(01)-90

ISBN 5-280-02372-8

© Состав, оформление.  
Издательство «Тарбут», 1990 г.  
Издательство «Художественная  
литература», 1990 г.

## ОТ РЕДАКТОРОВ

Альманах еврейской культуры был задуман давно, в период, когда общественные связи между СССР и Израилем были жестко регламентированы, чтобы не сказать «под строжайшим запретом».

Фактически нелегальный обмен печатной продукцией между нашими странами приводил к тому, что на полках отказников и активистов в крупных городах СССР появлялись «тамиздатские» книжки, а в немногочисленных, как правило, Академических Офисах Израиля пополнялась специально репринтируемая серия «Еврейский самиздат».

Материал, как правило, не очень профессионально сработанный, туда поступал вполне случайно. Нет смысла убеждать читателя, что этот нелегальный обмен был сопряжен с изрядным риском. Страдали энтузиасты (конечно, у нас), страдала полнота и широта охвата еврейской жизни в СССР (конечно, у них).

Вместе с тем в целом ряде русскоязычных журналов Израиля появились разнообразные в жанровом отношении материалы авторов, живущих в СССР. Они составляли небольшой процент от всего объема, но тем не менее давали основания полагать такие выпуски совместным творчеством или, как принято говорить теперь, совместным предприятием.

К сожалению, такие журналы малотиражны и попадали к счастливицам-авторам с большими трудностями и опозданиями. С массовым читателем в СССР они не встречались никогда.

Сегодня совсем другое дело. Самиздат себя изживает. Еврейская национальная жизнь вышла из вынужденного подполья. В разных городах Советского Союза появляются газеты, бюллетени, журналы, сделанные вполне профессионально. Умножилась и участилась доставка книг из Израиля и других стран с развитой еврейской жизнью. Казалось бы, можно констатировать долгожданное изобилие и впасть в эйфорию, что сродни той официальной, недавней...

Мы, редакторы «Народа и Земли» (тамиздатского) и «Шалом» (самиздатского), объединившие свои портфели для «Ковчега», в эйфорию не впадаем. Мы уверены, что именно сейчас необходим объ-

емный и массовый альманах, который по-настоящему свяжет еврейскую творческую элиту наших стран с многочисленным читателем Советского Союза.

Эту уверенность разделяют с нами Конфедерация еврейских организаций и общин СССР (Ваад) и Еврейское Агентство (Сохнут), договоренность между которыми сделала возможным выход «Ковчега» в свет.

Его задача — систематически рассказывать о еврейской истории, религиозной традиции, современной культурной жизни еврейского государства и других стран. На его страницах найдется место для поэтов и прозаиков, историков и публицистов, критиков и юмористов. При этом мнения авторов могут не совпадать с мнением редакторов.

Альманах не нуждается в путеводителе, но несколько пояснений хочется сделать для тех читателей, которые впервые сталкиваются с еврейскими реалиями.

Языки иврит и идиш — самые распространенные еврейские языки. Иврит относится к семито-хамитской языковой ветви, а идиш — к германской. Еврейское слово «галут» и греческое «диаспора» означают еврейское рассеяние, то есть вынужденное или добровольное оседание частей еврейского народа вне территории Палестины или современного государства Израиль. Слово «алия» (от ивритского «восходить», «подниматься») означает не только и не просто пешее преодоление склонов иерусалимских холмов по дороге к Храму, но стихийное или организованное специально возвращение евреев на историческую родину, т. е. репатриацию.

Основная подготовка первого выпуска «Ковчега» пришлось на промежуток между двумя новогодними праздниками — по еврейскому календарю и по календарю, которым мы привыкли пользоваться. Так что нас, составителей, не покидало праздничное настроение, которым мы и хотели бы поделиться с нашими читателями, пожелаем им здоровья, счастья и мира.

Редакторы будут от души признательны тем, кто пришлет в редакцию свои отзывы и пожелания, которые могут оказаться весьма полезными для работы над последующими выпусками альманаха.

Феликс ДЕКТОР  
Иерусалим 91083  
P.O. BOX 8383

Роман СПЕКТОР  
103009 Москва, К-9  
До востребования

# стихи и проза

---

Давид Авидан

## ЛИНГВО-ПОЛИТИКИ

Те, кто похож на меня, но не похож на тебя,  
определяют политику языка.  
По всем координатам семантической галактики,  
Они слышат мягкую вибрацию, скрытое, внутриатомное,  
потайной зуммер, — вне-логическое,  
мета-психологическое,  
под-познавательное, супер-грамматическое.

Мы ответственны за все, что происходит в языке  
в каждую отдельную минуту,  
потому что люди, подобные мне и подобные тебе, они —  
политики языка.  
Мы определяем, как будут разговаривать через десять,  
двадцать,  
сто, двести, десять тысяч лет.

Мы определяем твои системы понимания.  
Мы устанавливаем системы-ввода-и-вывода.  
У нас нету денег, нету силы, нету власти.  
Всем этим мы поступились в пользу того, что мы —  
те, кто решает первыми и последними в сфере политики  
языка.

Мы определяем политику языка и самый язык.  
Мы определяем язык, как политику, и политику,  
как язык.

Мы определяем твое будущее понимание  
состояний-давления, состояний-смягчения,  
состояния-понимания, состояния-глупости  
в состоянии-освобождения

в сфере языка и в политике языка.  
Ибо мы — решающие первыми и последними в сфере  
политики языка.  
Мы не властвуем в банках, в индустрии, в земледелии,  
в правительствах,  
в партиях, в структурах армии и полиции.  
Нет у нас финансирования, руководства,  
административного влияния  
на других персонажей.  
Но мы определяем постоянные взлеты —  
сверхскоростные —  
каждого рече-шороха  
в каждую данную минуту в каждом языке и повсеместно.  
Делаем мы это каждый в своем языке, а иногда еще  
в одном  
или в нескольких, смыкая деяния вместе.

Мы определяем междудексические связи.  
Мы — это формирующее понимание  
семантики, семиотики, образа, тени, звука.  
Мы определяем твое понимание данных пониманий.  
Ибо мы — это лингво-политики,  
решающие первыми и последними в мире политики  
языка.  
Не подумай, что мы — мегаломаны, ибо мегаломания —  
это слово,  
а каждое слово под нашей опекой,  
обновляемой в каждую частичку секунды.  
Мегаломания — это также мега-коммуникация,  
мега-семантика, мега-мега.

Мы мегаломаны более, чем микроманы.  
Но мы значительно менее мегаломаны, чем ты сам,  
потому что мы знаем о языке гораздо больше, чем ты,  
не имея и тысячной доли самоуверенности, почему-то  
присущей тебе.

Мы идеологи семантики глобальной и космической.  
Мы знаем точно, что происходит в твоём мозгу  
в каждую данную минуту,  
когда политика языка приходит в соприкосновение  
с силовыми центрами политики мозговой  
и межмозговой.  
Каждого из вас отдельно и всех вас вместе.

Мы — политики языка, потому что мы знаем,  
что язык — это политика, а политика — это язык,  
и одновременно с этим язык заякорен вне всяких сфер  
политики  
и вне всяких сфер языка.

В сферах языка вне-языковых и политики  
вне-политической  
мы и репрезентаторы и репрезентируемые  
вне твоего мозга и вне мозга твоих отцов,  
дедов и прадедов,  
твоих детей, внуков и правнуков,  
потому что мы — политики языка,  
мы те, кто решает первыми и последними в сфере  
политики языка.

И мы одержимы истерией счастья, что мы — это мы.  
Но истерия — это только слово, а всякое слово  
анализируется у нас заново в любую частичку секунды.  
Мы — истерики уверенности, мы — спокойствие истерии.  
Мы истерики спокойной уравновешенности  
истерического отсутствия истерики.  
Мы — сама стойкость постоянной истерии.  
Потому что мы — политики языка,  
решающие первыми и последними в сфере политики  
языка.

## СТРАНА ПОСЛЕДНЯЯ МОЯ

Поездить по миру и вернуться  
и снова поехать и вернуться повторно  
туда где страна первая и последняя  
что ждет тебя на морском берегу.

Ты помнишь там особое солнце  
светозарность такая что нету нигде  
ты порхаешь по чужим просторам  
и ты вянешь там в отчаянии надежд.

Этот стих смутит ибо он противоречит  
всему что в прошлом сказано мной  
насчет глобальности и по поводу движения  
и по поводу отчала от этой планеты.



Но это то что есть в данную минуту  
противоречия тоже уходят и возвращаются  
но это то что есть в данную минуту  
а данная минута это то что теперь.

Ты проверь это дело проверь основательно  
не допустил ли ты вновь ошибку в вычислениях  
и тогда вернись к себе и одновременно  
в ту страну что первая и последняя.

Это отчаяние безысходно и ты ненавидишь  
себя в своих изречениях и ты их произносишь  
когда сжимается сердце и когда твоя рука  
разжата свободно и ладони раскрыты.

*С иврита. Перевел Савелий ГРИНБЕРГ*

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

*Это было в начале 60-х годов. И. Мерас заведовал лабораторией на вильнюсском заводе телеузлов, а я был старшим редактором издательства «Детская литература», где тогда вышла его первая книга «Желтый лоскут». В один из своих нечастых наездов в Москву Ицхак принес мне только что законченную им, еще «горячую» рукопись. Я открыл первый лист — и уже не мог оторваться. Помните, в тот день я написал автору, что буду счастлив перевести его новую вещь на русский язык и, хотя предвижу всякого рода трудности с ее публикацией, верю, что в конце концов она принесет ее автору мировую известность.*

*С этим переводом я обошел все редакции толстых литературных журналов Москвы и Ленинграда, все центральные издательства. Читали, хвалили, но печатать не решались. Вышло так, что роман Мераса стал одним из первых явлений еврейского самиздата. После трехлетних обсуждений и требований всевозможных переделок «Вечный шаг» был наконец опубликован (с купюрами) в журнале «Дружба народов» (№ 9, 1964). Через два года удалось пробить в журнале «Юность» перевод и следующего романа И. Мераса «На чем держится мир».*

*Его произведения были переведены на эстонский, латышский, грузинский, таджикский и другие языки народов СССР, в том числе на идиш, а также на английский, немецкий, французский, иврит, испанский, голландский, норвежский, датский, венгерский, чешский, болгарский, польский... Книжка И. Мераса на русском языке вышла в издательстве «Художественная литература» сотысячным тиражом и была распродана в один день. Его романы вызвали страстную полемику в прессе и на многочисленных читательских конференциях, по ним писались инсценировки, киносценарии и школьные сочинения.*

*С тех пор прошло четверть века. За эти годы И. Мерас уехал — вслед за своими героями — в Израиль, а спустя некоторое время туда же прибыл и переводчик его произведений на русский язык. Книжки И. Мераса изъяты из советских библиотек, но старшее поколение хорошо помнит это имя.*

Феликс ДЕКТОР

# Ицхокас Мерас

## ВЕЧНЫЙ ШАХ

*Роман*

### Глава первая. НАЧАЛО

1

Когда фигуры были расставлены, Шогер прищурился и, помедлив, взял две пешки — белую и черную. Он их спрятал в ладони и встряхнул.

— Ну, кто начинает? Я или ты?

Его уши подергивались, бледная кожа под редкими, прилизанными волосами вздрагивала.

Он волновался.

«Будь я индейцем, — думал Исаак, глядя на его шевелящиеся волосы, — я бы, наверное, срезал этот скальп...»

— Не знаешь? — спросил Шогер и выставил руки перед собой. — Если не знаешь, я скажу тебе. Все на свете — лотерея. Шахматы — лотерея, мир — лотерея и жизнь — тоже лотерея.

«Он здесь хозяин, и все-таки боится...» — думал Исаак.

— Знаешь, что? Ты можешь выбрать. Я предлагаю тебе черные. В лотерее, как правило, проигрывают.

— Левую, — сказал Исаак.

— Ну, смотри.

Шогер разжал пальцы. На ладони была белая пешка.

— Еврейское счастье, — усмехнулся он. — Я не виноват: ты выбрал сам.

«Неужели это смерть, — подумал Исаак. — Я не хо-

чу умереть. Разве есть на свете человек, который хотел бы смерти?»

И все же ему достались белые.

Исаак повернул доску, бросил взгляд на фигуры и сделал первый ход.

2

Вы знаете, как светит весеннее солнце? Вряд ли вы знаете, как оно светит. И откуда вам знать, если вы не видели, как улыбается Бузя.

Весеннее солнце светит, как улыбка Бузи, а ее улыбка — такая же светлая, как весеннее солнце.

Я знаю, я увидел ее вчера, и мне стало страшно, что только сейчас я встретил ее. Она живет в конце темной улочки на другой стороне гетто.

Я был просто дурак все это время. Я не знал, что у нас в гетто живет Бузя.

Она шла с подругами.

Я взглянул на нее и остановился, не в силах оторвать глаз.

Тогда она улыбнулась. Она пожала легкими своими плечами, будто не понимая, чего я встал на ее пути. Улыбнулась и пошла своей дорогой.

Потом она обернулась, и я снова увидел ее улыбку.

Теперь я знаю, как светит весеннее солнце. Оно светит, как улыбка Бузи, а улыбка Бузи — как весеннее солнце.

Вчера я не знал еще, как ее зовут. Но увидел ее и вспомнил «Песнь песней».

Я вспомнил девочку из «Песни песней» Шолом-Алейхема, первой книги, которую прочел в детстве, и дал незнакомке имя Бузя.

Мне хотелось, чтобы я был Шимек, а она — Бузя.

Чтобы вокруг не было узких улочек гетто, обнесенных высокой стеной.

Чтобы не было людей с желтыми звездами.

Чтобы мы были еще маленькими и только вдвоем. Шимек и Бузя.

Чтобы сидели на широком, без конца и края лугу, на мягкой зеленой траве, и чтобы я мог сказать:

«...Бузя — сокращенное имя: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или два, а обоим нам нет и двадцати. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе...»

Вы знаете, где я сейчас?

На другом краю гетто, в конце узкой улочки, той, на которой живет Бузя. Я сижу на каменном пороге. Странная прохлада исходит от этого гладкого камня и растекается по всему телу, но я не встаю. Может быть, это холодок, оставшийся еще с зимы и не успевший растаять на весеннем солнце, но мне совсем не холодно. Мне тепло. Если бы мама была жива, она бы поправила платочек, ровно лежащий на голове, и всплеснула бы руками.

— Изя! — сказала б моя мама. — Изя, ты же молодой человек, ты уже почти жених, а сидишь на холодном камне, как мальчик. Изя! Ты ведь, можно сказать, мужчина, чтоб не сглазить, а того и гляди придешь домой с готовой болезнью, не дай тебе Бог!

Я сижу. Мне тепло.

Мы только что вернулись с работы. Я тут же умылся, натянул свою красивую голубую рубашку и побежал сюда, к этому каменному порогу.

Я жду. Жду, когда появится Бузя.

Когда сидишь возле дома, на каменном пороге, слышишь все: каждый шаг, каждый шорох, малейший звук. Хлопнула дверь — и мне кажется, что это Бузя. Прощуршали шаги — и я думаю, что это Бузя. Скрипнули деревянные ступеньки — я жду: вот сейчас выйдет Бузя.

Ее нет, не выходит. Может, вовсе нет никакой Бузи? Может, мне просто вспомнилась «Песнь песней», первая книга, которую я прочитал в детстве?

Снова хлопает дверь, шуршат шаги и скрипят старые ступеньки. Сейчас она выйдет. Не может быть иначе.

Да, это Бузя.

Я вскакиваю, смотрю на нее и не знаю, что сказать. Все слова перепутались, перемешались у меня в голове.

У нее пепельные волосы. У нее большие синие глаза. Они смотрят на меня молчаливо и удивленно.

Я должен что-то сказать, не важно что.

И я говорю.

— Бузя!.. — говорю я и сам над собой готов смеяться.

А она действительно смеется.

Сверкают белые жемчужные зубки. Ее губы горят, как алые ленты, а щеки цветут, как маки.

— Кто ты? — спрашивает она.

И опять смеется.

— Я — Изя, — поспешно отвечаю я. — Я — Исаак Липман, но ты зови меня Изей.

Она уже не смеется. Она слушает.

— Пойдем со мной, девочка Бузя, — говорю ей, — я расскажу тебе, кто я.

— Почему ты называешь меня Бузей?

— Идем, я все тебе расскажу.

Она идет со мной.

Я хотел бы идти с ней так далеко-далеко. Чтобы мы вышли на широкий луг и сели там на мягкой траве друг перед другом. Я рассказал бы ей все что угодно. Но луга у нас нет, и уйти нельзя. У ворот — часовые.

Не важно. Мы можем сидеть и на этом дворе. Нам никто не мешает, здесь валяются деревянный ящик и трухлявое длинное бревно. Мы можем сидеть где угодно, все равно нам будет казаться, что мы на большом лугу, среди душистых цветов, и нет им конца и края.

Правда, Бузя?

Она молчит.

Мы заходим во двор и садимся. Я — на бревно, Бузя — на ящик. Она сидит на ящике, обхватив коленки и прижав к ним подбородок. Я улыбаюсь. Я хотел, чтобы она сидела вот так, подняв колени. Широкая юбка закрыла ноги, пепельные волосы рассыпались по плечам. Я могу сидеть так очень долго. Сидеть и смотреть на Бузю. Я не хочу уже ничего рассказывать. Зачем слова, если можно просто сидеть и смотреть.

Но она хочет, чтобы я говорил, она хочет знать, кто я.

— Кто же ты, Изя? — спрашивает она, и в ее больших синих глазах появляются два смешливых чертика.

— Я — Идя, — говорю. — Я — Липман. Я родился здесь, в этом городе, мой отец — портной, и его пальцы исколоты иглой чаще, чем небо звездами.

Конечно, я мог бы рассказать, что брат у меня без пяти минут философ: он учился в университете, но не успел закончить, как началась война.

Я мог бы рассказать, что сестра моя — Ина Липман, та самая, певица, которая до войны объездила полмира.

Я мог бы рассказывать и рассказывать.

Лучше не надо. Она подумает, я хвастаюсь, задаюсь своими братьями и сестрами. Она еще рассердится, встанет и уйдет, и я останусь один. И снова буду думать, что никакой Бузи нет на свете, просто мне вспомнилась «Песнь песней», первая книга, которую я прочел в детстве.

— Ина Липман — твоя сестра?

— Сестра...

— Та самая, знаменитая певица?

— Да, — торопливо говорю я Бузе, — но это неважно, правда? Ина — это Ина, моя сестра, а я — это я, Изя.

Бузя кивает, соглашаясь со мной, и я рад. Она кивает быстро-быстро, и ее пепельные волосы колышутся, как мягкие волны на реке, как спелые хлеба в поле.

Не сердитесь. Я соврал.

Это вышло нечаянно.

Я сказал, будто она старше меня на год или на два, а обоим нам нет и двадцати.

Это неправда. Я только хотел, чтобы так было. Как в «Песни песней».

На самом деле нам обоим уже много лет. И старше я, а не Бузя. Ей — шестнадцать, мне — семнадцать с половиной. Теперь потрудитесь посчитать, сколько нам обоим. Нам уже тридцать три года с половиной. Много, правда?

Мы считаем вместе.

Сначала я загибаю один, другой и все пальцы правой руки, потом быстро загибаю на левой, но пальцев не хватает. Тогда я осторожно беру Бузю за руку и сгибаю ее пальчики. Но их тоже не хватает — так много нам лет!

Мы смеемся, оттого что нам не хватает пальцев.

И она говорит:

— Все равно не сосчитать. Один палец — один год. А где взять половину?

Я не смеюсь. Молчу.

Мы могли бы сосчитать.

У меня есть полпальца, только Бузя не заметила.

Это было давно, год назад. У ворот гетто лежала железная балка. Шюгер подозвал меня и велел ее поднять. Я оторвал конец балки от булыжной мостовой, хотел было выпрямиться, но Шюгер что-то крикнул и вскочил на балку. Я так и не успел вытащить палец...

Мы могли бы сосчитать, сколько нам лет, но я не хочу. Я сожму левую руку в кулак, и Бузя не узнает, что можно присчитать и полгода.

Я снова смеюсь. Потом спрашиваю:

— Как тебя звать, Бузя?

— Меня зовут Эстер.

Она снова обнимает колени и опирается на них подбородком.

— Я тоже родилась здесь, в этом городе. Только у меня нет ни братьев, ни сестер. Был старший брат, но его уже нет. Папа — врач, а мама — медсестра. Оба много работают, дни и ночи. Они работают в больнице гетто, и им очень трудно. Ты ведь знаешь, что евреям запрещено болеть заразными заболеваниями. Но таких заболеваний ужасно много, поэтому мама и папа и все другие лечат людей, вписывая неправильный диагноз.

Она говорит, но я почти не слышу.

— Как твое имя? — снова спрашиваю я. — Как ты сказала?

— Эстер.

Я изумлен.

— И Либа тоже?

— Нет, только Эстер.

— Неважно! — кричу я. — Неважно! Тебя зовут Эстер-Либа.

Снова скачут веселые чертики у нее в глазах.

— Ты хочешь, чтобы я была Бузей? — спрашивает она и щурится.

— Хочу, чтобы ты была Эстер-Либой, Либузей, Бузей... И я рассказывал бы тебе всегда одну и ту же сказку из «Песни песней».

— Но тогда ты должен быть Шимеком?

— Я буду Шимеком... Хочешь послушать?

— «...Я — Шимек, и у меня был старший брат Бенья. Он отлично стрелял из ружья и плавал как рыба. Однажды летом он купался в реке и утонул. На нем сбылась поговорка: «Все хорошие пловцы тонут». Он оставил водяную мельницу, пару лошадок, молодую вдову и ребенка. От мельницы мы отказались. Лошадей продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко. А ребенка забрали мы. Это и была Бузя». Ты слышишь, Бузя?

И вдруг я слышу чей-то голос:

— Откуда тут у нас этот юный Шолом-Алейхем?

Передо мной стоит гладко причесанный парень с желтой заплатой на груди. Он стоит и смотрит мне в глаза, хитро, по-стариковски, щурясь.

— Откуда ты, Шолом-Алейхем? — снова спрашивает он.

Я встаю, подхожу к нему и говорю:

— Я — Изя, Исаак Липман. Я не Шолом-Алейхем. Ты же видишь, у меня короткие волосы и нет очков. А ты кто?

— Янек, — отвечает он и усмехается.



— Это неполное имя? — спрашиваю я.

— Хм! — говорит он.

— Ты, наверное, Янкель и поэтому Янек?

— Хм!

— Как твое полное имя?

— Янек, — повторяет он.

— Я что-то не знаю такого странного имени...

— А что такое пся крэв, ты знаешь? Это я! — хохочет он. — Я поляк, и зовут меня Янек.

Он действительно говорит по-еврейски не совсем как мы. Да и с виду мог бы сойти за поляка... Но тогда почему он в гетто?

Янек и Эстер смеются. Они довольны, а я ничего не понимаю.

В эту минуту во двор входит мой отец. Он чем-то встревожен.

— Вот ты где, — говорит отец. — Я все гетто обошел. Помоги мне найти Ину. Куда она могла пропасть? Идем, Изя, идем.

Мои новые друзья уже не смеются. Они смотрят нам вслед. Я машу им рукой и ухожу с отцом искать Ину.

Куда она могла пропасть?

## Глава вторая. ХОД ПЯТЫЙ

### 1

Шогер неторопливо двинул слона, держа его аккуратно, двумя пальцами, как драгоценность. «Я плохо начал, — подумал Исаак. — Сегодня мне трудно играть».

— Лично я отдаю предпочтение медленному наступлению, — проговорил Шогер. — Известно, что блицкриг не всегда ведет к победе.

«Не понимаю, куда он клонит, — размышлял Исаак. — Себя успокаивает или меня? Шогер мог бы играть еще и лучше, если бы меньше думал о том, что должен выиграть. Как он говорит? Лотерея...

Шахматы — лотерея, мир — лотерея и жизнь — тоже лотерея.

Почему я сижу перед ним?

Риск и лотерея...

Разве это одно и то же?»

### 2

— Я родил дочь Ину, — сказал Авраам Липман.

У больших ворот обычно караулят двое. Один — немецкий солдат, другой — наш полицай из гетто.

И сегодня тоже. Но только сегодня это не совсем так. Ворота охраняет не немец, а чех. Я так старалась запомнить его имя и фамилию, и все-таки забыла. Они похожи на польские, а польские — на их. В конце концов, не это важно. Я спрошу еще раз и запомню как следует. Важно, что вчера чех согласился выпустить меня в город на час и даже не спросил, куда и зачем я пойду.

Почему я волнуюсь?

У меня дрожат руки, наверное, дрожал бы и голос.

Со мной всегда так, пока не освоюсь. Волнуюсь на сцене, волнуюсь на людях, а сейчас — особенно.

Чех, когда я договаривалась с ним вчера, стоял, почтительно склонив голову. Видно, полицейский сказал ему, что я — Ина Липман. Может быть, он из Праги, этот парень, и слышал, как я пою. В Праге я выступала дважды. Там были огромные афиши с гигантскими буквами, только букв почему-то было больше, чем надо. INNFP LIPPMANN. Что ж, если им так нравится!.. Они кричали мне: «Браво, бис, браво, Инна!» — и я пела им снова и снова.

Я стою, прижавшись за углом, и жду, когда сменятся часовые. Они все противные, будто не люди даже, а какие-то мерзкие твари в зеленой форме, и я всегда боюсь нечаянно прикоснуться к ним.

Да, я вижу, чех уже здесь.

Он тоже в зеленом, но выглядит почему-то иначе. Я вижу его самого, вижу его лицо и вовсе не замечаю зеленой формы, не замечаю даже винтовки. Боже мой, ну конечно же, все зависит от человека, и ровным счетом ничего не значит, во что он одет! Как на сцене. В каком бы платье ни вышла, я — это всегда я, Ина Липман.

Но все-таки хорошо, что на свете не только немцы, хорошо, что на этой земле есть много-много живых людей.

Если когда-нибудь мне удастся собрать их в большом зале, таком большом, чтобы в нем уместились все-все... Я выйду на сцену и не стану говорить, кто я. Не будет афиш с гигантскими буквами, и букв будет не больше и не меньше, чем требуется. Просто женщина, такой же человек, как и они, хочет петь для них. Я буду петь им долго, самые лучшие свои песни. Они будут сидеть и

слушать. Я не хочу, чтобы кричали «бис», «браво». Пусть себе молча сидят и слушают. Я буду петь им, как не пела еще ни разу, как не спою никогда и нигде. Я буду петь им так, как пою здесь, в гетто.

Чех заметил меня и махнул рукой.

Я подхожу.

Он озирается.

— Можете идти, — говорит чех, — если хотите... Только лучше бы вам не ходить, конечно. Оставайтесь тут, а если вам что-то нужно в городе, — скажите, я сделаю.

Я качаю головой.

— Как вам угодно, — продолжает он. — Только будьте осторожны, когда станете возвращаться. Смотрите в оба: Шогер имеет обыкновение шнырять у ворот по вечерам.

— Хорошо, хорошо, не бойтесь, — отвечаю я. — Боятся нечего.

Я быстро иду по улице.

Я впервые одна выхожу из гетто. Желтые звезды пришиты к жакету, а жакет перекинут через руку вверх подкладкой.

Мимо проходят женщина и мужчина. Я не знаю их, но они оборачиваются раз, другой и даже третий. Пробегают дети. Они тоже оглядываются на меня. Неужели меня еще можно узнать по изображению на афишах, которых давно нет в помине?

Я знаю, я нехороший человек. Я хочу, чтоб меня узнавали. Да, в глубине души хочу. Ведь столько людей слушало когда-то, как я пою. Но я не имею права. Меня не должны узнать. Это во мне все еще говорит артистка... В свое время Ина Липман была знаменитостью и считала, что принадлежит только самой себе. Но на самом деле было не так, и это тем более не так сейчас.

Я захожу в подворотню, достаю из кармана зеркало, грим и косынку. Теперь уж наверняка меня никто не узнает. Можно идти смело, с высоко поднятой головой и на минуту представить, что я свободна и вокруг нет того, что есть на самом деле.

Нет, не могу.

Странно, но я не могу представить себе это. Я, должно быть, могу играть только на сцене. Время накладывает свой отпечаток, суровый, жесткий, и тут не поможет никакой грим. Лучше не буду слишком смелой. Надо

сделать еще очень много, сделать то, что теперь всего дороже.

Четыре месяца подряд, вернувшись с работы, мы вновь принимались за работу — тайком, по ночам, чтоб никто не слышал, не видел. Мы репетировали «Аиду».

И наконец сегодня, в эту ночь, состоится генеральная репетиция.

Боже мой! Сколько раз я пела Аиду, но это как бы впервые в жизни. Мы все измучились. Но работали так, как вряд ли под силу людям. У нас все как в настоящем театре, даже дублеры. Нет, дублеры, наверно, — самое важное. В театре они лишь у главных исполнителей, а тут у всех: у главных и второстепенных, у статистов и у хора. У каждого человека свой дублер, даже в оркестре. Это время наложило свою печать, и другого выхода нет.

Мой дублер — Мира. Мирка. Ей девятнадцать лет. Из нее вырастет хорошая певица. Я хочу, чтоб она пела лучше меня, намного лучше, и чтобы в Праге или Вене, в Париже или Милане к ее имени и фамилии прибавляли уйму ненужных букв. Я буду старушкой с седыми буклями, мне будет зябко, я накину пуховый платок, сяду в первом ряду партера и буду слушать голос Мирки.

Хорошо, что сегодня я вышла из гетто и сама все скажу Марии. Она будет рада, я знаю.

Певица Мария Блажевска...

В свое время мне говорили, что Мария Блажевска — это почти что Ина Липман, а ее уверяли, что Блажевска и Липман — это одно и то же. Мы встречались за чашкой кофе у нее или у меня — и дружно смеялись над тем, что нам говорили. Мы знали больше, чем другие, и потому нам было смешно.

Ей тоже трудно сейчас, но легче, чем нам.

Ей передали, чтобы ждала меня сегодня, и, наверно, она уже ждет. Мы так долго не виделись — полжизни! Она просила, чтобы я не приходила. Она еще не знает, чего я хочу, даже не догадывается, и поэтому я должна пойти к ней сама, сегодня меня никто не может заметить.

Сегодня генеральная репетиция. Наконец-то... Но сегодня, когда угаснет последний аккорд, надо выйти на сцену, высоко поднять партитуру и крикнуть:

— Вот опера, которую мы хотели! Вот «Жидовка»!

Именно сегодня.

Наши ребята где только не искали, но так и не смог-

ли найти партитуру «Жидовки». Она есть у Марии. И вот я иду к Марии Блажевской просить «Жидовку».

Ее подарил Марии Арон Цвингер. Это был славный малый, настоящий друг. Конечно, Мария знала это лучше, чем кто бы то ни было. Она заказала специальную шкатулку, обитую красным бархатом, и маленький ключик от нее всегда носила с собой. Антикварное французское издание с пометками и автографом самого Галеви. Арон тогда продал все, что у него было, и купил Марии «Жидовку». Цвингера уже нет, но там, на титульном листе, остались две строчки, написанные его рукой.

Я думаю, как бы я поступила, если б Мария оказалась на моем месте и пришла ко мне за этой партитурой...

Нет, опять не могу себе представить. Я могу играть только на сцене. Время. Во всем виновато время. Человек может многое, очень многое, но он не может одного — удержать время, повернуть его, погнать вспять.

Имею ли я право идти к Марии?

Вот парадное, и я вхожу. Поднимаюсь на третий этаж, останавливаюсь перед дверью и звоню. Звучат торопливые, встревоженные шаги. Распахивается дверь. Передо мной Мария Блажевска... Боже, она взволнована, у нее нет слов, но глаза горят, и я вижу, что она счастлива, помогая мне переступить свой низкий порог.

Вам интересно, что было дальше. Я понимаю. Но и вы должны понять, что бывает, когда встречаются две лучшие подруги, которые не виделись полжизни, полжизни не слышали голоса друг друга. Не поющего, а обычного, произносящего «день добрый», «здравствуй», «входи», «я», «ты». Когда встречаются Мария Блажевска, которая почти что Ина Липман, с Иной Липман, которая почти Мария Блажевска.

Мы говорили недолго, а может, мне только так показалось: чех дал всего час, и нужно было возвращаться. Надо было спешить и остерегаться. Многого остерегаться, но главное — евреям запрещено появляться на улице без желтых звезд на груди и на спине, тем более в одиночку и после шести вечера. А этой ночью в гетто генеральная репетиция первой нашей оперы.

Я сказала, зачем пришла.

Мария только глянула на меня и выбежала в другую комнату. Она принесла партитуру, зачем-то полистала ее. Мне казалось, ее пальцы чуть-чуть дрожали, хотя это, должно быть, лишь показалось мне. Она открыла

титульный лист, посмотрела на него, потом легонько потянула и тут же отпустила. Неужели она хотела вырвать эту страничку? Нет, мне, должно быть, показалось.

— Я бы не пришла к тебе, если б не...

— Ладно, Ина. Ты ведь знаешь, мы без слов понимаем друг друга.

— Видишь ли, Мария...

— Ничего не говори, Ина. Я начну плакать, и тогда... Лучше подумай, что сказал бы сейчас Арон.

— Мы будем беречь ее...

— Я знаю.

Мы простились.

Мария искала, что бы мне дать с собой, и наконец нашла — мешочек гороха. Я не хотела брать, но отказаться было невозможно.

Уже в дверях она взяла меня за руку и сказала:

— Знаешь, что я хочу? Собрать людей в большом зале, таком большом, чтобы там уместились все. И выйти на сцену и долго-долго петь им самые лучшие песни.

Я слушала, не дыша.

— И еще... Еще мне хочется, чтобы мы, две старушки, закутавшись в платок, сидели в первом ряду партера и слушали, как поет твоя Мирка, мировая знаменитость.

Тут я сказала:

— Не надо, Мария.

Я не могла больше слушать и ушла.

Теперь действительно никто не смотрел на меня, не оборачивался. Я никого не боялась, хоть и знала, что надо остерегаться.

Вот узкая улочка. Ворота гетто близко, возле них по-прежнему ходит чех, значит, я успела, надо только прибавить шагу. Еще быстрее. В конце пути время как бы останавливается, растягивается. Я бегу, и ворота уже близко, близко.

Вдруг я останавливаюсь и начинаю идти медленно, очень медленно. Зато время теперь спешит. Мы поменялись ролями. Как на сцене.

У ворот, рядом с чехом, стоит Шогер.

Все-таки он подстерег меня.

Я думала, сегодня его не будет, но он здесь, он улыбается, манит меня пальцем и ждет. Он, должно быть, счастлив, Шогер. Он давно хотел уличить меня в том, что запрещено под страхом смерти. А я только сейчас хватилась, что жакет с желтыми звездами висит на руке. Может быть, Шогер не заметил. Я могу еще надеть

жакет, и тогда меня только высекут за горох. Может, только высекут... Но в жакет завернута партитура. Он увидит ее, с автографом Галеви, с двумя строчками Арона, и тогда сегодня, на генеральной репетиции, никто уже не выйдет на сцену и не крикнет:

— Ребята! Вот «Жидовка»!

Шогер может улыбаться. Его час настал. Совсем недавно, собственноручно обыскав меня, когда мы возвращались с работы, он сказал:

— Лично вы не существуете для меня. Мне плевать — живая вы или мертвая. Мне мешает только ваш голос, пока он не попал в мои руки. Надо полагать, это рано или поздно случится, и тогда вам несдобровать. Я, конечно, буду весьма огорчен. Но что поделаешь...

Почему я волнуюсь?

Теперь и в самом деле не стоит волноваться. Я не на сцене и не на глазах у людей. Надо думать и надо стараться, чтобы не дрожали руки, тогда и голос дрожать не будет.

Одной рукой я прижимаю к себе жакет, а другой встряхиваю мешочек с горохом. Все равно несдобровать мне сегодня: я без желтой звезды, и горох уже не имеет значения. Я покрасилась, а нам запрещена любая косметика.

Я иду твердым шагом, подняв голову. Я действительно могу уже никого не бояться, я обрела это право. Я встряхиваю мешочек, горох гремит как тысяча кастаньет, и мне весело.

Я усмехаюсь.

— Вы довольны? — спрашиваю Шогера.

Он тоже улыбается.

Я гремлю горохом высоко, под самым носом у Шогера, и тысячи кастаньет взрывается тысячью залпов.

Он вырывает у меня мешочек и швыряет прочь.

— Жакет не мой, — говорю я. — Разрешите вернуть владельцу, и я к вашим услугам, господин комендант.

— Только быстро, — отвечает Шогер.

Я вхожу в гетто, всей спиной чувствуя обжигающий взгляд Шогера.

Мимо кто-то идет. Я не знаю, кто, но кто-то знакомый. Поспешно сую ему в охапку жакет и говорю:

— Передайте Мирке Сегал. Вы знаете Мирку Сегал?

— Да, знаю.

— Передайте ей немедленно, хорошо? Это жакет Мирки, я одолжила у нее.

Теперь я свободна.

Я вижу, как ходят желваки на скулах чеха, как он скрипит зубами, словно жует железо. Не хватало еще, чтобы он сорвался. Все равно это ничего не даст. Пусть уж лучше он, а не другой караулит у ворот, пусть делает то, о чем просят его люди гетто, и не видит того, что не надо видеть. Его жизнь только начинается, и в ней будет еще много и добрых и горьких минут, так же как у всех, как у каждого человека.

Я смотрю на него в упор. Он понял и хмуро отвернулся. Мне немножко жаль, что я не успела еще раз спросить его имя и фамилию. Они похожи на польские, а польские...

Я могла бы рассказывать дальше. У меня есть еще капля времени. Но я не стану рассказывать. Такие истории кончаются все одинаково, и это уже не интересно. Главное — чтобы был дублер. Я рада, что мой дублер — Мирка, Мира Сегал. Она будет большой певицей, моя Мирка...

### Глава третья. ХОД ВОСЬМОЙ

#### 1

«Если я проиграю — будет плохо для всех, но я буду жить... Если выиграю — людям плохо уже не будет, но я должен буду умереть. Если я сделаю ничью — все будут довольны».

— Послушай, — прервал его мысли Шогер. — Ты должен благодарить меня. Тебе бы в жизни не представился случай играть на глазах у такой аудитории.

Вокруг широким кольцом собралось все гетто.

Так приказал Шогер.

Толпа сгрудилась на площади и, слегка покачиваясь, молча следила за игроками тысячью глаз.

Исаак двинул пешку.

Шогер ответил сразу. Он, видимо, решил не терять времени.

«О чем он думает сейчас? — спрашивал себя Исаак. — О том, что должен выиграть... О чем еще? Столько людей кругом, и он победит! А я всем телом чувствую их взгляды, тысячи глаз. Они так и впиваются в меня. Люди знают, почему и на что я играю. Они хотят, чтобы была ничья... Ничья...»

Я боюсь обернуться... Толпа мешает мне. Она запрю-



дила площадь так же густо, как в тот день, когда люди, не подымая глаз, стекались в гетто.

Я не хочу, чтобы здесь была толпа...»

2

Прошел месяц, целый месяц прошел с тех пор, как я впервые увидел Эстер. Наверно, я видел ее и раньше. Только мне в голову не приходило, что это она. Что эта девочка и есть Эстер-Либа, Либузя, Бузя.

Прошел месяц с того дня, как я действительно увидел ее и назвал Бузей. Месяц — не много времени, правда? Его и сосчитать-то трудно. Время — это зима, осень, год, век. Если б даже разделить меня на кусочки, все равно бы трудно было сосчитать месяц, как мы с Эстер считали по пальцам, сколько нам лет.

Так мне кажется.

На самом-то деле все иначе.

Месяц — это очень много. Если даже разделить меня на самые крохотные дольки, все равно их будет слишком мало, чтобы сосчитать это время. Я считал дни, часы, минуты, секунды.

Я говорю о времени.

Я знаю, можно говорить о другом, о жизни в гетто, про которую говорят: тяжкая жизнь. Можно говорить о нашей работе. Это тяжелая работа. Можно о том, как мы едим и что думаем.

Не хочу.

Каждый занят чем-то определенным. Кому положено ходить на работу, те ходят в лагерь. Хожу и я. Кто остается в гетто — тоже работают. Они заботятся, чтобы люди были одеты, накормлены и могли ходить в лагерь. Каждый занят своим и делает то, что должен делать.

Я такой же, как все.

Но никто не запретит вспоминать мне «Песнь песней» и думать о моей Бузе, об Эстер.

Каждый вечер после работы, если нет каких-то особых дел, я умываюсь и надеваю голубую свою рубашку. Я спешу к большому каменному порогу и жду. Потом мы вместе идем во двор, туда, где длинное бревно и деревянный ящик. Я сажусь на бревно, Эстер устраивается на ящике. Она подбирает ноги и, обняв колени, прижимает к ним подбородок. И я доволен, я счастлив, что мы сидим вместе и что она сидит так, а не иначе.

Я закрываю глаза.

Я все забываю.

Я очень хочу, чтобы мы вышли на широкий цветущий луг, сели на мягкую траву и чтобы никого больше не было.

Нельзя.

Вокруг гетто — стена.

Ворота.

У ворот охрана.

Нельзя.

— Изя, — спрашивает Эстер. — Неужели это навсегда?

Она и сама знает, но все же спрашивает, хочет, чтобы я сказал.

— Нет, — отвечаю я. — Людей не спрячешь за стеной. Каждую ночь, когда все кругом стихает, мне кажется, я слышу гром орудий. Это наши.

Эстер молчит.

— А скоро? — спрашивает она погодя.

Я не знаю, но отвечаю так, как мне хочется:

— Скоро.

Так мы разговариваем.

А Янек недоволен.

Я вижу, ему хочется потолковать со мной с глазу на глаз.

Хочется, да все нет случая. Я не знаю, хочется ли мне. Но можно и потолковать, если надо.

Сегодня он подкараулил меня возле дома.

И вот мы одни, но Янек молчит. Мы оба о чем-то думаем, он и я.

— Ты — тот самый Липман, который играет в шахматы?

— Тот самый.

— С Шогером?

— С Шогером.

— Я так и думал, — говорит Янек. — Почему ты играешь с ним?

— Он приказывает.

— Только поэтому?

— Нет. Я заставляю его сдать.

— Он что, ни разу не выиграл?

— Нет.

— И не было ни одной ничьей?

— Нет.

— Я знаю, ты свой парень, Изя.

— Я?

— Ты. Но все равно мы должны поговорить.

— Не люблю говорить о шахматах. Я мог бы сидеть дома и играть сам с собой, — говорю я. — Я еще могу заставить Шогера сдаться, хотя с каждым разом мне трудней и трудней. Раньше было легко. А теперь я каждый раз боюсь проиграть. Но это неважно, я не люблю говорить о шахматах.

Янек смотрит мне в глаза.

— Нет, не о шахматах. Надо поговорить о другом.

— О чем, Янек?

— Обо мне. — Он опускает голову. — Не совсем обо мне. Обо мне только немножко. Я не знаю, хочу ли этого. Но я соглашаюсь.

— Говори, Янек.

— Видишь ли... — говорит он.

И, остановившись, пинает камешек. Камешек круглый, гладкий. Наверное, можно представить, что это мячик, и поиграть в футбол. Я, допустим, стою на воротах, а Янек старается забить гол. Или он пригнулся и ждет в воротах...

— Видишь... — снова начинает Янек, и я понимаю, о чем разговор.

Может, он заговорит о себе, не знаю.

Может быть, о том, кто он и откуда.

Может быть, о чем-нибудь таком, что мне и в голову не приходит.

И все равно он будет говорить об Эстер.

Я не знаю, хочу ли этого, и говорю:

— Что ж ты молчишь?

— Видишь... — говорит он.

В третий раз повторяет Янек одно и то же слово.

— У нее был брат, — говорит Янек, — Мейер, мы все его звали Мейкой, и он был моим лучшим другом. Мы одноклассники, выросли на одном дворе. Он говорил по-польски, как поляк, а я по-еврейски не хуже его. Ты сам видишь, правда? Мы были такими друзьями... Объяснить я тебе не буду, сам должен понимать.

— Не объясняй, — говорю я. — Такие вещи каждый понимает.

— Я так и думал, — говорит он.

И замолкает.

— Ты помнишь тот день, когда всех загнали в гетто? — спрашивает Янек.

Спрашивает и молчит, и снова спрашивает — глазами.

Я помню тот день. И хотел бы забыть, но помню. Он стоит у меня перед глазами, как развороченный взрывом мост. Тот мост это и есть тот день. Я вижу его искореженные балки. Вижу пробоины в настиле. Мост забит идущими людьми. А внизу, у самой воды, вниз головой повис солдат. И наверху еще один — сидит как живой, привалившись к железной балке.

Я хорошо помню тот день. Он стоит у меня перед глазами, как взорванный мост.

— Я помню мост в тот день, — говорю я. — А ты?

— У меня перед глазами узкая улочка, — говорит Янек. — И улочка вся запружена, забита людьми до отказа, как тот мост.

— Янек, а тогда уже были желтые звезды?

— Были. Разве такое можно забыть?

Я опускаю голову.

— В тот день... — говорит Янек.

Вроде обычным голосом, но скулы его обтягиваются, кожа на лбу становится серой, а зубы скрипят. Мне кажется, будто Янек откусывает каждое слово, и от этого ему трудно говорить.

Его родителей уже не было, рассказывает Янек. Они в тридцать девятом поехали в Варшаву, в гости, и больше не вернулись. Он жил с дядей, но целыми днями пропадал у Мейки и Эстер.

Все уже знали: будет гетто.

— Ты слышал, что общаться с евреями запрещено? Тебя сцапают и угонят в Германию.

Так сказал Янеку дядя.

Янеку было худо. Янек ходил, понутив голову, потому что Мейка со звездами, Эстер со звездами, а он — без ничего. Тогда Янек достал желтый лоскут и нашил на свою одежду шестиконечные звезды. Это было в тот день, утром.

— В тот день... — снова говорит Янек. — Мне все не верилось, что будет гетто и что нас с Мейкой и Эстер разлучат...

В тот день...

Так говорит Янек. Кажется, голос такой же, как всегда, но лоб совсем уже серый, и слышно, как он скрипит зубами.

В тот день во двор зашел немец. Там, на дворе, он увидел Эстер. Он двинулся прямо к ней. Он улыбался и манил ее пальцем. Она все пятилась, пятилась, хотела бежать от него. Тогда немец крикнул, и она остановилась.

— *Ком хир, ком хир, кляйне юдин!* — сказал немец.

Он схватил ее за руку и поволок в сарай.

Эстер кричала, звала на помощь.

Янек искал, чем бы ударить немца, но ничего такого не было под рукой. Тогда он бросился на кухню, схватил топор. Но Мейка уже вошел в сарай. Вошел без ничего, с голыми руками, стиснув кулаки. Он хотел задушить немца. Он сам не знал, что он хотел сделать.

Когда Янек выбежал с топором, он услышал три выстрела. Немец вытолкнул из сарая тело Мейки.

Янек был осмотрительнее.

Он обошел кругом.

Он шел осторожно, на цыпочках.

Немец у самой двери, тут же, на пороге, повалил Эстер и срывал с нее платье. Одной рукой зажал ей рот, а другой стягивал одежду. Он сидел на ногах Эстер, откинувшись назад.

Немец сидел очень удобно. Янек взмахнул топором и со всей силой ударил немца по черепу.

Я молчу.

Что я могу сказать?

Мне хочется крикнуть: «Эстер, Бузя моя!» Но говорить сейчас невозможно. Надо молчать.

— В тот день... — говорит Янек.

Мы идем дальше. Янек и я. Круглого камешка уже нет. И хорошо. Это вовсе не мячик, и мы не футболисты. Ни я, ни Янек не стоим на воротах. И он не рвется к моим, а я — к его воротам. Нет никаких ворот.

— В тот день ты вместе со всеми пошел в гетто, — говорю я.

— Да, — говорит Янек, — я пошел. Я не мог бросить Эстер одну, не мог оставить ее отца и мать. И Мейку. Я не мог его бросить. Я хотел, чтобы Мейка был там же, где все. Я хотел, чтобы он всегда был со мной. Видишь, что было в тот день.

Лоб его по-прежнему серый, скулы обтянуты.

Я не хочу, чтобы лоб у Янека был серый и зубы скрипели.

Я должен что-то сказать ему, но не нахожу слов.

— Ты большой человек, Янек, — наконец удается мне выговорить.

Но он даже не улыбнулся. Я думаю о том, что Янек не обязан жить в гетто. Он мог бы быть свободным. Мог бы ходить по всем улицам города, даже по тротуару, мог бы получить документы на свое имя. Он мог бы пойти

за город, в лес. Мог бы выйти в поле, на большой широкий луг. Сидеть посреди луга на мягкой травке, собирать цветы, а потом лежать на спине и смотреть в небо. Небо синее-синее, с белыми облаками-лодками. А кругом пахнет трава, и все вокруг...

Я тихонько трогаю звезду, пришитую на груди у Янека. Все уголки пригнаны крепко, по инструкции. А материал обычный, только желтого цвета. Из такой материи можно сделать косынку, можно сшить рубашку или еще что-либо...

Янек смотрит на меня своими глубокими глазами. Смотрит рассудительно, как старик.

— Ты чудак... — говорит мне Янек.

— Ты большой шахматист... — говорит Янек спустя минуту.

— Но ты еще многого не знаешь... — продолжает он и улыбается.

Я только слушаю и смотрю на него во все глаза.

— Ты думаешь, что гетто — только в гетто, — говорит мне Янек. — Напрасно ты так думаешь, Изя. Там, дальше — тоже гетто. Только и разница, что наше гетто огорожено, а там — без ограды.

Я снова хочу сказать:

«Ты большой человек, Янек».

Но я молчу.

Мы оба молчим.

Мы идем и идем.

Я сам не знаю куда.

Янек опять заводит разговор.

— Нам надо поговорить, Изя, — начинает он.

Этого я уже совсем не понимаю.

— Мы же поговорили, — отвечаю я. — Что еще ты хочешь мне сказать?

— Я ничего не сказал еще, Изя. Видишь...

Снова «видишь». В который раз за этот вечер?

— Видишь... — говорит Янек и опускает глаза. — Я хотел бы тебе сказать... Я хочу попросить тебя... Ты не обидишь Эстер? Мейки нет, и я теперь ее брат.

Я не знаю, что ответить. Я словно онемел.

— Я за нее жизнь могу отдать, — говорит Янек. — Ты не обижай ее, Изя. Она... такая... сам знаешь...

Что с ним? Зачем он говорит мне это? Я мог бы сказать ему, что я — Шимек, а Эстер — Бузя. Мы с ней — Шимек и Бузя. Разве Шимек может обидеть Бузю?

Я мог бы это сказать, но говорю совсем другое:

— Я мог бы и обидеться, Янек. Я мог бы даже подраться с тобой, если б ты не был ее братом. Как ты можешь такое думать? Тебе не стыдно, Янек?

Он еще ниже опускает глаза, нагибает голову.

И широко, по-детски широко улыбается.

Потом Янек вскидывает голову. Он не смотрит на меня, но я вижу, как вздрагивают его ресницы — он жмурится, словно в чем-то виноват, и хочет просить у меня прощенья.

— Конечно, — говорит Янек. — Я давно знал, что ты хороший друг и не сделаешь ничего плохого. Но все-таки я был должен поговорить с тобой. Правда, Изя? Ведь мы должны были поговорить, да?

— Поговорить надо было, — подтверждаю я.

— Видишь...

Так говорит Янек.

— Ладно, — говорю я. — Побегу. Мне надо торопиться.

— Беги, — говорит он.

— Правда, мне очень нужно.

— Беги, беги.

— Увидимся завтра.

— Ладно, завтра. Беги, беги. Она уже там, дожидается тебя. Я знаю... Беги, беги.

Янек смотрит на меня глубокими синими глазами. Он расстроен? Нет, не может быть. Мне только кажется. Он ведь знает, что я никогда не обижу его сестру.

«Бузя!..» — мысленно кричу я и бегу.

Я тороплюсь, я очень спешу.

Мне действительно надо очень, очень спешить.

#### Глава четвертая. ХОД ДВЕНАДЦАТЫЙ

##### 1

«Я должен сделать ничью», — думал Исаак.

Шогер придвинул кресло, облокотился на столик поудобней и сцепил пальцы.

Ход был не его.

— Послушай, — сказал он и снова прищурился, как перед началом игры. — Ты абсолютно не волнуешься?

Исаак не ответил.

— Все же я не думаю, чтобы человек сохранял спокойствие в такой игре, где можно проиграть самого себя.

Исаак молчал.

— Ты заставляешь меня осторожничать. Представь себе, что я зевну, и ты ненароком влепишь мне мат. Понимаешь, чем это грозит?

«Он мешает мне думать, но я все вижу... Если пожертвовать пешку, мой конь выйдет в центр и будет стоять как вкопанный, его уж не выкуришь оттуда. Пока что я играю не плохо... Надо свести вничью...»

Шогер понизил голос и заговорил тихо, почти шепотом:

— Что было бы, если б я сидел на твоём месте, а ты — в этом кресле... Признаться, я бы изрядно поволновался. О! Боже мой... К счастью, такого быть не может. Не правда ли?

«Да, такого не может быть, но я должен думать не об этом. Надо все забыть. Почему я не могу забыть обо всем на свете? Потому что Шогер сидит в своём кресле и думает, что ему принадлежит мир? Весь мир — его? И он, Шогер, волен делать с миром все, что взбредет ему на ум?»

## 2

— Я родил дочь Рахиль, — сказал Авраам Липман.

## 3

Окно палаты было распахнуто. Легкий ветерок шмыгнул сквозь марлеву ю занавеску, обежал всю комнату, торопливо ощупал койки и прохладными своими пальцами коснулся горячего лба Рахили.

Хорошо, когда душным летним полднем проникает в палату легкий ветер, разгоняя застоявшийся запах эфира и освежая женщину, которая родила пять дней назад.

Мальчик был ненасытен. Он высосал одну грудь, тугую, полную, и ему было мало. Рахиль вынула вторую и сунула ему в рот набухший сосок, побуревший, сочный, как спелый плод. Ребенок стиснул грудь и зажмурил узкие серые глазки. Он жевал торопливо, больно, как бы прикусывая маленькими тупыми щипчиками, но Рахиль не застонала, не вздрогнула.

У него было морщинистое, как у старика, личико, узкий носик, а волосы и ресницы — белые. Они казались седыми на розовой коже.



Рахиль зажмурилась. Ей хотелось, чтобы прошел уже месяц или два, чтобы можно было высвободить руки сына, чтобы эти руки сами искали материнскую грудь и сжимали бы, и ходили по ней крохотными розовыми пальчиками.

«Неважно, что болтают люди, они ничего не знают, — думала Рахиль. — Неважно, что волосы у него длинные и светлые, а у меня и Давида — черные как смоль».

Она нагнулась, мягко коснулась губами маленького морщинистого лобика. Синяя жилка на виске младенца быстро вздрагивала, билась, словно куда-то спеша.

«Моя плоть и моя кровь, — думала Рахиль. — Придет время, кончится война, мы будем жить и вырастим сына. Сын! Моего сына они не тронут. Его никто не смеет тронуть. Они сами разрешили родить, его не тронут».

— Давид, Давид! — шептала Рахиль. — Ты хотел сына, правда?

— Да, Рахиль, я хотел сына.

— Ты хотел, чтобы в мире остался человек, который будет носить твое имя?

— Нет, Рахиль.

— Ты хотел сына, потому что твой отец имел сына? Потому что отец твоего отца имел сына и отец его отца тоже?

— Нет, Рахиль.

— Я знаю, Давид, дочь тянется больше к матери, а сын — к отцу. Ты хотел, чтобы наш ребенок был ближе тебе?

— ...

— Почему же ты хотел сына, Давид? Потому что нашего Мейшале увезли в Понары?

— ...

— Скажи, Давид, а то уж я и сама не знаю, почему. Хоть я тоже хотела сына. Говори, Давид.

— Я хотел, чтобы у нас был сын от нашей любви. Мы ведь так любили друг друга, Рахиль, и должен был родиться сын. Неужели ты не понимаешь?

— Я понимаю, я то же самое говорю, Давид. Но почему ты не можешь взять в свои сильные руки нашего маленького сына?

— ...

— Ты не сердись, что нос у него такой узкий, не похож ни на мой, ни на твой? А глаза серые. Твои карие, мои синие, а у него — серые. Почему они серые, Давид?

— ...

Окно было открыто. Ветер подкрался, и его прохладные пальцы снова ощупали влажный, горячий лоб Рахили. Живой красный комочек, туго стянутый пеленками, больно жевал грудь маленькими тупыми щипчиками.

Рахиль откинулась на подушку. Она хотела плакать, но глаза были сухие, без слез. Трудно плакать без слез, тем более женщине, которая родила пять дней назад. Во рту было сухо, в горле сухо, все пересохло у нее внутри.

Она прижимала к груди запеленатого младенца и шептала тихо-тихо, как многопалый ветерок в марлевой занавеске:

— Моя плоть, моя кровь... Моя плоть и моя кровь...

Палата была самой маленькой в больнице гетто: три шага вдоль и два поперек. Здесь стояли всего две койки. На второй лежала Лиза, девушка лет восемнадцати. Она тихо постанывала. У нее были трудные роды. Она болела перед родами, была больна и теперь.

Обе очутились в этой палате неделю тому назад. Прежде они не знали друг друга. Рахиль жила в гетто, а Лизу доставили из лагеря, который назывался «Фэл». Лиза родила вчера и еще не видела своего ребенка. Она была очень слаба, совсем не разговаривала, только тихо стонала. Впрочем, она и раньше-то не вступала в разговоры, все спала или делала вид, что спит. Она сказала лишь, что зовут ее Лиза, что она из лагеря «Фэл» и что евреи там живут точно так же, как и здесь, в гетто.

Рахиль спросила у Лизы:

— Из вашего лагеря тоже возили детей на прививки?

Лиза кивнула.

— Так и Мейшале моего увезли. Откуда мне было знать?

Да, тогда еще никто не знал.

Приехал большой автобус, желтый, с красной полосой и светлыми окнами. В гетто такого не видели. Если и приезжал, то черный фургон без окон.

Из автобуса вышел Шогер.

— Матери! Слушайте, матери! — крикнул он. — В городе эпидемия дифтерита. Ведите своих детей, мы сведем их в военный госпиталь и сделаем прививки. Вы прилежно работаете, и я не желаю, чтобы ваши дети умирали. Ведите своих детей, женщины!

Автобус был красивый, желтый, с красной полосой, совсем не похожий на черный фургон без окон.

Когда Давид вернулся с работы, он уже не нашел сына.

Лиза слушала молча, только глаза горели.

— Видишь, — говорила Лизе Рахиль, — теперь я снова рожу. Если будет сын, я снова дам ему имя Мейшале.

— Мейшале, — шептала теперь Рахиль, прижимая губы к морщинистому лбу младенца. Она повернулась к Лизе, посмотрела на ее запекшийся рот и сказала: — Потерпи. Потерпи чуточку. У меня роды вторые, мне легче. А ты первые. Первые роды — трудные.

Лиза тихо стонала.

— Ты должна быть счастлива, — сказала Рахиль. — Ведь в гетто запрещено рожать. Все дети, рожденные в гетто, должны быть уничтожены, ты знаешь. А нам разрешили. Понимаешь? Только десяти женщинам на весь город, так сказали они тогда. Ты должна быть счастлива. Потерпишь, постонешь, зато потом будет хорошо. Они не тронут наших детей, раз уж позволили родить. Фронт все ближе, и они хотят задобрить людей.

— Я не хочу ребенка, — отозвалась Лиза. — Я хочу, чтобы он был мертвый. — Она улыбнулась, и трещины у нее на губах разошлись. — Видишь, как долго не несут, наверное, мертвый. Я буду землю целовать, если это случится.

— Молчи! — испугалась Рахиль. — Ты проклинаешь родное дитя. Ведь тебе полегчало. Разве сравнить твою боль сейчас с той, что была при родах? Ты должна быть счастлива, а ты... Да не услышат тебя ни Бог, ни судьба.

Ее Мейшале выпустил грудь, уснул.

Мерно постукивал крючок в оконной раме. Марлевая занавеска прогибалась, как парус. И небо было синее, как море в Паланге. Хорошо бы встать, пробежать по песчаному берегу, крепко держа Мейшале за руку, а потом, стоя у самой воды, разгрести выброшенный морем ил и выискивать маленькие золотые глазки янтаря.

— Давид, — тихо шептала Рахиль, — у нас снова есть сын. Он лежит на моей груди и дышит, как лебяжий пух. Ты видишь?

— ...

— Он будет жить дольше и лучше, чем мы. И ребенок Лизы будет жить. Она слишком молода еще и сама не знает, что говорит. Человек в таких муках приходит на свет, он должен жить.

— ...

— Ты больше не говоришь со мной, Давид. Я знаю, тебя тоже увезли в Понары. Но я не видела, как тебя убили, и ты живой у меня перед глазами. Ты ведь хочешь быть живым?

— Да, хочу.

— Тебе было очень больно?

— Нет, не очень. Ведь я жив.

— Да, только ты далеко. Зато Бог или судьба послали нам сына и позволили родить его. Прошла всего неделя, как тебя не стало. Я сама еще не знала. Меня отвели в больницу, там были какие-то профессора из Берлина, они осматривали меня, потом обследовали целых две недели. Но это неважно. Они сказали, что я буду матерью, и Шогер позволил мне родить в гетто. Только десяти женщинам во всем городе разрешили родить. Ты доволен?

— ...

— Я ходила с большим животом и знала, что будет сын. Мне не надо было прятаться: я гордилась своей долей и страшилась ее. А люди... Что люди болтают, не так уж важно. Они завидуют, я понимаю их, я сама бы слепо завидовала. Правда?

Мерно постукивал крючок оконной рамы, ветер надувал занавеску, как парус, и безоблачное небо было синим, как море в Паланге.

Лиза уже не стонала. Она повернулась на левый бок и, глядя пылающими глазами на Рахиль и ее сына, тихо повторяла:

— Мой будет мертв, я знаю.

— Перестань, Лиза, побойся Бога и людей. Тебе уже не больно, ты не стонешь, и говорить такое — страшный грех.

Дверь открылась, вошла сестра, внесла что-то малое, спеленатое, молчащее, протиснулась к Лизиной койке. Она молчала, они все молчали, три женщины, только стучал крючок оконной рамы, вздымалась занавеска-парус, да многопалый ветер по-прежнему гулял по тесной палате, овеивая лоб, обвиняя шею, остужая грудь.

Лиза оперлась на руки, медленно села, вжалась в подушку.

Она впрямь еще молодая, эта Лиза. Совсем девочка. Личико мелкое, щеки бледные, впалые, каштановые волосы разметались — вся словно миниатюрный портрет в широкой раме. Только губы вспухшие, запекшиеся и

глаза большие, яркие, как два фонаря, с высокими, удивленными ниточками бровей.

Она действительно слишком молода. Совсем девочка. Только из расстегнутой рубахи выглядывает уже не девичья грудь, сочная, набрякшая молоком, с тугими коричневыми сосками, похожими на спелый плод.

Лиза протянула руки и взяла запеленатый комок из рук сестры.

Взяла с дрожью: живой или мертвый?

— Мальчик, — обронила сестра и вышла.

Как лебяжьим перышком, щекотал Мейшале своим частым дыханием грудь Рахили, и Рахиль сказала, глядя на Лизу и на ее дитя:

— Видишь, живой. Твоя плоть и твоя кровь.

Лизу всю колотило.

— О Боже! — простонала она.

Из пеленок двумя серыми бессмысленными глазками глядело морщинистое, как у старика, личико, узкий нос, белесые брови, ресницы и длинные белые волосы, казавшиеся седыми на красной коже.

Лиза отдернула руки, словно ожегшись вдруг, торопливо застегнула рубаху.

— Смотри, — сказала она Рахили, не смея прикоснуться к запеленатому глазастому комку. — Смотри, живой!

Рахиль смотрела, смотрела и, не выдержав, отвернулась.

«Неважно, неважно, что болтают люди...»

И все-таки она спросила:

— Твой муж светлый, правда? Блондин, да?

Лиза отрицательно качала головой и качала долго, словно не в силах остановиться, потом тихо проговорила:

— У меня нет мужа. Я еще не знаю, что такое мужчина. Я только раз в жизни поцеловалась. Но ведь от этого детей не бывает.

Кровь ударила Рахили в лицо, забилась в висках, как ставни на ветру, но она глотнула слюну и медленно спросила:

— Лиза... Ты бредишь, Лиза?

Лиза все качала, качала головой.

— Ты думаешь, люди не зря говорили? Лиза?

Лиза кивнула, а потом все кивала, кивала...

— Да... Это искусственное... — сказала она. — Я знала уже тогда, девять месяцев назад. Теперь опять будут нас исследовать, будут делать новые опыты — с на-

ми и с этими, что родились. Я знаю немецкий, я уже тогда поняла...

Выгнувшись, застыла занавеска. Так застывает парус, когда ветер дохнет последний раз и стихнет: парус плеснет, обмякнув, и повиснет, уже мертвый. Застыло и небо, это синее море. Оно удалялось, удалялось, могло бы совсем исчезнуть, но крючок безостановочно стучал и стучал в оконной раме и где-то в груди, наверное, в самом сердце.

Рахиль смотрела на своего ребенка и на ребенка Лизы — не ее ребенка и не ребенка Лизы. И впрямь близнецы. Белобрысые, с одинаково бессмысленными серыми глазками, у обоих узкий, острый нос и красные старческие морщины. Как инкубаторные цыплята — сплошь белые.

— Чужое семя и чужой плод... — сказала Рахиль. — Чужое семя, чужой плод. Боже!.. Они позволили нам родить!

Комната кружилась у нее перед глазами. Оконное стекло дрожало, сворачивалось в синеватый цилиндр, и там, в прозрачной синеве, скрючившись, плавал, бултыхался ребенок-неребенок, мейшале-немейшале...

Рахиль протянула руки, не глядя, двумя горстями нащупала тонкую шею и стиснула. Живой сверток захрипел, и Рахиль разжала пальцы. Ей было страшно, ее мutilо.

Тогда она выпрямила ноги, положила рядом этот живой комочек, накрыла подушкой и навалилась на нее всей грудью, тяжелой, налитой грудью с тугими, набухшими сосками, побуревшими, как спелый плод.

— Чужое семя и чужой плод, Лиза. Ха-ха-ха! Лиза, ты слышишь?

— Слышу! — ответила девушка, восемнадцатилетняя, которая только раз в жизни целовалась.

А потом Рахиль шептала. Тихо-тихо, как многопалый ветерок в занавеске, как легкое перышко, самый нежный лебяжий пух.

— Давид, ты слышишь меня?

— Я слышу, Рахиль.

— Ты не хотел сына, правда, Давид?

— Я не хотел, Рахиль.

— Такого ты не хотел, я знаю.

— Да, не хотел.

— Постой... погоди, Давид... А вдруг это настоящий?! Вдруг это наш, Давид? Ты молчишь... Хорошо,

молчи. Ты видишь, я еще крепче давлю на подушку. Видишь?

— Да, вижу.

— Я знаю, ты доволен.

— Да.

— Ты еще придешь когда-нибудь, скажи?

— ...

— Давид! Приходи... Приди, Давид!..

— ...

Многопалый ветер теребил занавеску и мерно постукивал крючком оконной рамы.

## Глава пятая. ХОД ТРИНАДЦАТЫЙ

### 1

Шогер принял жертву.

Он знал, что Исаак волнуется, и ему было приятно, смахнув с доски эту пешку, почувствовать себя более уверенно и ждать, когда противник сдастся.

Сегодня его день.

Сегодня он должен одержать двойную победу: выиграть партию и не проиграть партнера.

Вокруг немим кольцом стояла толпа, которой было суждено ощутить эту победу на своей шкуре.

Такой партии, как сегодня, еще не было.

— Ты знаешь, почему действительно невозможно, чтобы ты сидел в моем кресле, а я — на твоей табуретке?

Исаак не ответил.

— Если не знаешь, могу сказать. Шахматные фигуры — сухие деревяшки, но чем-то похожи на людей. Есть только один король, второй должен сдаться. Мы, арийцы, — короли, которые побеждают. Мне очень жаль, что ты из тех, кому суждено проиграть.

Исаак молчал.

— Понятно? Это азбучная истина, и поэтому каждый из нас сидит на своем месте. Ты — на табуретке, я — в кресле. Иначе и быть не может.

«Я не слышу, я не желаю слышать, что он там болтает. Пусть разглагольствует — знает ведь, что никто не смеет возразить.

Он — король...

Его слово — закон.

Мое дело — шахматы.

Плохо, что я не имею права ни выиграть, ни проиграть, а ничья... Бывает ли она вообще? Вскочить бы, смахнуть фигуры и убежать отсюда на широкий цветущий луг...»

2

В гетто нет цветов.  
Цветы запрещены.  
Приносить их тоже нельзя.  
Запрещено.  
Почему цветы под запретом?

Этого я никак не могу понять. Будь я самым последним негодяем, я бы и то не запрещал сажать цветы. Люди мигом отыщут семена, найдут клубни. Долго ли раскопать тротуар под окошком, очистить двор от камней... И закивают тяжелыми головками яркие пионы, стройные лилии, будут терпко пахнуть тонконожки-настурции. Много-много цветов, будто рассыпанных щедрой рукой.

Если б даже я был самым последним негодяем и запретил цветы, я бы все-таки не запрещал приносить их с полей и лугов, когда люди возвращаются из рабочего лагеря. Колонны шагают по городу, усталые, но не видно опущенных голов. Над колоннами сплошь цветы, множество букетов, и можно подумать, что людей вовсе нет. Просто вышли погулять цветы. Торопиться им некуда, могут двигаться медленно, не спеша. Еще только пять часов, и до шести они наверняка успеют в гетто.

Насчет оружия все ясно. Об этом можно не говорить.

Я понимаю, почему запрещено приносить в гетто продукты. Шогер хочет, чтобы мы голодали.

Понимаю, почему не разрешается приносить одежду. Они хотят, чтобы мы ходили в рванье, чтобы нам было холодно.

Но почему Шогер запретил цветы?

Этого я не могу понять.

Цветок. Хрупкий стебель, яркая чашечка.

Кто может запретить цветы?

Мы с Эстер сидим на своем дворе. Я — на бревне, она — на деревянном ящике. Мы смотрим в глаза друг другу и молчим. Эстер нагибается, выскивает пробившуюся меж камней зелень. Она выбирает одну травинку и, нашептывая что-то, обрывает крошечные листочки.



Листьев мало, поэтому Эстер не спешит. Острыми ногтями аккуратно отщипнет листик, подержит его на ладони, потом отпустит. И он летит, порхает малой птичкой.

Я знаю, что нужно Эстер.

Эстер нужна ромашка.

Эстер хочется держать в руках этот полевой цветок, отрывать его белые лепестки и шептать что-то так, чтобы я не слышал.

Она работает здесь же, в гетто, помогает родителям — она санитарка. Эстер давно не была в полях и, наверно, забыла, как выглядят цветы. Но все равно ей хочется держать в руках ромашку. Я знаю. Она сама сегодня белая, как ромашка.

— Не смотри на меня, — говорит Эстер. — Я бледная, да? Ничего, поправлюсь. Папа делал операцию мальчику. Обычно все дают кровь, ничего особенного. А сегодня понадобилась моя группа, и отец позвал меня. Он говорит, что нельзя брать так много крови сразу, но ведь я здоровая, со мной ничего не будет. Мальчик был совсем плох, а теперь он наверняка поправится.

Она смотрит на меня, но я молчу, ничего не говорю.

— Тебе не нравится, что я такая бледная? Да? Ты сердишься?

— Что ты? Как я могу сердиться, если твоя кровь понадобилась этому мальчику.

Я закрываю глаза, и мои мысли уже далеко отсюда. Мне кажется, будто мы с ней идем, идем куда-то по высокой траве и выходим на широкий луг. Эстер сидит, упершись руками в землю, а я бегаю по лугу и собираю цветы. Их много-много. Белые, желтые, розовые, синие; одни цветы нежно пахнут, другие позванивают своими колокольчиками. Я нарвал уже полную охапку, а мне все мало.

— Шимек!

Так зовет меня Бузя.

— Иду! — говорю я.

— Довольно! Шимек!

— Еще два, еще один — и довольно.

— Хватит... Пусть растут... Они такие красивые...

— Ладно, хватит.

Тут я слышу:

— Изя...

Я открываю глаза. Вижу наш двор, мощный булыжником. Я сижу на бревне, а Эстер — на деревянном ящике.

Мы возвращаемся с работы. Скоро покажутся ворота гетто, и сердце стучит неровно. То забьется часто-часто, то остановится, потом стукнет раз и опять замрет.

У меня за пазухой цветы.

Я попросил часового, и он разрешил мне подойти к лугу, а луг весь пестрел ромашками, похожий на зеленую скатерть в белых пятнах с желтыми крапинками. Я рвал их горстями, вместе с травой. Мне казалось, я унесу весь луг. Потом спохватился, что луг унести нельзя. И почти все бросил. Бросать было жалко, но я мог оставить только маленький букетик, поэтому он должен быть очень красивым, из самых отборных ромашек.

Мы возвращаемся домой. Вот уже видны ворота гетто, и мое сердце стучит неровно: то вдруг забьется часто-часто, то остановится, потом стукнет раз и опять замрет.

Мужчины разозлились, увидев мои цветы. Я знаю, в другой раз никто бы и слова не сказал. Но сегодня они правы. Сегодня в гетто несут немецкий автомат, который удалось украсть на складе, где мы работаем. Два дня разбирали автомат на части и прятали. Что могли разобрать — разобрали, что не смогли — сломали. Ничего, в гетто есть слесаря, починят. Сегодня мужчины распределили все это между собой и несут в гетто.

Я знаю, почему они злые. Если я попадусь с цветами, немцы могут устроить такой обыск, что найдут у кого-нибудь деталь автомата.

Я так просил! Я не мог иначе. И они умолкли, ничего больше не сказали, только поставили меня в самый конец колонны.

Мы уже в воротах.

Сердце замерло.

У ворот сам Шогер.

Мне холодно. Мне кажется, что его глаза, острые, как иглы, проникают сквозь куртку, впиваются в хрупкие ромашки. И я, не выдержав, подымаю руку к груди, заслоняю цветы.

Колонна уже в гетто, все прошли, а Шогер смотрит на меня и подмигивает.

— Ну, сеньор Капабланка? — спрашивает Шогер и принимается обыскивать меня.

Он распахивает мою куртку, вытаскивает рубашку из-под ремня — и на землю сыплются цветы.

— О! Хо-хо! — удивляется Шогер. — Так много? Куда тебе столько?

Я молчу.

— На первый раз достаточно пяти, — кивает Шогер Яшке Филеру.

Цветы он пинком вышвыривает за ворота.

А мне говорит:

— Сам понимаешь... Ты мой партнер, и все такое прочее. Однако закон есть закон. Ничего не поделаешь, не имею права.

Он кивает на меня часовому:

— А? Вы каждый день обыскиваете его? Надо, надо. Закон есть закон, это сильнее нас.

Яшка Филер — палач.

У Яшки тройной затылок и красные, заплывшие жиром глазки. Шогер кормит Яшку как на убой, и руки у него толстые, как колоды.

Яшка Филер показывает на скамейку. Я ложусь и сам говорю ему:

— Быстрее...

Филер не понимает. Он смотрит на меня, тарачит свои крысиные глазки.

— Быстрее! — говорю я.

Откуда ему знать, этому Филеру, палачу, что я думаю. Он привык бить других, чтобы не били его. Где ему знать...

А я так спешу... Я боюсь, чтобы не увидела Эстер. Ведь она может проходить мимо и увидеть, или Янек может увидеть и потом рассказать, или ее родители могут оказаться поблизости от ворот, где я лежу и палач отсчитывает пять ударов.

— Быстрее, — тороплю я палача.

Он работает на совесть.

Он слишком сыт и думает, что плеть — это самое страшное на свете.

Неправда!

Что такое плеть? Витая кожа снаружи и стальной прут внутри.

Ну и что ж такого? Тоже мне, самое страшное.

Кожа да железо.

Мы возвращаемся с работы.

Сердце стучит, стучит.

Позавчера отняли мой букет, вчера — тоже. Неужели и сегодня?

Сегодня я иду в голове колонны. Мужчины хотят попробовать: может, мне удастся проскочить. Они напиралют с улицы так, что трещат ворота. Мужчины хотят

протолкнуть меня в гетто, хотят, чтобы я прошел со своим букетом.

Часовой орет. Шогер тоже. Он снова у ворот. Мужчины замешкались. Они уже не напирают. Сегодня они распределили по частям два автомата, и кто знает, чем это кончится.

— Ну, — обращается ко мне Шогер. — Теперь ты, надеюсь, стал умнее.

И обшаривает меня до последней нитки.

— Пятнадцать! — орет он и швыряет цветы за ворота.

Но еще не отпускает меня.

— Вот видишь, — с грустью говорит Шогер. — Я хотел бы сыграть с тобой сегодня партию или две, а ты все испортил. Нехорошо... Сидеть ты теперь не сможешь, а стоя — какая же игра?

— Эй, ты! — кричит Шогер палачу, и голос его еще печальнее. — Бей по ногам и спине, чтобы он мог сидеть. Половину по ногам, половину по спине. Что? Не делится пополам? Ладно, пусть будет четырнадцать!.. Нехорошо, очень плохо, — говорит мне Шогер. — Капабланке не приходилось так, сам понимаешь. Однако — закон! Все мы рабы закона.

Я лежу на скамье. Сегодня это слишком долго. Четырнадцать.

— Быстрее, быстрее! — прошу я палача.

Он засучивает рукава.

Колонна проходит. Все в порядке.

Может быть, даже лучше, что меня поймали? Шогер был занят, и остальных уже почти не обыскивали... Может, это в самом деле к лучшему? Ведь до сих пор мужчины обходились без меня, хоть бы раз патрон дали пронести...

...девять, десять, одиннадцать...

— Быстрее, быстрее!..

Колонна уже в гетто. Но люди не расходятся, чего-то ждут.

...тринадцать, четырнадцать. Все!

Если постараться, совсем не трудно встать.

Шогера уже нет, часовые по ту сторону ворот, палач тоже уходит. Ему что — отмахал свое, и гуляй до завтра.

А колонна, распавшаяся, растянувшаяся, ждет.

Я иду — и мужчины идут со мной. Останавливаюсь — и все останавливаются. Мы отходим подальше, за угол

высокого дома, и мужчины обступают меня со всех сторон. Они вынимают что-то из-за пазух, из-под расстегнутых рубашек. Вынимают осторожно, как мотыльков, чтоб не поранить крылышки.

У меня рябит в глазах. Я вижу луг: зеленую скатерть, белые пятна, желтые крапинки.

— Бери, — говорят мужчины. — Бери скорее. Ты думаешь, у нас есть время стоять тут с тобой?

Они дают мне цветы, и я собираю их в букет. Каждый дает всего по одной ромашке, но они такие красивые, крупные и ничуть не помялись. Букет... Большой, мне бы никогда не собрать такого. Никогда.

Я подымаю голову, но мужчин уже нет.

Я стою один, с большим букетом.

Прихожу домой. Ставлю цветы в воду, медленно умываюсь. Надеваю свою голубую рубашку. И снова бреду на другой конец гетто, к большому гладкому порогу.

Лицо Эстер еще бледное, белое и сливается с ромашками.

Мы идем в наш двор.

Мне можно сидеть, и я сажусь на бревно, а Эстер забирается на свой деревянный ящик. Она раскладывает букет: сама в середине, вокруг — цветы.

— Это не я, — говорю я Эстер. — Это все, кто со мной работает. Каждый принес по одной ромашке, и видишь, как много цветов?

Она молча кивает. Когда Эстер встряхивает головой, ее пепельные волосы колышутся, как вода в реке, как спелые хлеба в поле.

Эстер выбирает самый большой цветок, держит его в руках и смотрит на меня.

Почему она так долго смотрит, не притрагиваясь к лепесткам ромашки?

— Мы уже большие? — спрашивает Эстер.

— Конечно, — говорю я.

— Мы почти что взрослые, правда?

— Конечно, правда.

— Ведь нам с тобой уже тридцать три с половиной...

— Нам с тобой уже много лет, конечно. И мы даже можем их сосчитать, — тихо добавляю я, сжимая левую руку.

— Ничего, что я такая бледная?

Я сначала сержусь, но потом отвечаю Эстер так:

— Знаешь, я закрою глаза, а ты делай, что хочешь.

Я делаю вид, что зажмурился, а сам подглядываю сквозь ресницы.

Я вижу, как Эстер наклоняется к цветку, который держит в руке, а затем начинает осторожно обрывать лепестки.

Она обрывает лепестки и что-то нашептывает. Я не слышу, что она шепчет, но все равно знаю. И она, должно быть, догадывается, что я знаю.

Да — нет, да — нет...

Я должен бояться, как бы не вышло «нет».

Эстер, может быть, и вправду боится. Лепестков уже мало, и она обрывает их все медленнее.

Она — возможно... Откуда ей знать?

А я не боюсь.

Она может взять не только самый большой, она может взять любой, может взять все цветы, и все подряд они скажут одно и то же слово.

Да, да, да, да.

Цветы не могут сказать иначе.

Цветы знают.

— Изя... — негромко зовут меня.

Отец.

Мой Авраам Липман.

Он не стал бы мешать без дела. Раз зовет — значит, нужно.

— Сейчас, — говорю я.

С трудом встаю со своего бревна и иду. Я уже вышел со двора, а мои глаза еще там, где мы сидели. Я вижу Эстер. Она бледна, ее голова склонилась. Но это неважно. Она — в середине, а вокруг цветы.

Кто сказал, что цветы запрещены?

Кто может запретить цветы?

## Глава шестая. ПЕРЕД СЕМНАДЦАТЫМ ХОДОМ

### 1

Теперь его голос был резким, а взгляд колючим, как шило. Казалось, он вот-вот пронзит одежду, лицо и грудь, вопьется в самое сердце.

Шогер понял, что напрасно взял пешку.

— У тебя есть девушка?

Исаак вздрогнул. Он уже было поднял руку, чтобы сделать очередной ход, но рука дрожала.

— Я допустил ошибку, — продолжал Шогер. — Нет, не с пешкой.

Исаак молчал.

— Могу объяснить, если ты не понял. Уговор был неполным. Мне следовало добавить... добавить следующее: то, что будет с тобой, будет и с твоей девушкой. У вас одна судьба. Не так ли?

Исаак снова вздрогнул. Исчез шахматный столик, земля скользнула из-под ног, перед глазами зияла пустота — черная, непроглядная.

«У тебя есть девушка?..»

— Твой ход, — сказал Шогер.

«У тебя есть девушка?.. У тебя есть девушка?..»

— Твой ход, — беззвучно повторил Шогер.

Исаак протянул руку и коснулся фигуры.

Пальцы ощутили округлость дерева, привычные, знакомые линии, но только линии были совсем не те — другая фигура, не та, которой он хотел пойти.

Еще не глядя на доску, он снова увидел ее всю, отчетливо, как раньше. Это действительно была другая фигура, окруженная со всех сторон, которую ни в коем случае нельзя было трогать.

## 2

— Я родил дочь Басю, — сказал Авраам Липман.

## 3

По вечерам, когда люди возвращались с работы, Бася переодевалась и выходила из дому. У нее была пунцовая блузка с открытым воротом и темная юбка, короткая, узкая. Она переодевалась и выходила на улицы гетто. Женщины смотрели на нее с упреком и злобой либо с завистью. Одни презирали ее, другие восхищались ею. Люди смотрят на все по-разному и никогда не будут смотреть одинаково. Бася жила так, как ей хотелось. И кто бы мог сказать, правильно это или нет?

Женщинам гетто запрещалось красить губы, но ей, Басе, это не мешало. Ее губы и без того были алыми, как кровь.

Басе исполнилось двадцать.

Она медленно шла, задрвав подбородок и гордо выгнув

точеную шею. Она закладывала руки за спину, так что распахнутый ворот блузки открывался еще глубже, обнажая белую, казалось, еще никем не тронутую девичью грудь. Стройные, длинные ноги Баси слегка пружинили, бедра покачивались в такт шагам, а желтая звездочка на груди смахивала на украшение.

Чего не бывает в мире, где живут мужчины и женщины. Все бывает. Когда вечерние сумерки превращались в ночь, Басю уже не видели на улице. Домой она заявлялась поздно, провожали ее не всегда, но девушка радовалась, что еще один день не пропал зря, и на другой вечер, вернувшись с работы, она опять выходила на улицу, сверкая пунцовой блузкой, открытой белой шеей и довольной, слегка насмешливой улыбкой.

В тот же час из соседнего дома выходил чернобровый семнадцатилетний Рувка. Он шел медленно, вразвалочку. Между ним и Басей всегда было двадцать шагов, ни больше, ни меньше.

Бася знала, что Рувка ходит за ней как пришитый. Первое время было странно, она стеснялась, а затем привыкла. Он был молод, слишком юн еще, и это его дело, если малый ходит за ней как хвост. Расстояние было всегда одно и то же — двадцать шагов, ни больше, ни меньше, и Рувка нисколько не мешал Басе. Она жила своей жизнью, жила так, как считала нужным; она хотела, чтобы ни один день не пропал даром, потому что всю свою жизнь, хотя бы сорок женских лет, ей надо было прожить за год, а может, за полгода или еще меньше. И когда она изредка оборачивалась, чтобы взглянуть на Рувку, она не видела его лица, только кудлатую голову и густые сросшиеся брови во весь лоб. Ей было безразлично, что Рувка бредет за ней, опустив голову и глядя себе под ноги. Позже, когда вечерние сумерки сгустятся в ночь, когда Бася, еще более оживленная, будет идти уже не одна, Рувка замедлит шаг и отстанет, исчезнет.

Глаза у Баси были зеленые и зоркие, как у кошки.

В поздний час, подходя к своему дому, она видела, что кто-то маячит за углом, но был ли то Рувка или кто другой, она не знала.

Рувка исчезал и в тех случаях, когда в гетто появлялся фельдфебель Ганс Розинг, который увлекал Басю в подворотню и принимался горячо убеждать ее, путая немецкие, литовские и еврейские слова.

Рувка исчезал, но Бася знала, что он близко, что он



все слышит и ждет, и достаточно ей крикнуть, как он тут же очутится рядом.

В последние дни Ганс приходил все чаще, и его уговоры становились все настойчивее. Он забыл, что настали иные времена, что гетто — не гимназия, где они когда-то учились, и Ганс Розинг — уже не гимназист, а фельдфебель одного из отделов штаба оперслужбы Альфреда Розенберга.

Вот и сегодня они вышли на улицы, Бася и Рувка, думать свои думы, жить своей жизнью. Они миновали уже третью улицу, и было между ними двадцать шагов, ни больше, ни меньше, и вечерние сумерки густели, переходили в прозрачную темноту летней ночи.

Бася ускорила шаги — ее ждали.

— Постой, — услышала она и остановилась.

Она редко слышала голос Рувки и поэтому удивилась.

— Бася, — сказал он. — Сюда идет Ганс. Может, хочешь скрыться? Он тебя ищет, ты ведь знаешь.

— Ганс? — переспросила она. — Я не собираюсь прятаться. Мне всегда приятно с ним повидаться. Разве ты не заметил?

— Ладно. Как знаешь, — ответил Рувка.

И точно сквозь землю провалился.

Бася оглянулась и не нашла его: будто поговорила с человеком, которого не было. Она увидела коричневую форму и красную повязку на рукаве — фельдфебеля Ганса Розинга.

Ганс подбежал, схватил ее за руку и потянул в поворотню. Он часто дышал, долго не мог перевести дух и ощупывал глазами ее гладкие щеки.

— Ты снова на улице, — сказал он, скрипнув зубами.

— Я снова на улице, — ответила она.

— Ты каждый день... так?

Он спросил, и это было глупо, ибо знал, что услышит в ответ.

— Каждый день, — ответила она.

— Я просил, я ведь так просил тебя, — он опустил голову, и его розовая шея, поросшая мягкими щетинками, напряглась, как у готового боднуть быка.

Он взял и другую ее руку.

Только теперь она почувствовала, что первая все время была в его ладони, и выдержала обе.

— Пусти... — сказала Бася тихо, чтобы не слышал Рувка.

— Ладно, все ерунда, — снова заговорил Ганс. — Я пришел не для того. Я тебя ни в чем не виню и никогда ничем не попрекну. Ты должна понять, что мне трудно. Ты день за днем так... каждый вечер... все время. А я не имею права даже прикоснуться к твоей руке!

Бася улыбнулась своей обычной насмешливой улыбкой и посмотрела Гансу прямо в глаза. Она любила улыбаться, глядя в его расширенные зрачки, где мерцали влажные отблески.

— Не смотри на меня, — вскипел Ганс. — Когда ты так смотришь, я готов тебя убить. Лучше послушай, что я хочу сказать.

— Хорошо, я послушаю. И не буду смотреть на тебя.

Опустив глаза, Бася глядела под ноги и видела булыжники мостовой, неровные, угловатые, истершиеся от времени.

«Камни, камни, они давно лежат, прижавшись друг к другу. И будут лежать так десятки, а может, сотни лет. И век у них долгий, как само время. По ним ходят люди, их бьют копыта лошадей, а они лежат, прильнув друг к другу, не шевелясь, твердые и неподвижные. И только каменщик, человек с железными мускулами и тяжелым молотом, может их разбить, расколоть. Только разбить на куски, но не уничтожить. И новые половинки будут снова лежать, припав друг к дружке, и будут жить вечно, и вечно будут тверды и неподвижны».

Бася думала о камнях. Почему о них? Потому что у нее под ногами были камни? Потому что смотрела в землю? Она сама не знала, почему думала о камнях, да это и не имело значения.

Ганс говорил, размахивая руками, говорил долго, но Бася слышала лишь отдельные слова, и ей было все равно, что он скажет и что она ответит ему. На один и тот же вопрос могла бы ответить и да, и нет, даже не думая.

Она улавливала обрывки фраз:

— Мой отец... он согласен, ведь он не против... Мы договорились с хозяйкой... спрячем тебя в кладовке... Она замурована, там два выхода... никакая собака не найдет... буду приходить каждый вечер... радиоприемник, все, что хочешь... а сожгу твои желтые звезды, ты забудешь, что они когда-то были... Отец устроит... документы будут настоящие, со всеми печатями... через месяц я получу назначение в Италию... жить будем в Риме, потом в Венеции... в Италии не надо скрываться... ты все забудешь... Почему ты молчишь?

— Хорошо, — ответила Бася. — Да...

— Ты будешь итальянкой... Мы сделаем тебе итальянский паспорт... дадим тебе самое красивое итальянское имя... В Риме не нужно прятаться, и мы поженимся.

— Да, — сказала Бася.

Он снова взял ее руки и сжал их своими горячими пальцами, но она не чувствовала, потому что думала о камнях.

— Я знал, что ты согласишься, — говорил Ганс. — Я даже не сомневался. Сегодня еще нельзя. Надо привести в порядок твою новую комнату. А завтра вечером я приду и выведу тебя из гетто. Ты слышишь меня?

— Я слышу.

— Жди меня завтра здесь, в подворотне, в десять вечера. Ты слышишь?

— Слышу.

— Бася...

Она заметила наконец, что ее руки в его руках, и высвободила их. Она подняла голову и усмехнулась, а потом, оставив на губах свою насмешливую улыбку, посмотрела ему, Гансу, прямо в глаза. Она дьявольски любила улыбаться так и смотреть в его расширенные зрачки, где мерцали влажные блики.

Бася острым взглядом окинула его с ног до головы, всего Ганса Розинга. Коричневая форма на нем была гладкой, чистой, отутюженной до последнего шва. От кончика сапог, высоких, лакированных, чеканящих шаг по тротуару, и до блестящего козырька выгнутой фуражки, сидящей точно на месте, ни миллиметром выше или ниже, — эта коричневая форма так ладно облегла тело Ганса, что, казалось, слилась с ним, фельдфебелем оперслужбы при штабе Розенберга. Сейчас его можно было хоть на трибуну выпускать. Будь здесь трибуна, фельдфебель Розинг взлетел бы на нее, скрипя новыми подметками, предстал бы перед публикой во всем своем блеске и великолепии, выбросил вперед руку с красной повязкой и крикнул бы, еще раз крикнул:

«Дамы и господа! Друзья! Вам известно, кто такие евреи? Евреи — наши заклятые враги! Дамы и господа! Друзья!...»

Она опять усмехнулась и уставилась на него своими зелеными глазами.

— Бася... — сказал он. — Бася, не смотри на меня. Когда ты так смотришь...

— Я рада, Ганс, — заговорила она. — Знаешь, Ганс, я очень рада.

— Ну, конечно же...

— погоди, Ганс, — продолжала она. — Ты знаешь, чему я рада? Я очень, очень рада, что не ты был первым мужчиной, которого я почувствовала. Хотя это вполне могло случиться, правда? И ты никогда не станешь тем мужчиной, с которым я буду что-то чувствовать. Ты понял, Ганс?

Фельдфебель Розинг выгнул шею и ударил Басю. Кулаком в лицо.

— Шлюха! — рявкнул он. — Жидовская подстилка! Ты... ты... еще смеешь... — И ударил еще раз, другой рукой.

— Отстань! Уходи отсюда! — тряхнула головой Бася.

Она почувствовала, что возле них вырос кто-то третий.

— Тварь... Потаскуха... — хрипел Ганс Розинг, собираясь снова ударить Басю.

— А ну проваливай! Дуй отсюда! — шагнул к нему Рувка. — Ты слышал, что сказала Бася?

— И ты еще тут... Кто ты такой? Она спит с тобой? Да? Эта шлюха с глазами, как у кошки... Да?

Рувка пригнулся, сжал кулаки и пошел на Ганса. Он приближался к нему и говорил тихо, отчетливо, чтобы Ганс понял:

— Пошел вон отсюда, Розинг. И не хватайся за кобуру, фельдфебель. А не то я свистну друзьям, и от тебя останется только мокрое место, Ганс Розинг.

Ганс отдернул руку от кобуры, пятась, выбрался из подворотни и пустился бежать по тротуару. Он бежал до самых ворот гетто, а там уже кто знает — может быть, пошел шагом.

Рувка тоже хотел уйти. Бася была слишком близко. А его расстояние известно — двадцать шагов, ни ближе, ни дальше.

— Пстой, — сказала Бася и взяла его за руку. Он все еще сжимал кулак, и Бася удивилась, что у него, такого молодого, совсем еще мальчишки, — ему всего лишь семнадцать, — такой большой, грубый, жесткий кулак.

— Ты работаешь вместе со всеми, да?

— Да, — ответил он. — Я работаю со всеми.

— Что ты делаешь? — спросила она. — Ты ремесленник?

— Нет, — ответил он. — Я каменщик.

Теперь ей стало понятно, почему у Рувки такое серое лицо: в его поры въелась каменная пыль. Она двумя руками гладила большой, грубый, жесткий кулак и смотрела себе под ноги, туда, где лежали камни, прижатые друг к другу, камень к камню, твердые и неподвижные. Она вспомнила, как только что думала о камнях и о руках, которые раскалывают эти камни. Было странно, что он, Рувка, такой молодой, дробит камни и что они, даже разбитые, будут лежать веками, долго, как жизнь, а его, Рувку, того, что дробит камни, могут схватить завтра или даже сегодня, заломить руки за спину, бросить в черный автомобиль и увезти в Понары, чтобы убить там эти семнадцать лет, которые еще не знали женщины, не чувствовали ее ласки.

— Рувка, — сказала она. — Идем. Ты хочешь пойти со мной?

Он удивленно посмотрел на нее, и его густые сросшиеся брови поднялись еще выше.

— Я всегда хожу с тобой, — ответил он.

— Нет, — усмехнулась Бася. — Сегодня я никуда больше не пойду. Я не пойду туда, где должна была быть сегодня. Понимаешь?

Он молчал.

Она повела Рувку за руку. Она шла впереди, а он чуть сзади. Он не видел дороги, не знал, куда идет. Он смотрел на Басю и, казалось, впервые так близко видел ее ноги, пружинящие при каждом шаге, ее шею, высокую и теплую, зеленые блестящие глаза и алые, ярко-красные губы. Бася то и дело оборачивалась, и он думал, что хорошо бы купить какую-нибудь дорогую, сверкающую, искрящуюся брошь и приколоть ей на грудь вместо этого привычного украшения — желтой звездочки.

— Идем быстрее, — сказала Бася. — Еще увидит кто-нибудь.

— Пусть видят, — ответил он. — Чего ты боишься?

— Я не боюсь, — усмехнулась Бася. — Чего мне бояться. Может, ты не хочешь идти со мной? Я уже старуха, а ты еще так молод.

— Тебе двадцать, — ответил он.

— Нет, нет! Мне уже тридцать, а может, и все тридцать пять. Ты не знал, что я такая старая?

— Все равно тебе только двадцать. Неважно. Все равно двадцать.

Она опять усмехнулась и сверкнула своими кошачьими глазами.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она.

— Да. Очень, — ответил Рувка.

— Уже близко, — сказала Бася. — Ты знаешь этот дом?

— Нет, не знаю.

— Там, внизу, есть уголок. Там никто еще не был. Иногда я там сижу. Когда мне хочется побыть одной, я прихожу сюда.

Они спустились по кривым ступенькам, толкнули скрипучую дверь.

— Не запнись, — сказала Бася, — и не отпусти мою руку.

Рувка молчал.

— Там, в углу, под окошком, видишь? Там скамейка. Моя скамейка. Проходи, садись.

Они молча сидели рядом.

— Тебе нравится здесь?

— Очень нравится.

— Я же говорю, что здесь никто еще не был.

— Я знаю, — ответил он. — Ты думаешь, я не знаю?

— Правда? — сказала она. — Так что же ты сидишь?

— Не знаю.

— Ты любишь меня, Рувка?

— Люблю.

— Дотронься до меня. Почему ты боишься ко мне притронуться?

Она прижалась к нему, и он неловко обнял ее плечи. Он чувствовал ее теплую шею и боялся шевельнуться. Осторожно потрогал звездочку — украшение и хотел сорвать ее, чтобы приколоть на этом месте брошь, которой не было. Она сама повернулась, крепко обвила руками шею Рувки и поцеловала его в губы. Он чувствовал сладость ее губ и смотрел в ее зеленые глаза, блестящие, как у кошки.

— Обними меня крепче, — сказала она.

— Не хочу, — ответил он и убрал руку.

— Ты не любишь меня?

— Люблю.

— Так что же?..

— Не надо, — проговорил он.

— Не надо?!

— Нет, не надо.

— Но больше я тебе ничего не могу дать. Больше у меня ничего нет, — сказала Бася.

— Неважно. Все равно не надо.

Тогда она обхватила голову руками, уткнулась в колени и заплакала.

Рувка сидел рядом, обняв ее вздрагивающие плечи; он гладил волосы Баси и не утешал ее. Он молчал и только время от времени негромко повторял одну и ту же фразу:

— Не плачь, Бася. Не надо. Никогда не надо плакать.

## Глава седьмая. ХОД СЕМНАДЦАТЫЙ

### 1

— Ну давай, ходи!.. — подгонял Шогер, но Исаак не шевелился.

Рука никак не могла взять эту фигуру, которую нельзя было трогать. Исаак посылал руку вперед, но она по-прежнему сопротивлялась.

Шогер посмеивался, довольный.

— Взятся — ходи, — настаивал он.

«Да», — подумал Исаак и отдал фигуру, которую нельзя было трогать.

«Еще одна такая ошибка, и я действительно должен буду сдать. Я останусь в живых по ошибке... Смешно».

Шогер потирал руки.

— Ты жалеешь? — спросил он. — Напрасно. Сегодня все идет как надо. Ты сам виноват, что научил меня хорошо играть. Рано или поздно я должен выиграть. Ничего не напишешь.

«Я все время думаю о ничьей... Слишком рано. Сперва добейся преимущества, а там будет видно. И сегодня надо стремиться к выигрышу, а потом уже пытаться свети вничью... Я должен все забыть... Нет мира, нет людей, передо мной только белые и черные клетки, деревянные фигуры и Шогер. Надо бороться, чтобы не проиграть...»

### 2

И опять шагаем мы с работы. Дорога не близкая, идти трудно.

Утром — совсем иное дело: дорога та же, но идти легко.

Те, что в первом ряду, стараются замедлить шаг. Это часто им удается, но не всегда. Часовые торопятся домой и хотят, чтоб мы тоже торопились. Они не знают, что вечером дорога длинней, чем утром.

Когда возвращаешься с работы, надо думать, все время думать. Не о работе, не о еде, не о братьях и сестрах, а просто так, о чем-нибудь. Тогда забываешь и дорогу, и усталость, и все неприятности.

Я думаю об Эстер и Янеке.

Рыжий все время мешает мне сегодня. У него, конечно, другое имя, но все зовут его Рыжим. Волосы у него краснее пламени, лицо — как флаг, и розовато просвечивают оттопыренные уши. Длинный как жердь, на две головы выше меня, он шагает впереди, но вдруг оборачивается и оглядывает меня с ног до головы. Мы идем дальше. Спустя некоторое время он снова оборачивается и смотрит.

Рыжий редко разговаривает со мной, только смешит меня иногда. Он ужасно смешной. Рот разинет, оскалит зубы, приставит ладони к оттопыренным ушам и как залает — надорвешься от смеха. Барбос да и только. Настоящий Рыжий.

Я никак не могу понять, чего он все пялится на меня сегодня.

— Не мешай, Рыжий, — говорю я беззвучно, одними губами.

Он понимает и, состроив собачью мину, отворачивается.

— Не сердись на меня, — сказал Янек.

Это было вчера.

— Не сердись, — сказал мне Янек, — что я мешаю тебе и Эстер. Я знаю, вам хочется побыть одним на своем дворе. А я прихожу сюда, сажусь на бревно и мешаю.

— Не выдумывай, — ответил я.

— Я не выдумываю. Но после того как зарыли Мейку, я никак не могу его найти. Здесь много хороших ребят, и ты теперь мой друг. Но не обижайся, даже ты не можешь заменить Мейку. Мне все время не хватает его. А Эстер так похожа на Мейку, как одно лицо, только он парень, а она — девушка. Я не вижу Эстер весь день, поэтому вечером сажусь на бревно, смотрю на нее и вспоминаю Мейку.

— Ты совсем не мешаешь нам, что ты выдумываешь.

— Я знаю, что говорю. Я прошу только, не обижайся. Потому что я все равно буду приходить.



То ли не понимает он, то ли не хочет понимать, но нам еще лучше, когда рядом Янек. Мы тогда ничуть не стесняемся друг друга, можем говорить все, что взбредет на ум, и ждать, пока Янек тоже вставит слово.

Просто не знаю, как его убедить.

Только Янека вряд ли переубедишь, уж если что-то втемяшилось ему в голову.

— Был бы Мейка, — сказал Янек, — он бы что-нибудь придумал. Мы не сидели бы сложа руки. Мы бы знали, что нам делать.

Мне было обидно.

— Не сердись, — закончил Янек, — ты славный малый, но мне все равно не хватает Мейки.

Я мечтаю, что наступит такой день, когда Янек обнимет меня и скажет на ухо:

«Ты совсем как Мейка...»

Что мне сделать, чтобы это случилось на самом деле?

Сегодня вечером я расскажу ему про Хаима. Скажу, что и я мог бы поступить, как Хаим. Может быть, Янек поверит, и тогда... Я не хочу врать, но Янеку тяжело, он не может найти Мейку.

Сегодня вечером расскажу о моем друге Хаиме.

Хаим старше меня на два года. Коренастый, широкоплечий, с орлиным носом, он как живой стоит у меня перед глазами.

Хаим не может жить спокойно, он всюду должен быть первым — и смеяться, и драться. Он вбил себе в голову, что надо взорвать гестапо. Ему говорили, что надо все обдумать, хорошенько подготовиться и действовать сообща, выбрав удобный момент. Но Хаим только смеялся.

— Ждать? — говорил он. — Спасибо на добром слове. Я только и делаю, что жду. Я жду всю жизнь. Мне надоело ждать.

Однажды, когда мы работали за городом на складах, пригнали состав с боеприпасами. Хаим подкрался к последнему вагону, откусил пломбу и забрался внутрь. Он вылез оттуда, весь разбухший от напиханных под одежду толовых шашек. Думал, что никто ничего не видит, и хотел снова прицепить пломбу.

Но немцы увидели и стали окружать Хаима. Он заметил их слишком поздно и заскакал по рельсам, по кочкам, а потом пустился бежать по голому полю.

Тогда немцы начали стрелять.

Они не убили Хаима.

Его взяли живьем, привезли в тюремный лазарет. Шогер навещал Хаима каждый день. Лучшие врачи старались, чтобы Хаим поправился. И он действительно шел на поправку, а Шогер гладил его влажные волосы и просил об одном:

— Скажи, Хаим, кому нес взрывчатку?

Хаим все молчал и молчал.

Шогер был терпелив, он приходил изо дня в день.

— Скажи, Хаим, кому нес, и тут же вернешься в гетто.

Однажды Хаим не выдержал и сказал.

— Вам нес, — сказал он. — Неужели вы такие дураки, что не можете понять? И если я вернусь в гетто, я опять понесу. И опять вам. Наши приближаются, Шогер... Я хочу вас всех взорвать, чтобы наши пришли еще скорее. Мы разнесем ограду гетто, а тебя вздернем на перекладине ворот.

Все это рассказала нам сестра, литовка. Она заходила вчера в больницу гетто.

Да, вечером я непременно расскажу Янеку про моего друга Хаима. Я скажу, что мог бы сделать то же самое. Янек должен поверить, потому что ему очень трудно, он до сих пор не может найти своего Мейку.

Я хочу, чтобы Янек нашел друга.

Рыжий снова мешает мне. Он опять оборачивается и оглядывает меня с головы до ног. Что ему нужно, этому Рыжему, никак не могу понять. Раньше он почти не разговаривал со мной, разве что иногда. Теперь обращается ко мне довольно часто. С того дня, как принесли в гетто цветы. Чего он хочет?

Я думаю об Эстер.

Как только вернусь домой, сразу умоюсь, надену голубую свою рубашку и побегу к каменному порогу, большому, гладкому. Сидя на том пороге, слышишь все, что творится в доме, малейший звук. Стукнет дверь, скрипнут старые деревянные ступеньки, зашуршат шаги...

Мы пойдем на наш двор.

Там, на дворе, мы натаскали земли в большой деревянный ящик и полили ее. Эстер взяла горстку ромашек, воткнула в землю. И вырос чудесный сад — белые лепестки, желтые крапинки. Неужели Эстер думает, что сорванные ромашки могут прижиться в этом ящике?.. Я

ничего не говорил, хоть и знал, что назавтра мы придем и найдем здесь только вялые стебли.

Я не мог спорить с Эстер, если ей захотелось сад в ящике.

Даже когда цветы увянут, все равно еще можно обрывать лепестки. Да — нет, да — нет, да.

Все ромашки должны сказать одно и то же.

Иначе быть не может.

Рыжий смотрит на меня.

Теперь это мне уже не мешает. Мы в гетто, только что миновали ворота. Сейчас забегу домой, умоюсь, надену хорошую рубашку и отправлюсь к каменному порогу.

— Изя, — тихо зовет меня Рыжий и крепко берет за руку. — Идем со мной, — говорит он.

Говорит очень таинственно, я не понимаю, какие важные дела могут быть у Рыжего со мной. Он гораздо старше меня, и мы с ним вовсе не друзья-приятели.

Мы останавливаемся за тем самым домом, где мужчины давали мне цветы, каждый по цветку. Рыжий прислоняется к стене, вытягивает свою длинную руку и принимается вертеть пуговицу моей куртки.

Я жду.

— Я говорил с твоим отцом, а теперь хочу потолковать с тобой.

Так говорит Рыжий, и по его непривычно серьезному виду я начинаю догадываться, о чем речь.

— Изя, ты знаешь, что в гетто есть организация?

— Знаю.

— Ты знаешь, Изя, что нам нужно?

— Не знаю... Наверно, оружие.

— Это само собой. Но прежде всего нужны бойцы.

Сердце подскакивает к горлу, я чувствую, как холодеют кончики моих пальцев. Я давно ждал, что со мной заговорят об этом, но не думал, что это сделает Рыжий.

— Слушай, Рыжий, — отвечаю я, глубоко вздохнув. — Неужели ты думаешь, я не понимаю таких простых вещей.

Я замолкаю и жду, что будет дальше.

Рыжий чуть улыбается.

Ужасно смешной он, этот Рыжий. Когда улыбается вот так, ему остается только усы приделать, и будет вылитый кот. Вот-вот, кажется, приоткроет пасть и мяукнет.

— Я так и думал, что ты все понимаешь, — говорит

Рыжий и добавляет: — Организация разбита на тройки. Надо полагать, что и вас будет не меньше.

— Да... Да! Нас как раз трое. Янек, Эстер и я.

— Видишь, как все удачно! — радуется Рыжий. — Один из вас будет старший, командир, так сказать. Подумай. Кто будет командир?

Я думаю. Наверно, думаю слишком долго, потому что Рыжий, который стоит, прислонясь к стене и по-петушиному поджав ногу, успевает переступить раз, потом еще раз. Я понимаю, что больше тянуть нельзя, и говорю:

— Командиром будет Янек. Хорошо?

— Хорошо.

— Ты знаешь Янека?

— Знаю. Хорошо.

Рыжий провожает меня до самого дома.

— Ты знаешь, где я живу? — спрашивает он.

— Знаю.

— Приходите все трое через полчаса. Приступим к занятиям.

Рыжий уходит.

Я подбегаю к двери. Сегодня надо особенно торопиться. Я только умоюсь, надену голубую рубашку и помчусь к каменному порогу. Я схвачу Эстер за руку, позову Янека. Я расскажу им, и они запляшут от радости. Ой, как они будут радоваться!

Я не стану рассказывать Янеку про моего друга Хаима.

Зачем? Все равно ведь Хаим — это не я.

Разве я бы решился на такое, как Хаим?

Не знаю...

Я не буду рассказывать о Хаиме. Зачем?

Теперь мы — тройка.

Т р о й к а !

— Изя... Изя! — слышу я голос, который вот уж не думал услышать здесь.

— Эстер? Бузя? Откуда ты взялась?

Мы стоим в коридоре, на лестнице.

Оказывается, Эстер ждала меня.

Свет здесь тусклый, но я вижу, что глаза у нее красные. Она припала ко мне, прижала голову к моей груди. Ее пепельные волосы щекочут мне щеки, и я боюсь шевельнуться.

Эстер плачет и говорит очень тихо:

— Изя... Янека увезли. Сегодня похватали много мужчин и Янека тоже.

Я стою окаменев; холодные, темные ступени прыгают у меня перед глазами.

Я трясу Эстер за плечи.

До крови закусываю губы.

Нет!

Этого не может быть!

Янека не увезли...

Могли увезти меня, могли увезти Эстер, но только не Янека. Янека нельзя увезти, потому что он — Янек. Он искал Мейку. Он говорил, что город — то же гетто, только без ограды. Он...

— Увезли... Нет больше Янека. Я давно уже здесь, все никак не дождусь тебя.

— Не плачь, Эстер. Янека не могли увезти.

Так говорю я ей, хоть и сам начинаю понимать, что говорю ерунду, что Янека вправду увезли и мне нечем утешить ни ее, ни себя.

— Вот увидишь, мы найдем Янека.

Так говорю я ей и себе.

— Правда? Мы будем искать?

— Будем искать. А как же иначе? Янек сам нашел желтую звезду... Он мог остаться на той стороне, но он пришел, чтобы найти своего друга. Мы не можем сидеть и ждать... Мы должны найти Янека.

— Мы вместе пойдем искать, да, Изя?

— Да, вместе.

— И найдем его, правда, Изя? Мы обязаны найти.

— Мы найдем.

— Изя... А если... если их завезли в Понары?

— Нет... Янека нельзя завезти в Понары. Он сбежит, мужчины выбросят его, люди не позволят свезти Янека в Понары. Ведь он же Янек!

— Почему вас двое? — спрашивает Рыжий.

Он ждал нас.

Мы молчим.

— Где третий? — спрашивает Рыжий.

— Нас трое. Это только кажется, что нас двое, — говорю я ему.

Рыжий моргает. Ресницы у него белые, и глаза от этого кажутся удивленными.

— Я не вижу Янека, — говорит Рыжий.

Тогда Эстер не выдерживает.

— Его увезли сегодня... — говорит она, опустив голову.

— Плохо дело, — опускает голову и Рыжий. — Но

тройка есть тройка. Нужен еще один, и придется вам поискать себе третьего.

— Нет, — твержу я Рыжему, — нас трое, это только кажется, что нас двое. Янек с нами и сейчас, и всегда.

— Все равно нужен третий, — стоит он на своем. — Тройка есть тройка...

— Нет! — в один голос кричим мы с Эстер. — Нас трое!

— Я сказал тебе, что Янек наш командир, так и будет, — со злостью говорю я и сверлю Рыжего глазами.

Если бы я умел, то приставил бы ладони к ушам, скривил рот, оскалил зубы и залаял, как это делает Рыжий. Только не смешно, а злобно, чтобы взбесить его.

Рыжий стоит, о чем-то думает.

— Ладно, — говорит он. — Мне показалось, что вас двое.

Он ведет нас в подвалы, вглубь. Мы протискиваемся в какие-то щели, пробираемся через развалины домов и наконец попадаем в тесную каморку. Здесь стоит невысокий столик, на стене — грифельная доска.

Рыжий достает откуда-то два автомата. Один — русский, другой — немецкий.

— Начнем... — медленно говорит он. — Вы трое, — Янек, Эстер и Изя, — боевая тройка, — говорит Рыжий.

И мне в самом деле кажется, что нас трое, что Янек с нами.

— Наша задача — в случае необходимости защищать гетто и вывести в лес как можно больше людей. Каждая тройка имеет свой пост в гетто. Слушайте и хорошенько запомните: если услышите пароль «начало», немедленно занимайте свой пост. Где он находится, я скажу потом. «Начало»... Запомнили?

Мы слушаем и, конечно же, мы запоминаем.

Эстер берет меня за руку, но не сводит глаз с Рыжего.

— Вы теперь — боевая тройка, — повторяет Рыжий. Он хочет, чтобы мы запомнили, кто мы.

— Вы — боевая тройка.

Мы помним.

Рыжий называет каждого из нас по имени, и мне вправду кажется, что мы все здесь — Янек, Эстер и я.

— Можно и отдохнуть теперь, — сказал Шогер. — Сделаем перерыв.

Борьба на шахматном поле ненадолго замерла. Исаак остался сидеть на своем месте, а Шогер встал и зашагал по кругу, заложив руки за спину и глядя себе под ноги.

Шаги были крупными, пожалуй, даже слишком крупными, но по-солдатски уверенными.

Толпа, со всех сторон обступившая игроков, раздалась, круг расширился и стал похож на арену унылого цирка с неведомым злым фокусником посередине. Смотришь, следишь за ним, не спуская глаз, но так и не можешь угадать, когда махнет он своей черной блестящей палочкой. То ли ворон, каркнув, выпорхнет из его рукава, то ли человек повиснет в воздухе, не касаясь земли, то ли столб огня — настоящее пламя — пыхнет из его открытого рта, шевелящихся ушей и ноздрей.

«Мне тоже можно отдохнуть? — спрашивал себя Исаак. — Вспомнить что-либо, подумать о чем-либо другом... Наверное, нет. Отдохну потом. Придет же когда-нибудь конец этой игре. Наступит ночь, часы пробьют двенадцать... Я должен все забыть. Нет ни домов, ни людей вокруг, передо мной — шахматная доска и фигуры. Я должен выиграть, чтобы свести вничью...»

Шогер расхаживал по кругу слишком крупными, по-солдатски твердыми шагами.

— Достаточно? — вскоре спросил он.

Исаак молчал.

— Продолжим.

Исаак смотрел на Шогера и думал:

«Его кованые сапоги бьют по мостовой. Если б уже стемнело, наверняка бы можно было увидеть, как летят искры. Их пришлось бы гасить. Мне хочется стать индейцем и содрать с него скаल्प, с этого злого фокусника с волшебной палочкой... Он не может победить... Я не должен дать ему выиграть».

— Я родил сына Касриэла, — сказал Авраам Липман.

Ночь как ночь — темно. Правда, зимой по ночам еще темнее. Вернее, не зимой, а осенью, когда все вокруг черно. Черные крыши, черная земля, черное небо, набрякшее чернилами. Интересно, каково тогда человеку, у которого и душа черна, как ночь?

Я, кажется, знаю, каково в такую ночь человеку с черной, как ночь, душой. Он может, не моргнув глазом, пройти весь мир, ему все нипочем: человек сольется с темной краской мира и не увидит ни мира, ни себя. Нет разницы. Все одним цветом. И ничего не различить: ни души, ни неба, ни черных крыш. Bravo!

Но сейчас летняя ночь. Она смутно просвечивает, как синевато-серое стекло. Если хочешь, чтобы стало темнее, достаточно прищуриться. Человеческий глаз замечательный прибор. Его можно прикрыть или приоткрыть, а можно и вовсе закрыть. Ах, какой размах — от пиано-пианиссимо до форте-фортиссимо! Такой диапазон! Разве этого мало?

Светит месяц, и масса звезд. Месяц ворочается с боку на бок, ложится поудобнее. Что ему — вечная игра: с одного бока убыло, с другого прибыло; кувыркайся на здоровье, не поморщив своего широкого азиатского носа. Собственно говоря, что ему морщиться: насморк не страшен, платок не требуется.

А звезды — звезды, будто иглы, так и колют глаза. Хоть убей, не светят одним цветом: красные, зеленые, синие, золотые, а есть такие, что и вовсе не разберешь, какого цвета.

Но можно и с ними разделаться. Надо просто закрыть глаза. Раз! — и готово: ни звезд, ни месяца. Ни фига!

Со мной не очень-то поспоришь, хотя мне так и не довелось закончить университет. Я даже сам с собой не в силах спорить.

Вот я зажмурился, и все исчезло, и теперь я могу сказать: ничего на свете нет, весь мир — иллюзия. Что хочу, то и вижу. Кто сказал, что ночь черна, что светит месяц? Я говорю вам, что ночь бела, как день, а месяца и вовсе нет — просто какое-то никчемное пятно. Но если черная ночь — это белый день и месяц — банальный желтый блин, то и я не живое существо по имени человек; а животное, именующее себя сверхчеловеком.

Да, я, Касриэл Липман, сверхчеловек.

В гетто тихо. Люди спят, отдыхают, стонут или кри-



чат во сне — они знают, что со светом снова потянутся пыльной дорогой в рабочий лагерь, и не знают, что сулит им завтрашний день: ведь гетто могут взорвать, могут всех увезти в Понары... Может быть, люди стонут или кричат во сне, а может, судорожно обнимают друг друга, желая продолжить род. Я не слышу, не вижу их. Это серая пыль, скотинка, а я — сверхчеловек, и что хочу, то и делаю.

Я медленно иду по тихим улицам гетто. Иду к железной калитке, запершей узкий проход между домами. Я постучу в нее пять раз, потом — шестой. Часовой откроет и проводит меня к Шогеру. Шогер ждет не дожидается, когда я пожалую к нему. Как равному предложит мне сбросить куртку с желтыми звездами, пригласит за стол. Шогер дружески потреплет меня по плечу и скажет:

— Садись, Касриэл, ешь! О делах потом — куда спешить?

На круглом низком столике — французский коньяк, чешское пиво и русская водка. В соседней комнате — красавица полька с клеймом на бедре (чтоб не сбежала), красотка из дома «Nur für deutsche Offiziere».

Шогер удовлетворенно потрет ладони, и глаза его — серые, с красными прожилками — блеснут, как дорогие камни, два грубо подделанных, фальшивых камня.

Понурился, я бреду по спящим улицам к узкой калитке. Я — сверхчеловек, ибо черная ночь белее дня и луна — кривляющийся блин. Я, сверхчеловек, должен подойти к железной калитке и постучать, чтобы она открылась.

Со мной не очень-то поспоришь, хоть я так и не кончил университет.

Я читал не только Ницше. Я читал Шопенгауэра и Спинозу, писания апостолов и Фрейда, читал Ветхий завет и Карла Маркса. Маркс говорил: нам нечего терять, кроме своих цепей! Оно конечно, у кого нет ничего, тот потерять уже не может. Я мог бы дополнить этого Спинозу Карла. И я дополняю его. Он говорил о каком-то шаге, который важнее, чем что-то там еще, и мои друзья, мои братья и сестры хотят сделать этот шаг: они готовят восстание, готовятся уйти в партизаны — люди на все готовы. Каждый день, возвращаясь с работы, они проносят в гетто оружие, патроны. Сам Шогер не может их накрыть, не может добраться до тайников. Тут-то я и дополню Карла Маркса. Я иду к Шогеру, он ждет не до-

ждется меня. Я знаю, кто приносит оружие, знаю, где его прячут.

Черная ночь для меня бела как день. В один из таких черных дней Шогер выгребет оружие из всех тайников и поставит к стенке тех, кто норовил пристать к этому спинозе Карлу Марксу. Мне что? Я ничего не увижу, ничего не услышу. Значит, ничего и не было. Буду сидеть за круглым столиком, дуть русскую водку, потягивать французский коньяк, хлебать чешское пиво и лапать польскую красотку с клейменым бедром.

Шогер не идиот. Ха! Он знал, кого ему выбрать. Он прочел мои мысли, как раскрытую книгу. Выбери он моего отца, выбери кого-нибудь из сестер или даже мальчишку Исаака, он получил бы фигу. Он может рубить их на мелкие кусочки, как рубит мясник убоину, и все равно ответом будет молчание, только молчание, которое ни я и никто другой не назовет иначе. Шогер умный человек. Он выбрал меня.

Я иду по тихим, сонным улочкам гетто, тем самым улочкам, по которым шел ровно неделю назад. Круглый столик был накрыт. И Шогер был сама любезность.

— Садись, Касриэл, ешь, — сказал он дружески.

— Я сыт, спасибо, — ответил я.

— Садись, Касриэл, пей.

— Спасибо, не пью.

— Не будь дураком, Касриэл, и подойди сюда. Положи-ка руку на стол. Вот так, ладонью вниз. Теперь смотри на меня.

Он вынул из кобуры вороненый браунинг.

— Не бойся, не убью.

Он взял браунинг за ствол и больно ударил тупой рукояткой по моему мизинцу, по самому ногтю. Снова поднял браунинг и ударил по другому пальцу, потом еще и еще. Бил только по ногтям. Он мастерски делал свое дело: не содрал ни кусочка кожи с пальцев.

— Садись, Касриэл, ешь, чего уж там, — сказал он дружески.

И я сел и начал есть.

Я ел долго, с трудом запихивая в себя каждый кусок.

Шогер сидел напротив и меланхолически качал головой.

— Видишь, я знал, что ты голоден.

Когда я вытер руки, он тихо сказал:

— Теперь выпей. Для начала, пожалуй, водки, а? Люблю русскую водку.

— Спасибо, я не пью.

Шогер был обижен:

— Что же ты так? Ну ладно, давай руку.

Я протянул другую руку и положил на стол, ладонью вниз.

Шогер был удивлен.

— Касриэл! — воскликнул он. — Ты хочешь искалечить себе вторую руку? Нет, я этого не допущу. Давай первую, ту, что уже была. Ей все равно.

Я поднял другую руку, ту, что уже была, и положил на стол. Шогер стукнул браунингом. Удар пришелся по столу; жалобно зазвенели тарелки, бутылки, рюмки, но Шогер не рассердился, что я отдернул руку с посиневшими ногтями. Я держал в ней рюмку русской водки.

— Видишь, Касриэл, я знал, что ты хочешь пить, — сказал он.

Потом я прихлебывал коньяк, завезенный из Шампани, цедил пиво, доставленное из Пильзена.

— Ядзя! — крикнул Шогер. — Ядзя!..

Из соседней комнаты вышла Ядзя, стройная красавица полька с распущенными волосами.

— Ты видишь? — сказал мне Шогер. — Это Ядзя. Чудная девушка. Правда, Ядзя?

Она улыбнулась, показав ровные перламутровые зубы.

— А теперь выйди, Ядзя.

Она вышла.

— Оставим ее на следующий раз. Хорошо, Касриэл?

— Хорошо, — ответил я.

— Ну что ж, по рукам! — сказал Шогер. — Между прочим, могу показать тебе снимки. Хочешь? Ты увидишь руки с отрубленными пальцами. Ты увидишь там...

— Не надо снимков, — ответил я и выпил залпом еще три стопки русской.

Шогер был доволен:

— Я знал, что мы договоримся.

Да, мы договорились встретиться через неделю.

И вот я иду.

Медленно, понурив голову, иду я по тихим, спящим улочкам. Я подойду к железной калитке, зажатой между двумя домами, постучу пять раз, потом — шестой, мне откроют, и часовой проводит меня к Шогеру.

Шогер ждет. Он ждет не дождется. На круглом столике — русская водка, французский коньяк и чешское

пиво, а в соседней комнате — красotka Ядзя с клеймом на бедре, чудная девушка.

Я знаю все. Знаю, кто приносит оружие и где его прячут. Я все узнал за эту неделю. Мне и раньше было известно кое-что, и Шогер назначил слишком долгий срок. Ха! Глупец! Зачем он дал мне столько времени? Он мог тогда еще, в первый раз, не кормить, не поить меня, а просто-напросто отрубить мне пару пальцев, и я бы выложил все. Болван! Думает, если он ничего не знает, то и другим неизвестно. Впрочем, вряд ли дошло бы до второго пальца, пожалуй, и одного бы хватило.

Тогда, в первый раз, он сглупил, Адольф Шогер. Но теперь он спокоен. Он, правда, ждет не дождется, хотя абсолютно уверен, что я приду, постучу пять раз, потом шестой и предстану перед ним.

Шогер умен.

Я действительно иду.

Я иду так долго, что мне давно уже опостылел месяц, кособокий желтый блин, и мириады колючих звезд, пестрых иголок, отливающих всеми цветами радуги. Я устал и хотел бы отдохнуть.

Там, за домом, есть заросший крапивой ход, заваленный старым барахлом, — мое тихое пристанище. Никто еще не набрел на него. Можно сидеть там целый день или ночь напролет, можно думать об иллюзорности мира и о всяких спинозах.

Нигде в мире не отдохнется лучше, чем в том сводчатом погребке, в который ведет заваленный рухлядью ход.

Там можно поразмыслить о чем угодно — о скотине, именуемой человеком, и о человеке, чье имя — скот.

Мне надо отдохнуть. К железной калитке все равно не пройти. Где-то там, прижавшись к стене, стоит Авраам Липман, стоит и ждет сына. Он стоит, не смыкая глаз, его старые уши ловят каждый шорох. Он стоит как статуя и ждет меня, Касриэла.

Что скажет отец своему сыну? Что может сказать своему сыну Авраам Липман, если сын его — сверхчеловек и боится, что ему отрубят палец.

Отец знает, что я иду, и знает куда.

Совсем недавно был у нас разговор, короткий разговор, который можно передать в двух словах.

Было так...

Но сперва — отдохнуть, я должен присесть, закурить. Там, в погребке, есть сигарета, есть свеча и спички, есть подходящий чурбан.

Я пробираюсь в свой погреб, зажигаю свечу; я сажусь и закуриваю. Да, теперь мне хорошо, я отдыхаю. Ни месяца, ни звезд. Мерцает огонек свечи, тусклый огонек, и отбрасывает на стены мою тень, гигантскую, непомерную тень сверхчеловека.

Я не засижусь. Докурю свою сигарету — и дальше.

— Отец, — сказал я моему Аврааму Липману. — Отец, скажи ребятам, чтобы перепрятали оружие. И пусть сами спрячутся, все, кто пронесит оружие. Через шесть ночей я пойду к Шогеру, он станет рубить мне пальцы, и я все расскажу.

— Касриэл, — сказал отец, — сын мой, ты понимаешь, что ты говоришь?

— Я понимаю, что говорю. Если хочешь, могу повторить.

— Ты же знаешь, что оружие спрятано в самых надежных тайниках и других таких не найти, а людей, которые пронесли его, столько, что им некуда спрятаться.

— Я знаю, но меня будут пытаться, и я все скажу. Смотри сам, отец.

— Ведь я тоже пронесил оружие, пронесли твой брат и сестры.

— Я знаю, отец, но я все скажу.

— Я — Авраам Липман! — сказал он.

— Хорошо, я могу повторить. Я все скажу, Авраам Липман. Я ничего не могу сделать.

— Слушай, Касриэл, — сказал Авраам Липман. — Ты можешь сделать. Я родил тебя, я мог бы тебя и убить. Но я уже стар, и ты должен мне помочь. Ты понял?

Я усмехнулся. Да и как тут было не засмеяться?

— Конечно, понял, Авраам Липман, — сказал я.

Вот и весь разговор.

Ну, как не смеяться? Я и сейчас смеюсь. Авраам Липман, бедный многодетный портной с Калварийского рынка, чьи пальцы исколоты иглой, как небо звездами, который каждую субботу, накинув талес, не спеша идет в синагогу, этот самый Авраам Липман одним махом разделался со всеми ницше и спинозами, сказав последнее слово.

Хватит отдыхать. Окурок жжет пальцы, губы. Пора. Не забыть погасить свечу.

Шогер заждался. Он ведь знает, что я приду. Наверно, с вечера приготовил круглый столик с русской водкой, французским коньяком, чешским пивом и польской

Ядзей. Шогер — умница. Он догадался выбрать меня, а не моего отца, брата или сестру.

Сейчас-сейчас, до железной калитки рукой подать. Я оттолкну с дороги отца. Постучу пять раз, потом шестой, часовой откроет калитку, проведит меня к Шогеру и откроет мир, в котором черная ночь белее дня. Прихватить бы с собой еще этот косой блин и мириады пестрых игл.

Как ни умен Адольф Шогер, а сваял дурака, дав мне столько времени. Неделя — это семь дней. За семь дней Господь сотворил мир. А Касриэл отыскал себе погреб, о котором никто не знает, вделал крюк в потолок и свил из тонких бечевек толстую веревку. Веревка прикреплена надежно, петля висит над головой. Я подставляю чурбан. Петля в самый раз, и веревка не трет шею — своя работа.

Окурок затоптан.

Свеча...

Я гашу свечу.

Будьте здоровы, люди, чье имя — скот.

Будь здоров, Авраам Липман, мой старый отец.

Я отдохнул, задул свечу. Пора. Меня ждет настоящая жизнь, ждет целый мир — русская водка, французский коньяк, чешское пиво и красotka Я...

## Глава девятая. ХОД ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

### 1

Белые отдали фигуру за лишнюю пешку.

Шогер молчал.

Он пытался сдерживать натиск белых и сам подготовиться к атаке.

Белые с трудом прикрывали королевский фланг, но продолжали упорно атаковать.

Круг снова стал уже. Люди придвинулись к столу.

Теперь их взгляды не мешали, не кололи, как иглы.

«Я не боюсь смотреть на людей. Они уже не мешают мне. Почему?»

Хорошо, что я не один, что вокруг много людей.

Хорошо, когда вокруг люди».

### 2

Мы стоим перед моим отцом. Эстер и я. Мы долго спрашиваем его, но он и слышать не хочет.

— Я не могу отпустить вас, — говорит он.

— Можешь.

Это говорю я.

— Вы еще дети, сгинете в два счета.

— Ты просто не хочешь...

— Сын мой, как же я могу хотеть этого?

Эстер молчит, она не смеет спорить с Авраамом Липманом.

— Ты ведь знаешь, что мы составили новую тройку, знаешь?

— Знаю.

— Для тройки мы не дети? Нет?

— Для тройки — не дети.

— Видишь... — говорю я. — Но третьего нет.

— Мне очень жаль, что его нет.

Так говорит отец. Я знаю, ему действительно жаль. И не только Янека. Но он все равно не хочет нас отпустить: кто знает, удалось ли мужчинам вызволить Янека? Жив ли он?.. А если и жив, кто знает, где его искать. Попробуй найди Янека.

— Да, — говорит отец. — И добавляет: — Их повезли в сторону Понар.

— Значит, Янек жив, — отвечаю я. — Подумай, папа... Разве мужчины допустят, чтобы Янека увезли в Понары? Он убежит, его сбросят... Даже раненого, даже мертвого. Люди не дадут увезти его в Понары. Ты сам понимаешь, его нельзя увезти, он — Янек!

Отец молчит, нагнувши голову. Он понимает, но молчит.

— Ты же знаешь... — говорю я ему. — Ты все понимаешь... Мы должны искать Янека.

— Хорошо...

Так говорит отец и задумчиво гладит волосы Эстер. Глаза у него глубокие, поблекшие, и множество мелких складок вокруг. Я уже сам не знаю, стар ли, нет ли мой отец, но морщин вокруг его глаз очень много.

Я знал, что только мой отец может нам помочь. Ему известны разные способы выбраться из гетто так, чтобы никто не заметил, спрятаться так, чтоб никто не нашел тебя. Он знает все гетто как свои пять пальцев, исколотых портновской иглой, я даже удивляюсь, что человек может знать так много. Наверное, лишь тогда начинаешь столько знать, когда к глазам сбегаются строчки морщин.

— Хорошо... — повторяет отец. — Один день ты не

выйдешь на работу. Я скажу, что ты болен. Но договорились — только день.

— Достаточно, — говорю я отцу, — нам хватит даже полдня, увидишь.

Отец печально улыбается.

— Будет ли кто счастливее меня, когда я снова увижу вас всех? Как вы думаете?

Он смотрит попеременно на нас обоих, то на Эстер, то на меня. Я знаю, о чем он думает, и опускаю глаза. Зачем это, отец? Зачем объяснять, Авраам Липман...

— Завтра утром, — говорит отец, — в гетто придет военный грузовик за дровами. Шофер вывезет вас за город, а там — ищите. Обрато будете добираться своим ходом. Не забудьте спороть звезды. И иголку с ниткой не забудьте. Только берегите себя, ради Бога...

Отец еще долго объясняет, как нам держаться, где искать и когда идти обратно.

Мы знаем, где искать. Я только одного не понимаю.

— Грузовик действительно военный? — спрашиваю я.

— Военный.

— А шофер?

— Тоже военный.

— Немец?

— Немец, а что?

— Не понимаю, почему он должен нас везти...

— Хм! — усмехается отец. — Разве немец не может водить машину?

— Н-н-не-е...

— Видишь ли, — говорит отец, — немец-то он немец, только иной немножко. Теперь ты доволен?

— Гм... Доволен.

Наконец и утро.

Приезжает крытый армейский грузовик.

Его нагружают сухими дровами и оставляют для нас крохотную щель. Мы забиваемся туда. Немец, злой и хмурый, с лязгом захлопывает дверцы. Даже не разговаривает с нами.

В кузове темно. Тихо, мотор еще не заработал. Мы слышим собственное дыханье, поленья пахнут смолой и давят со всех сторон, а по временам откуда-то издалека доносится сквозь тонкий борт чей-то голос.

Включается мотор, машину начинает трясти.

Едем!

Мы всем телом ощущаем неровные булыжники мос-



товой и дрова, которые напирают со всех боков. Мы не замечаем, что сидим прижавшись, плечо к плечу, щека к щеке.

О чем сейчас думает Эстер?

Я думаю о том, что боязно ехать в полной тьме, сидя в немецком грузовике, ощущая всем телом бульжники мостовой, когда шофер — немец и поленья давят со всех сторон, летят на голову, а дверцы машины заперты снаружи. Мы едем и молчим. Молчим, вероятно, потому, что нету Янека и надо его найти. Если бы не это, я ни за что на свете не полез бы в темный, наглухо закрытый немецкий автомобиль, где своими ушами слышишь, как снаружи с лязгом запирают дверцы, скреживая металл с металлом.

— Эстер, о чем ты думаешь?

— Я рада... Мы едем, а Янек и знать не знает, что мы на пути к нему.

Мне стыдно.

Эстер думает о Янеке.

Почему же я прежде всего подумал о крошечной тьме, а потом уже о нем?

Янек был прав, когда сказал мне:

«Не сердись, Изя... Ты не сердись? Не сердись, но я никак не могу найти Мейку. Ты — хороший товарищ, но Мейки все равно нет...»

Машина останавливается.

Скрежещет железный засов.

— Выходите, — говорит солдат по-немецки.

Мы вылезаем. Немец ждет. Он мог бы захлопнуть дверцы, сесть в машину и ехать дальше.

Что он стоит? Чего он ждет?

— Мы уже за городом, — продолжает немец. — В городе точно нету вашего Янека. Если найдется, то здесь. Видите тот лес? Дальше не заходить ни в коем случае. Там Янека тоже нет. Там начинаются Понары.

— Хорошо, — отвечаю я. — Мы не пойдем туда. Янека там нет, он должен быть где-то здесь, поблизости.

Солдат все еще стоит.

— Обратно пойдете той же дорогой, — говорит он, — а потом прямо по улице. У костела свернете вправо, затем четвертая улица налево. Спуститесь вниз и ждите в подворотне. Этой улицей ваши возвращаются с работы, и там уже близко гетто.

— Я знаю.

Немец удовлетворенно кивает.

Он все еще стоит, не спешит захлопнуть дверцы, сесть в кабину и уехать.

Мне как-то неловко разговаривать с ним. Со мною говорит только один немец, Шогер, когда мы играем в шахматы. Мне трудно освоиться с тем, что передо мной совсем иной немец и разговор иной.

Он уже немолод, этот немец. Большие руки, грубые пальцы. Он небрит, на щеках, подбородке и под носом редкая желтая щетина. Глаза серые, усталые и множество морщинок вокруг, только его морщины не такие, как у моего отца. Он, конечно, моложе моего Авраама Липмана.

Немец еще долго разглядывает Эстер, а я — тяжелую руку и зеленый выгоревший на солнце обшлаг солдатского кителя, лежащий на моем плече.

— Она еще девочка, а ты — мужчина, — улыбается шофер. — И ты в первую голову должен помнить, что осторожность — не позор.

Последние слова он произносит по-литовски, забавно путая ударения. Мне становится смешно, и я улыбаюсь.

Он прикладывает руку к фуражке, захлопывает дверцы кузова, садится за руль и разворачивается обратно в город.

Он приоткрывает дверцу кабины и кричит, старясь перекрыть шум мотора:

— Я приехал бы вечером за вами, но не могу. Никак не могу!

Мы с Эстер машем ему вслед, сами не понимая, почему мы желаем доброго пути немецкому солдату.

По обе стороны шоссе тянутся домики с огородами, луга. Людей не видно.

Эстер идет по одной обочине, я — по другой. Мы уверены, что Янек лежит где-нибудь в кювете или поблизости от шоссе. Пройдя немного, расходимся: я в одну сторону, она — в другую. Мы обходим все лужайки, огороды, бредем по картофельной ботве. Мне кажется, будто Эстер осмотрела не все, а ей — будто я что-то пропустил. Мы меняемся местами и снова ищем: она идет по моей половине, я — по ее.

— Изя, — спрашивает Эстер, — хорошо, что мы пошли искать, правда?

— Да, — говорю я, — мы не могли иначе.

— Ты представляешь, — спрашивает Эстер, — вот мы с тобой идем, идем и вдруг видим Янека? Страшно, правда?

— Ничего страшного, что ты!..

— Страшно... Ты представляешь, что тогда будет? Ой, скорей бы уже...

Мы заходим в каждый дом на пути, расспрашиваем людей, работающих в поле. Когда объясняться надо польски, говорит Эстер, когда по-литовски — я. Но большей частью мы говорим вместе, перебивая друг друга, и люди смотрят на нас, удивляясь, сочувствуя.

Мы робко стучимся.

Чаще всего дверь открывает женщина.

— Вы случайно не видели вчера две машины с людьми?

— Этих машин такая прорва, детки, такая пропасть...

— Там был парнишка, светлый такой.

— Как же я могла видеть, детки?

— Молодой парень, зовут его Янек.

— Проходили машины давеча. Видать, и те две прошли. Только нет, не видела я вашего Янека.

— Может быть, не в машине? Может, где-нибудь поблизости? Может, мимо проходил?

— Нет, не проходил, не видали...

Мы хотим идти дальше.

Тогда нам предлагают поесть. Я не знаю, почему нам в каждой избе предлагают есть. Женщина начинает хлопотать, несет хлеб, обернутый рушником. Бежит в чулан и приносит молоко в глиняной кринке.

В каждом доме нас хотят накормить.

Мы уже сыты, мы ели уже три раза. Но ведь женщина не знает, она бежит в чулан, тащит хлеб, завернутый в рушник, несет кринку молока и просит, чтоб мы сели за стол, отдохнули и закусили.

Нам еще идти и идти.

Снова закусываем и идем дальше.

Хозяйка, накинув белый платочек, провожает нас.

Солнце уже перевалило за полнеба, надо поторапливаться, но торопиться нам неохота. Остались только два дома: большая усадьба под железной крышей да покосившаяся избенка на самой опушке леса. Оттуда придется возвращаться. Дальше идти нельзя, там наверняка уж не будет Янека.

Эстер поглядывает на солнце, озирается.

— Смотри, — говорит она, — Изя, смотри, цветы...

В самом деле, под окошком цветы. Высокие стебли, большие головки, зеленые листья.

— Цветы? Да, — говорит женщина, — пионы. Я ухаживаю за ними, и каждый год хорошо цветут, даже нынче.

Эстер смотрит на красные головки пионов пристально, будто в первый раз увидела.

Женщина засуетилась, захлопотала.

Вот так хлопотала она и раньше, когда подавала на стол хлеб, обернутый рушником, и кринку молока. Теперь у нее в руках короткий нож с деревянной ручкой. Вот она уже под окном, выбирает пион — самый большой, красивый, с ровными пурпурными лепестками.

— Не надо! — кричит Эстер. — Пусть цветет, не надо!

— Не надо, — говорю и я. — Нам еще далеко, все равно завянет.

Женщина не слушает нас. Она срезает самый красивый свой пион и подает Эстер. Эстер берет цветок, прижимается к нему щекой, потом гладит им мою щеку и возвращает пион женщине.

— Поставьте в воду, — просит она. — В какую-нибудь вазочку или банку. У нас впереди дальняя дорога, и цветок обязательно увянет. Мы заглянем еще в ту усадьбу, потом в избушку у леса, а тогда уж в обратный путь.

Женщина берет цветок. Она молчит и смотрит на нас, слегка прищурясь.

— Не ходите бы вам к тем... под железной крышей. Лучше сразу туда, к лесу.

Мы все понимаем.

— Спасибо... Спасибо вам... — говорит Эстер.

Женщина кивает нам на прощанье.

Мы идем дальше.

— Две машины? С людьми? — переспрашивает старушка-хозяйка.

Мы только киваем в ответ.

Это последний дом, что на самой опушке леса.

— Были, были... — говорит старушка. — Видела, как не видеть...

— И такой светлый парень...

— Светлый? Был, был, — подтверждает она.

Мы ждем. Ждем...

— Тут, совсем рядом дело было, — рассказывает старушка. — Светлый парнишка выскочил из машины, за ним еще один, темный мужчина. Машины быстро мчали, очень уж быстро. Те двое на большак упали, а нем-

цы стрелять затеяли, убили обоих. Машины малость проехали и остановились; солдаты подошли, скинули их в кювет и покатали дальше. Было дело... Может, брат он вам, этот светлый парнишка, или кто? Сразу-то поглядеть боялись мы. Такие времена теперь. А ночью пошли мужики, да не нашли там никого. Видать, увезли их куда-то. Не нашли мы. Было такое, детки.

Что мы можем ответить? Что спросить можем?

— Заходите в дом, — приглашает старушка. — Садитесь за стол, отдохните, закусите. Что нам Бог послал, тем и путник подкрепится. Заходите, заходите.

Старушка суетится, поправляет платочек. У нее все время дрожит подбородок, должно быть, от старости.

— Заходите, не побрезгуйте, детки...

Мы не можем зайти, не можем сесть за стол. Мы не можем отдыхать, запивая черный хлеб белым молоком.

Нам пора.

Время возвращаться обратно в гетто.

Дальше — лес, некуда идти. Наш путь окончен. Да и незачем больше туда ходить. Теперь мы все знаем.

Пора домой. Время возвращаться.

Мы шагаем в город по пыльному шоссе. Дорога долгая, однообразная.

О чем думает Эстер?

Не знаю...

Не знаю, о чем и сам думаю.

Начинается улица. Тоже длинная, долгая. Нас нагоняют трое парней и две девушки. Все с торбами, мешочками, корзинами. Видно, ходили в деревню за продуктами. Они спешат, обгоняют нас, но одна из девушек оборачивается, потом говорит что-то своим спутникам. Они останавливаются и ждут, пока мы подойдем.

— Из деревни? — спрашивает девушка.

— Нет, не из деревни.

— Откуда путь держите?

— Мы искали нашего друга Янека.

Она больше не спрашивает, видит и так, что нас двое и что Янека мы не нашли.

— Его вчера увезли, — глухо говорит Эстер.

Я понимаю, ей трудно молчать, она объясняет им только потому, что ей необходимо хоть пару слов произнести вслух, услышать собственный голос.

— Идемте с нами. Вместе веселей, — говорит девушка.

— Нет, нам еще далеко, — говорю я.

И рассказываю, где нам нужно свернуть направо, где — налево, а где снова прямо.

— О! — говорит девушка. — Нам как раз по пути! До той узкой улочки.

Она смотрит на своих спутников, и те молча соглашаются: да, как раз до той самой улочки.

Мы идем посередине, идем все вместе.

Нам и впрямь лучше, когда вокруг голоса людей.

Подворотня.

Здесь нам придется ждать.

Попутчики проводили нас до самого места и повернули обратно. Вряд ли им было по пути с нами.

Мы прячемся за створку ворот. Тут нас никто не увидит. Достаем нитку с иглой и пришиваем на место наши желтые звезды.

Скоро пойдут колонны, мы смешаемся с людьми и вернемся в гетто.

Время тянется медленно-медленно, но все же было бы легче ждать, если б не чей-то стон рядом. Кто-то стонет, и нам кажется, что это Янек.

## Глава десятая. ХОД ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

### 1

Шогер закрепился на королевском фланге.

— Романтика...

Он вздохнул и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Да, романтика... Вокруг темно, только наша доска освещена. Словно костер. Представляешь, мы с тобой пастухи в Тироле, и фигуры — наше стадо. Мы пасем свое стадо, греемся у костра. Где-то наигрывает свирель, а я пою тирольские песни. Эх и жизнь! Правда?

Шогер расправил плечи, откинулся на спинку стула и, задрав голову, раскинув руки, затанул гортанным тирольским тремоло:

— Ла-ло-ли-лиуу... Ла-ло-ли-ли-лиуу...

Затем навалился грудью на шахматный столик, победно глянул на противника и усмехнулся.

Вечер спускался ясный, тихий, как синевато просвечивающее стекло. Солнце удлинило, вытянуло тени и село за горизонт. Вот-вот должны были выступить звезды — миллионы разноцветных далеких светляков. Под

ногами лежали камни, твердые и вечные; легкий ветер хлопал ставней где-то поблизости.

От всего этого и впрямь веяло чем-то таинственным.

Но в этой укромной вечерней тишине были люди. Были карбидные фонари, был шахматный столик и фигуры — мертвые, деревянные, и две живые, сидящие друг против друга, Исаак Липман и Адольф Шогер.

Мертвые фигуры были просто деревяшками.

Живые боролись.

## 2

— Я родил дочь Риву, — сказал Авраам Липман.

## 3

Ровно месяц, тридцать дней, прожили они вдвоем в этом домике на крутом берегу быстрой речки, там, где кончались огороды. Домик был совсем крохотный — сени да комнатуха. Зато на отшибе. Сюда никто не заглядывал, не совал сюда любопытный нос. В комнатке было все, что надо: стол, тумбочка и две кровати. Спали не раздеваясь, как на фронте. Оба делали вид, будто не замечают, а может, и впрямь не замечали, что он — мужчина, а она — женщина.

Антанас шел по высоким травам, матовым от пред-рассветной росы, радуясь тому, что впереди петляет узкая тропка. Он улыбался, глядя на свежие следы на чистых, словно вымытых стеблях и листьях травы; примятые, без бусинок росы, они оставили знак, что Рива прошла совсем недавно.

Он тихо ступал, высоко поднимая ноги и оглядываясь по сторонам.

Осторожно перешагнул порог сеней, запер дверь на старый деревянный засов.

Тут же, в сенях, стянул сапоги, повесил на перекладину сырые портянки и на цыпочках вошел в комнату. Рива действительно уже спала. Спала, как всегда, подложив руки под голову и выпятив губы. И, как всегда, Антанасу было смешно смотреть на нее спящую.

Он потянулся, отвернул край тонкого одеяла и уже хотел было лечь на свою кровать, но Рива спала так крепко, так по-детски сладко, что ему вдруг стало не по себе.

В комнате было два окна: одно выходило на речку, другое — на огороды. Он приоткрыл ставни, запиравшиеся изнутри, и тут же увидел немцев. Они шли пригнувшись, широким кольцом окружая дом. Он затворил ставни и подбежал к другому окну, но и там увидел смыкавшееся кольцо — пригнувшихся солдат.

— Рива! Рива! — окликнул он.

Она проснулась и сразу поняла.

Она знала, что это может случиться. Оба знали и были всегда готовы к этому. Ни она, ни он не удивились, что в конце концов это произошло, хотя в глубине души надеялись: авось обойдется, не всегда же должно быть так. Они не думали, что это наступит так быстро. Хотя, правду сказать, не так уж быстро — они прожили в домике на берегу целый месяц, тридцать дней, и все это время им никто не мешал.

Они присели, каждый у своего окна, возле давно сделанных в ставнях прорезей, и стали ждать.

У каждого был автомат с семью дисками, пистолет и одна граната. Еще вчера гранат было много, но прошлой ночью их передали товарищам из гетто. Там, в гетто, требовались боеприпасы, и они не могли себе оставить больше.

Они дождались, пока немцы подойдут достаточно близко, и одновременно открыли огонь.

«Лишь бы не зашли сбоку, где нет окон, — думала Рива, — лишь бы не догадались влезть на крышу».

Антанас бросил взгляд на Риву, приникшую к щели, и подумал:

«Если они залезут на крышу и разберут потолок, то ничего не поделаешь — все кончится быстро. Слишком быстро».

Немцы поднялись, и теперь можно было стрелять.

Они снова стреляли и радовались, что все-таки положение удачное: немцы их не видят, а сами как на ладони.

Бой длился долго.

Когда немцы снова пошли в атаку, оба на миг отдернули ставни, бросили по гранате и тут же снова захлопнули.

Немцы откатились. Собственно, спешить им было нечего. Они даже не пытались влезть на крышу. Отступили подальше и сели покурить. Как бы там ни было, домик окружен, и никому не уйти оттуда.

Рива и Антанас тоже сели. Им тоже требовалось от-



дохнуть. Они сидели на полу, прислонившись к стене, молча смотрели друг на друга и время от времени поглядывали в прорези ставен: не крадутся ли немцы. Но немцы не торопились. Они лишь изредка постреливали, целясь в окна. Пули давно уже выбили стекла и теперь вгрызались в дерево, лениво потроша ставни. Но это было не опасно. Немцы развлекались. И им, двоим, можно было отдыхать.

«Ты знаешь, о чем я думаю? — мысленно спрашивала Рива, глядя на человека, сидящего перед ней. — Я думаю о том, что мы ведь даже не знакомы. Я не знаю твоей фамилии, а ты — моей».

«Я хочу, чтобы ты думала обо мне, — говорил Антанас про себя, не спуская глаз с сидящей перед ним женщины. — Если бы ты знала, как я хочу этого, то, наверное, думала бы обо мне. Ведь трудно представить себе такое, просто смешно — прожили бок о бок целый месяц, тридцать дней, а ты не знаешь моей фамилии и я не знаю твоей. Ты даже не знаешь, действительно ли меня зовут Антанасом, а я не знаю — ты Рива на самом деле или нет...»

— Моя фамилия Липман. Рива Липман, — сказала она вслух.

Он улыбнулся и ответил:

— Янкаускас. Антанас Янкаускас.

В ее окно со свистом влетела пуля, прожужжала пчелой и швырнула ему в лицо горсть щепок. Оба вздрогнули. Антанас, улыбнувшись, отряхнулся, но улыбка получилась грустной, и Рива подумала:

«Мы делаем ошибки, хоть не имеем права ошибаться. Надо было уйти в другое место. Мы же знали, что рано или поздно это случится. Мы сделали большую ошибку. И видно, ошиблись еще где-то, раз они проникли, что мы здесь. Пройдет время, и другие узнают об этом, а пока что мы сидим друг перед другом и сами не знаем, где, когда и как совершили еще одну ошибку».

«Задержишься они на три дня, — думал Антанас, — им бы уже не найти нас: мы бы спокойно жили на другом конце города и опять вместе с Ривой и другими ребятами ходили на операции».

— Как ты думаешь, наши скоро сумеют уйти в лес? — спросила она.

— Сергей предлагает первым делом вывести молодежь.

— В гетто много оружия.

— Все равно всех сразу не уведешь. Лес еще надо завоевать. В трех землянках не больно-то попартизанишь. Сергей ждет пополнения с Большой земли. Там будут Марк и Эугениус. Понимаешь? Да и гетто тоже надо охранять. Им там трудно. Им слишком трудно. Если бы Митенберг был жив...

Да, если бы Митенберг был жив...

Она вспомнила Гирша Митенберга и вся сжалась.

Думать не хотелось, а все-таки она думала...

Гирша схватили в гетто, но ему удалось бежать. Его искали на всех улочках, по всем домам, но не нашли.

Тогда Шогер вызвал войска, оцепил гетто и сказал:

— Если Митенберг не явится, я сровняю гетто с землей.

Подпольный комитет во главе с самим Гиршем заседал пять часов подряд, и было решено, что он должен пожертвовать собой.

Гирш вышел к воротам гетто и сдался.

Его замучили в застенках гестапо.

— Антанас, почему я вспоминаю только наши ошибки?

— Мы не хотим, чтобы другие повторяли их, — ответил он.

— Никто не имеет права так ошибаться.

— У нас нет опыта.

Рива застонала.

Он посмотрел на Риву. Ее рука была в крови.

— Сиди, — сказала она, — я не от этого, просто царапина, это было раньше.

Он снова сел.

«Если сдаться живьем, может, посчастливится бежать. Пускай не обоим, важно, чтобы ей удалось. Ей надо бежать... Она должна остаться в живых. Она обязательно убежит... Может быть, оставаться здесь — тоже ошибка?»

Рива посмотрела в потемневшие глаза Антанаса и покачала головой.

«Их много. Нам не убежать. Сейчас не время думать об этом. Мы будем сражаться долго, до последнего. Правда, Антанас? Мы отдыхаем, нам совсем не плохо сейчас. Ты лучше послушай: я вижу лицо моего отца. Он как старое, могучее дерево — стоит, крепко упершись корнями в землю. Нет больше Ины, нет уже Рахили, Баси, Касриэла — это мои сестры и брат. А он стоит. Теперь не станет меня... Нет, не в этом дело. Дерево

будет стоять. Только еще одной ветвью меньше. Видишь, Антанас. Он стар, а мы молоды. Ему труднее. Мы сейчас отдыхаем, разговариваем друг с другом. И нам не так уж плохо. А ты думаешь о том, о чем не нужно, совсем не нужно думать...»

Антанас улыбнулся.

— Я не знаком с твоим отцом, — сказал он.

— Он уже не молод. У него борода, как у тебя, только побольше и седая.

Они снова замолчали.

Ему вдруг пришло в голову, что надо спросить Риву, успела ли она сообщить Гите про новый немецкий пулемет, который они зарыли на берегу Вилии, спрятав обернутый тряпкой замок в дупло старой липы. Он должен был спросить, но боялся. Если не успела, все равно ведь уже ничего не исправишь, и лучше не напоминать.

По ее лицу блуждала улыбка.

«Может быть, она все-таки сказала Гите? Хотя кто знает, где сейчас ее мысли...»

Антанас молчал. Ему было достаточно того, что ее лицо просияло.

Теперь в его окно, прожужжав пчелой, влетела пуля и осыпала Риву серой пылью, но стоило ли обращать внимание на пыль?!

«Ты понимаешь, чему я радуюсь? Вижу, что не понимаешь. А я думаю о тебе, мне хорошо оттого, что я знаю тебя так давно, уже целый месяц, тридцать дней. Оттого, что в тот раз, когда мы встретились, ты открыл какую-то калитку и вывел меня со двора электростанции, потом пошел со мной, мы шли вместе и вместе видели с Трехкрестовой горы, как взлетела на воздух электростанция, видели первое пламя, зажженное мстителями гетто, и ты сказал:

— За Гирша Митенберга...

И снял шапку.

А я взяла и поцеловала твою руку.

Потом мы шли куда-то, ты долго вел меня задами, пока не привел в этот домик на берегу быстрой речки, которая день и ночь журчит, все гонит и гонит свои воды, слышно даже сейчас, когда мы сидим и смотрим друг на друга».

Антанас отвернулся к окну.

«Хорошо, что ты не знаешь, кто я, Рива. Ты не знаешь, что совсем близко, в нашем городе, еще один человек носит эту фамилию, мой брат. Ты не знаешь, что он

ходит с белой повязкой и расстреливает людей в Понарах. Я очень рад, что ты не знаешь. Но мне страшно, что мы с тобой сидим здесь, а вокруг нас немцы, и я не увижу, как ты, твой брат или я своими руками убьем моего брата, того, что носит ту же фамилию. Я знаю, ты не видишь моих мыслей, Рива, и рад тому, но мне обидно, что я не увижу того, о чем мечтаю».

Антанас сидел, по-прежнему отвернувшись.

«Почему он вдруг снова помрачнел? Надо сказать ему что-нибудь... Такое, чтобы он обрадовался... Господи, должна ведь я вспомнить что-нибудь... Сейчас...»

Она вспомнила и улыбнулась.

— Антанас, ты слышишь, Антанас? — сказала она. — Вчера мне рассказали, что ребята в гетто разделались с двумя белоповязочниками и палачом. Те шлялись по ночам, врываются в дома и требовали у людей деньги. Их сбросили в колодец. Мне даже фамилии назвали: Баркус, Янкаускас и Филер. Ты доволен?

Он вздрогнул и обернулся. Теперь его лицо прояснилось.

«Видишь, — думала Рива, — я нашла, о чем сказать, и теперь ты счастлив. Разве важно, что белоповязочника звали Янкаускасом, так же, как и тебя? Он твой родственник? Неважно, это совсем неважно. Ведь Филер мог оказаться моим родичем. Разве это важно теперь, когда мы прожили вместе целый месяц, тридцать дней, здесь, на берегу быстрой речки, где все время слышно, как журчит и журчит вода, которой нет ни конца ни края».

Он повернулся к окну, чтобы скрыть свое бородатое лицо, но тут же привстал, схватил автомат, и Рива поняла, что немцы снова пошли в атаку и теперь уже не отступят.

Она прильнула к своему окну и увидела, что они действительно идут. По-прежнему пригнувшись, только на этот раз почти бегом.

Они опять подпустили солдат поближе и одновременно открыли огонь. Немцы залегли. Рива с Антанасом ждали, пока они встанут, но те поднимались не все сразу, а перебегали по одному, и все равно приходилось стрелять, хотя патроны были на исходе и вскоре у них останутся лишь пистолеты.

Они метались теперь от одного края окна к другому и стреляли короткими очередями, чтобы казалось, будто их не двое, будто их здесь много.

Потом он упал.

Она услышала грохот и еще, ей показалось, услышала жужжание пчелы — той самой пули, что свалила Антанаса. Ей показалось, и она не могла избавиться от этой мысли, хотя пуль было много, они визжали, жужжали, вгрызались в дерево, уже совсем изгрызли, распотрошили обе ставни, которые и сами были похожи теперь на растерзанные соты. Однако Антанаса сразила не одна пуля, а сразу несколько кусочков свинца, впившихся в грудь.

Рива бросилась к нему, но он, превозмогая боль, нахмурил брови, и она разрядила последний диск Антанаса, стреляя из его окна.

Хотела было снова склониться над ним, но он показал в другую сторону, и она подползла к своему окну и там закончила свой последний, седьмой диск.

Теперь уже было все равно.

Тогда она опустила на колени посреди комнаты и стреляла из пистолета Антанаса через его окно, а потом из своего пистолета — через свое.

Когда кончилась обойма в пистолете Антанаса, она, крепко сжимая рубчатую рукоять своего оружия, думала лишь об одном, все время думала: не выпустить бы все патроны, оставить один для себя.

И наконец пришла минута, когда остался всего один патрон.

Тогда она наклонилась к Антанасу.

Он улыбнулся краем губ. Видно, все это время, пока Рива отстреливалась, он напрягал последние силы, всю свою волю и ждал, когда она нагнется к нему и посмотрит в глаза.

Антанас шевельнул губами. Почувствовал, что они шевелятся, проговорил:

— Я люблю тебя, Рива... Я тебя любил...

— Я знаю...

Тут силы оставили его, и Рива закрыла ему глаза.

Немцы были совсем близко, а она никак не могла решиться: уже пора или подождать еще? Она сама не знала, чего ей ждать, но в голове вертелось одно и то же:

«Уже? Пора? Или подождать еще?»

Вдруг она увидела солдата — совсем рядом, за ее окном. Он поднял голову и тут же спрятал, снова поднял и снова скрылся. Рива вся подобралась и стала ждать, затаив дыханье. Этого фашиста она не могла оставить в живых. Она не могла видеть, как он подымает голову и

прячется под ее окном, затем вновь проделывает то же самое. Вся жизнь казалась бессмысленной, не стоящей, если она оставит жить эту ищейку, которая спустя какое-то время опять найдет на каком-то берегу такой же домик и снова будет стрелять, стрелять, стрелять, а потом заглядывать в окно, прятать голову и снова совать в окно, ставни которого будут дырчатыми, как соты.

Она вся собралась, стараясь успокоиться, чтобы не дрожала рука. Когда остался один патрон, рука не имеет права дрожать. Она должна быть стальной, каменной. Рука должна быть высеченной из гранита и ждать.

Рива ждала, и голова снова вынырнула за окном. Она спокойно нажала курок — рука действительно была как из гранита, и ни один каменный мускул не дрогнул.

Тогда Рива схватила автомат, вышибла остатки оконной рамы и, вскочив на подоконник, принялась водить из стороны в сторону автоматом — пустым, без патронов, но ей было все равно. Ей казалось, он заряжен, и она водила автоматом, целясь в зеленые шинели до тех пор, пока ей не ответил десяток очередей.

Теперь все было хорошо.

Рива упала навзничь и удивилась, что в комнате тихо. Снова было слышно, как бормочет за стеной речушка, только вокруг стояла ночь. Рива нащупала стынущую руку Антанаса и сказала уже не ему, а самой себе:

«Знаешь, Антанас... Я любила Гирша Митенберга. Очень любила».

И снова журчала за стеной вода, бурная, стремительная и прозрачная, которой нет ни конца ни края.

## Глава одиннадцатая. ХОД СОРОКОВОЙ

1

.....  
.....  
.....

2

Я лежу в кювете. Мне трудно встать; наверное, надо полежать еще хоть немного и собраться с силами. Я лежу в кювете, никто и ничто мне не мешает думать.

Да, я — Янек.

Я — поляк, Янек, а не Янкель, но на груди и на спине у меня пришиты желтые звезды, а по-еврейски я

шпарю не хуже, чем «отче наш» в детстве, так же, как мой друг Мейка тараторил по-польски. Мейка зарыт в гетто, но я ищу Мейку и знаю, что найду его. Если бы поляков загнали в гетто и меня не было в живых, Мейка тоже пошел бы вместе со всеми и долго разыскивал Янека.

Я — Янек.

Я лежу в кювете у шоссе. Никто не мешает мне смотреть в небо и думать.

Все произошло моментально.

В гетто въехали два грузовика. Солдаты выскочили и стали ловить мужчин, кто попадетсЯ под руку. Меня тоже загнали в машину. Грузовики были тут же набиты битком и умчались за ворота гетто, на улицу.

Мне трудно встать, но помню все очень хорошо, до последней мелочи. Я смотрю в синее небо и там, как на экране, вижу все — от начала до конца.

Мы в машинах.

Наш грузовик идет вторым и старается не отставать от первого. В кузове много людей, все прижаты друг к другу, большинство — пожилые, из тех, что работают в гетто и не ходят в лагерь. Мы сдавлены как сельди в бочке, а по бортам, на откидных лавках, разместились солдаты.

Я сижу впереди, у самой кабины, кто-то прижал мне ногу, но какое это имеет значение. Вижу, как разматывается за машиной узкое шоссе и столбом вздымается пыль. Я понимаю, что это конец. Жил-был Янек, как все люди, и вот пришел его час.

Когда приходит последний час, надо продумать всю жизнь. Я тоже хочу заняться этим, но мне не удастся. Вижу столб пыли за машиной, а в голову лезут всякие ненужные мысли: если хотели вывезти стариков, то почему же схватили меня — из молодых в нашей машине только я один. Если хотели выловить молодых, то почему в нашей машине так много стариков и только я один молодой?

Я не обижаюсь, что люди толкают меня. Может быть, им неудобно сидеть, а может, не нравится, что я, самый молодой, попал в переднюю часть кузова. Машину трясет, всех подбрасывает. Почему-то я медленно перемещаюсь среди пожилых мужчин. Мне странно, что все остаются на месте и лишь я один съезжаю куда-то назад. Я уже не вижу, что делается за машиной. Зато мне теперь видно, что впереди. Там гудит мотор передней машины и видна зубчатая полоска леса.

Что там, в лесу? Зачем нас везут в лес?

Снова ненужные мысли лезут в голову, и я не могу сосредоточиться, продумать всю свою жизнь, как положено каждому порядочному человеку, когда близится его час.

Меня оттеснили в самый конец. Чувствую спиной доски. Это задний борт кузова. Чье-то бородатое лицо прижимается ко мне, подмигивает. Я видел этого человека в гетто, но не знаю, кто он и как его звать.

Чего он подмигивает? Хочет развлечь меня? Да мне совсем не скучно.

Он что-то говорит. Не могу разобрать. А! Говорит польски. Конечно, по-польски солдаты не понимают. Скажет несколько слов и смолкнет, потом снова шепчет, потому что разговаривать запрещено. Я улавливаю эти разрозненные слова и связываю в полные фразы:

— Когда подъедем к лесу, начнется спуск. Машины разгонятся и не смогут остановиться сразу. Тогда выскакивай на дорогу. Я за тобой. Не бойся, только прыгай мягко, чтоб не разбиться.

Опять молчание, а полоса леса тяжело надвигается громадной волной: кажется, вот-вот навалится, подомнет тебя.

Бородатый будто заворожил меня. Я знаю, надо делать, что он велит. Я подчиняюсь этому человеку и ни о чем больше не думаю — ни о жизни, ни о смерти.

— Пора?

— Нет еще.

— Уже?

Он толкает меня.

— Давай!

Я подскакиваю, лечу на дорогу лицом к машине и вижу широкую спину, которая заслонила весь горизонт. Слышу выстрелы, чувствую, как рядом падает человек, и снова слышу выстрелы.

Хочу встать, но в голове туман, все плывет и кружится перед глазами. Кто-то останавливается над нами, нас катят куда-то по земле. Я падаю в какую-то темную бездну. Что это — последний мой час? Мой последний миг? Куда я лечу?

Я лежу в придорожном кювете. Никто не мешает мне смотреть в небо и думать.

Наверное, хватит так лежать.

Я приподнимаюсь и вижу рядом с собой человека с бородой, того, что подмигивал мне, а я все не мог дога-



даться, в чем дело, который шептал по-польски, чтобы солдаты не поняли.

Кровь запеклась на его лице и одежде.

Он мертв, этот бородач.

Надо уходить, но я не могу бросить его здесь. Он лежит, неловко подвернув руку.

Я стягиваю с себя пиджак. Желтые звезды. Сорвать их? Скомкать в ладони и выкинуть? Они больше не нужны, но и не мешают. Я расстилаю пиджак, взваливаю на него тело бородастого и осторожно волоку по кювету. Голова еще кружится, но надо спешить.

Мы тащимся по кювету до самого леса. Там, на опушке, попадается длинный, еще не обрушившийся окоп. Подползаем к окопу. Я опускаю туда бородастого, складываю ему руки на груди. Накрываю лицо и руки своим пиджаком. Он словно спит.

Мне страшно.

Хоронить спящего...

Впервые в жизни мне страшно.

Собираю еловые ветви, тащу пригоршни зеленых листьев, бросаю в окоп. Набрасываю все больше и больше, бороды уже не видно, но мне страшно.

Очень страшно закапывать человека.

Рядом — горка песка. Из того же окопа.

Горстями швыряю песок и боюсь смотреть вниз. Потом ложусь, упираюсь ногами в кусты и грудь, лицом, руками сталкиваю песчаную гору в окоп.

Все.

Похоронил.

Совсем недавно человек подмигивал мне, потом своей широкой спиной заслонил горизонт, а я приволок его в окоп, завалил листьями, ветками и засыпал песком.

Схоронил человека.

Я лежу возле окопа. Почему я здесь? Что сейчас — сегодня или вчера?

Не знаю.

Но теперь я один и совсем свободен. Вместе с пиджаком в окопе погребены мои желтые звезды. Можно выйти на дорогу и шагать по ней без опаски. Меня зовут Янек, я иду к своему дяде. Могу зайти в любую избу и попросить воды.

Очень хочется пить.

Здесь мне дадут воды, а дядя будет ужасно рад. Мы с ним давно не виделись. Он примет меня с распростерты-

ми объятиями. Чего доброго, всплакнет и скажет сквозь слезы:

— Ты вырос, Янек, и понял, что самое главное — сберечь свою шкуру. Верно, сынок? Ты исхудал, но это не беда. Наконец ты вернулся, Янек...

У дяди хорошо. Не надо каждую минуту дрожать за себя и за других. Я говорил Изе, что гетто — не только в гетто, оно везде. Может быть. Но на самом-то деле гетто отгорожено, а вокруг города нет никаких оград.

Дядя... Я хочу к дяде. Но еще больше хочу пить. Можно зайти в избушку, и мне дадут воды, хоть целый колодец. Я напьюсь, перестанет кружиться голова, и можно будет идти прямой дорогой в город, никого не боясь. Я почти свободен.

Пойду к дяде, останусь у него, и тогда всю свою жизнь, сколько суждено мне ходить по земле, не сумею найти Мейку. Никогда не найду своего друга. Не увижу больше лица Эстер. Они с Мейкой похожи как две капли.

Не увижу Эстер.

Изя чудак. Думает, я влюблен в Эстер, мою сестру. Он не понимает. А может быть... Нет, не знаю. Я охраняю Эстер, потому что нет Мейки. И ищу своего друга. Если бы он был, он сказал бы, как уберечь Эстер.

Пить!..

Можно подойти к колодцу. Вода, наверное, не только холодная, но прозрачная и живая. Она окатит все тело, разольется по жилам, поставит меня на ноги и направит прямой дорогой в город, к дяде.

«Самое главное — сберечь свою шкуру...»

Почему так тяжело и так хочется пить?

Лучше бы не ходить к колодцу.

Вернуться туда, откуда меня привезли.

Но если завтра приедут новые машины... Если солдаты снова станут ловить всех подряд, схватят Эстер, поймут Изю... И меня. Мы будем сидеть на дне кузова, а на лавках по бортам — солдаты. Мы будем видеть узкое шоссе и столб пыли. Нам захочется продумать всю свою жизнь, как всем честным людям, когда близится их последний час.

Меня снова оттеснят в конец кузова?

Мне будут отрывисто шептать польские слова, потом прикажут:

— Давай!

И я соскочу на землю и снова увижу широкую спину, заслонившую горизонт.

Почему чьи-то спины должны заслонять меня?

А Эстер?

Изю?

Всех людей?

Я не хочу, чтобы бородатые люди закрывали меня своими широкими спинами.

Страшно.

Наверное, правду говорил Рыжий:

— Нельзя уберечь одного человека. Можно сберечь только всех...

Он, должно быть, знает.

Слушай, Рыжий! Я отдам тебе патроны, которые долго копил для себя. Пусть они будут для всех. Хорошо?

Мне одному не сберечь Эстер.

Я вернусь, отдам ему все патроны и получу свою долю. Мы трое — Эстер, Изя и я — пойдем вместе с другими. Рыжий сведет нас в лес, к партизанам. Вместе с ними мы перекроем дороги, и машины не смогут увозить бородатых людей, им не придется смотреть на клубы пыли и думать про свой последний час.

Очень хочется пить.

По-прежнему манит колодец с кланяющимся перед избушкой журавлем. Но дорога там идет слишком прямо.

Надо обогнуть избушку и высокий журавль дальними полями. Потом выйти на городскую улицу и шагать по ней до костела. У костела — направо, потом четвертая улица налево. Спуститься вниз. Там, внизу, большая подворотня на тесной улочке. Там можно ждать. Если забиться за створку вечно распахнутых ворот, никто тебя не увидит, не заметит. Можно сидеть там в углу хоть всю жизнь. Но так долго не нужно. Вечером, около шести, по этой улочке возвращаются колонны с работы. Из подворотни нетрудно затесаться в любую колонну и, ковыляя со всеми вместе, пройти в ворота гетто, у которых всегда стоят часовые.

Нет, я не хочу пить.

Я, должно быть, шагаю страшно медленно. Ничего, у меня есть время. Почти целый день еще впереди. Можно не спешить, все равно успею. А дорога обычная, любому городскому пацану известна. Прямо до костела, потом направо, четвертая улица налево, вниз, а там узкая улочка с большой подворотней.

Я иду, иду не останавливаясь.

Время идет.

Я иду вместе с временем.  
Солнце движется.  
Я двигаюсь вместе с солнцем.  
Мы идем все вместе.  
Время.  
Солнце.  
Я.

Ничего, что скоро шесть.

Я лежу за воротами, прижимаясь к холодной кирпичной стене. Ужасно хочется спать, и у меня вырывается невольный стон. Стонать нельзя, я знаю. Могут услышать, заметить. Никто не должен заметить меня. Я жду колонну, бредущую с работы. Я не хочу просидеть в углу за воротами всю жизнь. Даже сквозь сон я услышу шаги колонны. Медленные, тяжелые, одинаковые изо дня в день. Шаги людей, идущих с тяжелой работы.

Сотен людей.

Надо сидеть, ждать и не стонать.

Почему стон прорывается даже сквозь крепко стиснутые зубы? Никогда бы не поверил, что так бывает. Может, это мне только кажется? Может, кто-то стонет у меня внутри, а кругом не слышно?

Мои это стоны или нет? Сам не знаю.

Знаю только, что очень хочу пить.

Глоток воды — и я больше не буду стонать.

## Глава двенадцатая. ХОД СОРОК ДЕВЯТЫЙ

1

.....  
.....  
.....

2

— Я родил дочь Тайбеле, — сказал Авраам Липман.

3

Это был хороший тайник. Чтобы попасть в него, нужно было пройти через подвал, вынуть угловую плиту, затем согнувшись спуститься в тесный овальный лаз, который вел направо, а потом — прямо, открыть обмазанную глиной дверцу и лишь после этого ступить в тайник. Там была настоящая комната, только без окон.

Горела электрическая лампочка. Монотонно жужжал вентилятор. На столике стоял приемник.

Этот тайник построили два брата. Они укрыли здесь свою больную мать. Ноги старой женщины были парализованы, но руки работали. Она лежала в постели и записывала, что сообщает радио.

Вчера в этот тайник доставили Лизу. Она кричала, не хотела идти, тогда ей зажали рот и привели сюда. Она будет жить здесь со старой женщиной и вместе с ней записывать радиосводки.

Конечно, ни вчера, ни сегодня Лиза не притронулась к бумаге и карандашу. Она совсем не слышала, что говорит радио, не видела, что творится вокруг. Она то и дело задумывалась, забывая, что не одна здесь. Перед глазами маячил единственный источник света — электрическая лампочка, в ушах жужжал вентилятор.

Лиза была очень молода, совсем еще девочка, ребенок. Только грудь уже не детская. Грудь у Лизы разбухла и рвалась из рубашки, налитая, как спелый плод.

Там, в палате, навалившись всем телом на подушку, Рахиль сказала Лизе:

«Ты смотришь во все глаза и ничего не можешь взять в толк. Дай мне твоего ребенка. Быстро!»

И Лиза дала Рахили запеленутый живой комок.

«Теперь уходи, — сказала Рахиль. — Обойдешь мою койку и вылезай в окно. Только тихо, чтобы никто не видел. Потом беги в соседний дом, там тебя спрячут. Ты должна скрыться».

Лиза, не думая, делала то, что велено, и не спрашивала себя, что будет делать Рахиль, когда останется одна.

Она вылезла из окна, забежала в соседний дом. Она что-то рассказывала, теперь уж не помнит что, и ее отвели в тайник. Ее вели, зажав рот, чтоб она не кричала.

В тайнике поставили еще один лежак.

Лиза сидела на нем и видела ровный свет лампочки, слышала равномерное гудение вентилятора.

— Я не могу... — говорила она, обхватив руками грудь, которая набрякла молоком и распирала рубашку. — Я не могу жить. Всю ночь мне снилось, что он сосет. Молоко течет и течет, вся одежда мокрая, и я вся мокрая.

— Подойди ко мне, — сказала старая женщина, — и дай полотенце. Я стяну тебе грудь, и станет легче.

— Нет, нет. Я боюсь... — говорила Лиза. — Мне все

равно будет казаться, что он сосет, и молоко будет течь еще сильнее.

— Подойди, я помогу тебе, — сказала старая женщина.

Но Лиза не шла. Она сидела на своих нарах, обхватив грудь руками.

Старая женщина замолчала. Ее ноги отнялись, и она могла только записывать сводки, потому что руки были свободны, и руками она могла делать что угодно.

— Я не хочу больше видеть детей, ни чужих, ни своих, — говорила Лиза. — Мне противно, я не могу даже думать о них. Хоть бы молоко не бежало... Не распирало грудь...

Старая женщина качала головой и ничего не говорила.

В городе, там, где было гетто, висели на широкой площади трое—двое взрослых и девочка. Адвокат Йонас Климас, его жена Она Климене и Тайбеле Липман. Тайбеле, последняя дочь Авраама Липмана. Самая младшая из детей, ей было девять лет.

Они висели уже второй день, и никому не разрешалось их снять. К одежде Климасов были косо прицеплены доски, похожие на перекладины православного креста. На досках по-немецки и по-литовски было написано: «ОНИ УКРЫВАЛИ ЕВРЕЯ».

Тайбеле долго жила у Климасов. Еще не было гетто, еще только говорили о нем, когда Йонас Климас пришел к Аврааму Липману.

— Послушай, Абрам, — сказал Йонас, — неизвестно, что будет. Во всяком случае, хорошего ждать не приходится. Пусть твоя Тайбеле поживет у нас. Детей у тебя много, нелегко с ними сейчас. Она — твоя младшая, Тайбеле. Пускай поживет у нас. Зачем ей ходить с желтыми звездами? У нас нет детей, и Тайбеле будет нам как дочь, пока все не переменится.

Липман подумал-подумал и согласился.

Когда здесь, в гетто, было очень худо, Липман радовался, что его меньшая живет в городе, что она у Климасов как дома, Тайбеле, единственная его утеха.

Тайбеле никогда не выходила из дому, зато в доме была полной хозяйкой. Она Климене, придя с работы, каждый день задавала ей уроки, те же самые, что и в школе. А изредка, если была возможность, навещал свою младшую дочь Авраам Липман.

Тайбеле баловали, и она плохо кушала.

Климасы сидели по обе стороны от нее, считая, сколько ложек они съела, и, сколько бы ни было этих ложек, всегда говорили, что вот еще одну, а потом — еще и еще. И так без конца. Если что-то еще оставалось на тарелке, Климас напускал на себя грозный вид и повышал голос:

— А гущу? Гущу?! Тебе бы только жижу хлебать, да? Чтобы глотать полегче? А кто будет гущу есть? Нет, ты скажи мне, кто?! Скажи!

Старая Бронислава, которая на своих руках вырастила Ону Климене и была в доме второй хозяйкой, сначала только бормотала что-то себе под нос, никто не мог понять, что она там бурчит; да, пожалуй, она и сама не понимала.

В кухне, когда рядом никого не было, она ворчала:

— Ишь, балуют, балуют. Пятнадцать лет, как семьей живут, за все годы своих не дождались, так теперь вот и балуют. Бог весть, к добру ли...

Она была строга с Тайбеле.

Шли дни, бежали недели, месяцы. И однажды Она Климене почувствовала, что готовится прийти на свет еще один человек, тот самый, которого они с Йонасом ждали все эти пятнадцать лет.

Климасы были удивлены, испуганы и обрадованы.

Но больше всех была поражена старая Бронислава. Она надела свое лучшее платье, повязала выходную косынку и два дня стояла на коленях в костеле.

— Я знаю, почему Ты явил Твою великую милость, — объяснялась Бронислава с Христом. — Эта девочка, Тайбеле, принесла благословение нашему дому. Столько лет жила я на свете, а теперь вот увидела чудо и на смертном одре буду поминать величие Твое, Господи.

Бронислава забыла, что не следует баловать Тайбеле.

Когда Климасы усаживались возле девочки, считая ложки, которых всегда было слишком мало, старая Бронислава, стоя в стороне, вдруг выкрикивала:

— А гущу?! Может, мне оставила?

Пришел срок, и Она Климене родила дочь.

И были в доме две девочки — одна уже большая, а другая — маленькая, как живая кукла.

А через семь дней пришли немцы, а с ними еще какие-то люди с белой повязкой на рукаве и увели Климаса, Климене и Тайбеле.

Бронислава своим широким телом заслоняла колы-

бель и бормотала, глядя на пришельцев страшными глазами:

— Не подходи, злой дух... Отступись, нечистая сила... Опустится могучая длань Господня и в прах обратит вас... Не подходите, исчадья преисподней...

И осталась Бронислава с младенцем на руках. Девочка плакала и хотела материнского молока, а мать висела на широкой площади, там, где не было гетто, и к материнской груди была косо прицеплена доска, похожая на перекладину православного креста.

Не знала, что делать, старая Бронислава. Дождалась вечера, подкараулила на узкой улочке Авраама Липмана, когда вместе со всеми возвращался с работы, и выложила все как есть.

Липман опустил голову.

Когда Липман опустил голову, козырек его старого поношенного картуза закрыл глаза, и старая Бронислава, которая думала только о новорожденной, совсем забыла, что Авраам Липман — отец, что Тайбеле была его младшей дочерью, единственной его утешой в тяжкую минуту. Она думала только о маленькой девочке Климасов, которая плачет и требует материнского молока.

— Мы придем, Бронислава, — сказал Липман.

В ту ночь Авраам Липман вышел в город с одной из троек. Они пробирались через подвалы и тоннели, по трубам канализации, где очень трудно идти против течения, где тебя все время тащит назад, и кажется, что не продвигаешься ни на шаг и что так будет вечно, сколько бы ты ни шел, — день, месяц, год...

Бронислава ждала их и передала им дочку Климасов.

Маленькая живая кукла была запеленута, завернута, старая Бронислава трижды перекрестила ее, а заодно и четырех мужчин, пришедших за ней. Но девочка все равно кричала, она хотела есть, хотела материнского молока.

Авраам Липман прижимал ее к груди, но боялся слишком сильно прижать, и громкий детский крик звенел на узкой улочке. Не успели четверо подбежать к открытому люку со ступеньками, ведущими в тоннель, как нагрянули полицаи. Командир тройки велел всем спускаться, а сам принял бой. И когда двое бойцов и Липман с девочкой были уже внизу, где было легко идти, потому что шли по течению, командир тройки рухнул вниз, закрыв своим мертвым телом вход в тоннель. Вы-



шли из гетто четверо, а вернулись трое, но все равно их было четверо, потому что на руках у Липмана плакал младенец, который хотел молока. И они все четверо отправились в самый лучший, самый сохраннный тайник гетто, туда, где лежала парализованная женщина, слушавшая сводки радио, и где томилась Лиза, видевшая лишь ровный свет лампочки и слышавшая равномерный гул вентилятора.

Лиза закричала от ужаса.

Она увидела Липмана, который смотрел ей прямо в глаза и приближался с плачущим свертком на руках. Старый Липман приближался к ней, не обращая внимания на крик. Лиза вытянула руки, чтобы оттолкнуть их всех. Двум другим мужчинам здесь и впрямь было нечего делать. Но они потеряли своего командира в бою за маленького орущего человека и теперь хотели своими глазами увидеть, как этот человечек перестанет кричать, почував на губах материнское молоко.

Лиза вскочила.

— Унесите его, я ненавижу детей, — просила она.

Она взглянула на пеленки и увидела морщинистое личико, светлые волосы младенца.

— Унесите! — вскричала Лиза. — Мне страшно, я умру, если дотронусь до него...

Тогда Липман позвал мужчин. Они усадили Лизу и держали ее, легко обняв. Липман расстегнул Лизе рубашку и положил ребенка ей на колени. Она задрожала, застонала.

— Зажмурься, Лиза. Я расскажу тебе сказку, — сказал Липман. — Я буду рассказывать, а ты слушай, и тогда тебе не захочется больше плакать и будет совсем не страшно.

Лиза зажмурилась, замолчала.

Младенец жадно схватил грудь, набухшую, набрякшую, налитую, как спелый плод. Он жевал своим беззубым ротиком, он торопился, он громко чмокал. И все, на минуту притихнув, слушали, как насыщается маленький, недавно рожденный человек.

Авраам Липман рассказывал Лизе.

Он рассказывал, как жил-был отец и как была у него девочка Тайбеле, и была эта Тайбеле самой младшей из всех его сыновей и дочерей. И как двое бездетных людей взяли Тайбеле к себе и хотели, чтобы она ела как можно больше ложек супа и ни в коем случае не оставляла гущу. Так шли дни, недели, месяцы, и Бог явил чудо: у

той бездетной пары народилось дитя. И этот новый человек хочет есть, и ему нужно дать материнского молока, потому что каждому человеку материнское молоко — как земные соки дереву. И надо сберечь его, этого маленького человека, прижать к сердцу и гладить, потому что его матери больше нет, отца нет, и Тайбеле тоже нет.

Лиза медленно высвободила руки.

Она все еще боялась смотреть, поэтому лишь чуть-чуть приоткрыла глаза.

Лиза прикоснулась к ребенку и снова задрожала. Она крепко зажмурилась, но потом открыла свои большие черные глаза. Она неловко подоткнула пеленки, в которых барахталась маленькая жизнь, и подала вторую грудь.

После этого она заплакала.

Лиза плакала молча, совсем тихо. Снова было слышно, как спешит насытиться малыш. Слезы катились и падали без звука. Крупные, точно капли росы.

Мужчины, увидев слезы, вздохнули. Они сидели, слушали, как ест маленький, недавно родившийся на свет человек, и радовались, что Лиза плачет.

Хорошо, когда женщина плачет. Ей нужно плакать.

Плохо, когда у женщины нет слез.

## Глава тринадцатая. ХОД ПЯТИДЕСЯТЫЙ

### 1

— Что? — вскрикнул Шогер. — Ты соображаешь, что делаешь?!

«Ничья приближается... — думал Исаак. — Я знал, если буду стараться выиграть, то сумею свести вничью... Я знал... Но... что будет, если я выиграю?»

— Что?! — снова крикнул Шогер.

### 2

— Изя... — шепчет мне на ухо Эстер... — Кто-то стонет здесь, рядом, совсем близко.

— Да, близко.

Мне тоже кажется, что рядом кто-то стонет.

— Сиди тихо, я посмотрю.

Она держит меня за руку, не хочет отпускать, но вот ее рука медленно выскользывает из моей, и я могу идти.

— Не бойся, — говорю я.

Подворотня глубокая, как тоннель. Я осматриваю все закоулки — никого. Снова стон. Он доносится из угла, прикрытого створкой ворот. Я подхожу, осторожно тяну к себе тяжелую, скрипучую створку. У стены лежит человек. Он, должно быть, спит. Но человек этот мне знаком, я не верю своим глазам.

— Эстер... — тихо зову я.

Она подходит, становится рядом и вскрикивает.

Нам страшно.

— Янек? — спрашиваю я.

— Янек? — спрашивает она.

Янек!

Эстер бросается к лежащему, к Янеку, а я беру его руки, черные от вьезшейся земли.

Он вздрагивает и хочет встать на ноги, но я не даю.

— Я заснул? — спрашивает он. — Проспал?

Он еще не понимает, что мы — это мы, Эстер и Изя.

Он протирает глаза. Сначала его лицо встревожено.

Потом он пытается улыбнуться.

— Вы... — говорит Янек. — Оба тут... Вы искали?

Мы киваем в ответ.

— Я знал... Я все время знал... — с трудом улыбается Янек. — Только я боялся думать об этом.

Пусть говорит что хочет, мы с Эстер переглядываемся.

— Где твои звезды?

— Звезды? Далеко. Они очень далеко, на опушке леса. А что?

— Без них нельзя. Ты ведь знаешь, что будет, если попадешься без звезд?

— Да, да, я помню.

— Что теперь делать? — спрашивает Эстер.

Она забыла все беды, она думает лишь о звездах для Янека. Забыла, что только что его не было. Забыла, что мы сами без звезд шли по городу и любой полицией мог нас пристрелить. Забыла, что еще надо затесаться в проходящую колонну, так чтобы конвоиры не заметили. Она забыла все на свете, сейчас ее волнуют только звезды.

Я, недолго думая, спарываю звезду со своей груди.

— Ты можешь идти? — спрашиваю Янека.

— Медленно, но могу. Могу, конечно! — заканчивает он.

Я пришиваю свою звезду ему на грудь и объясняю:

— Ты, — говорю ему, — пойдешь впереди и обо-

прешься на меня. Одна звезда будет у тебя на груди, другая — у меня на спине.

— А что, если заметят? — спрашивает Янек.

Да, видно, Янек и вправду плох. Иначе не задавал бы таких вопросов.

— Ни за что не заметят. Ни в коем случае, — успокаиваю я его, а заодно и Эстер. — Ты будешь идти, прижимаясь ко мне...

Он понимает. Он снова улыбается.

— Очередная комбинация. Очень сложная, прямо с шахматной доски, — пытается острить Янек и снова стонет.

Я смотрю на его запекшиеся губы.

— Это ничего, — объясняет Янек. — Это просто так...

Шаги...

Шаги!

Женщины.

Первой выходит Эстер.

Мы принимаем к щели.

Она уже в колонне. Ее нет, затерялась среди своих.

Снова шаги.

Тяжелые шаги мужчин.

Теперь наш черед.

Пора!

Это моя колонна. Рядом со мной шагает Рыжий. Он смотрит сверху вниз на меня и Янека, на Янека и меня. Его глаза широко раскрыты, белесые ресницы повисли в воздухе, удивленные больше, чем всегда.

Он подталкивает своего соседа, тот — другого, другой — третьего. Множество людей, подталкивая друг друга, оттесняют нас в середину колонны, окружают со всех сторон.

Какие звезды? Где звезды?

Не хватает звезд, что ли?

Да их даже слишком много. На каждого человека по две. Разве этого мало?

Звезд уже так много, что могло бы и вовсе их не быть. Разве мало звезд на небе? Миллионы. И не только желтых. Они искрятся, отливая всеми цветами, играют, словно радуга.

Их очень много.

Неужели кому-то не хватает звезд?

Мы проходим ворота.

Мы уже в гетто.

— Пить, — просит Янек. — Теперь ты можешь принести мне воды.

Рыжий ждет нас. Он, наверно, хочет что-то сказать, но Янек повис на нем, и я бегу за водой.

Я приношу много, целое ведро.

Янек опускается на колени и припадает к воде.

Он пьет, пьет, пьет.

Потом переводит дух.

— Вода... — говорит Янек. — Что может быть вкуснее?

И снова пьет, и пьет, и пьет.

— Знаешь, что я хочу сказать? — говорит мне Рыжий.

Он, наверно, забыл, что недавно нас было двое, что наша тройка была неполной и он сам предложил мне найти кого-нибудь еще. Он все забыл. Ему важно только дело. Он непременно должен что-то сказать, этот Рыжий, надо или не надо.

— Знаешь, что я хочу сказать? — повторяет Рыжий. Он смотрит на меня, смотрит на Янека, смотрит на Эстер, стоящую рядом с нами, и продолжает: — Вы должны готовиться очень быстро. Через пять дней, ночью, пойдете в лес.

Чудак этот Рыжий. Он умеет лаять, как собачонка, и мяукать по-кошачьи.

— Ты просто так говоришь, ты шутишь, да, Рыжий? — спрашиваю я.

Рыжий сердится.

Если Рыжий сердится, значит, это правда.

Мы?

В лес?

Это еле укладывается у меня в голове. С большим трудом.

Рыжий мог объяснить, не брякать так сразу... А он выпалил: надо, и будь здоров.

Мы?

В лес?

Да.

Через пять дней, ночью.

Я понимаю, Янеку трудно говорить. Он кривит губы. Улыбается, хочет что-то сказать.

— Я знал, что это будет.

Вот что Янек хочет сказать.

Все-то он знает...

Пусть уж лучше молчит, не разговаривает и поскорей приходит в себя.

## Глава четырнадцатая. ХОД ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ

### 1

— Слушай... Ты! — недобро проговорил Шогер, перекидывая фигуру с ладони на ладонь.

Исаак чуть заметно улыбался.

— Слушай... Ты! Не забудь, на что мы играем. Ты можешь проиграть не кружку пива и не вонючую селедку. Ты поставил на кон все, что у тебя есть: свою голову.

Шогер сжал в кулаке фигуру. Дерево хрустнуло, и круглая головка покатила по доске.

— Сегодня будет ничья, — сказал Исаак.

Шогер наклонился к самому столику. Вытянув шею, он заглянул Исааку в глаза и тихо проговорил:

— Думай... Как бы не проиграть... Сегодня — мой день.

### 2

— Я родил сына Исаака, — сказал Авраам Липман.

### 3

Они шли вдвоем.

По середине мостовой, заложив руки за спину, семенил Авраам Липман.

За ним, по тротуару, тащился конвоир.

Они шли вдвоем, Липман все время спешил: конвоиру тоже приходилось поторапливаться, он не мог отстать. Ему было жарко, тяжелая винтовка оттягивала плечо. Конвоир то и дело смахивал пот и ругался.

— Куда тебя несет, куда, старый хрен? — шипел он.

Липман делал вид, что не слышит. Ему надо было спешить.

Был, наверно, конец погожего осеннего дня, наверно, солнце, перевалив за половину небосвода, удлиняло тени деревьев, домов и людей, наверно, где-нибудь на ок-

раине в маленьких палисадниках или просто под окнами красовались душистые осенние цветы, а над рекой собирался вечерний туман, еще и не туман даже, а теплая кисея, вбивавшая капельки влаги.

Липман не оглядывался по сторонам, он ничего не видел и думал совсем не об осени с ее цветами. Он шел, сторбившись от бремени лет, и не только от этого, шел, все ускоряя шаг, вскинув подбородок, заросший черно-белой седеющей бородой, высоко задрал голову, покрытую старым потертым картузом, так что козырек не закрывал его выцветших, окруженных сбежавшимися морщинами глаз.

Совет гетто выяснил, что Шогер не получил никаких инструкций о проведении детской акции, он ее сам придумал, и поэтому к коменданту гетто послали Авраама Липмана. Времени было в обрез. Завтра утром всех детей до десяти лет приказано собрать у ворот гетто, откуда их увезут. Куда — все знали.

«Коли я взопрел, то какво ж ему, старому хрену?» — думал конвоир, поспевая за Липманом.

— Не беги, не беги, успеется, — проворчал он. — Думаешь, Шогер больно жалуется незваных гостей? Га! Смотри, как бы тебя оттуда вперед ногами не вынесли. Га!

А про себя добавил:

«Чудной народ, бестолковый. Сам на смерть бежит. Га!»

— А что, как я сейчас возьму и шлепну тебя? — сказал конвоир, поправляя сползавшую винтовку. — Вам запрещается ходить по улицам после шести вечера.

Авраам Липман по-прежнему делал вид, что не слышит, но потом обернулся и сказал чуть осипшим, задыхающимся голосом:

— Я не могу тебе ответить, потому что нам запрещено разговаривать с неевреями на улице.

— Га! Старый черт, — ругнулся конвоир и вытер пот рукавом зеленого кителя.

Они шли вдвоем, часто спотыкаясь. Липман все спешил и спешил, а конвоир старался не отставать и плелся за ним то быстрее, то медленнее, время от времени ругаясь.

Возможно, был конец славного осеннего дня, возможно, где-то душисто пахли цветы, быстро текла река, собирая вечернюю мглу на своей спине, но все это было далеко, а тут, здесь, по мостовой семенял Авраам Лип-

ман, плелся по тротуару полицей и перед ними за высоким забором красовался дом Шогера — небольшая двухэтажная вилла со свежевыкрашенными стенами и черепичной крышей.

У калитки Липман остановился перевести дух.

Наконец-то и конвоир смог отдышаться.

Они позвонили, но никто не отозвался. Толкнули калитку и пошли, теперь уже не спеша, по выложенной цементными плитками дорожке, обсаженной прямоугольной живой изгородью.

Дверь открыл часовой.

— Меня прислал юденрат, — сказал Липман.

Часовой ушел, потом вернулся и показал комнату, где, по-видимому, находился Шогер. Липман был здесь однажды, он знал эту комнату и, не раздумывая, уверенно шагнул к высокой двустворчатой двери с блестящей бронзовой ручкой.

Полицай остался в коридоре, предпочитая не соваться Шогеру на глаза, а Липман вошел и притворил за собой тяжелую дверь.

Высокая просторная комната была обставлена мебелью орехового дерева.

Мебель Шогеру делали лучшие мастера гетто.

«За что мы поднесли ему эту мебель? — напряженно думал Липман. — Мы много дарили ему, но мебель...»

Он поморщил лоб и наконец вспомнил.

«За Эстонию... Да, да, за Эстонию. Он хотел отправить часть работоспособных мужчин в какой-то эстонский лагерь. Мы поднесли ему ореховый гарнитур, и он никого не тронул. Да, за Эстонию...»

Вдоль стены с тремя высокими окнами стоял длинный стол, инкрустированный светлыми и темными клетками. Десять шахматных досок. Светлая клеточка из бука, темная — красного дерева, светлая — из бука, темная — красного дерева.

«Этот стол мы подарили ему позже, — вспомнил Липман. — Да, позже, когда он решил уменьшить рацион. Он хотел срезать чуть ли не половину, а урезал не так уж много».

За столом сидели пятеро офицеров при штабе Розенберга. Нагнувшись, они напряженно вглядывались в расставленные перед ними фигуры. Шогер расхаживал по другую сторону стола, переходил от одного офицера к другому и, улыбаясь, переставлял фигуры. Он давал сеанс одновременной игры на пяти досках.



Когда дверь открылась и снова закрылась, Шогер повернул голову.

Он смотрел не на Липмана, а на его старый, замусоленный картуз.

Липман мгновение поколебался, но картуза не снял.

Первый раз, когда Липман не снял шапку, Шогер приказал дать ему десять плетей. Плеть — кожаный кнут со стальной проволокой внутри.

— Таков наш обычай, — ответил Липман. — Я не могу иначе.

Когда Липман не обнажил голову во второй раз, Шогер велел всыпать пятнадцать горячих. Той же плетью.

— Таков наш... обычай, — ответил Липман. — Не могу иначе.

В третий раз Шогер назначил двадцать и сам отсчитывал удары.

Когда Липман поднялся со скамьи, он ответил Шогеру:

— Такой... у нас... обычай... Иначе не могу.

Тогда Шогер отсчитал еще пять плетей, хмыкнул и ушел.

Да, теперь он снова смотрел на картуз Липмана. Липман на миг поколебался, но картуза не снял, и Шогер ничего не сказал.

Шогер переставлял фигуры, словно это были не шахматы, а детские игрушки. Он с улыбкой шагал от партнера к партнеру, делал ходы, почти не думая, и тем не менее его противники сдавались один за другим.

Шогер поблагодарил офицеров, они щелкнули каблуками и вышли.

Тогда он сел на стол, на одну из шахматных досок, первую или десятую, на маленькие квадратики, светлые — из бука, темные — красного дерева, и посмотрел на Липмана.

— Можешь подойти ближе, — сказал он.

Липман подошел.

— Вот ведь сукины дети, — продолжал Шогер. — Ни один не выиграл.

— Ни один, — повторил за ним Липман.

— Ты видел, как я их разделал? Видел, как они сдавались? Майн Гот! А ведь один мог даже выиграть, тот, что сидел посередине. Ты его знаешь?

— Нет, не знаю.

— Он мог выиграть, но надо было жертвовать королевой, а он струсил. Ха-ха-ха!.. Ты знаешь, что я тебе

скажу, Липман? Тот, кто хочет играть в шахматы, должен иметь еврейскую голову.

Он захохотал еще громче.

— У меня, как видно, еврейская голова. А, Липман? Как ты думаешь?

Липман молча отвел глаза.

Шогер посмотрел на старый, поношенный картуз, козырек которого не закрывал сбежавшихся возле глаз морщинок, и сказал:

— Я знал, что вы явитесь сегодня. Ты пришел сам или тебя прислал юденрат?

— Меня прислал юденрат.

— Господин комендант! — прикрикнул Шогер.

— ...господин комендант.

— Чего же ты хочешь от меня?

— Я хочу просить вас, чтобы не увозили детей, господин комендант.

— Мы отвезем их неподалеку, в детский дом, — ответил Шогер. — Там им будет лучше. Там они будут сыты, одеты, так что вы можете не беспокоиться.

— Совет хочет, чтобы дети остались в гетто. Совет просит вас не увозить детей, пусть живут с родителями, господин комендант.

Шогер молчал, и Липман добавил:

— Люди верят, что вы оставите нам детей, господин комендант. И мы для вас что-нибудь сделаем...

— Что вы сделаете? — перебил Шогер. — Что еще вы можете сделать? У меня есть все, мне ничего не надо.

— Мы сделаем...

— Липман... Ты уж лучше помалкивай, не проси. Я все равно увезу детей. Ты знаешь, о чем я думаю? Я сейчас думаю совсем о другом. Я знал, что вы явитесь сегодня, но не думал, что пришлют тебя. Я рассчитывал, что ко мне пожалует Мирский. Очень люблю смешить его, этого вашего Мирского. Борода у него совсем седая, лишь там и сям черные клочья. Стоит выдернуть несколько черных волосков, и он начинает смеяться прямо в глаза, этот Мирский.

Липман молчал.

— Так почему же они прислали тебя? Ведь у тебя нет ни малых детей, ни внуков. Я не понимаю, почему пришел ты, Липман.

Липман молчал.

— Почему ты пришел? Ведь у тебя нет маленьких детей, скажи?

Тогда Авраам Липман сказал:

— Все дети — наши, и мои тоже. У меня много детей.

— Господин...

— Да, господин комендант...

— Все равно, ты напрасно просишь.

— Мы вам...

— Постой, постой. Знаешь сказку о золотой рыбке? Так вот, если бы я поймал сейчас золотую рыбку, я не знал бы, чего у нее просить. Разве что сыграть со мной в шахматы. Ха-ха-ха...

— Я вас очень прошу, господин комендант. Не увозите детей. Это последние наши дети, господин комендант.

Шогер стоял, прислонясь к столу и скрестив ноги, его руки были сложены на груди, лицо застыло.

И тогда Липман снял картуз.

Он медленно содрал его с головы и мял в руках. Он низко нагнул голову и проговорил:

— Господин комендант, оставьте нам последних детей.

— Ладно. — Шогер улыбнулся. — Я готов согласиться, Липман. Но я не рыбак, а ты не золотая рыбка. Дети, дети, дети!.. Я соглашусь, если твой Исаак сыграет на них со мной. Мы будем играть всего одну партию. И если...

Липман вздрогнул, но не отвел глаза.

— Давай договоримся так, Липман. Слушай внимательно. Как следует слушай. Если он выиграет — дети останутся в гетто, но я убью твоего сына. Сам. Если проиграет, то он останется в живых, но я завтра же велю увезти детей. Ты понял?

— Я понял, но Исаак... Он теперь у меня единственный...

— Я тут ни при чем, Липман, — сказал Шогер. — Разве я виноват, что сегодня ко мне явился ты, а не этот шут Мирский? И чего тебе расстраиваться, Липман? Исаак может проиграть, и все останется по-прежнему, как есть. Я тебя не принуждаю, ты волен не согласиться, можешь подумать. Я ведь не приказываю тебе, я только ставлю свои условия.

Липман думал.

— И как ты родил такого сына, Абрам, а? Он мог бы вырасти большим шахматистом, мог бы потягаться с самим Капабланкой, знаешь... Ну?.. Ты решил, Липман?

Липман решал.

Он все еще смотрел на Шогера, на застывшее его лицо, а потом надел картуз.

— Хорошо, — сказал он. — Я согласен. Но вы, господин комендант, забыли еще одну возможность: что, если будет ничья?

— Ты ничего не смыслишь в шахматах, Липман. Твой сын не задал бы такого вопроса. Сделать ничью труднее, чем выиграть или проиграть. Нет, ничьей не будет. Впрочем, ладно, я готов пойти на уступку, Липман. Если будет ничья... Если твой сын сумеет сделать ничью — он останется в живых, а дети — в гетто. Ты доволен?

— Да, — ответил Липман.

— Можешь идти.

— Исаак должен прийти сюда?

— Нет, на этот раз — я к нему. Пусть все гетто видит, как мы играем.

— Хорошо, господин комендант.

Липман пошел к выходу.

Он был уже у двери, взялся за блестящую бронзовую ручку.

Шогер догнал его и хлопнул по плечу.

— Слушай, Липман, я скажу тебе прямо: если ты держишься за свою шапку, так постарайся и сына удержать. Удержи на нем шапку вместе с головой. Понял, Липман?

Авраам Липман молчал.

Неровная, щербатая мостовая снова плыла перед глазами.

Липман возвращался в гетто медленно, еле переставляя ноги.

— Эй ты, старая кляча! — кричал конвоир. — Пошевеливайся. Моя смена кончилась, и я не собираюсь гулять с тобой, как с барышней.

Липман делал вид, что не слышит.

Полицай стянул винтовку и саданул Липмана по спине прикладом. Но Липман по-прежнему не торопился.

Надвигался, должно быть, добрый осенний вечер, солнце, должно быть, уже спускалось к горизонту, все удлиняя тени деревьев, домов и человека, где-то на окраине в маленьких палисадниках красовались под окнами

ми пестрые осенние цветы, а над рекой сгушался вечерний туман — скопление серых капелек...

Вернувшись в гетто, Авраам Липман позвал сына. Исаак слушал молча.

— Ты все понял, сын? — спросил Авраам.

— Да, — ответил Исаак.

— Ты, наверное, плохо слышал. Я повторю...

— Не надо.

— Ты не сердись, сын?

— Разве я могу сердиться на моего отца?

— Подойди ближе, — сказал отец, — я хочу посмотреть тебе в глаза.

Исаак подошел.

Сын и отец, не дыша, смотрели друг на друга.

— Отец, — сказал Исаак. — Помнишь, как ты щекотал меня в детстве?

— Я помню.

— В те дни твоя борода еще не была седой.

— Люди старятся, сынок.

— Она и сейчас не совсем седая. Только с проседью.

— Я знаю, какой я сейчас. Ну, подними-ка голову.

Отец захватил в горсть свою поседевшую бороду и провел по шее сына.

— Щекочет... щекочет твоя борода. Совсем как раньше, — сказал Исаак, но только теперь он не хохотал и не смеялся, как раньше.

Тогда Авраам крепко обнял сына и сказал:

— Помни, ты должен беречь себя. Ведь ты можешь сделать ничью, правда?

— Не бойся, отец, я сделаю так, как лучше.

— Я знаю, — сказал Авраам Липман.

Он привстал на цыпочки и, обняв сына, поцеловал его лоб и глаза.

— Я знаю, ты сделаешь как лучше, — повторил он.

## Глава пятнадцатая. ХОД ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ

### 1

Исаак не слушал Шогера. Тот двинул пешку. Исааку оставалось сделать последний ход. Но какой?

В этот момент можно было сделать вечный шах и свести вничью.

Можно было пойти конем — и выиграть.

У белых было два варианта.

2

Я долго ждал отца. Когда он отправляется в совет гетто или к Шогеру, мне всегда надо сидеть и терпеливо ждать.

Вот и дождался, поговорили. Я еще чувствую у себя на лбу его сухие губы, обрамленные усами и бородой, но мне надо спешить, меня ждет гладкий каменный порог. Меня ждет Эстер. Нас обоих ждет двор, ждет бревно, деревянный ящик.

Я умылся и надел свою голубую рубашку.

Все неправда.

Нет никого кругом.

Я — Шимек.

Эстер — Бузя.

Шимек летит на свиданье к своей Бузе.

Сегодня мы сидим рядом. Я на бревне, и она — тоже. Руки кажутся мне длинными и ненужными. Они мешают, их некуда деть. Бузя сидит рядом, ее голова лежит у меня на плече, густые пепельные волосы волнами текут по моей груди.

— Я не хочу... — говорит она. — Не хочу, чтоб ты был Шимек, а я — Бузя. У той сказки печальный конец. Ты помнишь?

— Помню. «...Не принуждайте меня рассказывать конец моего романа. Конец — пусть самый наилучший — это печальный аккорд. Начало, самое грустное начало, лучше самого радостного конца. Мне поэтому легче и приятнее снова рассказать вам эту историю с самого начала... У меня был брат Бенья, он...»

— Хватит! — Эстер трясет меня за руку. — Хватит, Изя...

— Хорошо.

— Ты больше не Шимек, нет?

— Нет.

— И я не Бузя?

— Нет.

— Ты — Изя, мой Изя, а я — Эстер...  
— Моя Эстер.

Она еще крепче прижимается ко мне. Она гладит мою коротко стриженную голову. Она припадает лицом к моему плечу, и ей, наверное, больно, потому что плечи у меня острые.

Почему руки все время кажутся мне такими ненужными, такими длинными? Они мешают, мне некуда их девать.

— Эстер, — говорю я.

— Ты хочешь что-то сказать мне?

— Хочу.

— Говори, говори, что же ты молчишь?

И я решаюсь.

Я охватываю ладонями ее голову. Мои ладони большие, грубые, а ее личико маленькое, и в глазах сейчас нету никаких чертиков, ни веселых, ни печальных.

Ее губы сами приближаются ко мне, и я шепчу дрожащим голосом:

— Эстер... Я обещал Янеку, что не обижу тебя.

— Разве ты меня обижаешь?

Так спрашивает Эстер, а ее губы рядом. Яркие, как алые ленты, и такие близкие, что я чувствую их запах.

— Эстер... — еще раз говорю я.

И мы вновь умолкаем.

Больше не надо говорить.

Губы Эстер сладки как мед.

Щеки Эстер нежны как бархат.

Глаза у Эстер влажны, и слеза ее солоня.

Мои руки крепко обнимают Эстер. Они очень нужны сейчас, мои руки, и я не могу их оторвать. Но надо. Надо, надо... Я слышу тихий голос, который зовет меня.

Да, это Янек.

— Изя, — тихо повторяет Янек. — Пора... Ты должен идти.

— Почему? — так же тихо спрашиваю я.

Я знаю почему. Я спрашиваю просто так, лишь бы еще не вставать, не уходить отсюда.

— Там приготовлен столик, люди ждут, и Шогер приехал. Тебя всюду ищут, не могут найти.

— Идем, Янек, — говорю я. — Идем, друг.

Мы идем.

Я не оборачиваюсь, чтобы не видеть бревно и одинокую Эстер.

Я боюсь взглянуть на нее, чтобы снова не чувствовать ее влажных глаз и слез.

— Идем, идем, — говорит Янек.

Я иду, чего он торопит?

Мы шагаем молча, и я вижу, как Янек опускает голову. Видно, хочет что-то сказать, но не решается.

— Говори, Янек, — помогаю я ему.

Он смотрит на меня серьезными глазами старика.

— Не забудь, Изя, — говорит он, — что сегодня ночью, ровно в двенадцать, мы уходим в лес.

— Не бойся, не забуду.

Янек снова опускает голову, и я чувствую, что он не это хотел сказать.

Ну, говори, говори, Янек.

— Изя, — медленно продолжает Янек. — Я тебе потом скажу, сейчас уже некогда... Я скажу тебе в лесу. Только я хочу попросить... Не делай так, чтобы мне пришлось искать и тебя.

— Не бойся. Ты хочешь, чтобы была ничья, Янек?

— Да, я хочу, чтобы ты сделал ничью.

— Я постараюсь. Я буду очень стараться, не бойся.

— Хорошо, — говорит Янек.

Он доволен.

Конечно, я должен сыграть вничью, и сегодня в полночь мы уйдем в лес.

Ничья!

Да здравствует ничья!

## Глава шестнадцатая. ПОСЛЕДНИЙ ХОД

### 1

У белых был выбор.

«Если бы я зажмурился и кто-то другой, какой-нибудь невидимый ангел-хранитель, поднял именно ту фигуру, которой надо пойти... Сегодня я не имею права ошибиться. Я должен спокойно подумать и выбрать: ничья или выигрыш. Я не хочу спешить. До Шогера только сейчас дошло, что я готов выиграть...»



Шогер посмотрел в глаза противнику, вскочил со стула и крикнул тем, что толпились вокруг:

— Поставить лампы и отойти! Подальше! Еще, еще!

Люди не шелохнулись, и кольцо вокруг светлого карбидного пятна не стало шире. Люди молчали и не сводили глаз с двух живых фигур.

Шогер резко придвинул стул и, навалившись на столик, проговорил тихо, так, чтобы слышал только Исаак:

— Это уже не лотерея... Тут все ясно, и у тебя нет выбора, делай вечный шах. Ничья!

Бледная кожа на лбу и под редкими волосами Шогера вздрагивала, уши подергивались.

«Теперь я могу встать и плюнуть, — думал Исаак Липман. — Я могу плюнуть в твою арийскую рожу, плюнуть на эти рыжеватые шевелящиеся волосы. Но плюнуть легко. Я хотел бы быть индейцем и срезать твой скользкий скальп, вот тогда бы я был доволен. Не бойся, я не плюну. Важно, что и сегодня, как всегда, я хозяин положения. У меня есть два хода, и я могу выбрать что захочу. Я только не могу ошибиться — на этот раз не имею права».

Шогер сидел, навалившись на столик.

Лицо его до линии бровей было спокойным, застывшим. Не вздрагивали углы рта, не подергивались щеки, не моргали ресницы, глаза смотрели холодно, как две могильные ямы. Только ерзала кожа головы, заставляя двигаться непрерывно вверх-вниз рыжеватые, гладко причесанные волосы.

«Я не знал, что так трудно выбрать один ход из двух возможных...» — думал Исаак.

Он видел перед собой дергающиеся уши Шогера.

Он отвернулся. Но по-прежнему видел подрагивающую кожу его лба.

— Я скажу тебе правду... — медленно, с расстановкой проговорил Шогер, не думая, что кругом люди. — Детей ты все равно не спасешь. Можешь спасти только самого себя.

Исаак зажмурился.

Перед закрытыми глазами отдельно двигались уши, волосы, кожа лба.

Он открыл глаза: снова скользкие рыжие волосы напротив, а вокруг — мужчины; они ждали, медленно подступая к игрокам.

Он понял, что есть только один верный ход.

Рука, которая колебалась между двумя фигурами,

взяла коня — белую лошадь, мертвую деревянную фигуру, сжала в пальцах и поставила на пустую клетку. Надо было сказать: «Шах и мат», — но у него перехватило горло, там застряли другие слова, которые было необходимо выговорить.

Исаак Липман встал, выпрямился и спокойно сказал: — Ты проиграл.

Шогер вскочил и долго не мог нащупать кобуру.

Когда он наконец расстегнул ее, страшная тишина навалилась на город и на весь мир.

Шогер чувствовал, что он в кольце. Вокруг была стена. Живая, человек к человеку. Никому не пройти сквозь такую стену.

Он зажмурился, и снова открыл глаза, и увидел, что кольцо сжимается. Цирковая арена вдруг ушла из-под ног. Пропал и фокусник, и волшебная палочка. Людская стена придвигалась, близилась, ничто не могло ее отвлечь, и была она уже не кольцом, а готовой захлестнуться петлей.

В центре по-прежнему были шахматы, ярко горели фонари...

Шогер успел еще схватиться руками за шею.

Не осталось ни столика, ни фонарей — живая стена сомкнулась.

Кольцо исчезло.

Конец — печальный аккорд?

Начало, самое грустное начало лучше самого радостного конца?

Иногда и начало может быть концом, а конец — только началом...

Вы знаете, как светит весеннее солнце? Вряд ли вы знаете, как оно светит. Вы не видели, как улыбается Эстер.

Весеннее солнце светит, как улыбка Эстер, а ее улыбка светла, как весеннее солнце.

*С литовского. Авторизованный перевод Феликса ДЕКТОРА*

*Переводы — великая вещь, отважная попытка ликвидировать последствия смешения языков, случившегося в ходе не завершённого и поныне строительства знаменитой Вавилонской башни.*

*Люди разделены языковыми барьерами. Что же касается евреев, то языковые барьеры отделяют их не столько от других народов, сколько друг от друга. Поэтому перевод с одного языка на другой — необходимое условие поддержания непрерывности культурной традиции наших единоплеменников, необходимое условие сохранения культурного единства нашего народа, рассеянного «по странам и континентам». Идиш — ещё недавно основной язык еврейской литературы в СССР — недоступен сейчас подавляющему большинству тех, для которых литература на родном языке предназначается в первую очередь. Нельзя сказать, что этот факт игнорируется официальными инстанциями. Переводов с идиша издаётся в СССР немало. Но, увы, слишком часто переводится не то и не так. Это, естественно, не может не сказаться на образе еврейской культуры, который предстаёт в сознании русскоязычных читателей.*

*Достаточно вспомнить Овсея (Шике) Дриза, широко известного в качестве детского поэта благодаря многочисленным изданиям его стихов на русском языке. Однако многие «взрослые» стихи Дриза по-русски не публиковались.*

## Овсей Дриз

### ИЗ РОДА В РОД

*Погибшим еврейским поэтам посвящается*

Не плачьте, не плачьте,  
Еврейские вдовы,  
Ведь память поэтов —  
Не слезы, а слово.  
Пусть голосом нашим  
Станет их глас,  
Их песнь, что посеяна  
В сердце у нас.

Пусть будут пред нею  
Все двери открыты.  
Все пойте, покуда  
Слова не забыты!  
Брат — брату, мать — детям,  
А бабушка — внукам.  
Не справиться с песней  
Ни смерти, ни мукам.

Не плачьте,  
Могил не ищите, не надо.  
Все стороны света  
Встают, как ограда.  
А лучше  
Оденемся в черное, братья.  
И камень на сердце  
Возьмем, как заветье.

След наших пальцев —  
Их песне молитва —  
Пусть врежется в камень:  
«Пой никбор, пой нитмон».  
И камень на сердце  
Из рода в род —  
Несите,  
Покуда народ наш живет.

Не плачьте, не плачьте,  
Еврейские вдовы,  
Ведь память поэтов —  
Не слезы, а слово.  
Пусть голосом нашим  
Станет их глас,  
Их песнь, что посеяна  
В сердце у нас.

*С идиша. Перевел Е. КАПЛАН*

## Шуламит Гарэвен

### В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ

#### *Рассказ*

Они явились к концу приема. Крутая лестница привела их к адвокатской конторе на последнем этаже старого иерусалимского дома. Рядом было агентство газетных вырезок, за ним — уборная, из которой на весь этаж несло хлоркой. Поднимаясь, обе тяжело дышали.

— Вот и пришли, — сказала старшая с торжеством в голосе.

У нее было типично славянское лицо — слегка приплюснутая смесь простодушая и жестокости. Из тех женщин, фигура которых не запоминается, — так действует на все чувства сам факт их присутствия: вот входит, переводит дыхание, говорит (всегда громко), разводит руками, берется за дело — споро ощипывает птицу, кроит ткань уверенно и быстро, берет на руки ребенка. Никогда не сидит без дела.

Тусклый свет на лестнице погас, и она попыталась на ощупь найти фосфоресцирующую кнопку. Но то ли на последнем этаже кнопка не была предусмотрена, то ли просто сломалась и выпала. Руку запорошило тонкой известковой крошкой, женщина по-крестьянски отерла ее о юбку.

— Ну, как же мы в темноте-то? — обратилась она по-русски к той, которая помоложе. — Спустилась бы ты, милая, на этаж да включила бы свет.

— Не стоит, — ответила та привычно недовольным тоном.

В этот момент дверь адвокатской конторы откры-

лась — вышел кто-то из посетителей. Лицо старшей прояснилось, она взялась рукой за косяк, чтобы дверь не закрылась и чтобы они опять не остались в потемках.

В приемной худая секретарша с большими зубами наводила марафет перед выходом. На конторке перед ней лежала раскрытая сумочка-косметичка.

— Нам к адвокату, — объяснила старшая на неуклюжем иврите.

Секретарша целиком заполняла комнату, и женщине пришлось несколько сжаться. Та повела плечами — губы ее были сложены треугольничком для нанесения помады — и указала на дверь в кабинет. Посетительницы вошли. Женщина представилась и представила дочь.

Горела лампа дневного света. Адвокат внимательно разглядывал дочь. Все во внешности девушки было от матери, но все оказалось совершенно другим. Жестокость, утратив простодушие, стала более настырной. Дочь была на вид послабей и позлей. Дешевая розовая кофточка и юбка змеино-зеленого цвета. Через плечо — цепка, на конце которой болталась пластмассовая сумочка. На ногах следовало быть сандалиям с золотистыми (или серебряными) перепонками. Но — неожиданность! — обута она была в добротные кожаные туфли. Наверное, получила в подарок от хозяйки, у которой работала, подумал адвокат, а следить за ними не умеет.

Встретил он их без особого восторга. За день порядком устал, а вечером предстояло идти на заседание «коллегии». Раз в неделю они, несколько старых приятелей, собирались на частной квартире для обсуждения правовых аспектов еврейского законоучения, и он не хотел опаздывать, хоть в последние годы участники встреч все меньше и меньше говорили о юридических проблемах и все больше обменивались сплетнями и анекдотами. Старость.

— Слышала, господин по-русски говорить, — неуверенно произнесла женщина на своем подобии иврита.

— Говорю.

— Ну, вот и слава Богу, — перешла она на русский, — а то трудно мне на иврите все объяснить. Вот, значит, дочка моя. А родилась она в России. Я-то сама, уважаемый господин, русская, из-под Кременчуга. Потому что во время войны Степан, женишок-то мой, без вести про-

пал. А я уже была на сносях. И познакомилась я с одним человеком, эвакуированным, звать Перельмутер. Ездили вместе с ним с места на место, пока не доехали до Туркмении. Там она и родилась. Потом вздумалось новому моему, Перельмутеру, значит, податься в Палестину, то бишь в Израиль. Ох, нелегко было нам здесь, нет, нелегко. Жили мы в монастыре, а Перельмутер-то сбег. Да, да, взял и сбег. Я и говорю, зачем было тащить нас сюда, ежели хотел сбегти. Только все ж таки сбег. Бывают такие люди. А дочка росла и, вот посмотрите, какая вымахала.

— Если вы хотите, чтобы я разыскал вашего Перельмутера... — нетерпеливо прервал ее адвокат.

— Нет, нет. На что мне Перельмутер? Мы с ним не женаты, и ничего промеж нас уже нет. Пусть живет как знает и нам не мешает жить. Бог с ним. Только вот ведь какая закавыка: дочь надумала ехать в Канаду. Я ей и говорю: «Хочешь ехать искать счастья? Поезжай себе с Богом». Только вот пошли мы в консульство, а там и говорят: непонятно, кто она есть, личность, значит, ее какая, если по форме, чья она — Степана, или Перельмутера, или кого другого. Я уже объясняла и так и эдак, только не понимают. И визу ей не дают. Ни в какую. Вот мы к вам и пришли, господин адвокат. Вы ж законы знаете. Так найдите, что у нее за личность такая, чтобы ей разрешили ехать в Канаду. А мы уж за вас век будем молиться.

— Нужно навести справки в отделе учета гражданского населения, — сказал адвокат. — Обратитесь туда сами. Жалко ваших денег.

— Да разве ж я в этом понимаю? Нет уж, вы пойдите, узнайте, а мы вам заплатим и расстанемся с миром.

Адвокат нажал на звонок, чтобы вызвать секретаршу. Но та уже успела смыться — ее рабочий день кончился. Тогда он пересел за другой стол и сам двумя пальцами стал отстукивать доверенность на машинке. Стекло, за которым стояли на стеллаже своды законов, дребезжало при каждом ударе по клавишам. Дочь сначала глядела на полку с детским любопытством, а потом коснулась пальцем дрожащего стекла, и дребезжание прекратилось. Это заинтересовало ее. Она то убирала палец, то прикладывала его вновь и, казалось, очень расстроилась, когда адвокат кончил печатать. Потом она еще некоторое время разглядывала пальцы, будто ожидая продолжения.



Мать расписалась медленной вязью кириллицы всюду, где ей было указано. В качестве адреса она назвала один из старых монастырей в северной части Иерусалима. Там она делает все: убирает, закупает овощи. В монастыре у нее до сих пор есть своя комната. Адвокат велел им прийти через несколько дней, встал и направился к двери. Ступая за ним, женщина продолжала говорить — ведь не каждый же день ей выдается поговорить по-русски, кроме как в монастыре, но адвокат не любил заводить бесед с клиентами, окончив обсуждение их дел. Он подождал — пусть спустятся и отойдут подальше, — погасил свет и вышел сам. Из окна лавчонки, что была возле подъезда, в темноту иерусалимского вечера просачивались жизнь и свет. Он купил булочки для себя и ежедневную порцию сыра для кота. В своей кошачьей юности кот любил выводить фиоритуры на разные лады, и поэтому он назвал его Каценбах, маэстро среди котов, но с годами кот обрюзг и притих. Идя к машине, адвокат задумался: почему, собственно, она так хочет, чтобы дочь уехала в Канаду. Ведь обычно матери стремятся всеми силами привязать дочерей к дому. К тому же она одинока.

— К сожалению, ничего радостного сообщить вам не могу, — строго сказал адвокат.

На этот раз она пришла сама, не объяснив отсутствия дочери.

— Я навел справки в отделе учета. Во-первых, ваша дочь несовершеннолетняя.

— Ну да, конечно, — ответила женщина, — родилась она в войну. Сейчас ей шестнадцать. Стало быть, несовершеннолетняя. Но она девица с головой и работающая. В Канаде она не пропадет. Устроится непременно.

— Во-вторых, она записана как дочь Перельмутера.

— Милый вы мой, а как же вы хотели, чтоб я ее записала?! Война была. Куда мне, женщине с ребенком, да еще с незаконнорожденным. Мы тогда жили с Перельмутером. Вместе ели, вместе спали, вместе приехали в Палестину, то бишь в Израиль. Как же мне было записать ее, если не на его имя?

— Ну хорошо, хорошо, — сказал адвокат, — никто не предъявляет к вам никаких претензий. Только из-за этой записи ваша дочь не может выехать в Канаду без разрешения отца или того, кто записан ее отцом, то есть Перельмутера.

Женщина изумилась.

— То есть как это? Как это так, господин адвокат? Где справедливость? Разве ж он растил ее? Нет, не растил. Он сбег. А я не сбегала. Я растила ее. А теперь его право решать, ехать ей или не ехать в Канаду? Где мне теперь искать Перельмутера, скажите на милость. Пятнадцать лет о нем ни слуху ни духу. Может, он вообще за границей.

— Послушайте, — вновь попытался объяснить ей адвокат, — ваша дочь записана дочерью еврея, этого самого Перельмутера, независимо от того, правда это или не правда. Это означает, что она наполовину еврейка и, учитывая ее несовершеннолетие, не может покинуть Изариль без согласия отца. Таков закон.

— Какого отца? Какого еврея? Боже праведный! Да она ж от Степана. А Степан не еврей. Он из-под Кременчуга, жених мой. И никакой не еврей. — Она наклонилась над столом и выговаривала каждое слово отдельно, как в разговоре с глухим. — От Степана она, а не от Перельмутера.

— Я вам верю, — сухо сказал адвокат, — но есть закон.

— Да, против закона не попрешь, — неожиданно согласилась женщина. — Делать нечего, надо искать Перельмутера. Будьте уверены, уж я его отыщу. Отыщу и добьюсь разрешения.

— А если он не даст?

— Ну да Бог поможет, — сказала женщина. Хотя она вроде смирилась, в глазах еще не погасло изумление. — Это ж надо, чтобы такой закон, а? Кто бы мог подумать? Несправедливый этот закон, честное слово, несправедливый.

Адвокат смотрел на нее исподлобья. Дочь, какой она запомнилась ему по единственному посещению конторы, представить полуеврейкой было весьма трудно. Но, с другой стороны, ему казалось, что женщина сама толком не знает, от кого у нее дочь, и, значит, может быть, в той и есть что-то еврейское. Может, все-таки она дочь, внучка и правнучка Перельмутеров, евреев-дровосеков или евреев-корчмарей? А может, она из хазар? Кто знает? Перельмутеров на свете много. Может, от них у нее этот юркий взгляд и эта мучнистая бледность. Прежде люди знали своих родителей, помнили, из какой семьи они происходят. А как осмотрительно выбирали невесту для жениха и жениха для невесты! Теперь все пошло

прахом. И вот пожалуйста, эта, со своими кудряшками, румянами и пластмассовой сумкой, не знает даже, кто она такая и кто ее отец. Нет, это не дело. Человек должен знать, что делали до него на земле его предки.

Сам адвокат не имел ни жены, ни детей. Был он высок и худ, спиралевиден, с кожей цвета слоновой кости и выхолненными ногтями, на вид лет семидесяти, щеголевато-опрятен, на переносице — пенсне с позолоченной дужкой, из тех, которые сейчас — не странно ли? — опять входят в моду. Семейная ветвь, представленная им, отмирала, и он посвящал много времени составлению генеалогического древа, якобы для соплеменников, которым вовсе не было дела до того, из какого он рода. Свое назначение он видел в том, чтобы открывать глаза на мир, просвещать — даже тех, кому это кажется лишним, — убеждать в силе закона и преимуществах порядка перед сумятицей и хаосом, которые то там, то здесь прорываются в мир вихрями слепых страстей и необузданных желаний.

Но как бы то ни было, а Перельмутера надо найти.

Не прошло и недели, как женщина принесла его адрес. Оказалось, что если он и сбежал, то сбежал недалеко. Все эти годы он преспокойно жил себе на окраине Тель-Авива, в одном из районов, построенных людьми неумелыми и торопливыми на плоской земле, поверх которой возвышались теперь однообразные ровные крыши с цилиндрами солнечных бойлеров. Адрес она достала через знакомых. Покрутилась три дня и нашла. Адвокат сел и составил письмо, в котором подробно разъяснил обстоятельства. Он любил писать такие письма, в которых все излагалось с чувством, с толком, с расстановкой, и ему казалось, что от процесса написания и объяснения зависит дальнейший ход событий.

Неделю не было ответа, а потом почтальон принес большой горчичного цвета и официального вида конверт, в котором было письмо, написанное, правда, хоть и на иврите, но латинскими буквами. Adoni<sup>1</sup>, говорилось в письме, ani lo maskim<sup>2</sup>. Дальше Перельмутер много писал о себе. Он очень больной, страдает печенью, женил-

---

<sup>1</sup> Здесь: господин. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

<sup>2</sup> Я не согласен.

ся на вдове — владелице маленького магазинчика, и доходов у него нет, и счастье ему не улыбается, и все годы он тосковал по дочери. А теперь, когда она наконец нашлась, чтобы он дал ей уехать? Нет уж, он сам обратится в суд и потребует, чтобы она была ему дочерью по всем правилам, как у всех на свете. Он будет приезжать к ней, и водить ее в кино, и навещать по праздникам, и есть бульон с клецками. Как все на свете. И если ему не повезло в жизни и он не видел дочь пятнадцать лет, так что — разве он потерял на нее права? Нет, отец есть отец.

Латинские буквы затрудняли чтение, и адвокат просидел над письмом немало времени — он хотел быть уверен в том, что все понял правильно, разобрал, где под словом «lo»<sup>1</sup> имелось в виду «нет», а где «ему», и не спутал прочие вещи, которые, если бы их записать ивритскими буквами, не вызывали бы сомнений. Постепенно такая манера письма подействовала на адвоката. Он взял лист бумаги и стал писать ивритскими буквами, но слева направо, а потом перевернул и буквы, воспроизведя их зеркальное отображение. Он помнил день, когда ему объяснили, что на иврите надо писать не как по-русски, а в другую сторону, и первое время он действительно писал зеркальными отображениями ивритских букв. Родители и учителя немало потрудились, прежде чем он понял, как перевернуть их назад, но потом уже, поскольку он долго напрягал мозг, чтобы понять и научиться, стал в этом деле большим умельцем. Сейчас, почти через шестьдесят лет, он убедился, что все еще может писать зеркальным способом, причем весьма бегло, и более того — эти «зеркальные» буквы по своей внутренней форме больше напоминают ему его, чем обычные литеры его прилизанного ивритского почерка. Непонятное влияние перевернутых букв испугало его, и он, смутившись, разорвал лист — будто заглянул во что-то чужое и сокровенное.

— Ладно, — согласилась женщина, — езжайте к Перельмутеру. Только я не поеду. Езжайте вы, господин адвокат, пусть с вами едут дочка и муж.

— Муж? Ваш муж?

— Боже праведный! Ну конечно мой, а то чей же?

---

<sup>1</sup> Слова, звучащие на иврите одинаково, но пишущиеся по-разному.

Что же вы думали, я так и буду сидеть все эти годы, с тех пор как сбежал Перельмутер?

— Кто он, ваш муж?

— А вот познакомьтесь по дороге. Человек хороший. Поляк, был в армии Андерса, ранило его, беднягу, а потом он сбежал, и прятался, и голодал. Намучился. Теперь — не помню сколько лет назад — пристроился при муниципалитете, деревья сажать. Силища у него. Другие поскребут землю, так, поверху, и тут же сажать — ни силы у них, ни терпения. А он ни за что — вскопает как надо, старые корни выкорчует подчистую. Хороший он человек, Петр, добрый, не из тех, что наобещают с три короба, а потом сбегут.

(Монастырь, православная свадьба, венец на голове жениха, венец на голове невесты, лента, скрепляющая руки обоим, монахини, подносящие в подарок вышитую скатерть и живую курицу, которую Петр зарежет завтра или послезавтра, монастырское варенье из винограда, запах прелых яблок и ладана.)

— Другими словами, ваш брак с Перельмутером был расторгнут и вы вышли замуж вторично?

— Господин адвокат, так ведь я не сочеталась с Перельмутером. Война, сами знаете. Худо нам было в Туркмении, тоскливо, хоть волком вой. И люди сбегаются, лепятся друг к другу, чтобы вместе есть и вместе спать и не жить одному, как собака. Домишки там знаете какие? Хибары, стены из глины, крыши соломенные. Выйдешь — грязь непролазная. И война. До фронта, правда, было далеко, но если жить бобылем, то можно с голоду вспухнуть. Вдвоем полегче. Один кумыса раздобудет, другой где побатрачит и картошечки принесет. Как-то жили. И даже смеяться не позабыли. Каждый про семью думал, но думы эти прятал в сердце и страдал про себя, а вслух про это не говорили, разве что вечером. Когда тяжело, вдвоем-то полегче. Не думала я тогда, что мне придется такое терпеть из-за Перельмутера, ей-Богу, не думала.

Адвокат закрыл глаза и сразу же увидел ее и его, в грубых серых отрепьях, в платках с бахромой, бредущих длинной улицей туркменского аула, увязая по колено в грязи, с помятой банкой консервов под мышкой или с полбуханкой хлеба, — уши замотаны, чтобы не отморозить, в опорки насована газета. Она — с обветренным

лицом, высокая, светловолосая по-славянски, молочно-голубая и золотистая, как полдень в страду, и хоть она потрепана войной, грудь ее пахнет парным молоком; девушка она крепкая, и характер у нее вроде незлой, вовсе незлой, только голос резкий и визгливый, как бывает у русских женщин, и говор тяжелый и грубый. А он — еврей, беженец, совсем молодой, с близко посаженными глазами, сутулый, всегда в фуражке, с нелепой походкой — то ли подскок козлий, то ли человеческий шаг, бриться не любит, зато любит ныть, и в этом бесконечном нытье сохраняется весь запас его сил. Что-то в нем наглухо замкнуто от нее, и именно это, скрытое, притягивает, берет за живое, влечет. Она вынашивает обоих — и его и дочь. Ей тяжело. Изю дня в день в должный час проходит поезд, он не замедляет хода, ему нечего делать на этом заброшенном полустанке. В поезде солдаты, они едут домой; вагоны с ранеными... Председатель аульного совета произносит речи во славу партии и правительства и время от времени раздает что-то вроде местной газетки. Дети носят тубетейки, похожие на половинку футбольного мяча, все раскосые, в школе они говорят по-русски, а с бабушками — по-туркменски. Первого мая, несмотря на войну, на местную площадь удается вывести нечто похожее на демонстрацию. Густо-красные флаги над крышами, алые плакаты с золотыми буквами покрывают бурые стены. И чай, много чая.

Женщина и ее еврей под грудой одеял. На улице снег. Сверху, для согрева, — пальто. Они касались друг друга, как ложки в ящичке, и пусть в голове у него потоки мыслей, и пусть в мечтах он произносит про себя волшебные слова: Амударья, Амазонка, Рио-Гранде, все равно он тычется в нее, как кутенок, который ищет тепла у другого зверя своей породы.

В снегу блеют козы. Запах перьев, запах мороза. Проходит поезд. Приходит сон.

Адвокат вздохнул.

— Ну, хорошо. Давайте на будущей неделе напишем господину Перельмутеру, сообщим о нашем приезде. А вы — вы не хотите поехать? Вы уверены?

— Уверена, уверена я. На что он мне сдался? Пусть будет здоров, а только у него своя жизнь, а у меня своя. И Петр не захочет, чтоб я ехала. Ты, говорит, оставайся дома. Мы обо всем договоримся, по-мужски. А дочь

возьму, раз господин адвокат говорит, что так надо. Мы ведь верим господину адвокату, как отцу родному.

Что же я делаю, встревожился адвокат. Привезу я этого здоровенного голя к больному-печеночнику в Копель или как там называется район, где он живет, а тот еще поколотит его. И все из-за меня. «По-мужски», говорит.

— Послушайте, а ваш Петр не того, драться не станет?

Женщина всполошилась.

— Боже упаси, господин адвокат. Что это вы говорите такое? Да он же сущий ангел. Такой руку положит на больное место — и боли как не бывало. Во ручища, а мягкая. Чтоб мой Петр кого ударил? Да он мухи не обидит. А силища у него — ого-го! Вы не поверите, а посмотрели бы, как он работает, полрядка поднимает зараз, хоть и не молодой. Бабы сходятся посмотреть, когда он работает в сквере перед муниципалитетом, как на представление. Спина у него — загляденье, красивая, сильная.

Так вот почему она хочет отправить дочь в Канаду, подумал адвокат, хотя, может, сама еще не отдает себе в этом отчета. Тот же инстинкт, который некогда заставил ее пригреть тщедушного еврея, оказавшегося вместе с ней в глухом ауле, сейчас вынуждает ее — надо резать по живому, в доме должна быть одна женщина. А та, незамужняя, пусть уходит. Женская мудрость непостижима, но всегда подскажет, как поступить.

В тот же день адвокату совсем по другому делу случилось побывать в муниципалитете. Он поинтересовался, и знакомый служащий рассказал ему, что время от времени они действительно нанимают работника по имени Петр, который, конечно, малость того, и из армии Андерса вовсе не дезертировал, а был списан из-за неизлечимой умственной отсталости.

Вечером у подъезда, внизу, в свете огней лавчонки адвоката ждала дочь женщины. Было видно, что стоит она давно. Увидев его, девушка сдвинулась с места и пошла рядом, будто настроившись провожать.

— Почему вы не поднялись? — спросил адвокат. Разговор шел на иврите.

— А чего подниматься?

— Ну, а вдруг я сегодня вообще не работал бы?

Она пожала плечами и сказала:

— Я хочу в Канаду.

— Откуда вы знаете, что там вам будет лучше?

— Потому что здесь на мне никто не женится.

Адвокат удивился.

— Почему же?

— А кто? Еврей? Христианин? Русский? Араб? Нет, парням нужно, чтоб без изъяна.

Адвокат посмотрел на нее и попытался представить другую картину: та же горечь, та же вялая грудь, но вот ее коснулась радость, она желанна, в ней что-то распрямляется. Тогда особым значащим призвуком окажется и горечь, накопившаяся в теле, и даже эти ужасные тряпки с базарного развала. Останется лишь суть — молодая крепкая девушка в ярком платье.

А пока она семенила рядом по тротуару в своих дорогих неухоженных туфлях, слегка подтягивая ногу из-за того, что один каблук был стоптан.

— Я не знаю, что мне сказать, кто я такая.

— Ваша мать говорит...

— Мать говорит разное. Говорит, что мой отец — русский солдат.

— Какие же у вас основания не верить? Я думаю, что это правда. Во время войны всякое бывало, и никто не виноват. Он был отправлен на фронт, может, погиб. Если бы он не пропал, вы бы жили сейчас с отцом и матерью в деревне под Кременчугом.

— Я по отцу дважды сирота.

— Считая Перельмутера?

— А что ж? Он тоже был, да сплыл.

— Какое вам дело до Перельмутера? Ну и что, что мать с ним жила в годы войны? Ваш отец погиб на войне. И вы в этом смысле не единственная.

Девушка не слушала.

— Чего же она не вышла замуж?

— За кого — за Степана или за Перельмутера?

— Какая разница. За кого-нибудь. Кому я нужна теперь? Каждый скажет — эта небось такая же, как и мать.

Адвокат хотел сказать, что она ошибается, что в нашем обществе... но понял, что все это ни к чему, и промолчал.

— Потому я и хочу в Канаду. Там нет всех этих



дел — война, пятое-десятое. Там запросто. Может быть, даже с кем познакомлюсь из парней покультурней. А то посмотрите на мать — вышла замуж за этого полоумного, который что-то там роет при муниципалитете. И то сказать, какой у нее был выбор?

Адвокат вполне понимал ее влечение к миру, в котором все расставлено по местам. Он и сам любил жизнь упорядоченную, текущую медленно, по заранее установленным канонам, жизнь, в которой есть предназначение и цель, намеченная свыше. На миг у него даже мелькнула мысль — а что, если удочерить ее и дать ей свою фамилию. Но тут же он увидел ее во всей красе: лицо, начисто лишённое всякой привлекательности, металлический зуб, пугающее инфантильно-настырное желание, чтобы всегда и во всем считались именно с ней. Адвокат понял: нет, это ему не по силам. Это случай для социолога, для социального работника, может быть, даже стоит поговорить о нем на сегодняшней встрече.

— Может, я могу помогать у вас в конторе? — спросила она вдруг, и по ее тону было заметно, что она и сама не очень верит в такую возможность.

— Как? На машинке...

— Я могу научиться.

— Но как же? Моя секретарша, она ведь уже пять или шесть...

— А может, когда понадобится. Она заболит. Мало ли что.

— Нет, нет, это никак невозможно.

Смутившись, она тотчас соскользнула надеждой пониже.

— Тогда, может, вам нужна уборщица, а?

— У меня убирает женщина. Одна и та же. Уже четверть века.

Со стремительной непосредственностью шестнадцати лет она предположила:

— А может, она помрет?

— Да что вы...

Адвокат почувствовал, что она, как сорняк, угрожает вытеснить все, что он сберегал годами, и потому разговор пора кончать.

— Не волнуйтесь, — сказал он, — идите домой. Я обещаю сделать все, что смогу, чтобы помочь вам уехать в Канаду.

Девушка посмотрела на него презрительно, как на недоумка, который вообще не понимает, о чем с ним говорят.

— Значит, мне уходить?

— Идите, милая, и не волнуйтесь — все будет в порядке, — мягко, но окончательно отгородился от нее адвокат.

Чувствуя, что на всем, что связано с ней, лежит отпечаток гибели, он старался проявить максимальную предупредительность. Но девушка не поддалась. Она вздернула плечи, кивнула, презрительно и безнадежно, и зашагала прочь.

В маршрутном такси адвокат, как обычно, занял место возле водителя. В дороге он иногда чувствовал себя неважно и терпеть не мог, когда его стискивали справа и слева. Сам он за городом машину теперь не водил. Скоростные шоссеиные дороги пугали его. Петр и дочь, сидя сзади, разговаривали между собой на иврите. Русский оба знали плохо. Дочь говорила на иврите без акцента, а у Петра проступал густой польский фон. Обоим и на иврите не хватало слов, и они восполняли недостающее жестами и догадкой. Человек с лицом пожилого учителя, сидевший рядом, проявлял к ним крайнее расположение — он принял их за новых репатриантов, которым надо рассказывать, что они видят по дороге, и ему, старику, от этого было приятно на душе. И хотя эти оба ездили по иерусалимскому шоссе по меньшей мере пятнадцать лет, они вежливо молчали, ни в чем не разубеждали его. Юристу стало как-то не по себе. В стройном мире вокруг него что-то сломалось в тот момент, когда эти две женщины пришли к концу приема в его контору. Началась какая-то мешанина, дети перестали быть похожими на родителей, и все самое невероятное вдруг оказалось возможным. В Тель-Авиве престарелый учитель пожелал им на прощание успешной абсорбции и попросил их не бояться трудностей — всем приходилось нелегко, было время — жили в палатках, мостили дороги. И еще, сказал он, им во что бы то ни стало надо пойти на курсы, поучить иврит, а вообще все непременно устроится. Главное — что они на своей исторической родине и здесь им некого бояться. У Петра, чувствительного от природы, на глазах выступили слезы.

— Это точно, — сказал он учителю, — правда ваша,

земля здесь хорошая, и бояться некого, а что до арабов, то Бог нам поможет.

Они взяли такси и поехали в район, который адвокат привык за это время называть квартал Копель. Строили его на скорую руку, и он очень быстро превратился в квартал бедноты с обшарпанными подъездами, балконами, торчащими из домов, как ящики распаханного настежь шкафа, сходство довершалось свешивающимся бельем. Фасады казались не фасадами, а вывернутыми наизнанку стенами огромной ночлежки. Вывеска над сапожной мастерской была написана по-болгарски. В запущенной парикмахерской парфюмерное благоухание фиалок. Телеантенны. Песок между домами. Несколько лет назад кто-то посадил белые и фиолетовые барвинки, но их никто не поливал, и цветы зачахли. Теперь на газонах не цветет ничего, кроме оберток жевательной резинки, палочек от эскимо, грязной ваты и тетрадных листов. Ежедневные поездки в переполненном автобусе в центр Тель-Авива и обратно — к сидению в майке у радиоприемника, арбузу и кефиру. Летом здесь трудно, подумал юрист, труднее, чем в Иерусалиме. Приемники, норовящие переорать друг друга. Между людьми чрезмерная близость, тепло одного жилища сливается с теплом соседнего, голоса переплетаются, запах одного стоит в квартире другого. Стены — лишь видимость, дань принятым нормам.

Если адвокат ожидал, что, когда они подойдут к дому Перельмутера, дочь проявит какое-либо волнение, то он явно ошибся. На ее лице застыло все то же выражение упорства и укоризны, разве что оно стало еще упрямее и чуточку злее. Казалось, ей на все наплевать. Волосы, блестевшие от клейкого парикмахерского лака, были уложены осиным гнездом и нависали ей на лоб. Платье из лавсана было из тех, что продают с лотков в дни осенних распродаж, и будь в ней хоть капля непринужденности и кокетства, оно могло бы выглядеть на ней неплохо. Но привычка быть всегда настороже, характерная для неумных женщин, не позволяла ей расслабиться ни на минуту, и потому даже легкое платье выглядело на ней как доспехи. При ходьбе ее руки оставались неподвижными, только плечи неестественно подпрыгивали вверх-вниз в беспорядочном нервном ритме, зависящем от настроения. Она выглядит зрелой женщиной, в жизни которой не было ни одного светлого дня, подумал адвокат, а ведь ей всего шестнадцать.

С Петром она говорила, как и со всеми, капризным и недовольным тоном, но беззлобно. Сам Петр в точности соответствовал описанию: высокий, коренастый, обходительный и с большим кадыком. Слегка тянет больную ногу. Рубашка в полоску, без галстука, застегнута на все пуговицы. Пиджак. Воротник рубахи застегнут наглухо. (По этому можно в Израиле узнать нееврея, отметил про себя адвокат.) Ступает с ней рядом, готовый примирить, смягчить, успокоить.

Поднялись по лестнице. Дверь открыл сам Перельмутер. Он был намного ниже ростом, чем ожидал адвокат, совсем тщедушный, сморщенный и неестественно желтый, будто прошел какую-то химобработку, которая к тому же оставила после себя чуть заметный запах перегноя. Перельмутер был явно старше женщины, с которой он жил в Туркмении, и, значит, образ еврейского парня в фуражке, разбитного и вечно голодного, придется отбросить. Тогда, значит, так: лет ему было тогда под сорок, волосы поредели. Затаенную злость можно оставить, но сделать ее более материальной. У него в подкладке было, наверное, зашито несколько царских рублей, какое-никакое золотишко, может, доллар-другой, поэтому она и прибилась к нему. Черт его знает. Сейчас он выглядел как мелкий жулик, начисто лишенный даже той безудержной лихости, которая иногда подкупает в жуликах, бесшабашных и жизнерадостных.

Перельмутер протянул руки к дочери. Она позволила себя обнять и постояла какой-то миг в кольце его рук. Но когда Перельмутер попытался ее поцеловать, она оттолкнула его сжатыми кулачками.

— Так и будем стоять на пороге? — кисло спросила она. Было ясно, что чувствам, если таковые и были, она воли не даст.

— Ой, входите, входите. Спасибо, что пришли. Благодарение Богу, который дал нам жизнь, охраняет всех нас и дал дожить до того дня<sup>1</sup>, — чуть ли не прорыдал Перельмутер. — Роза! Роза! Ко мне пришла моя дочь. Ах, какой день! Какой радостный день! Пятнадцать лет, подумать только.

Слезы на его лице тоже выглядели желтоватыми.

Роза, жена Перельмутера, оглядела всех острым взглядом глаз-пуговок и, не говоря ни слова, принесла и поставила на стол угощение — наломанную квадратика-

---

<sup>1</sup> Из благословения, произносимого в торжественных случаях.

ми плитку шоколада, разложенную на дне плоской стеклянной вазочки. Адвокат осмотрелся — две комнаты, балкон, маленькая кухонька. В углу большой допотопный приемник, на нем — стеклянная кошка. Все электроприборы включены в одну розетку, и шнуры волочатся по полу. На столе бутылка с аптечной наклейкой. Пепельница в виде лебедя и еще одна, розовая, в форме руки. Перельмутер утер слезы.

— Вот посмотрите, — стал он показывать старые фотографии, которые, бегая по комнате, кипами извергал из ящиков. — Это моя первая жена. Это я. А вот мы вместе в ауле Ула, в Туркмении, на демонстрации Первого мая. Вот даже бюст Сталина. — Каждую фотографию он совал под нос и упрашивал рассмотреть. — А вот она — дочка, только что родилась. Пятнадцать лет носил у самого сердца. Как сейчас помню тот день. В больницу добирались на подводе. И что вы думаете? Надо же, чтобы в дороге сломалась ось. Спасибо, попались двое солдат, они помогли. А она уже начала рожать, не удержалась, ей-Богу.

— Простите, — перебил адвокат. — Вы говорите — жена. Разве вы были женаты?

— Что значит «были женаты»? Конечно, были. Под хупой не стояли, это верно, но в ЗАГСе были расписаны, честь по чести. Потом даже, помню, пошли в Дом культуры, выпили немного с друзьями, закусили селедкой. С продуктами было плохо, но селедку нам доставили — первый сорт. Что значит «не женаты»? Конечно, женаты.

— Тогда, значит, Роза...

— С ней мы женились в раввинате. Только приехали мы в Израиль, та, первая, сбежала от меня в монастырь, и меня не пускали ни к ней, ни к дочке. Что ж делать, сказал я себе, без жены мне никак нельзя. Пошел я к юристу, и он мне объяснил, что гражданский брак тут не в счет, я могу жениться на ком хочу, в раввинате. Обратился я в бюро брачных объявлений, рассказал, что я больной, работать много не в состоянии, но как мужчина в полном порядке. Мне подыскали Розу, у нее магазинчик, сыграли свадьбу, с тех пор я здесь и живу.

Роза, которая до сих пор не произнесла ни слова, заварила крепкий чай и принесла его в стаканах с пластмассовыми подстаканниками. Природа сохранила ей волосы, но выглядели они как запыленный парик.

— Мейделе<sup>1</sup>, — обратился Перельмутер к дочери, — расскажи отцу, как ты живешь? Чем занимаешься? Чему научилась? Может, у тебя и ухажер уже есть?

Девушка весьма сухо сообщила, что училась в школе при миссии, работает официанткой в Немецкой колонии<sup>2</sup> и хочет ехать в Канаду.

— Какая Канада? Что за Канада? С чего это вдруг? Боже упаси, мейделе, что ты будешь одна среди чужих? Здесь все свои, здесь я — твой отец.

— Слушайте, никакой вы мне не отец, — не выдержав, оборвала его девушка. — Так, сплошная комедия. Ясное дело! Адвокат сказал, вот вы и рады ломать комедию.

Перельмутер разрыдался. Он плакал по всем правилам: заходился, всхлипывал, глотал слезы, мелко дрожал плечами.

— Ну, ну, это уже ты того... — сказал Петр и, достав платок, стал вытирать руки. Было видно, что он очень смущен. — Не надо плакать, господин Перельмутер. Бог никого не оставит в беде.

— Прошу вас, ведите себя прилично, — сказал адвокат девушке.

Она пожала плечами.

— Ладно, буду вести, только пусть не говорит, что он мне отец.

— Откуда вы знаете? — строго, как на допросе, спросил адвокат.

— Да вы посмотрите, я ж на него не похожа вовсе.

Все осмотрели ее и его. Сходство и правда усмотреть было трудно даже при большом желании. Да, но ведь она от Степана, а не от Перельмутера, вспомнил юрист, он только удочерил ее, когда она родилась в Туркмении. Перельмутер перестал рыдать.

— Вот ведь как бывает. Эта ведьма прятала ее пятнадцать лет, настраивала против меня все годы, что ж вы хотите, чтобы она теперь говорила. Но это тебе не поможет. Слышишь? Я твой отец перед Богом и людьми. Ты родилась в августе в ауле Ула, в Туркменской ССР, и ось сломалась в дороге. Ну, что на это скажет твоя мать? А?

Адвокат приступил к выработке компромисса. Он привык заниматься этим у себя в конторе в присутствии

---

<sup>1</sup> Девочка (*идиш*).

<sup>2</sup> Район в Иерусалиме.

обеих спорящих сторон. Тогда он обращался к ним с речью, торжественной и возвышенной, взывал к их чести и человеческому достоинству, ко всему лучшему, что, как он верит, есть в них. Даже если они не понимали, то слушали молча, будто почувствовав, что в мире все же существует некий высший порядок. Дослушав до конца, они успокаивались.

Он произнес свою речь и на этот раз, в квартале Копель, только здесь она то и дело прерывалась: наверху выбивали ковры, внизу мать крикливо отчитывала в чем-то провинившегося сына. В конторе все было куда проще. Адвокат отхлебывал чай и скучал по Иерусалиму.

Когда он закончил речь, они больше не старались уколоть друг друга побольнее, но и до примирения было далеко. Перельмутер, не расстававшийся со своими фотографиями, был похож на мышью, сидящую на куче денег. Как это ему удалось нащелкать в глухой деревне во время войны столько карточек? Неужто тогда можно было свободно достать такое количество пленки? Или это был один из его гешефтов?

Груды снимков, на каждом — то молодая улыбающаяся женщина, то он, то они вдвоем; или младенец — на руках у нее, на руках у него, между ними. И даже неизменное фото, на котором запечатлен младенец, лежащий на животе на шкуре вроде тигриной.

— Так ты приезжай поведать отца, — сказал Перельмутер. — Поживи у нас недельку-другую. Поедем в Тель-Авив, сходим в кино. В субботу сядем за стол. Знаешь, как Роза готовит? Пальчики оближешь. Твоя мать тебя не узнает. Щечки будут как яблочки.

— Я еду в Канаду, — метнула в него девушка последнюю фразу и зашагала вниз по ступенькам. Адвокат и Петр спускались за ней. Перельмутер, стоя в дверях, кричал им вслед:

— Никакой Канады! Никакой Канады! Пока я жив, никакой Канады!

Такси найти не удалось — какому шоферу придет в голову искать пассажиров в квартале Копель. В туфли набился песок. Девушка плакала. Петр хлопал ее по спине, словно она проглотила рыбью кость, и приговаривал:

— Хватит, ну хватит.

Пришлось сесть на автобус. Всхлипывая и икая, де-

вушка плюхнулась на сиденье. Лицо она закрывала платком. Мужчины молчали. Она, в конце концов, девочка, совсем еще ребенок. На автостанции адвокат купил ей конфет. Она тут же оживилась, открыла жестянку и принялась за леденцы.

— А Перельмутера я прикончу, — сказала девушка, перестав плакать.

— Неправда, — божилась женщина, — Бог свидетель, чтоб мне в аду гореть вечным огнем. Не сочетались мы с Перельмутером ни гражданским браком, ни каким другим. Просто жили вместе. — И, помолчав, добавила нечто странное: — Веселый он был, Перельмутер. Не встречала я больше таких веселых. Вот только работать никогда не любил.

Адвокат посмотрел на нее растерянно.

— Почему же он утверждает, что вы были женаты?

Женщина развела руками.

— Не знаю, ей-Богу, не знаю. Он-то знает, что это неправда. И зачем только люди врут? Неужто только чтобы другим насолить?

— Может, вы встретитесь с ним и выясните, почему он так упорно стоит на своем?

— Нет, Петр мне ни за что не разрешит.

Адвокат не знал, кому верить. Оба говорили вполне искренне. Было ясно, что до правды здесь не добраться. Тут в голову ему пришла мысль:

— Послушайте, может, из всей этой неразберихи найдется все-таки выход. Девушка несовершеннолетняя, отцовство неясно. Вы сейчас замужем за Петром, сочетались, насколько я понимаю, церковным браком. А что, если Петр удочерит ее?

— Удочерит? — Женщина не сразу осознала эту возможность.

— Удочерит по всем правилам. И тогда он в качестве отца сможет дать ей разрешение на отъезд в Канаду.

Две слезинки заискрились в глазах у женщины. Она встала, порывисто прижала к себе голову адвоката, а потом попыталась по-крестьянски обнять его колени, опустившись на пол, но этого адвокат не допустил.

— Дай вам Бог здоровья, господин адвокат. Я всегда знала, что ваш светлый ум нас спасет. Да продлит Иисус ваши дни, а Пресвятая Богородица даст вам счастья и всех жизненных благ.

В дверях она вдруг всполошилась:

— А Перельмутер не заартачится?



— Я не думаю, что у него есть основания возражать. Его отцовство не подкреплено достаточными доказательствами, кроме того, он не интересовался ребенком на протяжении пятнадцати лет. Судья ведь тоже человек.

По дороге домой он чувствовал воробьиную легкость и беззаботность, дома прилив энергии не утих, он согнал с колен Каценбаха и принялся составлять прошение об удочерении.

Судья тем не менее пожелал лицезреть Перельмутера.

Когда Перельмутер вошел в кабинет судьи, адвокат в первый момент его не узнал. Перельмутер отрастил бакки, надел новую белоснежную рубашу, а сквозь его желтизну проступал чуть ли не молодецкий румянец. Сейчас он был похож на жизнерадостного хасида<sup>1</sup>. Сели — судья в кресло, адвокат и Перельмутер — по другую сторону заваленного папками стола. Перед адвокатом и судьей лежало множество бумаг. Перельмутер пришел с пустыми руками и теперь, улыбаясь, беззаботно переводил взгляд с одного на другого.

— Так что, господин Перельмутер, вы утверждаете, что вы отец девушки?

Перельмутер достал из кармана какую-то бумагу.

— Господин судья, я тут нашел свидетельство из больницы, где она родилась. Смотрите, роженица была зарегистрирована под моей фамилией. А посмотрите, под какой фамилией записана новорожденная? Под моей, как моя дочь. Мы женились в ЗАГСе. Гражданским браком. И дочь, конечно, моя. Какие могут быть сомнения?

— Скажите, как вам удалось устроить вашу... допустим, жену в больницу? В самый разгар войны? — спросил адвокат, как при допросе свидетеля. — Разве все больницы не были заполнены ранеными?

— У меня были связи, — стоял на своем Перельмутер. — И вообще, господин адвокат, вы, конечно, большой человек, но будь вы даже самый большой начальник, вам все равно ничего не поделать против моих документов. Вот они все, пожалуйста.

— Регистрация в больнице не доказывает факта отцовства, — заметил адвокат, обращаясь к судьбе.

---

<sup>1</sup> Хасидизм — течение в иудаизме. Одним из основных положений хасидизма является требование служить Всевышнему с душевным подъемом и радостью.

— Безусловно, — ответил судья. — Вот видите, сколько хлопот вы нам причиняете, — сказал он Перельмутеру. — Вы ведь знаете, что по закону дочь остается с матерью, но вы женились на нееврейке и тем самым запутали дело.

— Нееврейке? — взвился Перельмутер. — То есть как нееврейке? Да она такая же нееврейка, как я нееврей. Конечно, она еврейка. А кшейре<sup>1</sup> еврейка. Так что, если у нее голубые глаза? Штейт гешрибен<sup>2</sup>, что еврейской девушке нельзя иметь голубые глаза?

Знакомое помещение суда, вдруг покачнувшись в глазах адвоката, выплыло за пределы реальности. Единственно реальным по-прежнему казался только густой и белый осенний свет, который пробивался сквозь щель в облаках и оседал на всем — на сидящих, на мебели, на горах бумаг. Полотно световой ткани окутывало людей и предметы, постепенно вбирая их в себя. Сидящие блекли, слабели, как свет свечи на рассвете, истончались, становились все призрачнее, казалось, еще немного — и сквозь них можно будет пройти, как сквозь дым. В растерянности адвокат подумал: стоит Перельмутеру указать на что-то перстом и произнести слово «еврейский», как кажется, что он изрек: «мое» — и наложил свою пятерню. Всемогущая длань Перельмутера. Куда мне против нее.

Судья встал и задернул шторы. В комнате стало темнее. Адвокат пришел в себя. Люди и предметы вновь обрели привычные очертания.

— Надеюсь, вы понимаете, что отсюда вытекает, — приглушенно сказал судья адвокату. — Если она действительно еврейка, как утверждает этот господин, значит, и дочь еврейка, и тогда я не могу вынести решения об удочерении ее нынешним мужем матери, который нееврей.

— Я понимаю, господин судья. Однако я не убежден в том, что сказанное здесь — правда. Это нужно проверить. Надо...

Перельмутер посматривал то на одного, то на другого и наслаждался безмерно. Ну и огорошил же он их. С тех пор как он уехал из России (но там-то что — гоев<sup>3</sup> всег-

---

<sup>1</sup> Кошерный (*идиш*). Здесь: стопроцентная.

<sup>2</sup> Написано (*идиш*). Здесь: где-нибудь записано.

<sup>3</sup> Неевреев (*иврит, идиш*).

да можно обвести вокруг пальца), с тех пор, как он начал иметь дело с Агентством<sup>1</sup>, подоходным налогом и счетами за электричество, ему еще никого не удалось так обставить — ни частное лицо, ни учреждение. Он выглядел помолодевшим лет на двадцать.

— На основании чего вы утверждаете, что она еврейка? — стал допытываться адвокат.

— Как это «на основании чего»? Да она сама мне сказала. Видели вы человека, который врал бы, что он еврей? Наоборот — это другое дело. Это мы видели. А так — дураков нет. Да еще во время войны.

— Что вы предлагаете? — опять наклонился судья к адвокату.

— Будем выяснять, — ответил адвокат, — разыщем документы, проверим. Для нас это совершенно неожиданный (чуть не сказал: «сверхъестественный») оборот дела.

В коридоре адвокат сказал:

— Послушайте, господин Перельмутер, если эта женщина на самом деле еврейка, тогда весьма сомнительно, действителен ли ваш теперешний брак с Розой. Зачем вам все эти сложности? Вас могут обвинить в двоеженстве, и неприятностей не оберешься.

— Ну так что? Расторгнут мой брак с Розой, признают его недействительным? Ну и пусть признают. На здоровье.

Адвокат вдруг понял, что, несмотря на все разговоры о том, что Петр не разрешает, Перельмутер виделся с женщиной. Он попытался прочесть что-либо на лице Перельмутера, но не смог пробиться сквозь непроницаемую личину ушлого жулика, готового с пеной у рта отстаивать свою неправду. Ну, а если они все-таки виделись, если что-то от бывшего влечения продержалось все эти годы, если земля разверзлась у них под ногами и глубоко в провале они увидели то, что и ему и ей давно уже казалось невозможным, — перерождение, другую жизнь. А, собственно говоря, почему бы и нет? Прошло пятнадцать лет, но он по-прежнему помнит ее большое белое тело, ей привычна его манера, и от первых объятий, в которые сводит волнение встречи, тела увлекают их дальше по проторенной тропе, не дав опомниться и взвесить: да или нет. И Петр и девушка — побоку. Теперь уж он не отступится от нее. Теперь все пойдет ина-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Еврейское Агентство, которое оказывает помощь на первых порах устройства репатриантов в Израиле.

че. Мгновение — дань былым страстям — и девушке не видать Канады.

Перельмутер наклонился к адвокату и прошептал ему на ухо:

— Ди Роза, зи ист алте мойд<sup>1</sup>, — и пританцовывая зашагал к автобусной остановке.

Адвокат был из тех романтиков, которым нравятся женщины одного типа — похожие на них. Если он высок, с кожей цвета слоновой кости и черными глазами, то он ищет женщину высокую, с кожей цвета слоновой кости и черными глазами, будто бы из своих, из близких по крови. Другое начало, живительная новизна чужого были ему не по силам, и, не будучи любопытным, он остался одинок на всю жизнь. Поэтому ему трудно было понять историю с Перельмутером. Еврейка она или нееврейка? Встречался он с ней или нет?

Адвокат отправился в монастырь. Высокое здание в северной части города стояло за высоким забором. Через боковой вход — просвет между каменной стеной и непролазной живой изгородью — он прошел в небольшой флигель, что-то вроде сторожки, где жила женщина. Во дворе росла герань, мальвы и неприхотливый иерусалимский жасмин, соглашавшийся благоухать на черствой каменистой почве. В монастыре пробил гонг, сзывавший к молитве или трапезе. Женщина и Петр были дома. Он ел, а она сидела рядом с заплаканными красными глазами. Сомнений не было: она опять сошлась с Перельмутером. А Петр ни о чем не знает, не ведает.

Женщина вытерла стул и усадила гостя.

— Хотите ли вы, чтоб ваша дочь поехала в Канаду? — сухо спросил адвокат.

— Хочу.

— Так зачем же вы...

Женщина то и дело утирала глаза. Трудно было понять, как Петр, какой он ни есть, не замечает, что с ней. Коротким, равномерным движением кающейся грешницы она поминутно била себя в грудь. Веки припухли. Волосы были растрепаны.

— Теперь Перельмутер не отступится, — сказал адвокат, намеренно не договаривая, чтобы Петр подумал, что речь идет о дочери.

Но Петр — огромный, в полосатой рубахе, застегнутой до кадыка, в широких рабочих штанах защитного

---

<sup>1</sup> Роза, она старая дева (*идиш*).

цвета — сидел как ни в чем не бывало и, улыбаясь, прихлебывал чай. На столе перед ним лежал ломоть хлеба, огурец и редька. Все это он разрезал на аккуратные равные кусочки и отправлял в рот. Казалось, происходящее в комнате так же далеко от него, как гул самолетов в разгаре дня в аэропорту зарубежной столицы.

— Знаю я, знаю. Это мне Божья кара.

— Теперь надо решать, что делать дальше, — все еще укоризненно сказал адвокат.

Взгляд его остановился на узкой железной кровати в углу под иконой. На кровати, по старому русскому обычаю, громоздились горкой подушки. На одной не хватало наволочки, и в ее пунцовой наготе была какая-то непристойность, срам, который хотелось прикрыть. Здесь побывал Перельмутер со своей больной печенью и гниловатым запахом, здесь елозили их тела в подтверждение беспощадной истины: в человеке заложен инстинкт, столь безусловный, что, прорвавшись наружу, он не посчитается ни с чем. А другой может прожить всю жизнь, так и не испытав его силы... Таков непреложный порядок вещей. Венера, склонившаяся над жертвой. Перельмутер.

— Вы уж постарайтесь, миленький вы мой, — привычно запричитала женщина. — Мать Пресвятая Богородица будет вам защитой, Святая Дева замолит ваши грехи.

На этот раз в качестве заступницы она выбрала родительницу Христа, будто не полагаясь на то, что святые мужского пола смогут понять ее женскую душу.

Петр проводил его до ворот. Медленным жестом он вытер ладони о штаны, очищая их от клейкой сырости огурца (причем у него и у женщины это движение вышло поразительно похожим), достал из кармана большие садовые ножницы и срезал адвокату пригожую ветку жасмина.

— Запах его для здоровья полезный, — сказал он улыбаясь. — Понюхаешь — и все беды забудешь.

В этих словах на миг, казалось, мелькнула слабая тень понимания, будто что-то пробилось сквозь слоноподобную оболочку, но искра тут же погасла. Петр, скромно потупившись, стоял в воротах монастыря. Выглядел он на удивление благообразно.

Ночью адвокат долго не мог заснуть, а когда под утро задремал, ему приснилось, что тяжелый бомбардировщик времен второй мировой войны должен подняться в

воздух, а взлетной полосой ему служит улица, кишашая людьми. На вопрос, как это допустили, ему ответили, что все давным-давно научились увертываться от самолета и поэтому нет необходимости в специальной взлетной площадке. Проснулся он в ужасе. Будто чуть-чуть не попал под колеса.

Контакты с внешним миром протекали у адвоката по большей части довольно гладко. Иногда клиенты выходили из себя или свидетели бурно выражали возмущение, но их всегда удавалось осадить, либо обдав холодной, заранее выверенной и несколько выпренной речью, либо угрожая законом, либо опираясь на всю широту полномочий суда, а если надо, то и всего государства. В юридической практике ему крайне редко доводилось сталкиваться с безудержной животной силой, которая, сорвавшись с цепи, все крушит на своем пути. Но тут ему стало казаться, что, к чему ни прикоснешь в этом деле, все немедленно оборачивается чем-то иным, будто в его квартиру ворвались чужие и превратили ее в ярмарку или цирковой балаган. «Веселым» оказался не только Перельмутер, все они были веселыми, какая-то развеселая братия. И только девушка жила среди них со своим несчастьем, таким несчастьем, что уважающий себя человек просто не мог на это смотреть. Не передать ли дело стажеру, подумал юрист, он помоложе, ему оно может показаться занятным, и он не станет так уж дознаваться, где здесь правда. Однако теперь уже слишком поздно, дело не передашь, придется довести его до конца. Только отныне он будет иметь дело с бумагами, а не с людьми, зарекся юрист. Нельзя так увлекаться людьми. Он велел секретарше не записывать к нему на прием никого из этой шайки. Для них он всегда занят. Он послал письмо в Московскую патриархию с просьбой выяснить и сообщить ему, еврейка эта женщина или не еврейка. Никогда в жизни он не был так уверен в правильности всего, что делает, как в тот момент, когда составлял официальные фразы письма, запечатывал красным сургучом большой конверт с фотокопиями документов и надписывал его, выводя завитки букв далекого детства. Он велел секретарше отправить пакет заказной почтой. Квитанцию он сначала положил в портмоне, потом передумал и спрятал в сейф. Теперь все в порядке, решил адвокат, механизм налажен, он не выйдет из строя, и никаких зигзагов, никаких сюрпризов, никаких «свершившихся фактов».

Пакет прибывает в Москву в мешке вместе с другой заграничной почтой, его сгрузят с самолета во Внукове. Там уже холодно, настоящие морозы. Почтари и грузчики в шапках-ушанках. Потом пакет ляжет на стол дьячка-секретаря в холодном внутреннем покое старой церкви, где пахнет ладаном и тусклым золотом поблескивают иконы, а впрочем, нет, не обязательно, это я уж того, подумал адвокат, — это же канцелярия, там на стенах, должно быть, портреты вождей. Молодой дьяк в черном клобуке, из-под которого выбиваются кудри, передаст документы патриарху, старику в роскошных ризах со спадающей волнами бородой (раз в неделю он завивает ее щипцами в парикмахерской по соседству), на широкой груди большой крест, нос картошкой с красными прожилками, на пальцах золотые кольца. Православная церковь еще больше любит золото, чем католическая. Наверное, это память о византийском прошлом с сумеречными сводами, золотом, тайными сокровищами, рукописями и нескончаемыми кознями. И при всем этом или превыше всего — обрядами, в неземной величественности которых печать небесного царства. Патриарх возьмет ручку (интересно, есть ли у него уже шариковая) и напишет в дальние волости, а, впрочем, зачем ему писать — в канцелярии наверняка есть телефон, ведь ни святой Николай, ни святой Онуфрий, ни другие темнолицые позолоченные бородачи не запрещают пользоваться телефоном. Местные священники будут рыться в церковных архивах и разыщут свидетельство о крещении, самый старый из них припомнит, как было дело, а вечером сельский поп будет рассказывать бабушке, сохранившейся с тех дней, что пришло письмо из Израиля, со Святой земли, и что там хотят знать про дочь Захара и Евдокии, царствие им небесное. Дети будут выпрашивать израильские марки, но поп не даст, потому что он сам филателист.

Все это, разумеется, при условии, что Перельмутер солгал.

Православная церковь оказалась расторопной, и вот уже почтальон доставил в контору большой заказной пакет с аляповатыми русскими марками — спутники в космическом пространстве с роскошными штемпелями.

Адвокат извинился перед клиентом, вышел в соседнюю комнату и, сгорая от нетерпения, распечатал конверт.

Секретариат Московской патриархии шлет ему наилучшие пожелания и с Божьей помощью уведомляет, что интересующая его гражданка — христианка, и предки ее, как по отцу, так и по матери, — доподлинные и истые православные христиане, всякое же другое мнение ложно, и да благословит Бог всех, идущих дорогой правды и мира, аминь.

На этот раз Перельмутер явился на заседание суда вместе с Розой, но велел ей сидеть в коридоре и ждать. Она уселась на стул, покорно и безучастно, хотя глазки-пуговицы не упустили ни крупницы происходящего вокруг. Мимо нее проходили неполадившие компаньоны, должники, протестующие против описи имущества, спорщики, давшие волю рукам, супруги, расторгающие брак, истцы и ответчики, в большинстве своем шумные, а некоторые — перепуганные. Роза сидела, слегка расставив ноги, и ждала Перельмутера.

Судья был строг.

— Господин Перельмутер, почему же вы ввели суд в заблуждение, утверждая, что ваша бывшая жена — еврейка?

Перельмутер понурил голову.

— Так она мне сказала, господин судья. Что мне было делать? Я и поверил. Разве ж у всех, кто вам скажет чего, потребуешь документ?

Адвокат поспешил закрепить победу.

— Итак, господин судья, женщина — нееврейка, отчим — нееврей, и, стало быть, нет никаких оснований задерживать постановление об удочерении, которое наконец определит статус девушки.

— Я согласен, — подытожил судья. — Господин Перельмутер, если вам больше нечего сказать суду, вы можете идти.

— Я больной человек, — сказал Перельмутер, — и все эти переживания...

— Это для вас наилучший выход, — не удержался адвокат, чтобы хоть немного не свести счеты. — В коридоре вас ждет жена. Она о вас позаботится. Берите ее и езжайте домой.

— Я тут ни в чем не виноват, — сказал Перельмутер. Его лицо отливало желтизной. — Честное слово. Я верю тому, что мне говорят. А иначе как же жить на свете?

Он вышел, едва волоча ноги. Двери еще не закрылись, когда послышался его короткий окрик:



— Роза! Роза! Кум а-эр!<sup>1</sup>

Ступай, возвращайся в свой квартал Копель, приятель, про себя напутствовал его адвокат, к кефиру и майке, к своей алте мойд, к своей пуговичной греховоднице, галантерейщице, праведнице со слегка расставленными ногами. Интересно, видел ли ее кто-нибудь без брошки и без серег. Ступай с глаз долой.

Дальше все пошло как по маслу. Женщину вместе с дочерью и Петром вызвали в канцелярию судьи. Постановление об удочерении было подписано и заверено. Петр, огромный, неуклюжий и лучезарный, долго жал руку адвокату и порывался пожать руку судье, но тот отличался повышенной чувствительностью и не выносил прикосновений. Петру было не до таких тонкостей, и он удовлетворился тем, что сжал в своих ручищах угол судебного стола. Дочь в обнимку с матерью благодарили адвоката и благословляли его на смеси двух языков до тех пор, пока он не выпроводил их из кабинета, подталкивая и понукая, как пастух, сгоняющий стадо с проезжей дороги. Перельмутера с Розой было не видно. Должно быть, они уехали домой. И хорошо, подумал юрист, нельзя смешивать разные породы, разные веры, разных людей. Это и приводит к сумятице, к хаосу, к столпотворению.

Вернувшись в контору, он позвал стажера и рассказал ему всю историю, а потом от избытка одного из самых приятных чувств — удовлетворения, пригласил его обедать в ресторан на втором этаже, где готовили по-домашнему. В мире все стало на свои места.

Во второй половине дня в дверь адвокатской конторы забарабанило сразу несколько кулаков. Створки распахнулись прежде, чем секретарша успела подойти к дверям, и в комнату вломилась огромная охапка красных аляповатых роз, одна в одну, как подбирают в цветочных магазинах, с непременно веточками жимолости, целлофаном и серебристыми лентами. За ней вплыла коробка конфет — такие секретарша видела прежде только на витринах и была всегда уверена, что это муляж для рекламы. Все это и еще пакеты и свертки несли четыре человека: Петр, женщина, дочь и Перельмутер. От них пахло вином, несло гулянкой, раскатившейся вкривь и вкось. Дочь держала в руках большую хрустальную чашу грубой работы, щедро отделанную золотом сверху

---

<sup>1</sup> Иди сюда! (*идиш*)

и по бокам. В чаше плавала тяжелая золотая ложка, выглядевшая на редкость православно. В свободной от цветов руке Перельмутер нес бутылку коньяка, другая бутылка, почти пустая, выглядывала у него из кармана. Уму непостижимо, куда они подевали Розв. подумал адвокат, но понял, что от них, в теперешнем их состоянии, ответа на этот вопрос не получишь.

Они ввалились в кабинет, когда он как раз вынимал из сейфа ценные бумаги. Оторопев, он едва успел захлопнуть сейф. Они усадили его, завалили приношениями и затянули:

— Многи лета, многи лета!

— Выпейте с нами, миленький, выпейте, ну пожалуйста, — запричитала женщина, ставя перед ним коньяк.

— Из хрусталя да из золота. — зашебетала дочь и, обращаясь к Петру, скомандовала: — Папа, давай.

Перед адвокатом поставили хрустальную чашу, налили коньяка и, как он ни отнекивался, заставили выпить. Каждый из них в свою очередь отхлебнул из бутылки, явно не первой.

— Но, господа, вы же находитесь в присутственном месте. Я вам очень благодарен, но нельзя же...

— Многи лета, многи лета!

— За здоровье нашего господина адвоката!

— Думаете, я не умею молиться га-еврейски? — все распаляясь, кричала женщина. — Еще как! Шма исроиль, адонейну злоейну<sup>1</sup>.

— Амен, амен!

Петр подскочил к секретарше, застывшей в дверях, и, как истинный гусар и джентльмен, предложил ей руку.

— Пойдем, сестричка, — пропел он по-русски, — пойдем, выпей с нами, у нас сегодня радость.

Охапка роз упала на пол. Перельмутер попытался поднять их, но у него закружилась голова. Он сел на пол и, глядя на розы, залился слезами. Девушка протянула ему руку:

— Папа, вставай сейчас же, так некрасиво.

Значит, оба они ей папы. И тут у адвоката екнуло сердце — он заметил, что большой палец девушки, короткий и загнутый молоточком — точная копия перель-

---

<sup>1</sup> Строка из ежедневной молитвы, которую героиня рассказа приносит на ашкеназском варианте иврита, коверкая слова.

мутеровского. Будто отлитые по одной форме. Адвокат окончательно потерял нить. В глазах у него поплыло.

— Наш господин адвокат — душка! — на иврите прокричал Перельмутер с ковра.

Женщина перекрестила адвоката.

— Пусть уж ваш Мессия приходит, тогда все на свете будут как братья.

— Капитан, капитан, улыбнитесь, — басом запел Петр. Голос срывался, и Петр явно фальшивил. — Ведь улыбка — это флаг корабля!

— Наш господин адвокат — душка! — опять закричал Перельмутер и, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, поднялся на ноги.

— Израиль — душка! — сказала дочь. Она сняла жавшие ей туфли, но не выпускала их из рук.

— Капитан, капитан, подтянитесь. Ведь только смелым покоряются моря!

— Выпейте, миленький мой, выпейте, — просила женщина, утирая слезы. — Не бойтесь, тут все свои.

Адвокату пришлось выпить еще. Голова совсем пошла кругом.

— Вызвать полицию? — спросила секретарша, улыбаясь во весь рот.

— Нет, нет, не надо, они успокоятся сами, сейчас успокоятся. Только, если можно, немного воды...

Бюст гипсового Вейцмана, стоявший на столе адвоката, упал и разбился.

— Что же вы наделали, родненькие, — раскудахталась женщина. — Пришли поблагодарить господина адвоката, а вместо этого пакостите. Стоял у него Ленин — хорошенький, беленький, а вы побили, побили его, безобразники.

— Мы ему купим статую, — сказал Петр. — Мы ему купим десять статуй.

— Наш господин адвокат — душка! — на иврите прокричал Перельмутер с ковра.

— В Канаду! В Канаду! Выпьем за Канаду!

Опьянение было прозрачным и светлым. Адвоката подняло и закружило, как в те далекие дни, когда его, ребенка, распаленного обидой и желанием отомстить, брыкающегося, подхватывали и отрывали от земли руки высокой смеющейся матери, и он становился совсем беспомощным. Равновесие нарушалось, и в этом странном образом сочеталось нечто постыдное с чем-то умиротворяющим. Тонкие взвизгивания женщин звучали как ан-

гельские голоса, запах коньяка, звон бокалов, глянцевого блеск целлофана, неуместно изысканный запах роз — все это сливалось в теплую, сладкую, слепую волну, и в том, что он отдавался ей, было что-то непристойное, но устоять не было сил. В этот момент ему стало пронзительно ясно, что есть кто-то, кто понимает все это лучше его, но кто этот понимающий и что «все это» он понимает, он не знал. Его окружали улыбки и теплота, будто необъятный мир взрослых, прекрасных и всемогущих принял его, провинившегося ребенка, и обладал, простив ему все, но в чем состояла его собственная провинность, он, хоть убейте, вспомнить не мог. Было приятно чувствовать себя незащищенным, приятно, застав дыхание, чего-то стыдиться, и потому он уступал им во всем, пил, когда наливали, подставлял свои близорукие глаза, отвечал улыбкой на улыбку. Грехи ему отпустили. Но какие грехи? Все равно. Он готов признаться во всем. Мир за пределами его мира был намного шире и привлекательнее, чем он полагал. В этом мире все будет учтено — и он, и все его логические построения. Все было ошибкой, и все прощено. Ему поднесли еще, и он выпил старательно и целеустремленно. На глаза навернулись слезы благодарности. Адвокат встал. Колени слегка дрожали.

— Друзья, я вам очень признателен, спасибо вам от всего сердца, но сейчас вам пора уходить, час не ранний...

Все четверо перецеловались с ним. Каждый, оставляя после себя сильный запах коньяка и веселья, поцеловал его трижды — в правую и левую щеку и опять — в правую. Казалось, они не уйдут никогда. То один, то другой то и дело возвращался от двери, благодарил, жал руку. Перельмутер опять полез целоваться.

— Мы ведь мешаем, будет, пойдем, — возвестил архангел Петр. Они наконец ушли, и их оживленный гомон еще некоторое время поднимался вверх из пролета.

Из агентства газетных вырезок выглянул служащий и сказал:

— Поздравляю, не знал, что у вас день рождения.

И в голосе его были одновременно ехидство и зависть. Секретарша прыснула.

В кабинете остались осколки бюста, пучок роз на ковре и хрустальная чаша с золотой ложкой. Адвокат опять подумал, что в жизни ему не приходилось видеть более безобразной вещи.

— Вилите эту чашу? — спросил он секретаршу. — Так забирайте ее себе.

— Но ведь она дорогая, — сказала секретарша, боясь упустить свое.

Адвокат отмахнулся:

— Берите, берите, мне она ни к чему. И уберите розы. Здесь не уборная примадонны.

В кабинете наконец было прибрано, и можно было запирать. У адвоката разболелась голова. Он даже забыл купить сыр Каценбаху. Машина завелась не сразу. Домой он пришел уже с невыносимой головной болью и чувством вселенского всепрощения. Открыл подаренную огромную коробку шоколада, но оказалось, что от старости шоколад побелел и крошился под руками. Конечно, кто покупает такие коробки? Наверное, простояла на витрине лет двадцать. Он собрал все и понес выносить в мусорное ведро. Стоило ему наклониться над ведром, как его вывернуло. Нет, эти острые ощущения не для меня, думал он, укладываясь в кровать без ужина и без души. Завтра новый день. Завтра все будет иначе.

Он уже задремал, когда вдруг откуда-то из живота начал подниматься смех. Он проснулся, сел на кровати и захохотал во все горло. Смех, пьяный лишь наполовину, все прибывал и усиливался, как дождь после долгой засухи. Каценбах, спавший в ногах, удивился, спрыгнул с кровати и удрал на кухню.

— Все-таки интересно, как им удалось отвязаться от Розы, — громко сказал он в темноту.

Смех накатывал на него волна за волной. Все продолжая смеяться, он широко и облегченно зевнул, лег и заснул как убитый.

*С иврита. Перевел Владимир ФЛАНЧИК*

## ПСАЛМЫ ЦАРЯ ДАВИДА

*в переложении Наума Гребнева*

### ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

*Перед вами Псалтирь, переведенная на русский язык стихами.*

*Авторство псалмов приписывается царю Давиду, хотя все комментаторы сходятся на том, что часть псалмов создана не им. На это же указывают и надписи, предваряющие многие псалмы.*

*За те три тысячи лет, которые отделяют нас от времени, когда жил царь Давид, шли споры, и были разные толки, касающиеся псалтирей. Множество комментаторов, которые исследовали тексты, не всегда сходились в своих трактовках как тех или иных псалмов, так и отдельных строк и даже слов.*

*Неизбежно, что и моя трактовка — а переводчик всякого произведения неизбежно является и трактователем текста, — в каких-то частях не совпадает с прежним осмыслением текста. Да, собственно говоря, никакая трактовка не может совпасть с трактовками предыдущими, потому что они зачастую слишком разнятся.*

*Более того, будучи только стихотворцем, а не богословом, я мог допустить и элементарные ошибки, и непонимание каких-то мест. Однако, если это случилось, прошу отнестись ко мне снисходительно, приняв в расчет время и место моей работы.*

*Я хочу сказать о форме, избранной мною. Всю жизнь я занимался переводами стихов. Среди переведенного мною есть книги очень древних авторов и фольклора. Я всегда руководствовался принципом, что когда-то, когда создавались эти книги, они были написаны стихом естественным и понятным читателю или слушателю того времени. Поэтому современный переводчик должен избрать форму, которая была бы естественна и близка читателям его времени и эмоционально воздействовала бы на них, как в свое время на слушателей оригинала, но чтобы все-таки читающий почувствовал, что это стихи, созданные не сегодня, а много веков тому назад. У пере-*

водчика для этого есть средства, в основном интонационные и лексические.

Этот принцип лег в основу перевода данной книги. Следует сказать, что существует традиция перевода псалмов на русский язык. Едва ли не все поэты XVIII века и многие поэты XIX века переводили по одному, два, три псалма. И всегда для перевода пользовались традиционной метрикой русского стиха. То, что поэты называли свои переводы подражанием, переложением или заимствованием, дела не меняет.

*Какую задачу я ставил перед собой?*

Мне хотелось, чтобы текст святых молитв, которые повторяют верующие люди из поколения в поколение, зачастую не понимая смысла псалмов, стал понятен всем, в том числе людям неверующим.

Я не знаю, насколько моя работа успешна, но даже если я достиг своей цели, текст в моем переводе никогда не станет богослужебным.

Однако, может быть, когда-нибудь моя работа будет опубликована. И если мой перевод поможет понять и почувствовать высокую поэзию изначального текста и еще больше полюбить псалмы, я буду считать, что достиг цели.

Но даже если работа моя не удалась, пусть русскоязычные люди, и христиане и иудеи, помянут в своих молитвах скромного и бескорыстного переводчика этой книги, ибо благими были намерения его.

Наум ГРЕБНЕВ

## ПСАЛОМ 5

В мои, о Боже, вникни помышленья,  
Уразумей меня в моей мольбе.  
Мой Бог, мой Царь, услышь мои моления,  
Услышь мя, ибо я молюсь к Тебе.

Ты не приблизишь согрешавших ложью,  
К Тебе не водворится сердцем злой,  
Чем ране Ты меня услышишь, Боже,  
Тем ране я предстану пред Тобой!

Лжец не предстанет перед Божьи очи,  
Как не предстанет не смиливший плоть,  
Хулителей приблизить не захочет,  
Коварных погнушается Господь.

А я, вкусивши Божиих щедрот,  
Приблизусь ко святому Божью дому,  
Я храму Божью преклонюся святому,  
В который только праведный войдет.

Путеводи ж меня, сойти не дай  
С твоей стези, где ждет меня спасенье,  
И путь Твой предо мною уравниай,  
Всем недругам моим на посрамленье.

Нет истины священной в их устах,  
Их сердце — гибель, горло — гроб открытый  
Их злость самих же обратит во прах,  
Когда не осенишь Ты их защитой.



Не Господа — себя лишь возлюбя,  
Враги мои в гордыне возроптали.  
Так суди их, чтоб возликовали  
Все те, кто уповает на Тебя.

И возликуют люди, чьи открыты  
Сердца для слова Божья и любви.  
Прими нас, Боже, и благослови,  
Твое благословенье — нам защита!

## ПСАЛОМ 11

Спаси, о Господи, все лгут и льстят,  
Льстят ближним, лгут друзьям; что с миром случилось!  
Быть может, в сонме человеческих чад  
Ни праведных, ни верных не осталось.

Уста притворны; только ложь и грех  
Стоят за изреченными словами.  
И кто-то говорит: «мы выше всех,  
Пока уста при нас и разум с нами!»

Всей лжи земной не в силах побороть  
Ни праведник, ни муж правдолюбивый.  
Но правда есть, и поразит Господь  
Язык и лстивый и велеречивый!

Над нами Бог, о нас его забота,  
Он говорит: «Восстану я, чтоб впредь  
Тех оградить, кого хитрящий кто-то  
Неправдою улавливает в сеть!»

Лишь слово Божье, словно серебро,  
Что переплавлено семь раз в горниле,  
Очищено от праха и от пыли,  
Всем страждущим несет оно добро.

О Господи, лишь Ты помочь нам можешь,  
И ложь и беззаконие поправ,  
Покуда ж тот возвышен, кто ничтожен,  
Унижен тот, кто праведен и прав.

## ПСАЛОМ 14

Кто, Боже, в дом войти достоин Твой,  
В Твою обитель на горе святой?  
Лишь тот из нас, кто ходит непорочный  
Не согрешает ложью и хулой,  
Молитву сотворяет в час урочный,  
Зла не желает никакому дому,  
Тех не злословит, кто ему не мил,  
И сам не верит поношенью злomu  
На ближнего, с которым хлеб делил.

Кто не творит ни козней, ни измен,  
Кто даже злым, давая клятву, верен,  
Тот, кто считает: праведник почтен,  
А Господом отверженный — презренен.

Тот, кто даров богатых не берет,  
Чтоб на суде свидетельствовать ложно,  
Кто в рост серебра и злата не дает,  
А делает добро, когда возможно,  
И в чистом сердце истину несет.

## ПСАЛОМ 18

И небо милость Божию пророчит,  
И славит твердь все Божие, что есть.  
День дню передает благую весть,  
Ночь правду Божию открывает ночи.

И нас оберегает ото зла  
Сей глас хвалы, что изначала вечен,  
И нет среди людских племен наречья,  
Чтоб не звучала Господу хвала!

Выходит солнце по веленью Бога,  
Будто жених из брачного чертога,  
И нету твари, чтобы не могла  
От солнца взять блаженного тепла,  
А жаждущих тепла несметно много.

Дарит нас солнце и теплом и тенью,  
От края в край небес его исход,  
И чистое Господне откровенье

Нам умудренье, силу нам дает.  
И праведны Господни повеленья,  
И заповедь Господня наперед  
Людским очам дарует просветленье  
И сердце веселит, но не гнетет.  
И даже Божий суд и Божье мщенье  
Нам серебра и злата вожделенней  
И слаще меда от пчелиных сот.  
Моих грехов и прегрешений тьма.  
Очисти же, — я к Господу взываю, —  
Меня ото всего, чем согрешаю,  
Что я порой по скудости ума  
Не вижу сам или не понимаю!

Так удержи меня от умышленья  
Причастным стать порочности земной,  
Чтоб общее людское развращенье  
Вовеки не возоблагодало мной.  
Чтоб было здесь, в юдоли сей земной,  
Все: и труды мои и устремленья  
Тебе угодны, Избавитель мой!

### ПСАЛОМ 133

Господа восхвалите сегодня,  
Рабы Господни, в доме Господнем,  
Под сводом мерцающих в небе светил.  
Руки к святилищу вознесите,  
Господа Бога благословите,  
Чтобы и Он вас благословил,  
Он, который вас хлебом насытил  
И землю, и небо, и все сотворил.

### ПСАЛОМ 142

Господи, как хочешь поступай,  
Но со мною в тяжбу не вступай,  
Ибо мне перед Тобой, пред Богом,  
Во грехе не оправдаться многом,  
Ты по истине Своей карай.

В землю душу враг мою вдавил  
Так, что дух мой онемел и тело,  
Словно жизнь моя уже сгорела  
И во тьме средь тех я, кто почил.

Я былые дни вспоминаю  
И деянья рук Того, кто Бог,  
И свои я руки простираю  
К небесам, где свят Его чертог.  
И душа моя изнемогает,  
Как земля, что влаги ожидает,  
Как земля, и сам я изнемог.

Господи, услышь меня скорей,  
Дай Твой лик увидеть мне в тумане,  
Чтоб не стать мне мертвого мертвей,  
И сподобь меня как можно ране  
Приобщиться к милости Твоей,  
От меня не скрой Своих путей,  
Мне иного нету упования.

Путь врагов моих ко мне закрой,  
Пусть меня ведет Твоя святая  
Воля, Господи, Спаситель мой,  
Пусть меня ведет Твой дух благой  
В область ту, где правда обитает.

Ради славы Божьей и любви,  
Ради правды Божьей в душах сущих  
Душу и мою Ты оживи,  
Погуби людей, меня гнетущих,  
Всех врагов несчетных истреби!

## ПСАЛОМ 144

Буду Тебя я мольбами своими,  
Царь мой, мой Господи, благословлять,  
Буду я всем племенам возвещать,  
Что слава Господня достохвалима,  
Что Божье величие неисследимо,  
Буду опять и опять повторять,  
Что вовеки Господне имя.  
Мне сладко о славе Твоей размышлять.

И, уstraшенный судами Твоими,  
Кто-то, быть может, и станет роптать,  
А я буду правду Твою воспевать,  
И Ты молитву мою примешь.

Нам благо от света Твоей заботы,  
Ты многомилостив и терпелив,  
На всех деяньях — Твои щедроты,  
Да славят дела Твои те, кого Ты  
Приблизил, святыми их объявив.

Пусть славят, чтоб знали сыны человека:  
Господне величье на век и от века  
Владычество Божье на все племена,  
Тех, кто низвержен, Господь восставляет,  
Тем помогает Он, кто упадает,  
И пища нам Богом определена,  
Ибо Он руку свою открывает  
И, благотворствуя, нас насыщает.

Пути Его благи на все времена.  
Он близок ко всем, кто Его призывает,  
Кому Его правда близка и ясна.

Желание жаждущих Он исполняет,  
Стенания страждущих слышит Господь.  
Чтущих Его Он от бед охраняет,  
Но грозную руку Свою простирает,  
Чтоб нечестивых людей обороть.

Псалтирь моя Богу хвалу восклицает,  
И всякая сушная в мире плоть  
Имя Господа благословляет.

## Эли Визель

### НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА

*Глава из романа «Рассыпанные искры»*

Мой отец, человек просвещенный,  
верил в людей.  
Мой дед, страстный хасид,  
верил в Бога.  
Один научил меня говорить, другой —  
петь.  
Оба любили истории.  
И теперь, рассказывая свою,  
я слышу их голоса.  
Их шепот, доносящийся из безмолвного  
прошлого,  
связывает выжившего с теми,  
от кого осталась только память.

Вызвал однажды царь советника и поведал ему с тревогой:

— Я прочел по звездам, что всех, кто отведаст от будущего урожая, поразит безумие. Что нам делать, друг мой?

— Нет ничего проще, ваше величество, — ответил советник. — Мы к нему не притронемся. Прошлогодний урожай еще не истощился. Отберите его и храните у себя. Вам этого хватит с лихвой. И мне тоже.

— А другим? — возмутился царь. — Всем подданным моего царства? Верным слугам престола? Мужчинам, женщинам, сумасшедшим, нищим — с них ты забываешь? А детям? Детей ты тоже забыл?

— Я никого не забываю, ваше величество. Но в качестве советника я обязан рассуждать здраво и принимать во внимание все обстоятельства. наших запасов не-

достаточно, чтобы уберечь и обеспечить каждого. Их хватит для вас. И для меня.

Царь помрачнел:

— Твое решение мне не по душе. Неужели нет иного выхода? Тогда я отказываюсь оставаться здравомыслящим среди обезумевших людей. Я буду с моим народом. Мы с тобой разделим общую участь и уподобимся всем прочим. Раз мир охвачен безумием, нельзя взирать на него со стороны: лишенные рассудка люди подумают, что сумасшедшие — мы. И все же я желал бы сохранить хоть какое-нибудь свидетельство нашей нынешней славы и наших мучений. Я хотел бы сохранить память о нашем решении. И когда придет время, я хотел бы, чтобы мы с тобой сознавали наше положение.

— Зачем, ваше величество?

— Вот увидишь, это сослужит нам добрую службу и мы сумеем помочь нашим друзьям. Кто знает, быть может, потом, благодаря нам, люди найдут силы сопротивляться, даже если будет слишком поздно. — И, обняв друга, царь продолжал: — Поэтому мы отметим наши лбы клеймом — знаком безумия. И всякий раз, взглянув друг на друга, ты и я будем знать, что мы — безумны.

В некотором царстве принц сошел с ума и вообразил себя петухом. Он разделся донага, спрятался под стол и жил там, отказываясь от царских яств, подававшихся на золотых блюдах. Он ел одно лишь зерно, припасенное для кур. Царь был в отчаянии. Он посылал к сыну лучших врачей, знаменитейших ученых — все без толку. Тщетны были старания заклинателей, монахов, отшельников и чудотворцев. И вот однажды предстал перед царем неизвестный мудрец.

— Мне кажется, я мог бы исцелить принца, — промолвил он, — позволь мне попытаться.

Царь согласился. И тут, ко всеобщему изумлению, мудрец, сбросив одежду, забрался к принцу под стол и принялся кукарекать.

— Кто ты такой и что здесь делаешь? — воскликнул принц.

— А ты? — спросил мудрец. — Ты кто такой и чем тут занимаешься?

— Разве не видишь? Я — петух.

— Хм, — удивился мудрец, — странно!

— Что ж тут странного?

— Разве ты не видишь, что я — такой же петух, как ты?

Они подружились и поклялись никогда не расставаться.

А затем мудрец принялся лечить принца. Он начал с того, что надел рубашку. Принц изумился:

— Да ты рехнулся! Забыл, кто ты? Неужто ты вздумал стать человеком?

— Видишь ли, — мягко возразил мудрец, — не следует думать, будто петух, одетый как человек, перестает быть петухом.

Принцу пришлось согласиться. На следующий день оба были одеты. Мудрец послал за блюдами с дворцовой кухни.

— Несчастный! Что ты делаешь? — воскликнул перепуганный принц. — Уж не собираешься ли ты есть как люди?

Друг рассеял его сомнения:

— Никогда не думай, будто, сидя за столом с человеком и разделяя его трапезу, петух перестает быть самим собой. Разве петуху достаточно вести себя по-человечески, чтобы стать человеком? В этом мире ты можешь вести себя как самый настоящий человек и все равно останешься самим собой, то есть петухом.

И принц согласился и стал жить как подобает принцу.

Автор этих притч — Назман из Брацлава, чьи истории принадлежат к самым увлекательным в хасидской литературе. Они создают волшебный мир, мир, в котором мечтатели преступают пределы своих мечтаний, увлекаемые жадой спасения и бесконечным стремлением к чистоте и чуду.

Нахман из Брацлава во многом напоминает Франца Кафку, чьим предшественником — и, видимо, вдохновителем — он был. Соблазнительная и к тому же вполне правдоподобная гипотеза. Эти два человека, разделенные более чем столетием — раби Нахман родился в 1772 году, — разрабатывали сходные темы и идеи, придающие их трудам особый, реалистический и в то же время фантастический, характер. Их герои живут жизнью, ими же придуманной, и сами рассказывают о своей смерти.

Есть и более поразительные совпадения: оба, и цадик с Украины, и пражский романист, умерли молодыми: раби — в 38, писатель — в 41 год. Их сразила одна и та же болезнь: туберкулез. Оба требовали, чтобы их писания были сожжены. И у каждого нашелся друг, предан-



ный комментатор, которому мы обязаны тем, что память об их творчестве уцелела. Макс Брод был для Кафки тем, кем был раби Натан для раби Нахмана.

Однако, желая уничтожить свои труды, раби Нахман хотел сохранить главное — их смысл. «Превратите мои истории в молитвы», — сказал он последователям. В молитвы — не в реликвии.

Перед смертью он велел предать огню все свои записи, «чтобы вернуть их небесам». Натан счел своим долгом повиноваться — и сделал это. Ему недоставало смелости и предвидения Макса Брода. Великие рассказчики походили друг на друга больше, чем их преданные друзья.

Вот другая история раби Нахмана: о королевском посланце, не сумевшем исполнить свою миссию.

Король отправил письмо одному мудрому, но весьма недоверчивому человеку, жившему в дальнем краю. Тот отказался принять послание. Он был одним из тех людей, кто размышляет слишком много и затрудняет себе жизнь, придавая слишком большое значение мелочам. Он никак не мог уразуметь: «С какой стати могущественному и богатому монарху обращаться ко мне, ничтожнейшему из смертных? Если он принимает меня за философа, то есть ведь и другие, более знаменитые философы. Может, причина в чем-то ином? А если да, то в чем?» Не найдя ответа, он предпочел считать письмо недоразумением. Более того — фальшивкой. Еще хуже — грубой шуткой.

«Твоего короля не существует», — сказал он курьеру. Но тот стоял на своем. «Я здесь, и вот письмо, разве этого мало?» — «Письмо вообще ничего не доказывает, кроме того, я его не читал. А кстати, кто тебе его дал? Сам король?» — «Нет, — признался гонец, — мне дал его королевский паж. От имени короля». — «А с чего ты взял, будто это письмо от ныне царствующего монарха? Ты его когда-нибудь видел?» — «Никогда. Разве я достоин лицезреть Его Величество?» — «В таком случае откуда ты знаешь, что король — это король? Видишь, ты знаешь не больше моего».

И мудрец и курьер решили выяснить истину, не распечатывая письма. Они обойдут весь мир, но узнают правду. На рыночной площади они обратились к солдату: «Кто ты и чем занимаешься?» — «Я наемник, служу королю». — «Какому королю?» — «Которому присягал. Это его страна. Мы все должны ему служить». — «Ты

знаешь, как он выглядит?» — «Нет». — «Значит, ты его никогда не видел?» — «Никогда». Путники расхохотались: «Гляньте на него! Этот парень в мундире твердит, будто служит кому-то, кого ни разу не видел и никогда не увидит».

Затем они встретили офицера. Да, он охотно умрет за короля, нет, он никогда не удостаивался чести его видеть — ни вблизи, ни издали.

Генерал. Те же вопросы, те же однозначные ответы. Он тоже думает только о царской службе, живет только королем и для короля. Нет, хоть он и генерал, но не может похвастаться, будто ему удалось лицезреть его величество.

«Ну, видишь, — говорит мудрец-скептик вестнику. — Люди наивны, доверчивы и бестолковы. Они живут во лжи и боятся правды».

И они смеются. Смеются надрывно, с таким отчаянием, что в конце концов начинают понимать: должна же быть связь между откликом и зовом, между человеком и его дорогой; под конец они понимают, что их отчаяние не абсурдно, ибо оно-то и может оказаться нитью, связывающей их с королем.

Король, по раби Нахману, — не враг мудрецу, мудрец — не враг королю. Все стремятся к неким метаморфозам, чтобы изменить условия своей жизни. Но в то время как герой еврейского романиста из Праги действует в ужасающем мире мрачного насилия и уродливой жестокости, герой цадика завоевывает благосклонность короля.

Всем персонажам приходится преодолевать препятствия, бороться с невзгодами, умиротворять встречаемых. И им это удается: приключения заканчиваются благополучно — гармонией, а не отречением. Когда беды кончаются, обнаруживается их смысл. Героев ввергли в тайну, которая ждала только их. Это не зло, а, напротив, — освобождение и спасение. В романтическом мире раби Нахмана нет настоящего зла. В конце концов все становится союзником человека.

Раби Нахман — это хасидская фантазия, торжество слова, прославление вдохновенной и пленительной легенды. Раби Нахман — это полет, окрыленное путешествие в сущность бытия.

Этот многослойный образ навеивает мечты или же напрочь отбивает всякое желание мечтать. Его богатая подвижками жизнь отмечена вечными парадоксами, горными

вершинами и пропастями, взлетами и падениями, даже галлюцинациями. Лишь покоя и безопасности он не узнал никогда.

Этот правнук Бешта жестоко ссорился со всеми знаменитостями, претендовавшими на его наследие. Учитель, основоположник школы, он не создавал теории, он передавал свое видение мира, рассказывая истории и притчи, — шедевры в своем роде. Как каббалист он понятен, как раби — нет. Аскет, враг сомнений, он бывает в так называемых эмансипированных интеллектуальных кругах, где собираются противники аскетизма, которые сомневаются во всем. Ревнитель веры, он играет в шахматы с вольнодумцами: его интригует их неверие. Больной, он не выносит врачей, бедняк — презирает богатей. Он запрещает своим ученикам читать философские труды, Маймонида в том числе, однако сам усердно изучает философию. Высокомерный с одними, смиренный с другими, — впрочем, не с тем, с кем нужно, — он всякий раз выглядел по-иному. Хоть никогда не менялся. Казалось, в нем заключены два человека. А иногда святой уподоблялся комедианту.

Все это мы знаем благодаря его биографу, ставшему агиографом, — раби Натану. Изо дня в день учитель делился с ним своими сокровенными мыслями — мыслями, рожденными иступлением. Раби Натан знал о его мучительном детстве, юности, треволнениях, о пароксизмах тревоги, сменяемых экстатическими просветами. Подробные свидетельства, поразительные, зачастую несколько невнятные образы. И факты, и манера изложения несут печать подлинности. Так, мы знаем, что Нахман был беспокойным, скрытным и упрямым ребенком. В учении он не блистал, часто плакал и жаловался Богу — на Бога. Потом он был столь же беспокойным подростком. Иногда он убегал из дому, приходил на могилу Баал-Шема и возвращался измученный, с горящими глазами.

Ему приходилось собирать все свои силы для изматывающей борьбы с позовами плоти, борьбы, крайне подробно описанной в заметках раби Натана. Из нее он вышел победителем. «Для меня, — говорил он, — что мужчина, что женщина — все едино». Как-то он добавил: «Отныне я буду страшиться женщины не больше, чем ангела». Он жил напряженной жизнью, насыщенной «падениями и головокружительными взлетами», постами и бессонными ночами. Он страдал молча. «Зубы его бы-

вали стиснуты с такой силой, что могли бы расщепить кусок дерева», и иногда он «тихо стонал». Это импульсивное существование, словно молниями, озарялось болезненными и вместе с тем возвышенными экзальтациями. «Он возносился и падал тысячи, десятки тысяч раз, — скажет позднее раби Натан. — После упорных трудов он поднимался в заоблачные выси для того только, чтобы в течение одного-единственного дня снова и снова испытать горечь падения».

До появления раби Натана его близким другом был некий раби Шимон, соученик Нахмана. Однажды раби Нахман предложил ему вместе уехать в Венгрию и жить там в нищете и безвестности. «Я здесь известен слишком многим, — сказал он. — Они чтят меня за родословную. В Венгрии им не нужно будет подумать дважды, прежде чем причинить мне боль». Путешествие не состоялось. «Не стоит ехать, — заявил он товарищу, — я подвергнусь гонениям и здесь».

Нахман оказался прав. Ко дню женитьбы — в возрасте 13 лет — он успел прославиться куда больше, чем многие духовные пастыри того времени. Рано или поздно он должен был возбудить в них чувство враждебности. «Только пучок соломы не вызывает ненависти», — заметил он впоследствии. Его темперамент отличался такой неустойчивостью, чувствительность — такой остротой и не по годам развитый ум — такой живостью, что существование превратилось для него в сплошную рану. Но знаем мы это благодаря раби Натану.

Про этого странного человечка, Натана, говорили, что он родом из Немирова. Рассматривать его как простого свидетеля или писца, служившего в брацлавском суде, было бы явной недооценкой. Ученик этот так же самобытен, как Учитель. Каждый нашел и реализовал себя по-своему. Если истолкователь жил всецело для раби, то зато и Учитель воплотился лишь посредством биографа, который сказал о своих сочинениях: «В них вы найдете дух и мысль Учителя, только голос мой».

Раби Натан был не просто голосом раби Нахмана, и это выяснилось после смерти Учителя. Любимый сподвижник и лучший ученик Нахмана, он сам воспринимался как раби. Люди искали его совета, просили его благословения, ходили на его службы. Они называли молитву Натана «толкованием молитвы». Но Натан, преданный и смиренный приверженец цадика, всегда считал себя только его учеником. Лишь эта роль была ему по

вкусу. Он говорил: «Я безумен, как и весь мир, но мне выпало счастье лицезреть один ясный ум». Еще он сказал: «Блажен тот, кто встретился взглядом с раби Нахманом, блажен тот, кто встретился взглядом со мной, смотревшим в глаза раби Нахману».

Что привело его к цадику из Брацлава? «Сон, — говорил он. — Во сне мне привиделось, будто пошел я в пекарню купить булочек. По дороге меня осенила ужасная мысль: да неужто в этом заключается моя жизнь? Брать булочки от одного человека и передавать другому? И это все? И тут передо мной явился человек, который сказал: «Если хочешь, чтоб я тебе помог, будь со мной». Это был раби Нахман».

Наяву раби Нахман сердечно принял его: «Мы давно знаем друг друга, а встретились впервые сегодня». Гость был растроган и покорен. С этого момента он стал другим человеком.

То была любовь с первого взгляда. Он перестал скитаться, забросил дела и даже свой дом. Он всего себя отдал Учителю. «Если бы из земли всюду торчали кинжалы, — сказал он, — я, не задумываясь, прошел бы ее из конца в конец, чтобы хоть раз взглянуть на святой лик раби». Он вознамерился собрать все поучения раби, его застольные беседы, разбросанные обрывки мыслей и изречений, впитать в себя его мечты, причуды и затем записать все это в оформленном и целостном виде. Благодарный раби Нахман похвалил его: «У каждого из вас своя доля в моих историях, — сказал он ближайшим ученикам, — но у тебя, Натан, самая большая».

Комплимент? Нет. Констатация факта. Благодаря таланту Натана, его предвидению и зоркости мысли легенды Учителя дошли до нас. Скрупулезный до фанатизма, он отдавал свои записи автору для исправлений и замечаний. Таким образом, мы иногда можем рассматривать ту или иную историю как бы с двух точек зрения: рассказанную повествователем — и услышанную им самим со стороны. Натан пошел еще дальше: думая о будущем читателе, он не ограничивался только записью той или иной истории, но добавлял свои собственные наблюдения, замечания, порой даже описывая обстоятельства, сопутствующие ее созданию. Благодаря ему читателям раби Нахмана выпало счастье присутствовать при рождении некоторых его легенд.

Именно Натан сообщает нам точно, когда и почему Нахман решил стать рассказчиком. В 1806 году раби за-

явил: «Я вижу, что мои идеи не производят на вас ни малейшего впечатления. Поэтому я буду рассказывать вам истории, причем на идиш, чтобы исключить всякое непонимание». А еще он сказал: «Если правда, будто истории пишут, чтоб нагнать на слушателей сон, то я рассказываю сон, чтоб заставить их проснуться». Еще: «Я рассказываю вам о своих мечтах потому, что мечта — не что иное, как рассказ о мечте; более того, рассказ о мечте — это больше, чем сама мечта».

Прошло пять лет после смерти Нахмана, и раби Натан освоил профессии редактора, издателя и печатника, дабы повсеместно распространять слова Учителя. Истории раби Нахмана, запрещенные в России, где они считались слишком печальными и гнетущими, были опубликованы в Польше. В предисловии раби Натан писал:

«Замри и восхитись этими чудесами. Если ты человек, если у тебя есть душа, тебе не останется ничего другого, как, собрав всю волю, пересмотреть жизнь свою. Волосы твои встанут дыбом, ибо прочтешь поразительные слова, которые обворожат самые черствые сердца. Каждое слово здесь исполнено глубочайшего смысла, и каждый образ таит в себе древнюю и вечную истину».

Сам раби Нахман приписывал им магическую силу. Он считал, что эти истории внушены ему свыше, являются чуть ли не откровением. И по сей день его последователи повторяют их, после особой молитвы, дабы проникнуть в тайны, доступные только посвященным: они повторяют их друг другу, словно заклинания, чтобы очиститься, очищая слово, которое дает имя существу и голосам во времени и пространстве.

Я вспоминаю, как ребенком читал эти завораживающие истории, воображая, будто понимаю их. Теперь я их перечитываю. Очарование сохранилось, но понимание? Одни кажутся слишком простыми, другие — чересчур сложными, иные — и примитивными и запутанными одновременно. Часто меня смущает их форма, иногда — содержание. Чем больше читаю, тем больше чувствую, что что-то упустил, что-то не смог и не смогу дочитать до конца. А еще я страшусь, что в них неизменно будет простираться полоса молчания, полоса тьмы, которую мне не одолеть. Никогда не набрести мне на тропу, ведущую к рассказчику. Никогда не увижу я ни то, что он видел; ни то, что отказался увидеть. Я не смогу сопережить его приключения, хотя иногда мне мерещится, будто все это происходило со мной.

Его истории? В каждой содержится множество других. Представьте себе набор концентрических окружностей; центр — самая сущность человека: внутреннее «Я». Совесть, обратившаяся в покой и безмолвие, память внутри памяти. Все эти рассказы населены принцами и мудрецами, беспокойными людьми, ищущими друг друга и себя в других. Населены страдальцами, беженцами, изгнанниками, вестниками, детьми, сиротами и нищими, бесконечно скитающимися по свету только для того, чтобы снова воссоединиться в пещере или во дворце, отыскав свое подлинное «Я» за пределами пережитого опыта, порой вопреки своей воле. Следуя за ними, мы погружаемся в сверхъестественный мир, хотя слово «чудо» ни разу не упомянуто. Ибо в мире Нахмана все сверхъестественно, даже самое заурядное событие. Здесь лес, деревья, животные и утренний ветерок могут смеяться, а самые обездоленные, самые убогие люди наделены могуществом.

Смелее, чем самые отчаянные сюрреалисты, Нахман творит импульсивно, свободно, вверяясь интуиции. Он отвергает всякую логику, индуктивную и дедуктивную, не подчиняется никаким законам, не признает воздействия внешних обстоятельств. «Времени не существует», — утверждает он, подразумевая и свои истории, и весь мир. Более того, он исключает время из исходных элементов мироздания. Согласно Нахману, Бог дал человеку все, кроме Времени. Таким образом, понятие времени никогда не встречается в трудах раби Нахмана, как, впрочем, и понятие места.

Последовательность? Он предпочитает необузданную, безграничную, суверенную фантазию, пренебрегающую любыми границами. Его персонажи всегда покидают друг друга — иногда чтобы без всякой видимой причины скрыться среди чужих. Герои не поддаются отчетливой идентификации. Эпизоды произвольно вписываются друг в друга, чередуются, свиваясь в запутанный клубок. А потом, опять-таки произвольно, они внезапно приходят к концу, словно рассказчик потерял терпение и решил наспех закончить одну историю, чтобы приняться за новую. Тон повествования — эпический, темп стремительный, беспорядочный. Каждая притча содержит десяток других, каждая сцена — мозаика, и любой ее фрагмент — отдельная новелла. Нить повествования легко теряется. Внутри историй раби Нахмана слишком много других историй. В конце концов исчезает из виду основной, по-

таенный сюжет. Подобно героям Нахмана, читатель-слушатель уже не представляет себе, где он находится и что его ожидает через два шага: он беспомощен, он заблудился в этом чуждом мире.

На первый взгляд это выглядит необъяснимым. Ведь раби Нахман при желании мог относиться к себе куда строже. Он был слишком искусным художником, чтобы бесцельно портить рассказ. И если он держит нас в неустанном напряжении, несмотря на хаотичность повествования, то только потому, что он мастер своего дела. Но тогда как же он мог, он, который даже во второстепенных, чтобы не сказать незначительных, эпизодах придавал такое значение мельчайшим трудноуловимым деталям: цвету облака, свечению сумерек, удивлению грешного старика, усмешке случайного прохожего — как он мог пренебречь самой структурой произведения? Почему столько пропусков? Столько нитей, тянущихся одновременно в самых разных направлениях? Почему действие десять раз останавливается и семь раз возобновляется? Есть ли здесь какая-то цель? Ответ заключен в вопросе.

Те же огрехи — или, по крайней мере, то, что нам кажется таковыми, — нетрудно найти во всех его историях, во всем, что он создал. Значит, все это сделано преднамеренно и отражает его представления о сущности бытия, творчества — искусства передачи и сохранения легенд — и, конечно, представления о личности самого автора.

Вероятно, он давал понять, что человеку гораздо важнее поразмыслить над таинством собственной жизни, чем над загадкой происхождения мира. Опасность и зло подстерегают его не на пути к смерти, — они в отступлении. Человек движется более чем к одной цели, существует не в одной плоскости, любит и предается отчаянию по-разному и по самым различным причинам. Более того, он даже не знает, ведет ли его деятельность к главной или второстепенной цели, не ведает, благословенно или проклято его бодрствующее сознание. Условия человеческого бытия оказывают наиболее сильное воздействие на личность именно в момент их разрушения. В каждой части содержится целое, каждый излом свидетельствует, что человек одновременно самое хрупкое и самое жизнеспособное из созданий.

Раби Нахмана более заботил человек, чем человечество; его привлекало не общее, а индивидуальное. Таин-



ственность его взаимоотношений с землей и небесами не уступает таинственности его неба и земли. Раби Нахман уплотняет случайные события, заставляя сюжет дрожать от напряжения. Мгновение предпочитает Учитель годам, бесконечно малое — бесконечно большому, потрясения — безмятежности.

Вот самая прекрасная и загадочная его притча — «Рассказ о семи наших». Его любимая история. Мы знаем это, поскольку перед тем, как рассказать ее публично, он заявил раби Натану, что он поведаст историю, которая со дня сотворения мира прозвучала только один раз: перед разрушением Храма. Даже пророки не знали ее. Знал только один человек — тот, кто облек ее в слова. И добавил: «Мы должны пойти в город Броды, в главную синагогу, подняться на бима и пригласить народ послушать...»

В некоем царстве, в некотором государстве жил да был царь, который в один прекрасный день отрекся от престола в пользу своего сына. Состоялась пышная и веселая коронация. На улицах и площадях распевали песни и пили вино. Актеры и музыканты, жонглеры и фокусники развлекали придворных, а народ веселился и днем и ночью. В самый разгар праздника царь вернулся к сыну и сказал: «Звезды говорят мне, что ты лишишься престола. Обещай мне, что это не опечалит тебя, обещай, что ты не изменишься, останешься веселым и счастливым. Тогда и я буду счастлив, хоть это и будет счастье совсем особого рода».

Молодой царь был добр и щедр. Он покровительствовал искусствам и свободной мысли. Он хотел, чтобы его подданные процветали. Если человек хотел денег, царь делал его богатым. Если кто-то искал славы, царь помогал ему снискать ее. Таким образом, в государстве воцарилась мудрость и любовь, тогда как войско постепенно приходило в упадок. Воины забыли свое ремесло и потеряли желание гоняться за славой и почестями, убивая людей и идя на смерть.

И тогда вдруг царь предался печали и принялся непрестанно вопрошать себя: что делаю я в этом мире и где мое место в нем? Он изменился.

Ну, а в другой стране началась страшная сумятица, и люди в ужасе бежали из родных мест. Тогда-то, пробираясь через лес, потерялись двое маленьких детей — девочка и мальчик. От голода и холода они стали громко плакать. И тут вдруг появился нищий с пустыми, туск-

лыми, мертвыми глазами. За спиной у него висела котомка. Дети кинулись к нему, и он дал им немного хлеба. «Откуда вы идете?» — спросил он. «Мы не знаем», — отвстили дети. Он собрался уходить, и дети начали умолять взять их с собой, но он отказался. Только тогда они догадались — перед ними слепец. И он удалился, пожелав им на прощанье: «Будьте такими, как я».

На следующее утро измученные и голодные дети снова стали плакать. И на помощь к ним пришел другой нищий — глухой. Он тоже отказался взять их с собой и пожелал им быть такими, как он. На третий день пришла очередь зайке дать детям кусок хлеба и свое благословение: «Будьте такими, как я». Четвертый нищий был кривошеим, пятый — горбатым, шестой безруким, седьмой — безногим. И каждый желал им быть такими, как он.

А потом дети выбрались из лесного мрака и, кормясь подаванием, странствовали по ярмаркам и городам. Всюду они вызывали сострадание. Со временем они преуспели, вышли в люди и прославились. И тогда их решили поженить. Обручение праздновали в базарный день. Что до свадьбы, то она должна была состояться в день рождения царя в огромной пещере, украшенной листьями, с валунами вместо столов. Им собирались принести остатки от царского пира, чтобы все наелись досыта.

Однако новобрачные не забыли время, проведенное в лесу, и горько жалели об отсутствии своих благодетелей, семерых нищих с добрыми сердцами и странными благословениями. Больше всего на свете хотели они снова увидеть их, хоть на мгновенье. И вдруг, о чудо! У входа в пещеру появился их самый первый друг, слепой нищий: «Я пришел разделить с вами сегодняшнее торжество и принес подарок...» И стал рассказывать им притчу: «Это не я слеп, это мир слеп. Более того: я не стар, не молод, я еще не существую. Гигантский орел поведал мне это...»

На следующий день — второй день праздника, второй нищий предстал перед новобрачными. Вот что он им сказал: «Я не глухой, но уши мои слышат только то, чего нет в мире. Одни сетуют, что у них нет счастья, другие радуются, что у них нет горя. Так вот, этого я не слышу. Я не слышу, чего у них нет. В этом моя сила. Жители огромного изобильного города поведали мне это...»

На третий день появился третий нищий — зайка, ко-

торый сказал: «Я вовсе не заика. Напротив, я проповедую по влечению, по призванию и по ремеслу. Но мне по душе только совершенные речи. Вдобавок я певец, и в песнях моих заключена высшая мудрость. Всемилющий поведал мне это». И он начал: «В центре мироздания есть гора, на этой горе камень, а из-под камня бьет источник. Так вот, у каждой вещи есть душа. Даже у мироздания есть душа, душа, которая есть одно целое с лицом, руками, ногами, глазами и ушами. И эта пылающая душа исполнена огня и страстного стремления вернуться к своему источнику, на край света, по ту сторону бездны. Душа эта вдвойне несчастна — по пятам за ней следует солнце, иссушая и испепеляя ее. Чтобы выжить, ей нужен источник. Но чем больше уповает она на источник, тем сильнее ее жажда. Кроме того, как только приближается она к горе, вершина исчезает, а с ней и источник. И тогда душа улетает, ибо она живет только любовью к источнику. И если бы ей пришлось остановиться, весь мир превратился бы в ничто. Таким образом, она обречена оставаться на другой, дальней стороне, под защитой птицы с широко распростертыми крыльями. Душа осуждена вечно взирать на недостижимый источник».

Затем молодая чета испытала радость встречи с четвертым нищим, с пятым, с шестым. Изю дня в день они выслушивали новую историю.

Но, дойдя до шестого дня свадебных торжеств, раби Нахман замолчал. Позднее он признался раби Натану, что история седьмого нищего будет рассказана только после пришествия Мессии.

Заметьте — само начало этой истории давно уже забыто. Что же случилось, собственно, с царем, занявшим престол при жизни отца? Потерял ли он трон? Поддался ли он скорби или сумел даровать своему отцу «счастье особого рода»?

Это не имеет значения. Для раби Нахмана в истории важна лишь притча, в притче — порожденная ею греза, мечта, скрытая в мечте. Царь значит меньше нищего, меньше, чем одержимые создания, чудесно повелевающие лошадьми, звуками, зрением. Эти существа добры, бескорыстны, отзывчивы, всегда готовы примчаться на помощь заблудившимся в лесу принцам, принцессам, похищенным из своих замков, или старикам, не знавшим детства. Все они знают, куда смотреть и куда идти. Они беседуют с нами. Едва появившись, они обогащают

нас своими талантами, своими историями. Один умеет внимать, другой знает, где встречается день с ночью, а третий слышит, как луна жалостно взывает к солнцу.

Волшебный, заколдованный мир, подвластный слову и претворенный словом. «Слова могут заставить замолчать ружья, — говорит раби Нахман. — Слово можно оживить словом же». Слова в состоянии разрушить самую прочную из стен. Слово — самое волнующее и самое ужасное из всех открытий.

«Написано, — говорит раби Нахман, — что праведник повинуется слову Божьему. Это следует читать иначе: праведник создает слово Божье». В устах Учителя это значило: праведник создает язык, которым Бог творит Свой мир. Пророки передают слово Бога. Праведник создает его. Часто в форме шутки, притчи, истории.

Каждое слово — притча, говорили в Брацлаве. Тора, например. Или Талмуд. Или «Зохар». История о Законе так же важна, как Закон. И она куда глубже комментариев.

Следует ли видеть некий умысел, некое мистическое содержание в легендах раби Нахмана? Брацлавская школа утверждает — да. Царь — это Бог, несчастный принц — Народ Израиля, принцесса — Шхина, Тора или Мессия. А притчи не что иное, как способ показа, «витрина». Герои, их одержимость, возникают из священного источника. За эфемерностью и надуманностью их отношений скрывается высшее и непреходящее значение.

Пример:

Жил да был принц, принужденный покинуть отцовский дворец. Прошли месяцы. Годы. Тоска по дому и беспокойство овладели принцем. Изгнание наложило на него отпечаток — принц терял надежду, уходил в себя. Однажды гонец принес ему отцовское письмо. Увидев его, бедняга принц совсем пал духом — весточка напомнила ему родной дом, все, чего он лишился. Чем бы он только не пожертвовал, лишь бы снова увидеть отца, обнять его или хоть дотронуться до края его мантии. Беззвучные рыдания сотрясали принца, но усилием воли он взял себя в руки. В голову ему пришла мысль, что не нужно впадать в тоску и уныние — ведь перед ним драгоценное письмо. Ведь слово, начертанное царем, воспроизводит волю царя, и, следовательно, оно и есть царь.

Смеясь, он стал покрывать письмо поцелуями. Оно

было связью между ним и прошлым, доказательством того, что его отец жив. Послание было написано и отправлено: значит, царь оставался царем, а принц, несмотря на изгнание, — принцем.

Смысл притчи ясен: дабы снести изгнание, Израиль должен найти утешение в Торе. Он должен держаться за письмо и уповать на волю Божию.

Дело в том, сказал раби Нахман по другому поводу, что каждый человек призван следовать собственным путем. Одних Бог призывает окриком, других песней, третьих — шепотом. Вспомните пастуха и овец: пока овцы близко, они слышат его свирель, а тот, в свою очередь, слышит их колокольчики. Но как только овцы забредут слишком далеко, ни они, ни пастух уже не услышат друг друга.

Кто же пастух, если не Бог? Кто овцы, если не Израиль? А колокольчик — это Тора, напоминающая об опасности разобщения и дальних расстояний.

По-видимому, некоторые хасидские Учители того времени не очень высоко ценили символику этих историй. Раби Нахман, считали они, попусту теряет время, рассказывая свои сказки легковерной пастве. Недоумение вызывало иное: то, что в этих историях говорится не о святых, не о раввинах-чудотворцах, а о принцах и пастухах, безымянных нищих и всадниках, о мудрецах и вестниках, и даже о неевреях. Если бы он щадил чужие чувства, сдабривая притчи толикой обычных хасидских легенд, восхваляющих могущество цадиков и веру их последователей, все остальное вызвало бы меньше негодования и протестов. Но раби Нахман стоял на своем: он любил своих нищих и принцев.

Критике подвергалась не только литературная деятельность Нахмана. Его повседневная жизнь тоже вызывала нарекания. «Дурные компании», в которых он постоянно вращался, его неистовый индивидуализм раздражали многих. Неприязнь вызывали его склонность к таинственности и неопределенности, пренебрежение общественным мнением. Его осуждали за связь с тайными франкистами, верившими, вслед за своим вождем, в избавление через зло.

Разумеется, в Брацлаве знали, как объяснить и оправдать поведение Учителя. Чтобы вытащить человека из грязи, праведник должен сам вступить в нее. Чтобы спасти заблудших, ему нужно распрощаться с домашним уютом и искать их повсюду. «В каждом человеке есть

что-то от Мессии». В каждом человеке, в каждом месте. Это утверждает каббала. Это повторяют мистики.

Чтобы освободить человечество, нужно собрать искры, все искры, и слить их в священное пламя. Мессия, спасающий только праведников, — не Мессия. Об остальных тоже необходимо позаботиться, их надо подготовить. Неверующие нуждаются в избавлении больше святых. Говорят, именно поэтому раби Нахман в одиночку бросал вызов бесчисленным опасностям.

Впрочем, это объяснение не смягчало его противников, у них имелось немало других поводов для раздражения. Шпольский дедушка, вначале относившийся к нему с симпатией, отвернулся от него в тот самый день, когда раби Нахман приехал в его город. Он почувствовал, что гость насмехается над ним.

Других отпугивало и сердило то, что его образ жизни отличался от их собственного. Известность Нахмана не уступала известности других цадиков, но он отказывался походить на них. Он отвергал то, что они выставляли напоказ, и с пренебрежением относился к тому, что они превозносили. Прочное положение и почести для него ничего не значили. Он окружил себя молодежью, отстранив стариков и богачей: первых — как «отягощенных печалью», вторых — «долгами». И это в те времена, когда стариков повсюду чтили за мудрость, а богатых — за щедрость!

К тому же своим последователям он предписывал уединение и молчаливое размышление. Он даже советовал им удаляться от общины, вопреки, казалось бы, хасидским традициям, согласно которым жизнь в общине и совместные молитвы обязательны для спасения. Традиционный хасидизм гласил: «Я» индивидуума находит свое воплощение, растворяясь в «Мы» коллектива. Раби Нахман говорил — сперва следует сосредоточиться на «Я» индивидуума, изолируя его от всего остального. Таким образом, каждый брацлавский хасид, уединившись, ежедневно посвящал час раздумьям, в стороне от всего мира и даже от раби. Здесь уместно напомнить, что со времени Баал-Шема связь между раби и хасидом считалась неразрывной и необходимой — необходимой для раби, чтобы быть раби, и для хасида, чтобы быть хасидом. Какое право имел раби Нахман, правнук Баал-Шема, превозносить достоинства уединения и молчаливой молитвы? Отрицал ли он важность этих связей?

Иногда он уезжал на несколько недель, оставляя уче-

ников в замешательстве, а семью без гроша. Он ненавидел обычаи и собственность, стесняющие свободу. Он переезжал с места на место, двигаясь от открытия к открытию. Он любил жить и путешествовать инкогнито. Известно, что его преследовала идея разрыва с внешним миром. «Я возьму жену и уеду далеко-далеко. Буду со стороны наблюдать людей и смеяться над их делами». Он боялся скуки больше, чем болезни, а повторения — больше греха. «Ангелы никогда не повторяют своих литаний», — говорил он, цитируя Талмуд. И объяснял: «Ангелы, возносящие хвалу Господу, никогда не остаются теми же. Господь изменяет их каждый день. Кто повторяется, повторяет себя, отдаляется от Бога и не угоден Ему».

Столь жестокие требования и наставления неизбежно приводили к кризисным ситуациям. Неугомонный раби Нахман отпугивал окружающих внезапными и непредсказуемыми переменами настроения. Великолепно иллюстрируя на собственном примере найденное им сопоставление человеческой мысли с вечным движением маятника, он после экстатического общения впадал в глубочайшую депрессию, низвергаясь с гадлут хамохин — невероятного многословия — в пучину тоски — катнут хамохин. Когда он был весел, его веселость не знала границ. Историю о семи нищих он рассказал, «дабы показать вам, как можно веселиться». Когда же его охватывала печаль, в свое отчаяние он вовлекал весь мир.

Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, Нахман увидел одного из своих последователей, некоего Хайкеля. Тот куда-то спешил. Он окликнул его и пригласил в дом. «Скажи, Хайкель, — спросил он, — видел ли ты небо сегодня?» — «Нет, раби». — «А улицу, Хайкель, улицу ты видел сегодня утром?» — «Да, раби». — «Ты и сейчас ее видишь?» — «Да, раби». — «Расскажи мне, что же ты видишь». — «Ну... людей... лошадей... телеги... кареты. Торговцев — они размахивают руками. Шумят и бранятся крестьяне. Мужики, бабы бегают взад и вперед... Вот что я вижу». — «Эх, Хайкель, Хайкель, — покачал головой раби Нахман, — и через пятьдесят, и через сто лет здесь будет улица вроде этой. И другой рынок вроде этого. Другие экипажи будут возить других купцов, и они будут торговать другими лошадьми. Но ни меня, ни тебя уже не будет. Вот я и спрашиваю тебя, Хайкель, какой прок в твоей беготне, если у тебя даже нет времени взглянуть на небо?»

Один из его учеников оставил нам такую молитву: «Владыка небесный, Тебе ведомо, сколь я невежествен, ибо даже не знаю, что умру однажды. Помоги мне. Сделай так, чтобы я узнал и осознал это. Помоги мне понять, что от грядущей смерти нет никакого спасения. И что одинок я буду пред ее лицом. Совсем один. Без друзей, без кого бы то ни было. Одинокий и утративший память, желания и страсти. Сделай же так, чтобы в мою душу проникло это видение — желтый лик ужасного трупа».

Раби Нахман оставил нам такое изображение человеческой судьбы: «Смертник сидит в повозке, влекомой двумя лошадьми, которым известен путь к виселице. Эти лошади зовутся День и Ночь, и как скачут они, как несутся!»

До него ни один раби не говорил о жизни и смерти таким языком. Никто и никогда не рассказывал своим ученикам о таком кошмарном видении. Долг раби — быть сильным и непоколебимым, уверенным в себе и своей власти. Долг Учителя — быть надежной опорой и без промедления оказывать помощь любому последователю, попавшему в беду.

Другим раввинам раби Нахман был не слишком полезен. Некоторые нападали на него с беспрецедентной для еврейских обычаев жестокостью. Шпольский дедушка говорил: «Любому мучителю раби Нахмана я обещаю место в раю». Самые непримиримые проклинали его самого и его учеников. В тексте отлучения содержится ряд ошеломляющих запретов: «Запрещается вступать в брак с их потомками, есть их пищу, вести переговоры с ними. Запрещается также посещать их службы, говорить с ними, отвечать на их вопросы. А также проявлять к ним жалость и даже видимость сострадания...»

Следует заметить, что к подобного рода декларациям нельзя относиться серьезно — даже в те времена их не принимали всерьез. Внутренние раздоры в этих кругах были тогда довольно частым явлением, и со всех сторон в изобилии сыпались проклятия и анафемы, которые, однако, никто не воспринимал буквально. И все же этот случай отличается от других: обычно в схватке участвовали ученики, а раби держались в стороне. В борьбу же с Нахманом втянулись даже раби. Прежде всего, конфликт был идеологическим. Шпольский дедушка сказал: «Он родился на три поколения раньше, чем нужно». Раби Нахман будто бы на это гордо ответил: «Нет. Я при-



шел на три поколения позже, чем следовало». Философский спор, подогреваемый слухами и толками, распространявшимися из одного дома в другой, выродился в личную вражду. Нахман и его ученики, оставшиеся в меньшинстве, подвергались унижениям, которые превратились в настоящую травлю.

Раби Нахмана это вполне устраивало. Чем чаще его атаковали, тем большее, по его словам, удовольствие он испытывал. Он говорил: «Мои противники воображают, будто вредят мне. На самом же деле они безмерно мне помогают. Каждым своим успехом я обязан им».

Еще он говорил: «Мне нужны люди, спорящие со мной. Это позволяет мне расти — я все время меняюсь. Если бы я подумал, что сейчас нахожусь там, где был раньше, я бы не захотел жить в этом мире».

Но и в долгу он не оставался — на удар отвечал ударом. И делал это весьма элегантно, никогда не снисходя до того, чтобы упоминать своих преследователей по имени. Не отвечая каждому в отдельности, он рассчитывался со всеми сразу. Для него они все были одинаковы — «светила» или «знаменитости», как он называл их. Он ставил их на место несколькими отточенными и хлесткими фразами. «Смотрите, и эти люди, даже не умеющие себя прилично вести, величают себя вождями народа!» Еще: «С тех пор, как сатана умаялся и не способен в одиночку управляться с целым миром, он положился на услуги знаменитостей». И снова: «Не сумев уничтожить человечество, Ангел смерти заручился помощью лекарей, разрушающих тело, и услугами «знаменитостей», разрушающих разум». В присутствии дочери известного цадика он высмеял ее отца: тот в течение девяти лет страстно молился, думая, что хасиды за стеной слушают его. Ему долго казалось, что он слышит их шепот. На десятом году он отворил дверь и увидел — кошка скребла пол.

Нахман признавал только одного подлинного раби — самого себя.

Гордость? Да. Эгоцентризм? Да. То есть качества, не подобающие раби? Еще раз да. Обычно хасиды боготворят цадика. В этом плане, как, впрочем, и во многих других, брацлавский раби упредил своих поклонников. Он сказал им: «Каждый из вас — необитаемая, непригодная для жизни пустыня. Вот почему Шхина бежит от вас, вот почему я скитаюсь день и ночь. Я пересекаю пустыню, чтобы сделать ее пригодной для жизни».

В другой раз: «Если б мудрость моя явилась миру во всей своей полноте, человечество прожило бы без воды и без хлеба».

И еще: «Дороги изнемогают от желания ощутить поступь человека, идущего к своему цадику. И как только человек останавливается — дороги облачаются в траур».

Своей пастве он сказал: «Три вещи я уже сделал для вас. Первая: я избавил вас от тщеславия — даже в молитвах. Вторая: благодаря мне ваши грехи будут не столь тяжкими. Третья: отныне вы сможете разоблачать самозванцев, ибо отведали вина истины».

И еще: «Мессия — это тот, кто будет толковать мои труды».

Такая самонадеянность приводила других в ярость. Выходит, никто, кроме Нахмана, ничего не стоил, никто, кроме него, не заслуживал внимания и почтения к себе. Он не щадил никого, даже Баал-Шема: «Мне вовсе не нужны его тайные труды. Если прадеду понадобится меня увидеть, он знает, где меня найти». Он почитал себя равным святому Ари и раби Шимону бар Йохоаю: «В истинном мире все они будут испытывать нужду во мне, и всем захочется услышать то, что у меня найдется сказать». Как примирить подобную гордыню с каноническим образом раби, чьей неперменной добродетелью является смирение?

Раби Нахман ответил бы, что цадик сопоставим с Творцом, а не с Его творением. Он вне нашего разумения. Мы не способны понять и не в состоянии судить его. Он выше гордости, выше смирения. «Смирен лишь тот, кто говорит, что он скромн, и остается таковым», — утверждал Нахман.

И еще: «Те, кто восхищается и восторгается мною, знают меня не больше тех, кто порочит и ненавидит меня».

Еще: «В мире есть две ложные идеи. Первая — будто праведник не может ошибиться; вторая — будто, совершая ошибку, он теряет величие». Он вправе не только заблуждаться, но и кичиться заблуждениями. Цадик имеет право не только казаться, но и быть тщеславным. «В сущности, — полушутя заметил однажды Нахман, — у меня имеются все достоинства и признаки Мессии, кроме одного: он явится, а я — нет».

Повременим с оценкой. Раби Нахман обладал чувством юмора. Не в этой ли способности смеяться — ключ к его тайне? Чтобы понять ее, нам следует тщательно

изучить центральное событие в его жизни: путешествие в Святую Землю.

Путешествие мечтателя, паломничество, достойное самого рассказчика и его историй. Путешествие, изобиловавшее неожиданностями, невероятными приключениями, сменявшимися друг друга с поразительной быстротой, полет в неведомое, в небытие.

Египетская кампания в разгаре. Наполеон стремится в Иерусалим. Война снова стучится в ворота Святой Земли. Именно это время раби Нахман (сопровождаемый безымянным учеником) выбирает для путешествия. Люди тщетно пытаются урезонить, отговорить его. Учителя влечет неодолимая сила. Плохо налажено сообщение с Палестиной, опасны дороги? Вздор. Он просто не может остаться на месте, его гложет нетерпение. Однако едва его нога касается Святой Земли — с него довольно: он жаждет сию минуту вернуться домой...

Эта истинно эпическая поэма, переданная нам раби Натаном, принадлежит к числу наиболее странных и прекрасных историй, когда-либо рассказанных раби из Брацлава.

Сплошь и рядом, как по дороге туда, так и в период возвращения, его подстерегают неудачи. Словно все преграды мира встали на его пути. Он притягивает опасность, играет с несчастьем. Ни одно злоключение не обходит его стороной. Он попадает на море — разражается буря. Останавливается передохнуть в городе — там вспыхивает чума. В Святой Земле молодой турок часами следит за ним, прежде чем вызвать на поединок. Повсюду его принимают за наполеоновского шпиона. Он спасается от эпидемии, опустошающей Тверию, лишь для того, чтобы оказаться в осажденном Акко. Он забирается на крепостную стену только для того, чтобы проснуться на борту военного судна, где матросы пытаются обучить его обращению с оружием. Море враждебно ему, но не в большей степени, чем земля. Гонимый и преследуемый, он кочует из города в город, из тюрьмы в тюрьму. Судебные разбирательства следуют одно за другим, стоит ему где-либо появиться. В самый неподходящий момент, в самом неподходящем месте он ухитряется привлечь внимание самых безжалостных людей. Он даже умудрился попасть в руки пиратов. Раби Натан сказал так: «Учитель наш и его спутник подвергались многим бедам в каждом городе, в каждой деревне, но Господь, да будет благословенно имя Его, пришел к ним на помощь и за-

щитил от меча и чумы, от голода, жажды и плена, и они вернулись домой целыми и невредимыми».

Но давайте ненадолго вернемся назад. Если верить биографу, во время своего первого визита в Стамбул раби Нахман вел себя крайне загадочно: слонялся босой, без пояса и шапки и проказил, словно распалившийся ребенок. Одежду его раздувал ветер. Хихикая и размахивая руками, носился он среди торговцев на базарной площади и, точно мальчишка, играл в войну с французами.

Почтенный цадик, раби Зеев, живший тогда в Стамбуле, принял его с почетом. На обратном пути Нахман всенародно высмеивал его: «В субботу, пока раби Зеев, как и надлежит праведному человеку, молился на бима, раби Нахман безмятежно уничтожал его ужин. Он притворился спящим, когда в окружении учеников раби Зеев пел, усаживаясь за стол».

Многим Нахман отказывался отвечать, кто он и откуда. Как-то раз он назвался коэном (потомком первосвященника. — *Примеч. перев.*), в другой раз — левитом, в третий — простым израэлитом. Он словно провоцировал нападки и словно заметал следы. Он ярился по пустякам и унижал людей, вызывая у них желание обругать или избить его. В конце концов они начинали сомневаться в его рассудке, исполняя тем самым самое заветное желание раби Нахмана. Ему действительно хотелось, чтобы люди относились к нему с подозрением. Вот почему он менял личины и имена. Он хотел быть другим. Комедиантом, шарлатаном, шутом — кем угодно, только не цадиком, только не раби. Потому он и вел себя как вырвавшийся на волю сумасшедший. Он хотел, чтобы в нем видели забытого Богом и людьми бродягу, заброшенного скитальца, пришедшего ниоткуда и идущего в никуда.

К чему была эта игра? Чем ей надлежало закончиться? Приобретением какого-то нового статуса? Что означали эти несуразные повадки? Почему раби притворялся сумасшедшим в Стамбуле, на рыночной площади?

В Брацлаве объясняли: все это — уловка, призванная сбить с толку... нет, отнюдь не раби Зеева, а Сатану, который пытался помешать Нахману тем же способом, каким мешал Баал-Шему. Разыгрывая из себя беспечно-го, легкомысленного чудака, Нахман сумел перехитрить врага и успешно завершил путешествие. Лично я, впрочем, не стал бы трактовать поведение раби Нахмана по хасидским шаблонам, вроде брацлавской версии. Я скло-

няюсь к объяснению, придающему основное значение его смеху.

Смех играет в его историях важнейшую роль. Повсюду у Нахмана встречаются персонажи, которые только то и делают, что смеются. Смеется природа. До слуха человека, внимающего времени, доносятся лишь раскаты хохота.

Смех, рожденный сознанием безысходности, смех невеселый, безрадостный, смех — протест против бессмысленности существования, смех — мятеж против мира, вынесшего приговор человеку. Смех из сострадания к человеку, вынужденному мириться с двусмысленностью своего бытия и своей веры. Слепо покоряться Богу, не задаваясь вопросом о смысле подчинения, значило бы унижить Его. Желание понять Его значило бы низвести Его идеи, Его видение до нашего уровня. Как же тогда человек смеет принимать себя всерьез?

Мятеж не выход. Не выход и смирение. Остается смех, смех метафизический.

«Ад существует, — говорит раби Нахман. — Но не на том свете, а на этом. Только никто не осмеливается это признать».

«Мне жаль Тебя, Создатель, да, мне жаль Тебя. Не следовало Тебе создавать мир и человека, которые не приносят ничего, кроме хлопот».

И еще: «Когда явится Мессия, все останется по-прежнему, разве что люди устыдятся своей глупости».

Раби Нахман умел и любил смеяться — в первую очередь над собой. Он забавлялся с детворой, высмеивая в себе раби. Он играл в войну, чтобы показать бессмысленность войн. Он выдавал себя за безумца, чтобы осмелеть разум и его претензии, и за нищего странника, чтобы подчеркнуть нелепость богатства. Он изображал шута, чтобы освободиться от остатков гордыни, продолжавшей жить в нем. Он не мог бы поступать подобным образом в тех краях, где его знали. Вот почему дома он впадал в другую крайность — умиротворял гордыню, утрируя и доводя ее до предела. Превознося себя — с неправдоподобным, гиперболическим размахом — он умышленно окарикатурил свою личность.

Для чего? А для того, чтобы вызвать смех. И еще, конечно, для того, чтобы позлить противников. Но они оставались лишь поводом. Он метил выше. Гордыня — его наиболее обманчивая и наиболее удачная маска — позволяла ему смеяться во всеуслышанье. В одном из его рассказов мы читаем: «Была некогда страна, сосредото-

чившая в себе все страны мира. И в этой стране был город, соединивший в себе все города страны, а в городе — улица, являвшая собой все улицы города, а на улице — дом, под крышей которого вместились все дома улицы, и в том доме была комната, бывшая всеми комнатами дома, а в комнате сидел человек, вобравший в себя черты всех людей всех стран, и он смеялся, смеялся и смеялся...» Кто этот человек? Творец, смеющийся над Своим творением? Человек, посылающий Ему в ответ Его же смех, словно это эхо или вызов? Узнаем ли мы это?

Описывая последние минуты раби Нахмана, раби Натан говорит о том, что на его лице появилось «подобие улыбки», когда он прошептал: «Вот приближается страшная гора. И я не знаю, мы ли идем к ней или она к нам». И добавил, взглянув на рыдающих учеников: «Пламя мое вечно. Не плачьте, я не покину вас». Его приверженцы восприняли эти слова как обещание и истолковали их буквально. В результате они решили, что у него не будет преемника. Цадик из Брацлава оставался для них живым. Упоминая о нем, они употребляют настоящее время. Вот почему их прозвали «мертвыми хасидами» или «хасидами мертвеца».

В моем городе их не было. Позднее я встретил некоторых в Иерусалиме: их штибл привлекает тех, кто любит истории и песни, отмеченные печатью ностальгии. Если вам доведется там побывать, вы увидите кресло раби Нахмана. Хасиды из Советского Союза перед выездом разобрали его, и составные части кресла пересекли множество границ, прежде чем очутились в Иерусалиме. Ни одна деталь не пропала. Ни один из хасидов этого удивительного братства не умер по дороге. Старый сторож могилы раби, русский, обратившийся в иудаизм и ставший брацлавским хасидом, пользовался тем же чудесным покровительством: избежав тысячи опасностей, он невредимым добрался до Израиля.

Многие последователи Нахмана до сих пор совершают паломничества в Умань, чтобы отметить дату его смерти, предаваясь размышлениям у могилы Учителя и распевая псалмы.

Но первого моего хасида из Брацлава я встретил там, в царстве тьмы. Каждому желавшему слушать он повторял слова своего раби, единственного раби, пережившего самого себя: «Ради всего святого, евреи, не отчаивайтесь». Он молился и рассказывал истории. Я забыл его имя. Но не голос. Я все еще слышу его слова: «Знаешь,

когда раби Нахман чувствовал себя по-настоящему одиноким? Когда он был не один. Он мог безмолвно кричать посреди толпы, и крик его доносился до края земли... Вот как мы здесь... Мы никогда не одиноки. И все же никогда мы не были так одиноки. И так безгласны. Только наш крик не услышан».

Он любил повторять изречение раби Нахмана: «Два человека, разделенные временем и пространством, могут общаться. Один задает вопрос, а другой, позже, совсем в другом месте, задает другой вопрос, не сознавая, что его вопрос — это ответ на первый».

Однажды ночью кто-то спросил его: «Что бы сказал твой раби Нахман тысячам мужчин, женщин, детей, умирающих здесь, в этом мире, в эту ночь? Кто мог бы ответить на их вопрос?» Стало очень тихо, а затем его болезненно искривившиеся губы прошептали: «Кто говорит, что мы — вопрос? А что, если наши смерти и есть ответ?»

В заключение давайте перескажем одну из историй раби Нахмана, которая, подобно прочим, остается достоинством и сегодняшнего дня, и вечности.

«Давным-давно жил да был царь. Узнал он, что грядущий урожай будет проклят, что каждый, кто к нему прикоснется, сойдет с ума. И вот, велел он построить огромный амбар и сложить туда все, что осталось от последнего урожая. Ключ же он отдал своему другу и сказал ему: «Когда подданных моих и меня поразит безумие, только ты сможешь войти в хранилище и есть незараженную пищу. Тебя не затронет проклятие. Но взамен тебе придется исходить всю землю, из страны в страну, из города в город, из улицы в улицу, придется идти от человека к человеку, рассказывая о том, что случилось с нами, и будешь ты голосить: «Люди добрые, не забывайте! На карту поставлена ваша жизнь, ваше спасение! Не забывайте, не забывайте!»

Друг царя исполнил повеление и вошел в легенду, а легенда эта включает в себя все остальные. В ней живет человек, и человек этот смеется, смеется и плачет, смеется и поет, смеется и мечтает, смеется, чтобы не забыть о своем одиночестве и о том, что царь, его друг, сошел с ума. Но смеется ли царь? Это вопрос, который содержит в себе все остальные вопросы и дает начало новой истории, — о царе и его друге, разделенных безумием, но соединенных смехом, огнем и мраком.

*С английского. Перевели Виктор ГЛИНЕР  
и Александр ОКУНЬ*

## Хаим Ленский

### ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОНЕТ

Так в камень лестниц, словно посторонний,  
В чужую глубь реки, в голубизну,  
Омыться не успев, и в глубину  
Уходит день волною похоронной.

Так в тишину, в немую полутьму,  
Исакия округлая вершина,  
Сияя, под воду уходит, и стремнина  
Глокает колокол, наперекор всему.

Течет река, забыв свои злодеяства,  
Все золотя, и шпиль Адмиралтейства  
В закатное уходит торжество.

Усопшего канатом поднимают  
И по губам синюшным понимают,  
Что Белой ночью назовут его.

*С иврита. Перевел Александр ВОЛОВИК*



# ЭКРАН И СЦЕНА

---

Эдуард Капитайкин

## ЕВРЕЙСКАЯ ДУША

*(Израиль: политика и искусство)*

Одно из заседаний израильского парламента было в конце прошлого года посвящено... просмотру фильма режиссера Ури Барабаша «За решеткой». Тридцать депутатов кнессета в рабочее время собрались, чтобы увидеть новый израильский кинобестселлер, много месяцев не сходивший с наших экранов. (Сам по себе случай небывалый в израильской кинематографии, до сих пор не отличавшейся подобными достижениями.)

Фильм «За решеткой» появился на родине в ореоле лауреата Венецианского кинофестиваля 1984 года: израильская лента была особо отмечена жюри как произведение, «представляющее собой попытку наведения мостов между двумя враждующими народами — евреями и арабами». Позже картина «За решеткой» была выдвинута Израилем на соискание «Оскара» за лучший иностранный фильм. Предприимчивые владельцы кинотеатров печатали на афишах фильма заветную золотую статуэтку, не дожидаясь американской официальной процедуры... («Оскара», как известно, израильская картина не получила.)

Что же это за фильм, на который даже устраивались «культпоходы» израильских старшекласников?

Режиссер Ури Барабаш и его брат сценарист Бени рассказывают с экрана о еврейских уголовниках и арабских террористах, живущих бок о бок в израильской

тюрьме. (К слову сказать, вполне комфортабельной: советский «зек», посмотрев эту картину, наверно, горько бы посмеялся, увидев просторные камеры, душевые, почти ресторанную пищу, баскетбольные площадки и цветные телевизоры в израильском «аду».)

Герои фильма: еврей-уголовник Ури (актер Арнон Цадок), этакое отвратительное, черное, бородатое животное с выпученными глазами, и араб-террорист Иссам (актер Мухаммад Бакри, между прочим, снимавшийся в подобной же роли в фильме французского кинорежиссера Косты Гавраса «Ханна К.»). Иссам — воплощение благородства или, если хотите, арийской, даже нордической расы: высокий, худой, голубоглазый, светловолосый, с лицом мученика. Авторы картины, правда, не скрывают, что он осужден за то, что подложил бомбу в городской автобус, в результате чего погибло двое детей.

«Вы все — убийцы! — кричит в начале фильма псих-уголовник Ури. — Подкладываете в автобус бомбу и прячетесь, убегаете!» — «А вы? — с пафосом отвечает Иссам. — Посылаете «фантомы» бомбить лагеря палестинских беженцев. Да это похуже, чем взорвать сто автобусов!»

Братья Барабаш, вдохновенно поставившие свой фильм за четыре с половиной недели при бюджете 400 тысяч долларов (сумма смехотворная для американского или европейского режиссера), с не меньшим вдохновением решают остро поставленную ими в самом начале ленты проблему. В финале еврей-уголовники объявляют голодовку в поддержку арабских террористов, с которыми зверски, «как гестапо» (дословная цитата из фильма), обращаются откормленные и вышколенные израильские тюремщики.

По словам Ури Барабаша, кинокритики на фестивале в Венеции, те самые, что отметили специальным призом его фильм, не могли взять в толк, как такую картину можно было снять в Израиле. На что Барабаш гордо ответил, что израильская цензура (понятие, вообще говоря, сугубо условное. — Э.К.) не вырезала из его ленты ни секунды экранного времени. Более того, государственный фонд при Израильском институте кино даже выделил для съемок «За решеткой» сто тысяч долларов (это, напомню еще раз, при общем бюджете фильма в 400 тысяч).

Не так давно Ури Барабаш побывал в Советском Со-

юзе и, вернувшись домой, заявил, что положение русских евреев лучше положения арабов на оккупированных Израилем территориях. На премьеру своего фильма в Израиле он пригласил директора «Палестинского агентства» в восточном Иерусалиме Раймонду Тавиль, известную арабскую журналистку, которая, по мнению «компетентных источников», является координатором действий ООП в нашей стране.

Но вернемся в израильский кнессет, где в один из ноябрьских вечеров 1984 года его депутаты смотрели и обсуждали произведение братьев Барабаш. Коммунист Туфик Туби принял фильм восторженно, назвав его пророчеством о будущем евреев и арабов и Израиле. Депутату от правой партии «Тхия» («Возрождение») Геуле Коэн картина «За решеткой» напомнила об английской тюрьме, где она сидела как участница боевой еврейской организации «Лехи» в 40-х годах: «Я была свидетелем лесбиянства, драк и воровства среди арабских узниц, но я всегда видела в них людей». Михаэль Эйтан («Херут») высказался однозначно: «Это гнусный и извращенный пасквиль».

Так же однозначно определил позицию авторов фильма в рецензии, опубликованной на страницах русскоязычного еженедельника «Круг», журналист и писатель Владимир Лазарис. Его статья называлась «Мы — мазохисты».

1. «Небольшое отступление на тему о том, кто сволочь».

Это не ругательство, а цитата. Цитата из В.В.Маяковского, который, как известно, говорил, что он всегда любит сказать прямо, кто сволочь. Правда, чаще всего говорил он не тому, кому следовало. И за ошибки свои, если определить серьезно, в конечном счете расплатился жизнью. Мужество сказать «кто сволочь» в политике и общественной жизни часто связано с подлинным риском для того, кто на это решается, вплоть до лагеря и «стенки».

В искусстве все гораздо сложнее. То, что я сейчас попробую объяснить, заведомо элементарно. Но приехал я из тоталитарного государства, где прожил 40 лет из 48-ми, пока что мне отпущенных судьбой, а сейчас живу в стране, насквозь пропитанной политикой — от телеви-

зора и службы до базара и автобуса, где все ею (политикой) объясняется и определяется. По крайней мере, на словах.

Так вот, вернемся к такой тонкой материи, как искусство. Не помню уже, когда и в какой русской эмигрантской газете я прочитал резанувшую меня характеристику одного современного писателя: «Красная сволочь». В таком случае как прикажете именовать Бертольда Брехта? «Левая сволочь»? А коммуниста Поля Элюара или Габриэля Гарсиа Маркеса, друга Фиделя Кастро? Или другого гениального писателя с того же континента — Хорхе Луиса Борхеса? «Сволочь правая»?..

## 2. И еще несколько слов о фильме «За решеткой».

Немногочисленные (надо признаться) ругатели нашего бывшего претендента на «Оскара» начинают, по-моему, не с того конца. Вместо того чтобы разобраться в художественной структуре фильма, они припоминают братьям Барабаш их полу- и официальные вояжи в Москву и заигрывание с ооповцами. А фильм этот, по-моему, слабый, подражательный, цитатный (особенно много здесь прямых и потому вульгарно искаженных цитат из знаменитого фильма М.Формана «Полет над гнездом кукушки»), слезливо-сентиментальный и, так сказать, сопливо-кровавый (я имею в виду многочисленные сцены драк и насилия).

Я не хочу утомлять вас доказательствами, превращая этот и так затянувшийся монолог о фильме «За решеткой» в газетную рецензию. Кто пожелает — увидит творение братьев Барабаш не только в Израиле, но и в Европе или в Америке. Крупнейший американский концерн «Уорнер Бразерс» приобрел международные коммерческие права на кинопрокат фильма «За решеткой». Меня же не волнуют личные прокоммунистические или проооповские симпатии его создателей. Существует старая как мир истина: талантливый художник всегда оказывается выше своих политических взглядов и изначальной ангажированности. Для меня в Израиле наглядный пример тому — постановка пьесы Йегошуа Соболя «Еврейская душа», признанная одним из лучших израильских спектаклей последних лет.

### 3. «Еврейская душа» и европейское сердце.

Спектакль Хайфского городского театра «Еврейская душа» имел три года назад большой успех на знаменитом международном фестивале искусств в Эдинбурге. Пьеса Йегошуа Соболя уже переведена на английский и на немецкий языки. Театр побывал на гастролях в Лондоне и Западном Берлине.

Спектакль родился в 1982 году в атмосфере назревающего скандала. Главный раввин Хайфы требовал от мэра города запрещения постановки — за богохульство! Но ожидаемый скандал так и не разразился. Выйдя на сцену, спектакль был единодушно принят и строгой театральной критикой, и благодарными зрителями. Среди них (по крайней мере, в традиционно религиозном Иерусалиме) оказались и люди верующие, которые не нашли в постановке ничего кощунственного и оскорбительного. За это время «Еврейскую душу» видели уже буквально во всех городах страны множество раз. Тем не менее Хайфский театр сохраняет спектакль в репертуаре вот уже третий сезон, что в Израиле случается не часто.

Думаю, не ошибусь, если назову первой причиной подобного успеха выбор героя и сюжета пьесы.

Имя Отто Вейнингера (1880 — 1903), гениального и душевнобольного еврейского юноши — психолога, физика, математика, литератора, доктора философии; женоненавистника, космополита, англофоба, христианина и антисемита, — давно стало одиозным, если не нарицательным. Его книга «Пол и характер» (1902), переведенная на все европейские языки (в том числе — четыре издания по-русски, вышедшие до революции), удостоилась чести (или бесчестия) не быть сожженной на кострах нацистской инквизиции вместе с сочинениями великих соплеменников Вейнингера, писавших на немецком языке. Гитлер называл его «единственным приемлемым евреем». Геббельс цитировал строки его сочинений в качестве доказательства отрицательных черт евреев и их ненависти к самим себе.

Израильскому драматургу Йегошуа Соболю ничего не пришлось придумывать. Отто Вейнингер в книге «Пол и характер» высказался до конца, до дна, с пугающей, болезненной, отталкивающей откровенностью. Кроме того, он, словно в ожидании будущей драмы о себе, театрализовал финал своей жизни. В ночь на 4 октяб-

ря 1903 года Отто Вейнингер снял комнату в старой венской гостинице, где когда-то останавливался Бетховен, и выстрелил себе в сердце. Агония продолжалась всю ночь.

Йегошуа Соболев так и назвал свою пьесу — «Последняя ночь Отто Вейнингера», с подзаголовком «Еврейская душа». На театральной афише эти названия менялись местами.

Не будем обольщаться по поводу литературных достоинств пьесы Соболева. Это умело скроенный образчик документальной драмы — жанра, модного на Западе в шестидесятые годы (его высшая точка, — очевидно, произведения самого талантливого «документалиста» Петра Вайса: «Судебное разбирательство», «Вьетнамский диалог», «Троцкий в изгнании»). Для читающих по-русски упомяну «Шестое июля» М.Шатрова или «Правду! Ничего, кроме правды!» Д. Аля в БДТ, у Товстоногова. Это советские и, уверяю, далеко не худшие примеры пьесы-хроники, основанной на документах эпохи (в Советском Союзе, разумеется, в пределах весьма ограниченной исторической истины и сильно цензурированной, «идейно направленной» подлинности).

Но вернемся к пьесе «Еврейская душа». Это, как я уже упомянул, в основном умелый монтаж цитат из книги «Пол и характер». Цитат самых ударных, провоцирующих на скандал если не в обществе, то хотя бы в театральном зале! Не было ни одной статьи в израильской (а теперь и в зарубежной прессе), где бы критики не соревновались друг с другом в знании книги Вейнингера, в особенности ее самой короткой главы, посвященной еврейству и сионизму. Для справки замечу только, что юный доктор философии утверждал, что в жизни существуют два полюса — мужское и женское начало, выступающие соответственно как носители добра и зла. Вот лишь некоторые из расхожих афоризмов Вейнингера: «Самый низкий мужчина выше самой достойной женщины»; «Брачная ночь и момент потери невинности — главное событие в жизни женщины, в то время как для мужчины первое совокупление не имеет никакого значения по сравнению с тем, которое придает ему женщина»; «Женственность — это хаос, женское начало — это бездушная материя, это ничто: небытие, абсурд. Мужество — это Есть. Мужское начало — это символ всего». (По свидетельству современников, Отто Вейнингер женщин не знал, испытывая к ним отвращение. Йегошуа Соболев в своей пьесе сделал его импотентом...) Заканчи-

вая, наконец, необходимую справку о книге «Пол и характер», которую многие не читали, но почти все знают, скажу, что свое отношение к женщине (и почему-то еще к англичанам) Вейнингер переносил на еврея: «Еврей — как женщина. Еврей — это бесформенная материя, существо без души, без индивидуальности. Ничто, нуль. Нравственный хаос. Еврей не верит ни в самого себя, ни в закон и порядок».

Приводя отдельные строки из книги «Пол и характер» в русском переводе 1912 года, я тем самым почти дословно цитирую пьесу Йегошуа Соболя. Единственная творческая выдумка израильского драматурга, его счастливая находка, я бы даже сказал, озарение — Двойник героя, женщина — то самое отвратительное, низменное, мещанское начало, с которым он борется, но которое живет в его душе, существует рядом с ним — до пули в сердце.

Почему же все-таки Йегошуа Соболю избрал Отто Вейнингера своим героем? Не обошлось, конечно, без расчета на скандал, на театральную провокацию, без чего последнее время не проходит ни один мало-мальски заметный израильский спектакль или фильм.

Но были и более серьезные идейные проблемы, которыми Йегошуа Соболю интересуется давно, последовательно и пристрастно. В одном из своих интервью драматург как-то сказал: «Душевная драма Отто Вейнингера отражает нашу душевную драму, конфликт между сионизмом и еврейством, которые не уживаются вместе, под одним кровом. Я хотел бы видеть сионизм освобожденным от еврейства. Говоря «еврейство», я не имею в виду религиозную литературу — я имею в виду тот травматический покров, которым мы все время размахиваем: кровавый навет, погромы, Катастрофа. Это разрушительный груз, он порождает ненависть и чувство мести. Я не верю в синтез этих двух начал».

И все-таки, несмотря на сенсационный материал и революционные намерения автора (я вынужден повториться), скандала из его пьесы не получилось. «Винновны» в этом Хайфский театр, режиссер спектакля «Еврейская душа» Гдалья Бессер, актеры Лиора Ривлин и Дорон Тавори. Они переложили «драму идей», сочиненную Йегошуа Соболю по книге Отто Вейнингера «Пол и характер», на язык театра и человеческой психологии. В этом смысле название «Еврейская душа» оказалось удивительно точным при всей его банальной чувствительности.

Захлебывающиеся от ненависти филиппики Отто Вейнингера против женщин и евреев, сионизма, Зигмунда Фрейда и Теодора Герцля оказались в спектакле Хайфского театра не слишком существенными (разве что как подсобный материал для неутихающих газетных дискуссий об истинном или мнимом различии евреев и израильтян). До боли и (страшно сказать) сопереживания, сочувствия оказался интересен, близок зрителям сам Отто Вейнингер в исполнении молодого актера Дорона Тавори — худенький, малорослый еврейский юноша с тоскливо-дефективным взглядом исподлобья, сбивчивой нервной речью и судорожными движениями тонких аристократических рук, рук музыканта и артиста.

Я бы употребил по отношению к Дорону Тавори придуманное мною для общепонятности выражение «эффект Смоктуновского». Вот так в 1957 году явился для меня (и многих-многих моих сверстников) И.М.Смоктуновский в князе Мышкине («Идиот» по Достоевскому, в постановке Г.А.Товстоногова) и ворвался в душу, раздавив и просветив ее одновременно. Это высокое сравнение, как и всякое другое, конечно, условно. Молодой израильский актер по масштабу таланта, природе и характеру его, наконец по национальной принадлежности (Смоктуновский от рождения — князь Мышкин или царь Федор Иоаннович: «юродивый» русской сцены) не может быть сопоставим со своим знаменитым собратом, о котором он, возможно, даже никогда и не слышал. Разве что исходные данные: повышенная нервная возбудимость, открытая незащитная эмоциональность сценической жизни, редкая душевная близость, слитность со своим героем.

По нехитрой фабуле пьесы актеру вроде бы было нечего играть. Последняя ночь уходящего в небытие двадцатитрехлетнего философа, его агония, его видения, его встречи и нескончаемые споры с друзьями, врагами, оппонентами, его нескончаемый диалог с Двойником, своим ненавистным, неистребимым женско-«жидовским» началом.

Тавори — Вейнингер не только сценический и идейный центр спектакля: он все время существует в нем «крупным планом», как на телевизионном экране. И мы не можем оторвать взгляд от его бледного, порой безумного лица, не можем пропустить ни одного его слова: глупости, грубости, откровения, прозрения, провидения. Дорон Тавори играет смятение и терзания человеческой



души, еврейской души, души человека, который хочет уйти от своего еврейства, но уйти не может, как от проклятия или предопределения свыше.

Вот он стоит в заповедной комнате Бетховена, за несколько часов до смерти, перед бесчисленными зеркалами, заключающими сценическое пространство в некую причудливо сверкающую рамку-камеру. Его облик отражается в этих зеркалах, множится, дробится, искажается. Из одного такого отражения-искажения рождается Двойник героя. Циничная и вульгарная кафешантанная дива в черном облегающем «дьявольском» костюме (актриса Тхия Данон).

Это она своим хриплым голосом зовет, манит юношу в будущее, которое никогда не кончается, с богатством, славой и бесчисленными томами книг, которые Отто Вейнингеру так никогда и не суждено будет написать. А вот еще одно «зазеркальное» видение из детства. Мать Отто (актриса Лиора Ривлин), молодая, рано опустившаяся женщина, сидя на авансцене, долго и монотонно щиплет курицу к субботнему обеду, словно нанизывая на каждое падающее перо бисер внешне мало связанных между собою слов (как будто списанных автором из абсурдистских драм Ионеско). Потом эта властная и любящая *идише маме* — станет натягивать на своего взрослого сына детскую матросочку. А он будет покорно подставлять руки, ноги и голову, прикрывая наготу свою толстым томом книги «Пол и характер»...

Все эти линии, символы, мотивы и персонажи сойдутся в финале спектакля.

Запляшет кабаретная дива — Двойник героя, захрипит, запоет о жизни, что бездумна, а потому и вечна; забьется вместе с ней в истерическом танце юный философ-самоненавистник. И вдруг как гром среди ясного неба среди всех этих зеркал, света, цвета и музыки — одинокий негромкий выстрел.

На какое-то мгновение — тишина и тьма. И вот уже нет на сцене никого и ничего. Ушли в небытие свет и мишура жизни. Только двое — мать и умирающий сын на ее коленях. Да еще колыбельная, которую она тихо поет, старая колыбельная на *идише*, которую мы все слышали в детстве и понимали, не зная ни единого слова по-еврейски...

...Евреем ты пришел в этот мир, евреем и уйдешь! Вечное ли это проклятие твое или благословение свыше?..

Успех спектакля «Еврейская душа» в Израиле меня

радует. По достоинству оценены профессионализм драматурга, талантливое режиссерское решение пьесы, выдающаяся актерская работа Дорона Тавори. Но европейский резонанс постановки Хайфского театра, как и оглушительный успех фильма «За решеткой», меня, признаюсь, смущает.

Судя по нескольким рецензиям лондонских газет времени Эдинбургского фестиваля, которые мне удалось прочитать, английские критики были главным образом заняты пересказом книги «Пол и характер» и подробностей короткой биографии Отто Вейнингера. Нет, я никогда не считал и не считаю, что мы со всех сторон «обложены» одними антисемитами и врагами. Но кажется мне, чуткие европейские сердца отозвались не на трагические метания героя «Еврейской души», не на израильское театральное искусство, а все на ту же книгу «Пол и характер», на проповедь антисемитизма из уст еврея. (Это же я могу повторить и по поводу Венецианского лауреата — фильма «За решеткой».)

А может быть, я ошибаюсь, и все-таки прав был полугениальный, полубезумный юноша из Вены начала века, когда утверждал, что всякий еврей — как женщина: во всем сомневается, ни во что и никому не верит, даже самому себе?..

# КНИГА И МЕНЯ

---

Ашер Лод

## ПРИЗМЫ

### ОТКУДА У ЦВЕТОВ НОГИ РАСТУТ

В любой израильской газете можно найти уголок цветовода-любителя.

Правда, в глаза он не бросается. Не то что полицейская хроника, которая подается с таким энтузиазмом, будто ее составители мечтали ставить вестерны, но не пробилась в кинематограф. Уголок цветовода сух по содержанию, мал по газетной площади и относится к явлению, которое за ним кроется, как свеча к лесному пожару.

Для разговоров о цветах, возможно, следовало пригласить ученого-ботаника или цветовода-практика. Благо ботаников и цветоводов в Израиле, кажется, больше, чем людей. Поскольку такого быть не может, приходится думать, что в этой стране не обязательно сколько-нибудь смыслить в растениях, чтобы держать их у себя и тем более рассуждать о них.

Все это можно себе позволить благодаря растениеводческому сервису. В Израиле он доведен до такого же уровня, что и автомобильный. На Западе, как известно, чтобы успешно ездить на машине, вам не обязательно знать, где у нее мотор — спереди или сзади. Этим вопросом ведает могучий авторемонтный бизнес. Могучий садоводческий бизнес ведает в Израиле вопросом, откуда «ноги растут» у цветов.

Есть обычные цветочные магазины. В полном соответствии со своим профилем они предлагают цветы и рассаду. Но польститься на их предложение может толь-

ко простак или мот, который денег не считает. Назвать же типового израильского потребителя мотом и тем более простаком значит оскорбить его по гроб потребительской жизни.

Типовой израильский покупатель искушен, как черт. Он себе на уме и точно знает, что в любом хорошем магазине не столько берут за товар, сколько берут за витрину. Поэтому, собравшись вечером в гости, куда не принято ходить без букета, он спокойно газует мимо ста красивых цветочных витрин и держит курс на некий яркий объект на обочине шоссе, радостное освещение которого, с точки зрения нашего брата, репатрианта из Союза, сильно смахивает на иллюминацию крейсера «Аврора».

Наш брат тоже подъезжает к обочине и видит вместо мачт шести, на которых пестрят лампочки, а на земле под шестами — цветы в кувшинах. Никаких дополнительных расходов на торговое оборудование. Посреди живой радуги из роз, гвоздик, гладиолусов и более загадочных произведений природы бойко шурует хозяин. Этот летучий голландец еврейской или арабской национальности возникает из ниоткуда со своими шестами, лампочками и кувшинами на пять-шесть часов бойкой вечерней торговли, после чего проваливается в никуда. Зазывная иллюминация его собратьев по цеху подстерегает клиента на въездах в города и прямо посреди потемок междугородных шоссе. Искушенный, как черт, израильский потребитель платит здесь не меньше, чем в хорошем магазине, а иногда и больше — зато с приятнейшим чувством, что он не мот и, упаси Боже, не простак.

Но ни цветочные магазины, ни тем более летучие голландцы не принадлежат к настоящим китам растениеводческого сервиса. Настоящий кит — это отдельный большой рассказ.

В один прекрасный день на пустыре у оживленного перекрестка близ Тель-Авива выгрузили высоченные пальмы. Назавтра эта живая реклама уже осеяла небо, словно тут годами произрастала, а под ней возник каркас ангара из металлических труб. На третий день каркас покрыли виниловой пленкой. Начали ставить второй ангар. Затем ангары начинили ящиками с рассадой. На задах этого хозяйства ревели самосвалы, ссыпая тонны компоста, похоже, для цветочных горшков всего Ближнего Востока.

Месяца через два число ангаров достигло пяти. В них

торговали: комнатными и садовыми растениями, разными сортами газонной травы, декоративным кустарником, декоративными и плодовыми деревьями, а также удобрениями — химическими и органическими, чистыми и в сложных смесях, в больших мешках и маленьких узелках. Торговали еще и цветочной посудой — гончарной, пластмассовой и стеклянной. Для школы, для дома, для семьи. Торговали еще и всевозможными цветочными подставками, а также крюками в таком количестве, что на них можно было повесить не только торговцев-единичников, но все торговые коллективы.

На этом этапе появившийся на свет кит полностью вошел в тело, но еще не исчерпал своих возможностей. Через полгода он ускорил бег к миллионным оборотам, загребая деньги двумя новыми плавниками: плетеной мебелью и декоративным камнем.

Через год, на следующем перекрестке, в двух километрах от первого, у кита появился двойник.

Надо заметить, что в полукилометре от каждого из китов еще до них резвился кит поменьше, назовем его дельфином.

Теперь, я думаю, ясно, что у нас не обязательно быть цветоводом, чтобы увить свое жилье всем, что способно виться. Подъехав к каким-нибудь очередным ангарам и погуляв по их ботаническим садам, вы тычете пальцем в понравившееся вам растение, не спрашивая его названия. Кувшин или горшок, отобранный под него, вам тут же наполняют некоей сложной земляной композицией и пересаживают в нее вашу покупку. Завертывают некую химию, которой полагается удобрять и опрыскивать растение, — продали бы и воду для полива, да жаль, у вас у самого свой кран.

Но есть еще и магазины хозяйственных товаров. Они снабжают вас (за деньги, и немалые) садовым инвентарем — от первобытной лопаты до компьютерной сети автоматического полива. Не забудем и о книжных лавках, которые предлагают всевозможные руководства для цветовода-любителя. Мэрии и муниципальные советы держат специальные садовые отделы, чтобы как-то ввести в берега эту растениеводческую стихию.

Вот что кроется за уголком любителя-цветовода на задворках израильской газеты.

Стоит спросить, чем объясняется этот ажиотаж вокруг цветочных горшков и кадок. Вокруг личных садов и садиков.

Говорят — мода. Говорят — обуржуазились: слишком много денег у слишком большого количества людей.

Так-то оно так, но, поездив по арабскому западному берегу Иордана, я стал смотреть другими глазами на газон под окнами израильянина и на культ цветочного горшка в его квартире.

Там я увидел нагой, неокультуренный с библейских времен материк и с пафосом, надеюсь простительным для новичка, записал по свежим впечатлениям:

«Километры без малейших признаков жизни. Ни капли воды. Небо и камень. Раскаленные надолбы синих скал. Россыпи белого вулканического шлака. Над петляющей по обрывам дорогой хранят зыбкое равновесие вулканические бомбы, как судьба, которая с равной вероятностью может помиловать или казнить.

Какое-то грандиозное кладбище, где истлели все завоеватели. Только и осталось, что белые каменные кости, синие скальные надгробия да рыжие заросли живой колючей проволоки.

С непривычки становится не по себе. Хочется назад, в долину, к морю. Возвращаешься, как в райский сад, — да это и есть райский сад: цветы, как тропические птицы, и птицы, как тропические цветы.

Но под ногами у тебя все тот же мертвый материк. И при мысли о тысячелетнем кладбище, спрятанном под растениями, зябко становится на тридцатиградусной жаре.

И хотя тут почти ничто уже не напоминает о пустыне, хочется придавить ее последние следы тяжелым зеленым щитом, чтобы снова не выглянула на поверхность. Или завести, по крайней мере, свой личный зеленый талисман от праха вечности».

Сейчас, спустя много лет, мне крайне неловко за напыщенные излияния нового репатрианта. Однако и много лет спустя я по-прежнему думаю, что бизнес, кроющийся за газетным уголком цветовода, процветает не только благодаря брюшку израильского общества, но и благодаря здоровому инстинкту его души.

## ДВА СТАЛЬНЫХ БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

Между страной, откуда я приехал, и страной, где я теперь живу, неожиданно оказалось большое сходство в отношении к победам своих спортсменов над иностран-

ными соперниками. Недавно тель-авивская «Маккаби» выиграла у мадридского «Реала» и второй раз вышла в финал кубка Европы по баскетболу. Кому как не самим израильтянам хорошо известно, что это не самое крупное событие века и что у Израиля и дома и за его пределами есть куда более насущные проблемы. Неважно! Все израильские газеты поместили отчет о матче на первой полосе, где репортер «Маарива» восторгался: «После игры тысячи поклонников «Маккаби» осадили выход № 9 дворца спорта в Яд-Элияху, дожидаясь своих кумиров, а в это время в раздевалке кумиров шампанское лилось рекой. Приглашенный из Америки игрок «Маккаби» Эрл Вильямс, негр-гигант, стоял посреди раздевалки в чем мать родила и, вскинув руки к потолку, распевал в экстазе: «Мы идем на Берлин!»

Почему на Берлин? Потому что финал кубка состоится в Западном Берлине. Финал в Берлине еще впереди, но к концу матча в Яд-Элияху трибуны уже скандировали в сладком трансе: «Кубок — наш!!!», ничуть не смущаясь таким рискованным предвосхищением событий. Назавтра болельщики ринулись заказывать авиационные билеты в Германию и в один день расхватили три тысячи билетов.

Цены в стране растут, учителя, врачи, медсестры бастуют, перед Кнесетом состоялась массовая демонстрация земледельцев. Они жаловались на то, что правительство пускает их по миру, и в знак протеста метали за ограду парламентского двора специфические еврейские снаряды: живых кур и петухов. Слетать на баскетбольный матч в Берлин стоит от четырнадцати до двадцати пяти тысяч лир. Вот и пойми наше тяжелое экономическое положение.

Гораздо легче понять негра, от избытка чувств раздевшегося догола. А победа-то была всего лишь над дружественной нам Испанией. Стоит ли в таком случае удивляться массовому ночному купанию болельщиков после победы «Маккаби» в позапрошлом полуфинале кубка над бронетанковым ЦСКА? Правда, народ прыгал в фонтан на центральной площади Тель-Авива исключительно в одетом виде. Почему? Потому что в минуты национального триумфа стыдно заботиться о костюме! По одним данным, в триумфе участвовало сто тысяч промокших костюмов, по другим — двести. Тель-Авив в ту ночь, кажется, превзошел Париж после взятия Бастилии.

Наши учителя жизни такое поведение строго осудили. Плебейство! Инфантильность! Согласен, хотя в таком случае придется причислить к инфантильным плебеям самого себя. В стране, откуда я приехал, я тоже неистово болел при каждой международной спортивной встрече. Конечно, за гостей. Увы, чаще побеждали хозяева, что вполне объяснимо, если учесть их самую прогрессивную в мире систему профессионального любительства.

Если в стране, где я теперь живу, у меня случится инфаркт, то от волнения за тель-авивскую «Маккаби». Тем более, что со спортом в стране «Маккаби» ситуация прямо противоположна той, что в стране ЦСКА: по данным того же «Маарива», Израиль находится на последнем месте в мире по государственным ассигнованиям на спорт. Поэтому у нас есть одна-единственная команда, которой под силу поединки с лучшими зарубежными соперниками.

Нашим болельщикам, кроме нее, не на кого надеяться, но уж зато накал страстей грозит взорвать огромный крытый стадион Яд-Элияху в Тель-Авиве. Кому мало глотки, тот запасается дудками, свистульками и трещотками. Один болельщик приволакивал на трибуну два стальных баллона со сжатым воздухом, к которым он подключал сирену. Теперь умельца не видать, выпроводила полиция: и без его сирены бетон «колышется».

К началу международного матча с участием «Маккаби» улицы пустеют, как по сигналу воздушной тревоги: население бежит к ближайшему телевизору.

Сначала на экране заставка. С фанфарами. Потом — вступительное слово главного комментатора. Потом — интервью с тренерами соревнующихся команд. Тренер-гость, как правило, настроен оптимистично. Похвалив «Маккаби», он обещает у нее выиграть. Тренер «Маккаби» настроен хмуро. Он выражает надежду не проиграть. Он боится не столько соперников, сколько народного гнева. Затем показывают трибуны. Матч с «Реалом» почтило своим присутствием пять министров, дав повод газетам язвительно заметить, что на стадионе можно было устроить заседание правительства. Наконец свисток — и на площадку обрушивается первый стон трибун.

Я не буду описывать игру, это дело специалистов. Специалисты говорят, что обе стороны превзошли себя и показали класс, близкий к уровню американского про-



фессионального баскетбола. Навязчивая идея догнать и перегнать Америку меня, профана, всегда ужасно смешила. Смешны мне эти разговоры и здесь. К тому же с меня хватило и того бешеного переживания, которое доставил мне и всему инфантильному Израилю этот матч с его счастливым концом.

## РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА

А ш е р Л о д. «Призмы». Иерусалим, Изд-во Библиотека-Алия, 1987, 230 с.

В Израиле, где чувство юмора ставится так высоко, что его упоминают среди главных качеств будущей невесты или жениха в газетных брачных объявлениях, не оценить остроумную и приятно написанную кн. у Ашера Лода «Призмы» кажется просто недопустимым. Книга эта основана на серии его радиопередач на русском языке, прозвучавших на волнах «Голоса Израиля». Там каждый из очерков Ашера Лода появлялся в плотном соседстве с последними новостями, с репортажем о сегодняшнем заседании правительства и прошлогодних археологических раскопках.

Все это журналистский материал очень разного достоинства, как и должно быть. И на этом фоне «Призмы» Ашера Лода явление нешаблонное. Но вот они собраны вместе, в одном переплете. Это ответственный момент. Ведь книга предназначена не только для того, кто Израиль знает, но — как и радиопередачи — для того, кто знает о нем непозволительно мало. И эта общая панорама выглядит уже совсем по-другому.

Удивительная страна и чудачковатые люди окружают нас. Они забавляют вначале, но дальше уже и утомляют. Израиль — тоже «страна неограниченных возможностей», но, если поверить Ашеру Лоду, прежде всего для чудачков.

Кто-то строит какие-то загадочные хоромы из глины на морском берегу. Кто-то выводит такие фрукты, о вкусе которых он, видимо, и сам не знает. Полно, в реальной ли мы стране, той, что обозначена на географических картах на 34 градусе северной широты?

Мало-помалу ты понимаешь, что даже с чудачками на самом деле не все обстоит так анекдотично. Вот, например, очерк «Театр профессора органической химии». Речь идет о профессоре Йешаягу Лейбовиче. Это очень известная и очень яркая фигура в израильской жизни. «Театр Лейбовича» — и в телепередачах, и в его речах на митингах, и в его домашних беседах — действительно очень колоритен, и тут описания Ашера Лода вполне хороши. Но ведь Лейбович, кроме того, интереснейший и глубокий мыслитель. Религиозный человек, убеж-

денный, что только полное отделение религии от государства даст религии ее истинное место и избавит ее от власти государственных институций, Лейбович — один из духовных отцов израильских «левых» — вот что стоит за чудаковатой фигурой иерусалимского профессора.

Волнует ли израильтян то, что волнует каждый нормальный народ: правильно ли они живут и как жить дальше? Нет дела опаснее, чем искать легкие ответы на этот вопрос. А соблазн, видимо, велик.

Вот автор приближается к теме, которая, как ни посмотри, серьезна, и звучит она так: много ли в Израиле бедняков?

Поводом для этого фельетона была публикация доклада Института национального страхования, где говорилось, что полмиллиона израильтян живут ниже «черты бедности». «Черта бедности», в свою очередь, это доход, равный 40 процентам среднего дохода в стране. К такому выводу пришли в свое время израильские социологи.

Нетрудно понять, что если средний доход значительно повысился, а ваш доход тоже повысился, но меньше, чем средний, то вы можете спуститься ниже этой несимпатичной «черты бедности», хотя объективно стали жить лучше.

«Откуда такая нелепица?» — восклицает Ашер Лод.

Нелепица? Почему, собственно, нелепица? Когда человека не мучит голод, когда его тело прикрыто одеждой и он имеет крышу над головой, понятие «бедности» становится не таким простым. Бенгальский крестьянин с трудом поверит, что человек, который носит крепкие ботинки, может считаться бедняком. Не только средний советский гражданин, но и средний израильтянин плохо понимает, что американец, владеющий вполне приличным автомобилем, нередко беден. Так ли уж странно, что я сравниваю свой уровень жизни с уровнем моего соседа, а не с описаниями жизни русского крепостного в царствование Елизаветы Петровны? Разумеется, с этой концепцией современной социологии можно спорить. И потом, почему «черта бедности» — это 40 процентов от среднего дохода? Разве 25 процентов среднего дохода это так мало? Правда, чтобы определить эту цифру, нужно провести серьезное исследование, на которое я лично не способен и от других требовать не могу. Но так просто — «нелепица», и все?

И, главное, даже начало серьезного, по существу, разговора разрушило бы этот столь любезный автору образ Израиля, где люди с жиру бесятся, где любая социальная проблема — это всего лишь социальная игра, где любую чепуху можно объявить научной гипотезой, а любую гипотезу — чепухой.

Объективности ради следует сказать, что не только Израиль становится жертвой такого легкомыслия. Чтобы лучше проиллюстрировать нелепость израильской социологии, автор пересказывает соображения одной нашей газеты:

«В народном Китае достигнуто полное материальное равенство. У

всех мало пищи, все живут равно скученно. Никто не зарабатывает сорока процентов от дохода среднего класса, которого не существует, а посему никого нельзя зачислить в бедняки. Таким же образом нет никакой нищеты и в Африке: голод из-за многолетней засухи повальный, у всех одинаково пал скот».

Уж не знаю, так ли писала израильская газета, только это неправда. Нет полного равенства в Китае, и не у всех мало пищи, и не все живут скученно. Я не думаю, что Ашер Лод верит в легенды о беспримерной скромности партийного руководства в синих хлопчатобумажных кителях. Это верно, что в Восточной Африке в течение нескольких лет была засуха, но голод и там не повальный. Страны Черной Африки — это место, где рядом с небывалой нищетой существует и сказочное богатство. Неверные факты — слабые доводы даже в мало-серьезном споре.

Но если социология и социальное обеспечение — это лишь легкая юмористическая разминка, то настоящая комедия начинается, само собой, когда дело доходит до израильской политики. Левые, правые, тридцать один избирательный список, а ведь, если поверить Ашеру Лоду, от парламентских выборов только и пользы, что день голосования является нерабочим.

И вот он, этот день. «Репортеры немножко разочарованы, — пишет автор, — утро обещает лишь дикий зной — на дикие происшествия и намек нет. Даже нелегальное оживление в кустах — в день выборов агитировать воспрещается — носит скорее благодушный и слегка торжественный характер. Как и полагается по случаю праздника демократии. Куда делись грозовые тучи? Куда делась публика, назлектризованная до отказа тридцать одним непримиримым избирательным списком?»

Репортеры бросились выяснять. Оказывается, публика уехала купаться. И это вместо того, чтобы взорваться!» (стр. 172).

— Неужели так трудно понять, что я хотел сказать, — может возразить нам автор. — Журналисты пророчили гражданскую войну, а избиратели их подвели, они предпочли вооруженной политической борьбе жарение кебаба на углях. Нас просто пугают мнимыми бедами...

Даже по отношению к израильской прессе — это неверно. Что и говорить, сенсация, происшествие в самом его простом и исконном смысле, радует журналистское сердце, и без них газета — не газета. Но насколько же основательнее занимаются израильские газеты анализом общественных настроений. Избирательная кампания 1984 года была как раз вялой и не слишком интересной. Выборы были навязаны малыми партиями своим более крупным союзникам. Но и в этом случае чувство национальной ответственности, ощущение, что ты определяешь судьбу страны, где ты живешь, было куда значительнее, чем приготовление кебаба. Да оно кебабу и не противоречит. Наверно, и

сидя возле жаровни, израильтянин говорил о выборах, о левых и правых, что разница между ними реальная, а не выдумана для развлечения или большей пикантности газетных статей.

Почему автор «Призм» не посвятил хоть несколько строк скрытому величию такого дня, который и гражданину свободной страны дается не каждый год, а большая часть человечества лишена его совсем? Почему бы не почтить не минутой молчания, но минутой серьезности память того нашего соотечественника, который погиб за свои убеждения, когда в демонстрацию сторонников «Шалом ахшав» («Мир — сегодня») была брошена граната? Почему и ему отведено место между двух острот?

Редчайший в нашей современной истории случай политического убийства заставил Израиль — весь, и слева, и справа, и в центре — содрогнуться и понять, что опасности, грозящие демократии, не являются ни теоретическими, ни бесконечно далекими. И только это понимание позволяет думать, что кровь Эмиля Гринцвайга (да будет благословенна его память) была пролита не напрасно.

Тридцать один избирательный список (кстати, на самом деле их было гораздо меньше), разумеется, неплохая тема для еще одного еврейского анекдота. В Израиле ничего другого и быть не могло. Ведь каждый еврей убежден, что он умнее всех остальных. Мне-то как раз симпатичен тот тель-авивский владелец кафе, который на каждых выборах теряет свой денежный залог (залог невелик, и он может себе это позволить), но зато получает свои минуты на телевидении и может сказать всем и вся, что он думает о нашем положении. Но должен ли автор, который не упускает случая напомнить, откуда он приехал и какие там порядки, невольно подыгрывать знакомым разглагольствованиям о том, что многопартийная система только для того и создана, чтобы поддерживать иллюзию наличия разных взглядов и свободы их выражения, что все это обман, предназначенный для наивного и доверчивого простонародья.

Что и говорить — демократическая коммунальная кухня выглядит подчас менее достойно, чем глухой тоталитарный фасад. Я далек от мысли, что Ашеру Лоду так нравятся эти фасады или он не знает, что за ними скрывается. Но себя не переборешь. И вот кульминация дня выборов — скандал в Беэр-Шеве. Какой-то гражданин захотел зайти с женой в кабину для голосования и проверить, выбрала ли она любезный ему избирательный список.

«Тут-то перед одним из пятнадцати тысяч мобилизованных блюстителей общественного порядка открылась наконец возможность приступить к исполнению обязанностей. Буйан, как сообщило радио, успешно изолирован от общества, а главное — от жены, которая исполнила свой гражданский долг без всякого нажима со стороны группы лиц или отдельной личности.

Этот большой скандал окрасил скуку до вечера...»

Инерция стиля то и дело ведет к мышлению по инерции. Вот, например, очерк о телевизионной дискуссии на политические темы между группой репатриантов из Аргентины и группой из Советского Союза. Между прочим, автор замечает: «Вот и у нас, в глубокой провинции, каждый новобранец знает: хорош тот лагерь, который утверждает, что он с левой стороны. А на тот лагерь, который поневоле торчит на неприличном месте, просто жалко смотреть. Как ни хорохорится он, сам себя стесняется — ничего не может поделать с условным рефлексом».

Я догадываюсь, откуда у автора «Призм» такое впечатление, но как далеко оно от действительности! Уже много лет, как слово «левак» в политическом смысле довольно грубое ругательство, а быть «правым» даже модно. Это не просто что-то, что носится в воздухе. Ревизионистское движение в сионизме (его принято считать правоцентристским, понятия «левые» и «правые», как известно, очень условны), находившееся десятилетиями в глубокой и безнадежной оппозиции, стало правящей партией и остается ею до сего дня.

В предисловии к книге Ашера Лода говорится, что любовь к своей стране, любовь к обретенной родине — главная черта этой публицистики. Это верно, что есть, то есть. Только любовь эта похожа на любовь тех родителей, которые считают своих детей чудными малышами, когда им и 20 лет, и 30, и 40, как Израилю. Может, стоит перестать умиляться?

В одном месте автор цитирует слова какого-то выходца из России, который пишет об Израиле в лос-анджелесской газете: «Государство малоприятное, вязкое, надоедливое, утомительное. Отбивает охоту жить на свете, вызывает раздражение».

Недобрые и, по-моему, несправедливые слова. Израиль Ашера Лода — разнообразный, развлекательный, приятный. Но жить в нем, если бы он был таким на самом деле, я не хотел бы. Он не настоящий. Это кукольный дом.

Я знаю, знаю, конечно, почему у меня такая аллергия к стилю Ашера Лода. Мучительно знакомый и очень распространенный образ галутного российского еврея чудится мне за ним, с его вечным, ни при каких обстоятельствах не исчезающим стремлением острить, с неутолимимым желанием быть душой общества, с каким-то болезненным страхом паузы, тишины, минуты раздумья. Почему мы так боимся, что нас заподозрят в серьезном отношении к жизни? Почему так и сыплем своими или, в крайнем случае, взятыми взаймы у Ильфа и Петрова остротами направо и налево, не щадя ни мать, ни отца, ни самого себя? Что это — боязнь, что нееврейская компания не примет нас такими, какие мы есть, или желание доказать, что мы вполне освободились от философского еврейского высокомерия?

Мне чудится за этим потомок шолом-алеихемовского Менахем-Мендла, «человека воздуха». Я узнаю его в том суетливом, во власти

милолетних настроений, без внутренней определенности и даже устойчивого внешнего вида персонаже, который создал на экране Вуди Аллен. Израиль убеждает, что эта фигура уходит в прошлое.

*Авраам ЕРУШАЛМИ*

## СЕРЬЕЗНОСТЬ И ЮМОР — НЕ АНТИПОДЫ!

В шестом номере журнала «Народ и Земля» опубликована рецензия на сборник очерков Ашера Лода (О.Минца) «Призмы» (изд-во «Библиотека-Алия». Иерусалим, 1987). Рецензент А.Ерушалми предъявляет к книге Ашера Лода определенное требование: она должна дать максимально полное представление о Стране (особенно «для тех, кто знает о ней непозволительно мало»), а это, по его убеждению, несовместимо с юмористической озвученностью очерков. По мнению А.Ерушалми, Ашер Лод стремится любыми средствами, «не щадя ни мать, ни отца, ни самого себя», позабавить читателя и акцентирует внимание на комедийных, анекдотических тонах, что неизбежно ведет к искажению современной израильской действительности.

Главный нерв книги Ашера Лода — столкновение явлений значительных и необычных с обыденным, житейским. С этим связана и широкая информативность изложения, которую рецензент то ли игнорирует, то ли не воспринимает. Похоже на то, что ему мешает смешение жанров и интонаций. Ашер Лод не рассекает явления по принципу положительности или отрицательности — это ему принципиально чуждо. Книга не претендует на полный охват израильской действительности, и если возникает хотя бы предположение такого рода (или требование), то это говорит лишь об удачном отборе очерков по сюжетам, об их тематическом разнообразии. Панорама жизни страны, по-своему уникальной, возникает перед нами в редкостном сочетании тысячелетних традиций и современных реалий, в многослойности явлений: культурно-поведенческих, религиозных, этических, этнических и многих других. Жизнь, возникшая под натиском всех этих явлений, ошарашивает, и автор не скрывает этой реакции, а, наоборот, подчеркивает ее, прибегая к юмору. Неужели для читательского восприятия так уж обременительно распознать за этой окрашенностью тревогу автора, печаль, недоумение, а нередко — предупреждение?

В некоторых случаях автор «Призм» обращается к читателю напрямую, и тогда в веселый рассказ врываются щемяще-грустные нотки; иногда он предлагает вместе с ним задуматься. Перечитайте очерк «Город без памятников», скажем, пассаж об «отлетевших снах и сбывшихся мечтаниях». А завершение рассказа — не настраивает ли оно на философский лад?

...До разного рода сенсаций люди охочи, надо думать, не только в Израиле, и, наверное, во многих странах могли бы обыграть появление

книги 9-летней поэтессы. Но в нашей стране культ детей подчас принимает самые неразумные и тревожные размеры. Ашер Лод рассказывает об этом в своей обычной юмористически-задиристой манере. И лишь четыре слова в заключительной фразе очерка круто меняют его тональность, заставляя думать об особых обстоятельствах еврейской истории, объясняющих это национальное неразумие: «Вот он... предмет общенародного культа, подлинный герой извечной еврейской надежды» (выделено мной. — М.Б.).

В очерке «Белые формуляры и желтые циркуляры», написанном, как и большинство других, остроумно, сжато, шутиливо, автор с гневом говорит о самодовольной, тупой и саморазмножающейся бюрократии. Саркастичны очерки о евреях, всеми средствами пытающихся уйти от своего еврейства. Благодарно, проникновенно рассказано о праведниках мира, христианах, спасавших жизнь евреев, а также о неевреях, принявших в свое сердце Израиль. С горечью — о любви без взаимности евреев к тем странам, в которых они жили не в первом поколении, об этой их беде, а не вине.

Характерен очерк «Что будет?» — о том, как происходили выборы в 1984 году. Очерк вызвал неудовольствие и даже осуждение рецензента. Он, очевидно, убежден, будто серьезный анализ общественных явлений, отображение «чувства национальной ответственности, ощущения, что ты определяешь судьбу страны, где ты живешь», очеркист подменяет литературной клоунадой, тем, что мы называем х о х м а ч е с т в о м. А ведь на самом-то деле очерк оставляет впечатление тревожное, несмотря на то, что автор юмористически обыгрывает подробности предвыборной кампании. Выясняется, что израильский избиратель много шумит, много говорит и спорит, создает атмосферу невероятного ажиотажа, вот-вот грозящего перейти в гражданскую войну («пахнет порохом»). Но все это — на поверхности. По существу же он, этот Избиратель, составивший 31 (!) список, — достаточно легкомыслен и безответствен. Я бы тоже предпочла, чтобы автор «Призм» выразил свое отношение к убийству Эмиля Гринцвайга — этому страшному, бесконечно прискорбному событию — более подробно, особенно принимая во внимание тот факт, что экстремисты набирают силу. Но в контексте изображения выборов эта трагедия — не неожиданность. И сообщается об этом не «между двумя остротами», как это формулирует критик. Автор размышляет о заверениях избирателей, что они «никогда, ни по какому поводу не станут стрелять ни в еврейское правительство, ни просто в своих евреев», — и заверения эти кажутся ему сомнительными: если нашелся один «одержимый», который стал убийцей, то где гарантия, что не найдется и другой?

Я согласна с А.Ерушалми, что в Китае нет материального равенства, а в Черной Африке соседствуют невообразимая нищета и сказочные богатства. Но все же протест Лода против «черты бедности», определяемой как 40 процентов среднего дохода по стране, мне представля-

ется не столь уж нелепым. Да и рецензент не убежден в своей правоте — слишком сложна эта проблема; тем не менее свое неудовольствие по поводу позиции Ашера Лода он излагает с чрезмерной пространностью и запальчивостью.

Много места в рецензии уделено профессору химии Лейбовичу, глубоко религиозному человеку. Вот как характеризует его автор «Призм»: «Его религиозное мировоззрение поражает вызывающей непокорностью. Его интеллектуальное бесстрашие не уступает мужеству, которое Лейбович доказал в Войне за независимость, когда командовал ротой защитников осажденного Иерусалима. ...Лейбович — неотъемлемая часть израильской действительности. Невозможно представить интеллектуальную жизнь страны без его радиокomentarиев к Торе, без его взрывных или подрывных (все зависит от точки зрения) речей в университетских и школьных аудиториях». И еще цитата: «Есть, надо сказать, как бы два Лейбовича. Один занят, как все израильтяне, злобой дня и стоит, как любой израильтянин, на определенной политической позиции. Другой — поглощен судьбами человека на Земле. Например, сторонников удержат за Израилем Иудею с Самарией или, наоборот, отдать их (Лейбович категорически за то, чтобы отдать — и немедленно) у нас хоть отбавляй. Но нет второго Лейбовича, который заставлял бы широкую публику подумать, что называется, о душе, то есть оторвать взгляд от острейших, но все-таки «подножных» вопросов». Прямым текстом (в скобках) сформулировано одно из основных политических требований «левых», и оно, как видим, вполне вписывается в облик религиозного вольнодумца, представленного нам А.Лодом во всей привлекательности его незаурядной, оригинальной природы. Платформа Лейбовича выражена ясно, и непонятен упрек критика, будто автор не подчеркнул, что Лейбович является одним «из духовных отцов израильских левых», и тем самым снизил значение этой личности.

И наконец, о «чудаках». Это верно, что в «Призмах» им уделяется много внимания и что они разнообразны и живописны. Обилие их в книге дает основание А.Ерушалми считать, что автор изображает не реальный Израиль, а какую-то выдуманную страну, населенную «чудаковатыми» людьми.

Что ж, у чудачков всегда было и есть одно преимущество перед обычными людьми — они привлекают к себе больше внимания. Откровенно говоря, не знаю, как обстоит дело с чудачками в других странах; боюсь, что и Ашер Лод и А.Ерушалми тоже не очень в курсе этого. Но если в Израиле человек может отойти от общего стандарта, не причиняя этим неудобств окружающим, не обременяя их заботой о себе, а напротив, посвящает свои чудачества людям, стремясь вырастить для них новые фрукты или построить мастерские для художников, то можно лишь радоваться, что такие «чудаки» еще есть и что они могут осуществлять здесь свои желания.



...Хорошо это или плохо, что в Израиле многое не так, как в большинстве свободных стран? Для кого как. Наверное, это зависит от того, что для кого важнее. Но закрывать глаза на особенности страны все же не стоит: меньше будет разочарований, меньше нареканий и больше энергии для борьбы с тем, что представляется неразумным, мешающим. И никакой потери (ни в отображении жизненной правды, ни в законах жанра) от того, что в очерках Лода юмор и драматизм находятся в органическом и гармоническом единстве, усмотреть невозможно. Вспомним, как точно определил природу смешного Ф.Искандер: «Не все правдивое смешно, но все смешное — правдиво». Подлинная основа юмора — совместимость оптимизма и горечи, сатиры и романтики, ожидаемого и реального, иллюзии и прозрения.

В заключение А.Ерушалми сообщает, и притом довольно безапелляционно, о причине своей «аллергии» к стилю книги Ашера Лода. Его выводы по существу чрезвычайно субъективны: они сводятся к ассоциациям с образом «галутного российского еврея», с его «ни при каких обстоятельствах не исчезающим стремлением острить», и даже — с шолом-алейхемовским человеком воздуха и с героем Вуди Аллена.

Ассоциации — дело сугубо индивидуальное; у меня, например, манера А.Лода четко связана с представлением об израильтянине, ни на кого не оглядывающемся, не боящемся ни правды, ни самоиронии. Сказал же один прозорливый писатель: «Умение шутить над собой — свойство ума». Автор допускает разное осмысление его очерков, но одно условие необходимо: обладать чувством юмора.

*Иерусалим, декабрь 1987*

*Мира БЛИНКОВА*

# ЗВЕНЬЯ

---

Аба Ковнер

## НАРОДНЫЕ ПЕСНИ БЕЗ НАРОДА

Сегодня утром,  
когда я сел за свой письменный стол,  
чтобы написать предисловие к антологии еврейских песен,  
мне захотелось встать и еще раз пройтись  
по улицам города, где стоял отчий дом,  
там, на берегах небольшой речушки Вилейки,  
что течет в Вилию,  
впадающую в большую реку Неман,  
несущую свои воды в Балтийское море.  
Я подумал, что прежде, чем сесть писать,  
сто́ит снова вернуться к истокам  
наших песен,  
которые мы пели в будни, в праздники и поздно ночью.

Но утром 1 сентября 1980 года по христианскому  
летосчислению

мои ноги стояли в Эйн-Хореше —  
кибуце в Саронской долине,  
насчитывающем около семисот душ,  
включая двести сорок детей,  
который отстоит на тридцать семь лет,  
двадцать один день  
и шесть часов  
от того часа,  
когда я и мои друзья,  
последние бойцы виленского гетто,  
сумели вырваться из сжимающейся немецкой петли  
и пробить дорогу  
через канализационные трубы  
в лес, к партизанам,

не зная, кто уцелеет и кто погибнет —  
то ли в огне, то ли в воде...

Тот город,  
где стоял мой отчий дом,  
где мы пели эти песни,  
называли евреи литовским Иерусалимом,  
ибо, видимо, в нем было все, что есть в Иерусалиме,  
кроме Сиона и самого Иерусалима.

И прежде, чем оставить тот город навсегда,  
мы строили в его переулках  
баррикады... Известно, что воины всех рас, всех времен  
строят баррикады,  
когда приходится браться за оружие  
против злого врага.

Но я не знаю, в самом деле не знаю,  
был ли когда-либо такой враг,  
как немцы-украинцы-литовцы-нацисты-один-бог-один-  
народ-один-фюрер

против  
стариков-женщин-детей-истощенных-голодом-  
обессиленных-замученных,  
без правительства, без армии — без — без — без...

Я не видел никогда, в самом деле, я не видел,  
да и кто из борцов за свободу человека когда-либо видел  
баррикады из книг!

Ведь в литовской столице, в виленском гетто  
не было песка, чтобы заполнить мешки,  
как делают армии, укрепляясь на позициях.  
Но вы ведь знаете, что в литовском Иерусалиме  
сто пятьдесят лет подряд  
печатали по системе Гутенберга Талмуд, который наши  
предки привезли из Вавилонии,  
спасая его от возможных аутодафе.

Эти большие тома в коричневых переплетах были  
в ежедневном пользовании,  
ведь каждый хороший еврей в округе  
выделял особое время для изучения Торы  
и «листа» Талмуда.

Ибо Бог дал людям заповеди,  
но евреи не довольствовались выполнением  
613 предписаний —  
избранному народу было велено учиться,  
и каждый хороший еврей в округе имел обыкновение  
умнеть ежедневно, по крайней мере, на один «лист»  
Талмуда.

В каждом доме на книжном шкафу стеной стояли тома Талмуда, а то, что они не успевали сделать, дополняли — Шолом-Алейхем, учивший ервеев смеяться одним глазом, когда второй глаз плакал, Менделе-Книгоноша, дедушка современной еврейской литературы, которая за короткое время между мировыми войнами успела сделать столько, сколько другие литературы не сделали за столетия.

Рядом с книгами Ицхака-Лейбуша Переца стоял сборник стихов Михи-Йосефа Лебензона, провозвестника современной ивритской лирики, который скончался двадцати семи лет от роду, и книги его отца Адама Акона, из тех пионеров-просветителей, что пробили окно в большой мир, и много-много листков Айзика-Меира Дика. Он родился в дни, когда не существовало термина «бестселлер», но не было в Вильно такой женщины, пусть даже самой бедной, которая, отправляясь на рынок, не брала бы с собой еще и двугривенный, чтобы купить для семьи новую книжечку народного романиста. В пятницу вечером всей семьей его читали и не могли насытиться — Айзиком-Меиром Диком! Другие же читали «Любовь Сиона» Мапу.

А «Сказание о погроме» Бялика многие знали наизусть, хоть и не все в нем понимали. И вот сейчас эта поэма на баррикадах, вместе с другими тяжелыми томами той эпохи, и на них можно опереть ружье с четырьмя патронами, а также гранаты, сработанные в гетто, и пистолеты, направленные против ворот, откуда появляются немецкие «командос», пешие и на бронемашинах, с пушками на прицепе.

Их каски сверкают в утренних лучах солнца, — 1 сентября 1943 года, ровно 37 лет назад.

И я знаю,  
Что на том же месте стоит Вильно,  
И, может быть, город стал еще краше, —  
ведь он был отстроен заново.

Но нет литовского Иерусалима  
и никогда больше не будет.

И, подчиняясь силе земного притяжения, я возвращаюсь к письменному столу (его мне выделила комиссия по мебелировке кибуца, когда я вернулся с Южного фронта Войны за независимость — моей третьей войны, но не последней). Я открываю сборник песен и обнаруживаю строки, написанные Хаимом-Нахманом Бяликом на идише, и передаю их дословно:

Унтер ди грининке боймелех,  
Шпилн зих Мойшелех, Шлоймелех,  
Цицес, капоткелех, пзелех —  
Иделех фриш фун ди эйлах!..

(Под зелеными деревцами /играют мойшеньки-шлой-  
меньки, / цицес, капоты, пейсы, /маленькие евреи, вы-  
лупившиеся из яиц...)

## 1. САМОЕ МНОГОЧИСЛЕННОЕ КОЛЕНА ИЗРАИЛЯ

Эти песни пел народ в мире, которого больше нет. Это был мир восточноевропейского еврейства, и в его границах сконцентрировалось в последнее десятилетие перед второй мировой войной большинство еврейского народа. Здесь бурлила жизнь самого большого колена Израиля — самого большого с тех самых пор, как еврейский народ оказался в изгнании...

Пока не пришли гитлеровские орды и не превратили этот мир в крематорий, Восточная Европа была уникальной творческой лабораторией писателей, артистов, философов, ученых, заслуживших мировое признание своего и других народов.

Но не менее этого известного всем вклада в мировую культуру, внесенного лучшими представителями еврейской интеллигенции, для истории еврейской жизни было важно анонимное народное творчество. Оно было родником, оно сверкало красками и наложило свою печать на формирование еврейства Восточной Европы и на образ жизни каждого еврея и целых еврейских общин этого региона.

## 2. МЕЖДУ МИФОМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

От Риги, что на берегу Балтийского моря на севере,  
и до Одессы, что у Черного моря,

от Калиша до Брода и Полтавы, по просторам России  
и Украины, Бессарабии, Румынии, Богемии, Моравии,  
Венгрии и, прежде всего, в местечках Польши и Литвы,  
росли и процветали еврейские поселения в те годы, когда  
Европа была погружена в летаргию средневековья.

Их предки шли волна за волной, с Запада и Востока  
попеременно. Иногда они были беженцами из Византии,  
иногда спасались от германских погромов...

С древнейших времен еврейские странствующие купцы передвигались по странам от Одера и Вислы и до самых ворот Азии, до легендарной реки Самбатсион. Авраам бен Яков, еврейский путешественник, рассказал нам о процветающей еврейской общине Киева, которую он посетил в середине десятого века. Предполагают, что столица Киевского княжества уже в ту пору была центром еврейских поселенцев и перекрестком путей для еврейских семей и странствующих групп, идущих с Востока на Запад и в Подолию; а с другой стороны двигались большие караваны из германских государств, шли в Богемию и Моравию, стремились на Восток — кто в поисках убежища, кто в надежде найти благодатную почву для применения своих способностей.

Еврейские поселенцы не пришли на славянские земли с черного хода как воры, они пришли дорогой цивилизации: развитие городов в Европе в ту пору шло с Запада на Восток, и в том же направлении в те далекие времена расселялись еврейские поселенцы. У еврейских странников был особый радар, который в штормовую погоду направлял их судно меж рифами и помогал не разбиться о скалы.

### 3. ИХ ВСТРЕТИЛИ ПРИВЕТЛИВО

Тысячу лет назад, еще до того, как в Польше появился первый король, к ее границам прибыл еврейский странник. Он был купцом и ученым, как многие его соплеменники, и держал путь на Восток. В ту пору в славянские страны пришло христианство, но по его следам еще не пришла ненависть к евреям. Местные жители встретили странника хлебом и солью и сказали ему: с неба было нам знамение, что ты — тот человек, что будет здесь княжить, чтобы объединить наши племена. Иди и володей нами!

Звали этого еврея Авраам Проховник:<sup>1</sup> его имя свидетельствует, что проделал он долгий путь по пыльным дорогам. Он позволил себя уговорить и стал королем Польши — на один день... Назавтра труп его бросили на растерзание собакам.

«А мол из гевен а майсе, /ди майсе из гор нит фрей-  
лех; /ди майсе хейбт зих онет /мит а идишн мейлех...»

---

<sup>1</sup> Соответствует русскому слову «пыльник».

(Была когда-то история, /совсем, совсем невеселая: /эта история начинается /с еврейского короля...)

До сих пор мы не знаем, какая доля исторической правды и какая доля вымысла в этом сказании о еврее — польском короле на один день, но сущей правдой является то, что в Польше родилось сорок поколений наших предков. Первые из них были встречены приветливо, и это пробуждало у странников надежды. Правители, князья, феодалы приглашали евреев поселиться в их владениях, под защитой крепостных стен, чтобы новые поселенцы помогли развить застойные феоды, расширить торговлю, строить города для новоиспеченных славянских властелинов. Казалось, все складывается хорошо, и после гонений на Западе перед ними раскрывались врата жизни на Востоке.

Но скоро евреи почувствовали, что и здесь ожидает их старое проклятие — дискриминация. Ненависть горожан, антисемитизм духовенства. Желанный еврей вновь становился чужаком, его кровь опять можно было проливать безнаказанно...

#### 4. КОГДА СТАЛИ УГНЕТАТЬ

В те времена, когда евреи-поселенцы были еще желанными гостями и пользовались покровительством властителей, когда они вкушали плоды своих трудов в новых городах, — в те времена еврейские общины на берегах Вислы и Немана, Дуная, Днепра и Волги были еще малочисленными. И в период расцвета еврейской автономии, когда существовал Ваад (Комитет четырех земель — Большой Польши, Малой Польши, Литвы и Белоруссии), евреи все еще были в странах Восточной Европы незначительным меньшинством. Когда в XVII веке злейший враг евреев Хмельницкий уничтожил огнем и мечом их общины, еврейское население Польши насчитывало лишь четверть миллиона душ, но в XX веке, когда гитлеровские орды ринулись «нах остен», чтобы осуществить «окончательное решение еврейского вопроса», в странах Восточной Европы проживало более семи миллионов евреев.

Источники их доходов были ограничены. Им не разрешалось приобретать земельные участки. Но и в условиях страшной нужды евреи обнаружили удивительную жизнеспособность и умение выживать.

## 5. ПАРАДОКС МЕСТЕЧКА

Изолированные от окружающего общества, почти полностью оторванные от большого мира, разъединенные труднопроходимыми дорогами, среди болот и лесов, евреи создали в невообразимой скученности своеобразный тип общины, имя которой — штетл: восточноевропейское местечко. Местечко не было небольшим городом или крупным селом, местечко было органом большой общины, и оно в самом деле заключало целый мир. Мир удивительных парадоксов.

Миллионы людей, сыновья и дочери народа, который был избран Провидением для великих дел, жили в пределах черты оседлости, в гетто, как в загоне для скота, в тесноте, в постыдном унижении. Но не найти было в мире места, столь открытого новым веяниям, как еврейское местечко. Оно чутко отзывалось на голоса, возвещавшие просвещение, национальное возрождение, социальное равенство. Идеалы революции, прогресса, гуманизма, носившиеся в атмосфере современного мира, находили в штетле мгновенный отклик. В подвалах, на чердаках, в синагогальных дворах или на рыночных площадях местечек евреи переживали свою историю с невиданной интенсивностью. Они не были рыцарями и полководцами больших сражений, они не делали истории, но история всегда многое говорила их сердцу.

Возле низкой скамейки сапожника, в пересудах с портными, в будничных разговорах о яйцах и курице, в неторопливой беседе с субботним гостем — всюду, где толковали о текущих событиях, можно было услышать рассуждения и о делах первозданных, об изгнании Адама и Евы из рая, о всемирном потопе и его уроках, о разрушении Иерусалимского храма и... о русско-японской войне. На одном дыхании произносились имена библейского Валаама и Александра Македонского, виленского гаона, проповедника из Дубно и Ротшильда. В спорах приводились доводы из Маймонида и Экклесиаста, аргументы от имени раби Акивы, Баал-Шем-Това, ссылались на раби Нахмана из Брацлава, будто все они — живые действующие лица и наши современники и вот-вот выйдут из старой синагоги и пойдут на рыбный рынок или усядутся за семейный стол. Кажется, не было места, более близкого к горе Синай, чем засыпанная снегом синагога в литовском или украинском местечке. Даже перебранка извозчиков и базарных торговков под-



час ассоциировалась с библейскими рассказами и талмудическими сказаниями, с сентенциями «Шулхан-Аруха», «Эйн-Якова» и других религиозных книг с еврейскими многовековыми традициями.

А с другой стороны, на другом полюсе, — не было такой революционной идеи в Европе и в мировом освободительном движении, которая непосредственно, самым интимным образом, не задевала бы местечкового еврея и не вызывала бы бури в четырех стенах его дома и за семейным столом; то и дело возникали горячие дискуссии и высказывались страстные мечты, столь же сокровенные, как о приходе Мессии.

Перед большой синагогой проходили демонстрации возбужденных рабочих, над головами которых реял первого мая красный флаг. И по той же немощеной, без тротуаров улице двигались, поднимая пыль, толпы не менее воодушевленной молодежи в Ляг-баомер, празднуя победу Бар-Кохбы над римлянами и высоко вздымая национальный флаг еврейского «государства в пути».

Хасиды несли на руках младенцев, закутанных в талиты, на первый урок в хедер, а мимо них проходили «тарбутники», спешившие в школу, где преподавали «иврит на иврите»! И в этот же час бородатые евреи сидели на деревянных скамьях в садике и с жадностью глотали передовые статьи еврейских ежедневных газет «Хайнт» и «Момент», которые только что прибыли из Варшавы.

Среди основателей этих общин не было, пожалуй, ни одного, который считал бы, что местечко — это весь его мир и свой дом среди этих улочек он построил навеки. Еврей никогда не пренебрегал делами мирскими ради потусторонней жизни. К своим земным обязанностям он всегда относился очень серьезно, но не забывал, что сущее вокруг дано ему лишь на определенных условиях — до прихода Ильи-пророка, который и провозгласит, что наступил час избавления народа.

Издали, со стороны, в глазах чужаков, еврейская улица выглядела разворошенным муравейником, обитатели которого бесцельно мечутся как угорелые. Но местечковая масса имела свои мечты и грезы и выделила из своей среды Троцкого и Вейцмана, Шагала и Артура Рубинштейна, Хаима-Нахмана Бялика и Давида Бен-Гуриона. Над своими колыбелями они слышали слова и мелодию хорошо знакомой песни:

«Унтер майн киндс вигеле/штейт а голдн цигеле,  
/с цигеле из гафорн хандлен/рожинкес мит мандлен...»

(Под люлькой моего малыша/стоит золотая козочка,  
/эта козочка отправилась торговать/изюмом и миндалем.)

## 6. А ЗА СТЕРЕОТИПОМ...

За репутацией торгашей и менял, поглощенных страстью к наживе, скрывался облик большого и многогранного общества, которое делало все, что было в его силах, чтобы заработать на жизнь и быть довольным своей участью. Евреи занимались всеми профессиями, которые рождались потребностями времени и охватывали все сферы жизни. Они мололи на мельницах зерно и выпекали хлеб, были портными, шорниками, стекольщиками, кузнецами.

«Ин дер кужне, бай дем файер,/штейт дер шмидер ун эр шмидт./Клапт дос айзн, функен шприцн,/ Ун эр зингт дербай а лид./

Фун дер фрайхайт, вос вет кумен,/Зингт эр мутик, зингт эр хейс,/ун эр филт нит, ви эс ринен/фун зайн поним тайхн швейс».

(В кузнице возле огня,/стоит кузнец и кует;/ударяет по железу, искры летят,/ и при этом напевает./О свободе, которая наступит,/поет он смело, поет он горячо,/и он не чувствует, как текут/по его лицу ручьи пота.)

Среди простонародья в каждом поселении можно было найти возчика, носильщика, водоноса, И сапожника, чье ремесло не дает средств к жизни, и потому он по совместительству и меламед, учит малышей азбуке, чтобы просуществовать.

«О хамерл, хамерл, клап,/шлог штаркер а чвек нох а чвек!/Кейн бройт из ин штуб шейн нито,/нор цорес ун лайд он ан эк».

(О молоточек, молоточек, стучи,/сильней вбивай гвоздь за гвоздем./Дома уже нет хлеба,/но бед и страданий — без конца.)

Наряду с коробейником, а иногда бродячим ювелиром, который переступал барские пороги и навещал помещичьи усадьбы, чтобы заработать на жизнь для своей многодетной семьи, бок о бок с Менахемом-Мендлом,

который был поглощен призрачными «воздушными» комбинациями, мы встречаем первых еврейских пролетариев, рабочих небольших фабрик и мастерских:

«Гей их мир ин фабрике, / дер зейгер из шойн ахт; / кум их мир ин фабрике / ун блайб мир штейн фартрахт...»

(Я иду на фабрику, / часы показывают восемь, / я пришел на фабрику / и остановился задумавшись...)

«Боже всемогущий! — спрашивали рабочие. — Есть ли у нас шанс не умереть от чахотки среди стен этих жалких фабрик?»

Они работали также в лесах и на водных дорогах. Евреи сбивали плоты и гнали лес по рекам до Данцига и берегов Голландии. До самого тотального уничтожения существовали также евреи-земледельцы, а кое-где даже мелкие помещики.

Существовали и еврейские города, в которых неевреи составляли меньшинство, пока власти не умудрились в связи с предстоящими выборами или переписью искусственно изменить городские границы. И были местечки, где вообще не было неевреев, кроме шабес-гоя<sup>1</sup>.

Базар и ярмарка были основными местами встреч евреев с окружающим населением. Тут шли переговоры между мужиком и евреем в довольно напряженной атмосфере: еврей нуждался в плодах крестьянина-земледельца, а тот — в инструментах и утвари, которые находились в мастерской и лавке еврея.

В течение столетий евреи Восточной Европы были учителями славянских народов в области торговли, оптовой и розничной, в искусстве сбывать товары за границей, в делах финансовых и в технических специальностях. Они создали здесь главные банки и заложили основы текстильной, сахарной, табачной и швейной промышленности.

Славянский мир отличался стабильностью и медлительностью, в то время как для евреев были характерны повышенная активность и неумная инициатива. Это, разумеется, не случайность, что именно евреи оказались застрельщиками (и главными кредиторами) строительства железных дорог в Европе, которые с особой силой символизировали единство нового мира:

---

<sup>1</sup> Нееврей, который зажигал и гасил свет по субботам, растапливал печи и делал другие работы, запрещенные в этот день евреям.

«Ломир тринкен а лехаим, /ай-ай, ай-ай! /фар дем лебн, фар дем найем, /ай-ай, ай-ай!»

(Выпьем «лехаим», /ай-ай, ай-ай! /за жизнь, за новую! /ай-ай, ай-ай!)

## 7. ХРАНИЛИЩЕ ДУШИ

Новый мир был в процессе созидания. Перемены стали проникать и в еврейские местечки. О них свидетельствовали гудки паровозов, отголоски далеких пушек, гимназические фуражки на головах еврейских ребят. Еврейская улица стала постепенно принимать современный облик, более светский, чуткий к политическим веяниям, она жила интенсивной культурной и интеллектуальной жизнью. Но и на пороге XX века это общество сохранило верность традициям предков, на которых воспитывалось, верность местечковому образу жизни с его внутренними ценностями. К ним относились как к чему-то очень существенному, что следует передавать из поколения в поколение.

И еврейское местечко представляло собой некое общественное единство с собственным, давно сложившимся руководством, с устоявшимся образом жизни и ярко выраженными ступенями ценностей.

«Если познать ты хочешь тот источник,  
Из чьих глубин твой брат поработенный  
Черпал в могильной муке, под бичом,  
Утеху, веру, крепость, мощь терпенья  
И силу плеч — нести ярмо неволи  
И тошный мусор жизни в вечной пытке  
Без края, без предела, без конца...

.....

.....загляни

В убогую молитвенную школу.  
Декабрьской ли ночью без конца,  
Под зноем ли палящего Тамуза  
.....и ты почувешь сердцем,  
Что стоишь у Дома жизни нашей,  
У нашего Хранилища души»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Фрагмент из стихотворения Х.-Н. Бялика в переводе В.Жаботинского.

Двери «молитвенной школы» — синагоги и ешивы одновременно — были открыты все дни недели, днем и ночью. Учение было главной жизненной необходимостью. Каждый способный еврейский юноша уходил из отцовского дома туда, где преподавали на высшем уровне Тору, чтобы несколько лет провести в знаменитой ешиве.

Ешива — одно из самых древних учреждений еврейской диаспоры. Но именно в Восточной Европе она достигла своих вершин и наибольших достижений. В ешивах Польши и Литвы сформировались методы воспитания и поведения, заслужившие мировую известность.

Из стен этих ешив вышли не только знаменитые вероучители — здесь выросли (и, разумеется, не случайно) выдающиеся интеллектуалы и общественные деятели нового поколения, сыгравшие центральную роль в сионистском ренессансе и в революционных движениях современности.

При полном отсутствии системы государственной социальной помощи и стипендий для учащихся обычай, именованный «есть дни», стал важным общественным фактором, спасавшим от голода многих учащихся ешив, а иногда помогавшим им найти суженую... Каждая семья приглашала «ешиве-бохера» (учащегося ешивы) к обеду на один или несколько дней в неделю, в зависимости от своих возможностей, и случалось, что это приводило в дальнейшем к родственным связям. Выдать замуж богатую девушку за бедного, но одаренного «ешиве-бохера» было мечтой многих в Восточной Европе.

За столетия до того, как в европейских странах было введено обязательное начальное обучение, еврейские дети изучали грамоту в самом нежном возрасте, значительно уступавшем общепринятому школьному. Когда еврейскому мальчику исполнялось три года, ребе уже показывал ему первые буквы и учил складывать из них слова.

«Ойф припечик брент а файерл/ун ин штуб из хейс,/ун дер ребе лернт клейне киндерлах/дем алеф-бейс.

Зет-же киндерлах, геденкт-же, тайерле,/ вос ир лернт до;/зогт-же нох а мол, ун таке нох а мол:/комец алеф — о!

Ун за ир вет, киндер, дем голес шлепн,/ун уйгемучет зайн,/золт ир фун ди ойсиес коях шепн — /кукт ин зей арайн!»

(На припечке горит огонек /и дома жарко, /и ребе обучает малых детей /азбуке. /Смотрите, дети, запомните, милые, /то, чему вас здесь учат; /скажите еще раз и повторите: /«комец-алеф — о!» /И когда вы, дети, будете тащить на себе ярмо изгнания /и будете замученными, /черпайте в этих буквах силу — /хорошо к ним присматривайтесь.)

По праздникам и субботам в синагоге собиралась вся община. Как бы ни было бедно местечко, в центре его находилась синагога. В маленьком местечке — одна; в среднем — от трех до пяти, а в больших общинах насчитывалось двадцать и сорок молитвенных домов!

Как они могли существовать? Из самых знатных и зажиточных семейств община выбирала старост. Они были руководителями общины и представляли ее перед властями. Вместе с «ваадам» они подбирали немногих платных служащих, необходимых для существования общины. Среди них можно было встретить кантора, синагогального служку, резника, ответственного за кошерность, а над ними возвышалась фигура раввина. «Ваад» взимал налоги — в пользу государства, на содержание воспитательных учреждений, для религиозных нужд и для социальной помощи. В то время, когда власти обязывали взыскивать подушный налог, община заменила его более прогрессивной системой и взимала налог «по деньгам» — в зависимости от имущественного положения налогоплательщика.

Благотворительность — одна из важных основ иудаизма — осуществлялась с помощью множества добровольных обществ. Хевра «малбиш арумим» («облачающая нагих») заботилась об одежде и обуви для неимущих, хевра «Хахнашат орхим» («Гостеприимство») предоставляла бедным путникам ночлег. Были еще такие общества, как «Ал ташлихейну лезт зикна» («Не отвергни нас в пору старости»), «Бейт Йсоймим» («Сиротский дом»), «Хахнашат кала» («Замужество»), «Гмилат хесед» («Беспроцентная ссуда»), «Матан бесэтэр» («Тайное подаяние»)... Многие из этих названий звучат сегодня странно, но в конечном итоге эти «хевры» в свое время помогали решать многие проблемы, которые и современное развитое общество с трудом решает.

Большие общины содержали больницы, но и в самом захудалом местечке была «хевра», которая заботилась о лекарствах, помощи по хозяйству и поддержке одиноких больных. Члены этого общества навещали их на дому. А

можно ли забыть общественные кассы, которые ссужали деньги, не взимая процентов!

Об убийствах и грабежах в местечках знали лишь понаслышке. Никто никогда не видел пьяных евреев, валяющихся на обочине дорог. Случаи применения силы были крайне редки, а в полицейских досье на уголовников вряд ли можно было насчитать десятков евреев.

Самым тяжким наказанием, которое община могла наложить на своих членов, свернувших с правильного пути, было публичное порицание или бойкот — отлучение от общины. Ведь еврейская община в течение многих столетий была организацией сугубо добровольной!

## 8. КОЛЫБЕЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Таковы в общих чертах социально-этические основы общин Восточной Европы. Было бы грубой оптической ошибкой видеть в некогда существовавших общинах застывший мир, представлять себе жизнь в местечке как классический образец реакционного консерватизма или рисовать ее в качестве «пасторали в провинциальном болоте». В этих живущих по традициям общинах не исчезли ни социальные противоречия, ни острые идеологические столкновения — и сугубо земные, и теоретические, и эти конфликты подчас перерастали в серьезные кризисы. Самый большой и глубокий из них обнаружился во второй половине XVIII века в связи с возникновением хасидизма.

Началось движение хасидизма в самых заброшенных пограничных местечках Украины. Но очень скоро зерна его вылетают за пределы этих местечек, окруженных лесами, и распространяются нарастающей волной по Белоруссии, Волыни, центральной Польше, Галиции, Венгрии, Румынии, Литве, Словакии... Движение кристаллизуется, разветвляется, перебрасывается через моря и океаны...

Хасидизм не завоевывал массы принуждением и не покорял их силой новых идей. Самое большое новшество, которое хасидизм принес в восточноевропейские города и местечки, — это хасидская община. Она строилась по новой модели, во главе с новым авторитетным руководителем — цадиком. Эта община узаконила новый характер молитв, который текстуально почти не отличался от старого, запечатленного в общепринятом си-

дурё (молитвеннике), но выделялся необыкновенным воодушевлением и экстазом. При богослужении, при исполнении заповедей, да и во всем своем поведении хасиды пылали особым энтузиазмом, находившим свое выражение в жизнерадостных песнях и плясках. Хасидизм был своеобразным освобождением от повседневных удручающих забот, он освещал особым светом стены еврейского дома, погруженного в печаль и нужду.

Хасидизм способствовал формированию нового образа жизни и наложил отпечаток не только на характер поведения своих приверженцев, но и на все еврейские общины. Хасидизм побуждал диаспору к религиозному новаторству, имевшему народный характер, с откровенными проявлениями социального протеста против этических извращений, допущенных некоторыми раввинами и старостами общин. Неудивительно, что он вызвал гнев общинной и религиозной верхушки, заправлявшей местечковыми делами. Самыми непримиримыми противниками стали «митнагдим» во главе с Виленским Гаоном раби Элиягу.

Это была борьба, проникавшая в каждый дом и грозившая расколом общества в национальном масштабе — до тех самых пор, пока не возникли на еврейской улице новые течения, завладевшие сердцами. Но в конечном итоге и этот кризис стал источником духовной встряски, которая оплодотворила мысль и литературное творчество восточноевропейского еврейства, включая философию, публицистику, прозу, поэзию, театр, фольклор.

«Вос фарштейсту, филозоф, / мит дайн кецшн мей-ахл? / Кум ахер, цум ребнс тиш / вет эр дих лернен сейхл! / Тири-бим, бим-бом, / тири-бим, бим-бом, / тири-бим, бим-бом, / ой-ой!» /

(Что ты понимаешь, филозоф, / своим кошачьим умом? / Иди сюда, к столу, ребе, / и он тебя научит думать. / Тири-бим, бим-бом, / тири-бим, бим-бом, / тири-бим, бим-бом, / ой-ой!)

Движение, которое подвергалось преследованиям и немало натерпелось за то, что отважилось обновить еврейский образ жизни и искало оригинальные и самобытные пути служения Богу, вдруг, в течение одного лишь столетия, стало казаться оплотом фанатичного консерватизма и вынуждено было перейти к обороне, ибо на исторической арене уже вихрем пронеслась г а с к а л а (просвещение). Все хасидские династии сплоченно выступили против гаскалы, которая влекла за собой секу-



ляризацию жизни и быта евреев. А поборники просвещения видели именно в хасидизме главного врага и не жалели в борьбе с ним стрел сатиры. В их арсенале мы находим и фельетон, и фольклорные сценки, и частушки, проникавшие в сознание быстрее полемических книг.

«А дампшиф хосту уйсетрахт, /ун немст зих дермит ибер, /дер ребе шпрейт а тихл уйс /ун шпант дем ям арибер! /тири-бом, бим-бом!

Ци вейсту ден вос дер ребе клерт /вен эр зицт беехидес? /Ин эйн минут эр ин химл флит /ун правет дорт шалеш-судес! /Тири-бим, бим-бом...»

(Ты изобрел паролод /и этим гордишься, /а ребе разостлал платок / и переправился через море! /Тири-бом, бим-бом... /Знаешь ли ты, о чем ребе думает, /когда остается один? /За минуту он улетаёт на небо / и там вкушает вечернюю субботнюю трапезу. /Тири-бим, бим-бом...)

Среди миллионов евреев Восточной Европы зарождаются новые социальные и национальные течения, появляются «кружки» и массовые организации, кристаллизуются партии. Семейный стол раскололся, в первичной семейной ячейке можно встретить сейчас представителей самых разных взглядов. Распатались семейные устои.

В Восточной Европе находилась колыбель еврейского революционного рабочего движения, и оно не было делом рук лишь верхнего слоя интеллигенции, а нашло живой отклик в сердцах простых людей, и это сразу отозвалось в еврейской народной песне:

«Татес, мамес, киндерлех /буйен баррикадн /ун ин гасн геен ум /арбетер отрядн. /С'из дер тате хайтн авек /фри ин дер фабрик, /ун ди киндер фрегн нит /вер эр кумт цурик...»

(Папы, мамы, малые ребятишки /строят баррикады, /и по улицам расхаживают /отряды рабочих. /Отец сегодня ушел очень рано на фабрику, /и дети не спрашивают, /когда он вернется...)

И в то же время, в том же самом месте, зреет сионизм.

В восьмидесятых годах прошлого века родилось движение «Хибат-Цион» («Любовь к Сиону») — идейное и общественное течение, призывавшее к национальному ренессансу и возвращению в Эрец-Исраэль, на историческую родину. Молодое и вначале незначительное движение питалось идеями, заимствованными из основных ценностей еврейской традиции. Ощущение *галута*

(жизнь в изгнании), столь укоренившееся у обитателей черты оседлости, вызывало ожидание вызволения — ведь душевно и в силу своих верований каждый еврей был связан с Эрец-Исраэль. Но до того, как это движение превратилось в современный политический сионизм и в народную силу, которая впоследствии создала еврейское государство, его провозвестники с большим трудом прокладывали путь к народу и пережили немало разочарований. Ортодоксальное еврейство решительно противилось мысли «ускорить конец галута» и запретило под угрозой общественного бойкота и предания анафеме вмешательство простых смертных, рожденных женщиной, в дела Господни.

Историки сионизма с большим уважением вспоминают имена замечательных проповедников идеи, видных публицистов и писателей, таких, как Лилиенблюм, Смоленский, Пинскер, Ахад-Гаам. Но немногие знают, что больше всех сделал для популяризации в массах сионистской мечты человек, который был простым *бадханом* на свадьбах, — в его обязанность входило развлекать публику. Бродячий певец Элиокум Цунзер, отец еврейской народной песни, распевал:

«Ин дер сохе / лигт ди мазл-брохе, / дер ворер глик фун лебн, / кейн зах мир нит фелт!»

(В сохе / — удача и благословение, / истинное счастье жизни, / ни в чем не испытываю недостатка!)

Об этой и других сионистских песнях, которые он сочинил, о влиянии этих песен на слушателей говорил в своих воспоминаниях писатель Ш.Л. Цитрон: «Во всех городах и местечках, где Цунзер появлялся на свадьбах, его пропаганда за возвращение в Эрец-Исраэль оказывала глубокое влияние на публику. Почти всегда в этих местах тут же организовывались филиалы «Хибат-Цион»... Как только в городе становилось известным, что он прибывает, — объявления об этом не вывешивались, так как собрания проводились в синагогах и чаще всего без разрешения, — заранее туда стекались тысячи людей и многие оставались снаружи, так как зал был переполнен... Все его выступления, на которых он исполнял свои песни о любви к Сиону, сопровождалось овациями публики».

Другой его биограф, Сол Липцин, отмечает, что когда Герцль выступал в Европе, «его призывы падали на благодатную почву, глубоко вспаханную народным писателем (Авраамом Мапу) и народным поэтом (Цунзером)».

Элиокум Цунзер (1836—1913) был первым еврейским бардом нового времени. За ним последовали многие другие, которые несли народную песню в каждую еврейскую семью.

...Дом, уцелевший от огня и погромов, объятый нищетой и печалью, несся в идеологических штормах к берегам двадцатого века, а в сердцах народных масс звучал старый и одновременно — новый мотив.

## 9. КОЕ-ЧТО О МЕТАМОРФОЗЕ НАПЕВА

Как сплавить слово с музыкальным звуком, этому еврею учились в синагогах с незапамятных времен, в пору Мишны и Талмуда. В центре богослужения всегда стояла личность кантора. Со временем ему присвоили высокий титул ШАЦА — аббревиатура слов «шлиах ци-бур» — «посланник общества». К нему члены общины никогда не относились как к певцу, обладателю красивого голоса. Еще в древние времена от кантора требовали не только знания молитв и способности вести богослужение, но считали, что он должен обладать талантами педагога и конферансье... Он часто обучал детей грамоте, развлекал на свадьбах жениха, невесту и гостей, утешал скорбящих, выполнял поручения, связанные с благотворительностью, и... сочинял куплеты. Со времен Талмуда и до нового времени канторское пение было почти единственным проявлением музыкальности в «традиционных кругах».

По мнению знатоков-музыковедов, канторское пение в Восточной Европе имело свои особенности. Для него характерно лирическое начало и преобладание чувства над всеми другими компонентами. Зародившись в деревянных синагогах Украины и Подолии, канторское искусство распространилось в XVII веке по всему еврейскому миру. Это было глубоко эмоциональное пение, в котором центральную роль играли голос и фантазия кантора-художника.

Мы не знаем точно, когда пение отделилось от молитвы и от входящих в ритуал стихов, но несомненно, что народная песня, ее слова и мелодия были у евреев частью божественной службы. С течением веков народная песня, однако, перешагнула синагогальные рамки, распространилась во всех областях — религиозных, культурных и общественных. В каждом месте, где появ-

новый религиозный мотив, его подхватывала публика, сопровождала, поддерживала и этим укрепляла чувство единства и общности наследия и судеб всех членов общины.

Когда мы, члены «А-шомер а-цаир» и других халуцианских организаций, или молодые бундовцы (их называли «пчелами») собирались, бывало, вокруг костров в окутанных тайной лесах и рощах Польши и Литвы и с юношеской страстью распевали наши песни, вряд ли кто-либо из нас думал о том, что мы продолжаем, по сути дела, старую традицию, «прядем нить», которая тянется к праздничному столу деда, где собиралась вся семья, взрослые и дети, и встречала царицу-Субботу радостными песнопениями.

Выпорхнув из молитвенного храма, синагогальный напев приземлялся в частных домах и властвовал над семейным столом. По меньшей мере дважды в неделю — при наступлении и исходе Субботы, — а также в часы религиозных трапез, связанных со свершением обряда «брит-мила» (обрезанием), помолвкой, свадьбой, другими семейными праздниками, — звуки песен пробивали стены дома и разносились по округе. Народная песня олицетворяла тесную связь между Предвечным, благословен Он, и избранным народом, выполняющим заповеди святой Торы, блюдушим Субботу и праздники!

Связь между этими напевами и библейскими текстами, в особенности Книгой Псалмов, была прочной, как и связь с литургическими текстами молитвенников — сидура и махзора. В песнях тексты из Священного писания были не только цитатами — их смысл углублялся, комментировался, отвечая потребностям времени и его душевному настрою. И душа еврея выражала себя на двух языках — на иврите и на разговорном языке страны.

Разговорный язык — в подавляющем большинстве идиш — давал возможность активно участвовать в пении всем без исключения: образованным, знатокам Талмуда, простонародью, молодежи, женщинам, старикам и детям, а выразительная, нежная и скорбная мелодия несла слова песен от сердца к сердцу.

Потом пришли экзальтированные хасиды и попытались «очистить» мелодию, лишив ее текста. Но и тогда, когда она стала бессловесной, все знали, что хочет выразить душа, когда звучало:

«Ай-ба, ба-ба, ба-ба-бам, /  
ай-ба, ба-ба, ба...»

## 10. ПЛАМЕННАЯ ЛЮБОВЬ И КАЗАЦКАЯ МЕЛОДИЯ

Есть адаптированные народные песни, есть мелодии, заимствованные у других народов. Хотя евреи жили обособленно, существовали культурные контакты, и человеческие голоса и мелодии, смешиваясь подчас, взаимодействовали и влияли друг на друга.

Среди выдающихся русских композиторов XIX века известен, например, своим чутким отношением к еврейской народной музыке Мусоргский. По мнению композитора, мир звуков художника выявляется в его связи с реалиями его мира. Но ведь мир Мусоргского, мир его корней — это Россия и русский народ. Он хорошо знал душу русского человека, его затаенные печали и стремления, он любил русского мужика в его радостях и печалях. Какое же отношение они имели к еврейским народным песням?

Модест Мусоргский (1839—1881), великий композитор и воспитатель русских музыкантов, прививавший им любовь к русскому фольклору, был, как и большинство русских музыкантов его времени, антисемитом. Но, видимо, нашел он в еврейском народном творчестве ту «музыкальную правду», к которой стремился в своих поисках гениальной простоты. В еврейской народной песне он обнаружил элементарные, первичные, таинственные основы музыки, естественные, не навязанные извне формы музыкального выражения народа. Он рассказывал, что, будучи офицером и находясь на военной службе, не упускал возможности тайком покинуть казарму и пробраться в местечко на еврейскую свадьбу. Во время своих путешествий по стране он нередко останавливал карету, чтобы наскоро записать мелодии еврейских музыкантов, которых встречал на дорогах. Однажды, выйдя из синагоги, Мусоргский записал: «Две еврейские темы глубоко запечатлелись в моей памяти, одна — кантора, а другая — певчих хора, — я их никогда не забуду!»

Мусоргский страстно стремился к естественности музыкального выражения, и, видимо, поэтому в его душе нашли отклик голос и ритмы еврейского народного творчества — в песне, в танце, религиозных напевах, и, произвольно, интуитивно, они пленили его сердце. Вопреки национальным различиям и идеологическим барьерам, душу великого художника покорила сила нашего мелоса и ритмы нашей музыки как достоверное выражение чувств народа.

А с другой стороны... Еврейские народные поэты — канторы, свадебные шуты, певцы, сочинители куплетов — правнуки «шпильманов» и дальние потомки левитов Иерусалимского храма, чье исполнение было любительским и чьи мелодии не подвергались профессиональной обработке, в распоряжении которых были примитивные инструменты и которые чаще всего выступали экспромтом — все они адаптировали и заимствовали русские мелодии — начиная с первых куплетов о сохе, которые сочинил Цунзер в честь движения «Хибат Цион», и кончая песней партизан «Не говори, что идешь в последний путь», которую создал Гирш Глик в виленском гетто! Но, в отличие от Мусоргского, процесс был иным: нет сплава, нет обработки, сделанной композитором, нет экзотического аспекта, привлекшего внимание исследователя, этнографа-музыканта. Есть прямое заимствование из первоисточника.

У наших первых народных певцов язык был смесью идиша и книжного иврита с массой «интернационализмов» (международной лексики), но основой их речи был, разумеется, разговорный язык масс — «домашний язык», интимный язык простонародья, как и его мелос.

Мы встречаем у Элиокума Цунзера страстную любовную песню в сочетании с казацкими ритмами! Ибо мир звуков Цунзера и его друзей рождался в синагоге, в коровнике и в конюшне, у амвона кантора и в загонах для скота на русском или украинском хуторе. Захватывающий аспект такой песни — в сочетании столь разных элементов и в выяснении, что именно заимствовала и как интерпретировала это душа еврейского народного поэта.

Есть адаптированные песни, и есть заимствованные мелодии, звуки которых сохранили свой локальный нееврейский характер в наших народных песнях, но при этом они как бы укутаны в молитвенный талит, придающий им выражение таинственной глубины и задумчивости. И вдруг мы обнаруживаем, что за чужим, заимствованным притаился библейский традиционный напев. Аналогичный процесс характерен и для текстов.

Когда мы поем детские песни или любовный романс, выводим рулады хасидского напева или хотим, чтобы под звуки музыки пустились в пляс гости на свадьбе (свадебные куплеты, стоит напомнить, не только ублажают жениха и невесту, но касаются самых злободневных тем еврейской жизни, местной и мировой полити-

ки), когда мы исполняем печальные солдатские мелодии или песни нравоучительно-дидактические, то еврей-запевала, народный певец, придает им что-то свое, сугубо еврейское — и в ритме горестно-страстной мелодии, и в силе выразительного слова.

Вот песня Цунзера «Паром», созданная им в 1861 году и очень популярная в свое время:

«Дорт бай дер Вилие гей их шпацирн, / зе их дем паром офн тайх, / хин ун цурик тут эр иберфирн, / зог их: бридер, дос мент мен айх. / Ди велт из дер тайх ун штернг, / дер паром дос из ди цайт; / иневейник меншн онгешпарт энг, / ун эр шифт — ойф енер зайт.

Ди штромен мит ди гайвес / ун ди велтлихе тайвес, / вос зей трайбн дем паром; / мер нит ди линие, / дос из ди эмунэ, / лозт унз нит фартринкен ин тхом».

(Там, у Вилии, я прогуливался / и увидел на реке паром, / туда и обратно перевозит, / и я говорю: братья, это вас касается. / Мир — это река, она сурова, / паром — это время; / он до отказа набит людьми, / и он плывет на другую сторону. / Течения со своими гордынями / и светскими страстями / гонят паром; / только прямая линия — наша вера, — / не дает нам утонуть в бездне.)

## 11. ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

Народные песни евреев Восточной Европы — зеркало жизни нации в изгнании. Простота их мелодий и ритмов больше, чем что-либо другое, приближает нас к пониманию жизнеспособности еврейства. Оно отличается от окружающей среды своей повышенной чувствительностью, и причина этого — обилие страданий и специфических радостей обездоленных.

На первый взгляд тематика этих песен не отличается от тематики песен других народов. Но в еврейской песне видное место занимает мечта о мессианском будущем, нанизанная на нить долгой исторической памяти. И неудивительно, что ее мелодия придает самым легкомысленным и веселым словам оттенок грусти и печали. Я верю, что как профессиональная, так и фольклорная песня несут в одном потоке слова многозначительные и пустые. И в еврейской народной поэзии, наряду со вздором и безвкусицей, можно обнаружить произведения классические.

Точно так же, как основная сила народной песни по-

рождена народным духом, она же, в свою очередь, способствует его формированию.

«Кум их арайн цу шпринген, / ойф эйн фиселе  
блойз; / хейб их он цу зинген — / ди симхе из мир  
гройс! / зинген мир, лойбн мир: / Шошанат Яков!<sup>1</sup>»

(Прихожу я, чтобы попрыгать / на одной ноге; / я начинаю петь / — радость велика! / Мы поем, мы восхваляем / лилию Якова!)

И в словах и в мелодии витает дух «деда Израиля»<sup>2</sup> над почвой, что взрастила и религиозные и светские песни.

У этих песен были свои герои, свои действующие лица, которые снова и снова возникали между строк: ребенок, горемыка портной, девушка на выданье, сваты и шаферы, сапожник и ребе, наши праотцы — царь Давид, Илья-пророк...

Но над всем этим высится образ еврейской матери («идише маме»), аккумулируя и олицетворяя сокровенные переживания народа-страдальца, еврейской судьбы в диаспоре:

«Х'хоб гехат а маменю, / хот зи мих гелернт: / зай  
нор гут ун фрум, ун вейс / мер кейн хохмес нит! / Регн-  
регн-регендл, / х'бин а клейн иделе, / лоз их мих бареген-  
нен, / х'вейс кейн хохмес нит...»

(Была у меня мамочка, / она меня учила: / будь лишь  
хорошим и набожным / и не мудрствуй лукаво! / Дождь-  
дождь-дождик, / я маленький еврей, / и я промок под до-  
ждем, / не мудрствуя лукаво...)

## 12. СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ НЕДОВОЛЬНЫМ СОБОЙ

Ицик Мангер, «принц баллады» в идишистской поэзии, считал себя «правнуком свадебного шута Элиокума». Свадебный шут Элиокум — это Цунзер, отец еврейской народной песни, который был современником Исраэля Салантера<sup>3</sup>. Реб Исраэль основал движение,

---

<sup>1</sup> Шошана — лилия (*иврит*). Шошанат Яков — поэтический эпитет еврейского народа. Так называется и популярный синагогальный мотив, исполняемый в праздник Пурим.

<sup>2</sup> Образное выражение, символизирующее еврейский народ и его историческое прошлое.

<sup>3</sup> Основатель движения нравственного обновления. Родился в 1810 г. в Литве, умер в 1883 г. в Кенигсберге.



ставившее себе целью религиозное обновление. Но что еще можно было обновить в мире иудаизма после гаона из Вильно, после Баал-Шем-Това, после Баал-Таньи и раби Нахмана из Брацлава<sup>1</sup>?

Раби Израэль, как и его духовные отцы, не искал покоя — в его глазах все нуждалось в исправлении, и вовсе не из подражания Рамбаму (Маймониду)<sup>2</sup> он сформулировал свои 13 постулатов веры. 1. Правда — рот не должен произносить слов, с которыми сердце не согласен. 2. Расторопность — не терять ни минуты впустую. 3. Прилежание — выполнять что положено преданно и с чувством. 4. Честь — блюсти честь другого человека, даже если с ним не согласен. 5. Покой — ничего не делать в спешке. Это и станет душевным покоем. 6. Удовлетворение («нахес») — слова ученых мужей выслушивать с удовлетворением. 7. Чистота — следить за чистотой тела и одежды. 8. Терпение — спокойно воспринимать всякого рода беды. 9. Скромность — не замечать недостатков ближнего и обращать внимание на собственные. 10. Порядок — все делать, придерживаясь порядка и соблюдая дисциплину. 11. Справедливость — в прямом смысле слова: уступай свое. 12. Экономия — довольствуйся малым. 13. Молчание — хорошо все продумать, прежде чем начать говорить.

В этих словах — не только дух вдохновенного проповедника морали. В них чувствуется еще что-то — назовем это еврейским беспокойством, которое не позволяет довольствоваться достигнутым и удовлетворяться сделанным. Думается, что этот дух был присущ творчеству не только этого моралиста, но и его современника — свадебного шута.

Элиокум Цунзер с молодых лет был «везучим» человеком. Его выступления покоряли сердца. «Я помню, — писал писатель С. Спектор, — как один петербургский еврей-богач выдавал замуж свою дочь. Эта свадьба состоялась за городом, на даче, и на нее был приглашен из далекого Минска Элиокум Цунзер. Когда в Петербурге стало известно, что этот популярный бард будет присутствовать на свадьбе, сотни евреев, жителей Петербурга,

---

<sup>1</sup> Баал-Шем-Тов — раби Израэль бен Элизер, основатель хасидизма (XVIII век); Баал-а-Танья (раби Шнеур-Залман из Ляд, 1747—1813), Нахман из Брацлава (1772—1810) — крупнейшие авторы этого движения.

<sup>2</sup> 13 постулатов веры Рамбама (1135—1204) приводится во всех молитвенниках.

отправились за город на свадьбу без всякого приглашения, чтобы услышать Элиокума Цунзера. И эти сотни евреев много часов провели не отходя от забора, окружавшего дачу, пока Элиокум Цунзер не закончил свое выступление...»

Но в то время, когда все — и богачи и беднота — высоко ценили его песни, он сам всячески умалял их значение. Вдруг ему показались нестоящими его поэтические душевные излияния, когда он открыл для себя темные стороны современного ему общества. И Цунзер начал жестоко критиковать традиционную мораль, направляя сатирические стрелы против хасидизма, укрепившего в ту пору свои позиции.

Эта сатира была призывом воинствующей гаскалы (движения за просвещение) к сражению, но Цунзер, вначале горячо поддерживавший идеи гаскалы, скоро обнаружил серьезные извращения и здесь. И он ополчился против них, сочиняя якобы забавные куплеты, но его рифмованные строки как стрелы вонзаются в народное сознание. В них бичуются просвещенные евреи, чуждающиеся иудаизма, пренебрегающие духовным наследием народа. Он высмеивает сторонников ассимиляции, выступает против отчужденности, подражательства, сопровождающих «просвещенный парад» гаскалы.

Мало на свете людей, которые умудрились быть так недовольны собой и своими достижениями, как евреи Восточной Европы...

Большим искусством можно считать сам стиль их жизни. Юмор уберегал их от трагедий, но не в меньшей мере «секретным оружием» этих евреев, охранявшим от деградации, была способность быть недовольным собою, внутренняя потребность открывать новые миры и неустанное стремление к духовной углубленности. Такие люди, в конце концов, получают надел, но никогда не достигают покоя<sup>1</sup>.

### 13. ШАБАТ ШАЛОМ!

С баррикад песня всегда возвращается в некоторой растерянности. Но даже когда знамена, которые поэзия

---

<sup>1</sup> Перефразированное выражение из Библии (Второзаконие, 12, 9), где «надел» и «покой» символизируют конец скитаний и начало оседлой, благоустроенной жизни.

осеняла духом борьбы, вываливались в пыли, а страстные желания поэтов оказывались погребенными, песня, народная песня как самостоятельное существо продолжает свой путь и вне системы, в которой родилась.

Кажется странным, что в таких песнях не слышится голос обреченных жертв, что их слова утратили свой первоначальный смысл, а к нам доходят, даже сегодня, теплые и близкие звуки гордости человека и борца — поверх барьеров времени.

«Ун ойб фарземен вет ди зун ун дер кайор, /  
ви а пароль зол гейн дос лид фун дор цу дор».

(И если даже задержится солнце и рассвет, / пусть как пароль идет эта песня из поколения в поколение.)

В 1920 году, за 23 года до того, как юноша-поэт Гирш Глик сочинил песню, которая стала гимном партизан-евреев в стенах горящего гетто, летом того года, когда завершилась кровавая гражданская война, встретились мирные делегации Советского Союза и независимой Литвы. Красная Армия стояла тогда у ворот Варшавы, и все предсказывали, что Советская Россия не только установит господство над всеми просторами царской империи, но и значительно расширит свои границы, поглотив большинство соседних стран. Но это пророчество полностью сбылось лишь спустя одно поколение. А в том, двадцатом, году во главе советской делегации стоял заместитель комиссара по иностранным делам еврей Адольф (Абрам) Иоффе, а во главе литовской делегации — заместитель министра иностранных дел Самсон (Шимшон) Розенбойм. К удивлению наблюдателей, доктору Розенбойму удалось добиться больших уступок со стороны Советов, чего не смогли получить делегации других балтийских стран.

Но Шимшон Розенбойм, литовский патриот, не довольствовался тем, что город Вильно был провозглашен столицей государства, — он стремился присоединить к Литве большие куски Белоруссии, где проживало много евреев... Некоторые утверждают, что в этих трудных и утомительных переговорах с делегацией большевистской России он руководствовался еврейскими национальными интересами...

Рассказывают, что когда представитель России товарищ Иоффе увидел, что доктор Розенбойм ненасытен в территориальных требованиях, он спросил: «Скажи-ка мне, товарищ Розенбойм, где в конце концов должна проходить граница твоей Литвы?» На что, — так гово-

рят, — представитель Литвы ответил не моргнув глазом: «Они (неевреи) этого не поймут. Но оба мы знаем точный ответ: во всяком месте, где евреи, приветствуя друг друга, говорят «гут сабес»<sup>1</sup>, — это Литва. А в тех местах, где евреи говорят «гут шабес», — это Россия».

Разницу между буквами «шин» и «син» зачеркнул пепел Бабьего Яра, Понар, Девятого форта.

Но ничто не смогло закупорить источники еврейской жизни и творчества в других местах. Перефразируя, можно спросить: где проходит сегодня граница еврейского мира? Они (неевреи), пожалуй, затруднятся ответить, но мы должны знать ответ во всей его простоте: всюду, где ухо слышит приветствие «*шабат шалом!*».

В каждом месте, где евреи все еще говорят друг другу «шабат шалом» (с любым диалектным нюансом), есть надежда на возрождение еврейской песни и на то, что в двухтысячном году мы снова услышим на городских улицах:

«Ун мир зайен але бридер, / ой-ой, але бридер, / ун мир зинген фреlex лидер, / ой-ой, ой-ой!»

(Все мы братья, / ой-ой, все братья, / и мы поем веселые песни, / ой-ой, ой-ой!)

Ибо Предвечный Израиля не обманет, и кто знает пути ветра?<sup>2</sup> Духовные изменения в современном обществе, в том числе и в еврейском, которое рассеяно между народами и выкристаллизовалось в Израиле, приведет к тому, что люди снова начнут искать свои корни и истоки. Новое знакомство с еврейской народной песней отвечает не только чувству ностальгии, но и — я в это твердо верю — возвращает современному человеку голос его предков, который никогда не умрет!

«Ун мир халтн зих ин-эйнем, / ой-ой, зих ин-эйнем, / с'из азойнс нито бай кейнем — / ой-ой, ой-ой!»

(И мы держимся все вместе, / ой-ой, все вместе, / и такого нет ни у кого, / ой-ой, ой-ой!)

---

<sup>1</sup> Для говора литовских евреев характерна частая замена звука «ш» звуком «с».

<sup>2</sup> Начало фразы — цитата из Первой книги Самуила (гл. 15, стих 29); в современном иврите выражает твердую веру в грядущее вызволение еврейского народа. Вторая ее половина — перефраз выражения из Экклесиаста (гл. 11, стих 5).

## Илья Серман

### «НАШ РУССКИЙ ВОПРОС...»

*Горький о евреях*

Есть документы, которые говорят сами за себя и не нуждаются в объяснении или истолковании. Вот отрывок из такого документа:

«Во всем Советском Союзе нет школы, где учили бы иврит; изучение иврита в школах, где учатся еврейские дети, строго запрещено. Даже те дети и молодые люди, что учат иврит и ивритскую литературу дома, преследуются и терроризируются, как и их учителя. Преследования эти привели к тому, что культурная деятельность на иврите стала полностью нелегальной. Иврит изучается сейчас нелегально, и, естественно, это ведет к еще худшим преследованиям».

Читатель может подумать, что это отрывок из какого-нибудь совсем недавнего письма евреев, «благодаря» либералами Андроповым и Горбачевым. На самом же деле это написано в 1928 году участниками нелегальной конференции учителей иврита. Место для конференции они выбрали идиллическое — основную рощу на пляже на берегу Волги, недалеко от Твери. Письмо это было, вероятно, приурочено к первому приезду Горького в Советский Союз после семилетнего перерыва. Слава Горького была еще очень прочна, как и читательский интерес к нему, поддержанный его новыми произведениями 1920-х годов — «Моими университетами», «Делом Артамоновых». Еще никакого официального культа «великого пролетарского» не было. Горького встречали как любимого писателя. Я жил тогда

в Москве, был школьником, читал Горького, и мне тоже захотелось участвовать в его встрече.

Все это происходило без какой-либо особенной организованной подготовки. Я легко доехал до Белорусского вокзала на трамвае, но там через толпу увидел, да и то издали, машину, увозившую гостей. Москвичи в те годы вообще охотно встречали популярных гостей. Особенный ажиотаж вызвал приезд Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса...

Я, конечно, не подозревал, что Горький мог быть кому-нибудь нужен как заступник и что многим, в том числе учителям иврита, он казался последней надеждой.

Неизвестно, ответил ли Горький на их письмо, но знать о нем мог, хотя бы из иностранной печати, где оно было опубликовано.

Косвенным ответом были его статьи об антисемитизме в «Правде» и «Известиях», статьи, в которых давалась общая, вполне верная оценка антисемитизма, но о еврейской культуре, об иврите и его праве на существование в Советском Союзе там не говорилось ничего...

Последние годы жизни Горького прошли — при всем внешнем почете, которым он был окружен, — фактически в крепкой золотой клетке. С 1932 г. выезд за границу ему был запрещен, и все его общение с внешним миром строго контролировалось. В числе титулов и чинов, которыми Горького украсили, был и титул академика, члена той самой Академии наук, которая в 1902 году выбрала его в почетные академики, но по приказу Николая II вскоре из академиков исключила. Когда Горький общим собранием Академии наук СССР был 24 марта 1935 г. единогласно избран директором Института русской литературы (Пушкинский Дом в Ленинграде), то для решения важнейших институтских дел к нему в сентябре 1935 г. приезжал известный ученый, тогда — один из заместителей директора, Юлиан Григорьевич Оксман, вскоре (в 1936 г.) арестованный и пробывший свой срок (8 лет) на Колыме. Много позже Оксман рассказывал своим московским друзьям об этом визите к М. Горькому. После того как переговоры с Горьким были закончены и Оксман собрался уходить, его пригласил к себе П. П. Крючков, занимавший должность секретаря Горького, и потребовал, чтобы Оксман ничего и ни от кого Горькому не передавал, а отдавал ему, Крючкову. Но на этом предупреждение не кончилось. Крючков потребовал, чтобы любые письма Горького к кому бы то

ни было он, Оксман, передавал ему же, Крючкову. Таким образом Крючков контролировал всю переписку и вообще все отношения Горького с внешним миром и, конечно, докладывал своему фактическому начальнику Генриху Ягоде. Вместе с этим «начальником» Крючков и фигурировал на процессе 1938 г., после которого был расстрелян.

Так что клетка, в которой держали Горького с 1932 г., была все же не столько золотой, сколько стальной, а позолоченной лишь сверху.

В годы своего плена Горький написал много такого, что нанесло непоправимый урон его писательской репутации. Я, да, наверное, и многие помнят, как следователи КГБ с удовольствием повторяли взятое на вооружение не только «органами», но и всем сталинским аппаратом название печально знаменитой статьи Горького «Если враг не сдается — его уничтожают».

Приведенное выше письмо учителей иврита помещено в сборнике «А.М.Горький — Из литературного наследия» («Горький и еврейский вопрос»). Сборник составили М.Агурский и М.Шкловская. Они же написали вступительную статью и прокомментировали весь материал. Переводы с иврита и идиша принадлежат М.Агурскому. У этого сборника задача первая и основная — представить, по возможности, все принципиально важное, что было написано Горьким о еврействе и еврейском вопросе. Другая, не менее важная, — противопоставить той фальсификации наследия Горького, которой занимаются советские ученые и издатели, подлинные факты и документы, свидетельства острого и неослабевающего интереса Горького к еврейству и его положению в России.

М.Агурскому и М.Шкловской пришлось проделать огромную и весьма трудоемкую работу по сбору почти необозримого количества публикаций Горького и особенно литературы о нем в еврейской печати всего мира. В сборнике собрано все, доступное сегодня исследователям за рубежом СССР, из литературного наследия Алексея Максимовича Горького, в той или иной мере касающееся евреев, еврейского вопроса и антисемитизма. Повторяю, — все, доступное исследователям за рубежом родины Горького, где его литературное и публицистическое наследие до сих пор является объектом самого строгого цензурирования, а следовательно, и фальсификации.

Не буду об этом говорить подробно. Напомню только, что сборник статей Горького, печатавшихся в

1917—1918 гг. в его газете «Новая жизнь» под заглавием «Несвоевременные мысли», где Горький защищал новорожденную русскую демократию от стихийных проявлений разнузданности толпы и от диктаторского официального подавления демократических свобод большевиками, до недавнего времени находился под запретом.

Когда в 1970-е годы главный тогдашний идеолог Советского Союза, то есть главный инквизитор культуры, Михаил Суслов, потребовал, чтобы издали наконец в Советском Союзе полное собрание сочинений Горького, то никто ему не возражал, хотя все, имевшие отношение к изданию классических авторов, отлично понимали, что это невозможно, потому что настоящий, подлинный Горький не может быть уложен в те рамки, в каких его преподносили читателям в Советском Союзе. Об этом есть интересные воспоминания одной из сотрудниц Института мировой литературы, ставшего после смерти писателя «имени Горького»: «В 1964 году небезызвестный в нашем литературном мире А.И.Овчаренко (...) был назначен главным редактором нового академического, то есть полного, собрания Горького. При этом он широковожательно заявил в советской прессе: «Все, что вышло из-под пера Горького, будет опубликовано». Однако на деле ничего из этого не получилось. После опубликования художественных произведений Горького издание застопорилось, так как ни переписку Горького, ни его публицистику напечатать полностью оказалось у нас невозможно. Невозможно открыть советскому читателю горьковские «Несвоевременные мысли», невозможно опубликовать переписку Горького с Роменом Ролланом, даже очерк Горького о Ленине опубликован в новом академическом издании со старыми купюрами, санкционированными Сталиным еще в начале 30-х годов» (Я н е в и ч Н. Институт мировой литературы в 1930—1970 годы. — В сб.: «Память», № 5. Париж, 1982, с. 86—87). Из-за всех этих «невозможностей» были изданы только художественные произведения.

В свободном мире теперь возможно многое, что в Советском Союзе кажется мечтой о XXI веке. Сборник, составленный М.Агурским и М.Шкловской, — прорыв сквозь стену замалчивания и фальсификации, жертвой которых является и Горький.

Материалы сборника разделены на две части. В первой части представлено в хронологическом порядке все, что составители сочли имеющим принципиальное значе-



ние о евреях и еврейском вопросе у самого Горького — в его рассказах, романах (конечно, приведены только выдержки), статьях и письмах. Составителям пришлось пойти на хирургическую операцию: из статей и писем они приводят только то, что имеет прямое отношение к еврейскому вопросу, поэтому некоторые письма представлены иногда одной-двумя фразами, а рассказы — несколькими абзацами. В письмах Горький занят практическими вопросами защиты еврейства, помощи ему, изданием сборников еврейских писателей на русском языке, выступает как неутомимый организатор такого рода начинаний, и даже краткие выдержки дают об этом полное, ясное и запоминающееся представление.

Во второй части книги собраны воспоминания еврейских деятелей об их встречах, беседах и переписке с Горьким. Подавляющая часть этого материала никогда по-русски не печаталась, и русскоязычный читатель даже не знает о существовании такой обширной и содержательной мемуарной литературы. Русскоязычные читатели впервые прочтут в сборнике воспоминания о Горьком, о встречах и переписке с ним Нахума Соколова, Берла Каценельсона, Шолома Аша, раввина Якова Мазе и многих других.

Из собранного, очень разнообразного материала рассказов, очерков, статей, писем, интервью самого Горького, писем к нему, статей и воспоминаний о нем возникает образ человека, русского писателя, демократа, для которого еврейский вопрос, вернее, судьба русского еврейства, на протяжении сорока лет его литературно-общественной деятельности были не просто одной из тем, одним из многих болезненных вопросов русской истории, а вопросом совести. Судьбы еврейства Горький переживал, именно переживал, как свою личную судьбу.

Сборник представляет писателя в том его облике, каким его знали читатели на протяжении 30 лет его литературной работы, — в облике демократа, правдоискателя, борца против угнетения и мракобесия. На страницах этого сборника Горький открывается как русский человек, который очень рано, после первого им увиденного еврейского погрома пришел к убеждению, которому остался верен всю свою жизнь. Он писал: «Еврейский вопрос в России — это первый по его общественной важности наш русский вопрос (разрядка моя.— И.С.) о благоустройстве России; это вопрос о том, как освободить наших граждан иудейского вероисповедания

от гнета бесправия. Этот гнет постыдно и социально вреден для нас, убивает энергию народа, живая и свободная энергия коего необходима росту культуры нашей в не меньшей степени, в какой необходима для России творческая энергия коренных русских людей».

Читая сборник, составленный и отрецензированный М.Агурским и М.Шкловской, мы видим, какую неустанную, упорную и, не побоюсь сказать, героическую борьбу за евреев, за их равноправие, за свободу для них, борьбу против антисемитизма во всех его видах и формах всегда вел Горький.

И все же может возникнуть сомнение: а не устарело ли в наши дни то, что написал Горький в начале нашего века или в 1920-е годы о евреях и еврействе вообще, о еврейских погромах и об антисемитизме в свете всего пережитого мировым еврейством за полу столетие, прошедшее после смерти писателя. Тот, кто не поленится заглянуть в этот сборник и начнет читать его с любой страницы, сразу же почувствует, что это звучит, будто написано сегодня. Более того, все, написанное Горьким на главную тему этой книги — об антисемитизме в России, — сейчас звучит, может быть, еще громче и пробуждает еще более сильные чувства.

Горький начал писать об антисемитизме под впечатлением еврейских погромов в России начала нашего века — тех самых погромов, о которых сейчас пишут, что их не было. Так вот, современник этих погромов русский писатель Горький не мог себе позволить безответственности, из которой сейчас в русской эмигрантской публицистике некоторые сделали себе удобную позицию.

Горький видел русский антисемитизм всюду — в печати и в жизни. Горький как русский человек испытывал за него стыд, он сочувствовал жертвам насилий и погромов, он ненавидел и презирал теоретиков антисемитизма и подстрекателей погромов.

Разве не сегодня написаны эти слова: «И в наше время, — как это бывало всегда, — те самые люди, которые стоят за бесправие собственного народа, всего настойчивее будят в нем дух вероисповедной вражды и племенной ненависти. Не уважая ни народного мнения, ни народных прав, готовые подавить их самыми суровыми мерами, — они льстят народным предрассудкам, раздувают суеверие и упорно зовут к насилиям над иноплеменными соотечественниками».

Поводом для этого выступления Горького послужило

т.н. дело Бейлиса — пожалуй, самый знаменитый из русских ритуальных процессов. Им отметила свое трехсотлетие династия Романовых. Он отлично понимал, что для антисемитизма есть почва, процветают «предрассудки» и «суеверия», которыми власти охотно пользуются, чтобы направить народное недовольство против евреев: «Чего хотят достичь, обвиняя евреев во всех грехах?»

А вот чего: когда народ почувствует, что надо отстаивать свои права — ему крикнут:

— Бей иноплеменных, бей евреев!»

Жертв идеологических манипуляций и собственных суеверий Горький склонен жалеть, хотя он им и не прощает их преступлений, их жестокости, а главное — того, как охотно они дают себя вовлечь в эти преступления.

Как можно заключить из того, что Горький часто повторяет мысль о разнице между теми, кто к погромам зовет, и теми, кто в них участвует, он, по-видимому, предполагал, что вдохновители антисемитизма могли и не разделять суеверий и предрассудков масс. Он исходил из предположения, что они охотно им пользовались для своих политических целей, не разделяя, может быть, представлений темной и невежественной толпы. Не буду судить, прав ли был Горький, отделяя тогдашнюю русскую власть от подвластного ей населения, хотя можно было бы вспомнить, что император Александр III говорил одному из своих министров: «Конечно, жидов бить надо, но допускать погромы не следует, так как это будет уже беспорядок.»

То, что Горький называл «суевериями» и «предрассудками» масс, сегодня в полной мере разделяется номенклатурой, тем новым (уже даже и не очень новым) классом, который бесконтрольно управляет страной. Не предвидя, может быть, такого хода истории, Горький дал великолепную характеристику тех, кто сегодня правит Советским Союзом: «Это куча трусливых рабов, лишенных чувства собственного достоинства и сознания своих прав, готовых всегда падать ниц перед силой, способных принять всякую ложь, лишь бы она охраняла их покой».

Горький никогда не менял своего отношения к евреям и к антисемитизму. Горький преклонялся перед евреями, борцами против самодержавия, восхвалял их героизм и неоценимый вклад евреев в освободительное движение, хотя и отмечал с горечью, что «наши» «освободительные движения» странно заканчивались еврейскими погромами.

Но когда после октябрьского переворота в аппарате новой власти оказалось много евреев, а некоторые из них вошли в ее руководящую головку, Горький, именно из-за своего уважения к еврейству, выступил с призывом, который, к сожалению, не был услышан. Уже в «Несвоевременных мыслях», отвечая на антисемитскую листовку, присланную в редакцию «Новой жизни», он писал: «Прокламации, конечно, уделяют немало внимания таким евреям, как Зиновьев, Володарский и др., евреям, которые упрямо забывают, что их бестактности и глупости служат материалом для обвинительного акта против всех евреев вообще».

Снова с этим исполненным горечи дружеским предупреждением обратился Горький к евреям, членам коммунистической партии, в 1922 году. Свое недовольство их поведением Горький с особенной тревогой высказал в интервью, которое дал Шолому Ашу.

В сборнике публикуются статьи тех еврейских деятелей — И.Клинова, Залмана Шазара, Й.Х.Бреннера, которые восприняли «предостережение» Горького как слова истинного друга еврейского народа. Залман Шазар писал, соглашаясь с основным тезисом интервью Горького Шолому Ашу: «Так в чем же дело? Дело в такте, дети Израиля! Не забывайте! В самом деле, вы встали под нееврейское знамя, вы жертвуете собой вместе с вашими братьями из сыновей другого народа — и вместе с тем будьте осторожны, не позволяйте себе все, что позволено им. Если русскому можно проповедовать социалистические принципы и рубить сплеча согласно этим принципам, еврею этого недостаточно. Всегда, всегда после всех попыток растворения и ассимиляции, в которые ты вкладывал свои силы и душу, когда ты, по существу, стирал от наполнявшего тебя энтузиазма вместе с теми, в среде которых ты растворялся, оказывалось, — и ты не можешь игнорировать это, — что, собственно, вся эта ассимиляция — иллюзия».

И далее Шазар говорит о тех евреях-коммунистах, которые свою страсть к разрушению «старого мира» направили против евреев и еврейской культуры: «Все же надо сказать, что не все еврейские коммунисты отличаются отсутствием такта и вмешиваются в нееврейские дела. Есть и другие, к которым, на первый взгляд, обличительные слова Горького не имеют отношения, которые оставили революционную деятельность, включая закрытие церквей и монастырей, своим ближним, истинно

русским, но зато перенесли свою бестактность на еврейскую улицу, избрали ее полем своей деятельности, дабы показать перед всеми свою приверженность коммунизму. И, несмотря на это, именно против них направлены самые тяжелые ядра Горького».

Шазар так объясняет пафос деятельности этих «ливрейных инквизиторов»: «...Происходит русская революция. Распростер орел свои до сей поры связанные крылья. Где-то по краям того размаха собрались эти хилые существа и притворились сильными, стали они приживальщиками революции и присвоили себе власть, чтобы командовать на нашей улице. Они и сейчас там преобладают. И их ржавая месть все усиливается. Они обрекают на гибель культуру множества поколений. Артисты «Габимы» преследуются неотступно. Запрещаются книги на иврите и изымаются на почте. Земледельческие колонии закрываются. За сионистскую деятельность отправляют в тюрьму... Наш друг Горький смотрит на это со стороны, пораженный и ошеломленный. Мы же находимся внутри и видим наших разрушителей и опустошителей, мы знаем их».

Такое отношение к евреям — разрушителям еврейской культуры — разделялось и Горьким. Со всей силой оно проявилось в его отстаивании ценности творчества Х.Н.Бялика, в его усилиях по защите театра «Габима». Как видно из воспоминаний актеров «Габимы», их обращение за помощью к Горькому вызвано было бесполезностью всех других попыток защититься от преследований ортодоксов из Евсекции. Об этом рассказано в воспоминаниях Давида Варди, в прошлом актера театра «Габима» в Москве. Он пишет в своих воспоминаниях: «Еврейские коммунисты боролись с нами всякими средствами — дозволенными и не очень дозволенными — и требовали закрыть наш театр. Их аргумент был следующий: артисты этого театра пользуются религиозным языком буржуазии и мракобесия, и у него нет права на существование в революционной России».

И далее Д.Варди рассказывает, как театр обратился за помощью к Горькому и, посмотрев «Вечного жида» Пинского, Горький сказал актерам после спектакля: «Вам предстоит еще удивить культурный мир на почве трагедии... Все горе и все страдания, которые вынес ваш народ в течение двух тысяч лет, найдут выражение в вашем искусстве».

Горький помог молодому театру, защитил его от Ев-

секции и написал о нем статью. Во время спектакля, поразившего его трагизмом и выразительностью игры актеров, он сам себе задавал вопрос: «Что тебе — русскому, атеисту — Иерусалим и Сион, что тебе гибель Храма?» И сам же отвечал: «Это потому так глубоко чувствуешь чужое как свое, что на сцене молодые талантливые люди живут правдивее, чем в этой действительной, волчьей жизни, где, защищая себя и любимое свое, человеку так часто приходится лицемерить и лгать. Я говорю о человеке-еврее, о том, кого травят, как крысу, и свои, и чужие собаки, о человеке, который — по природе своей — так или иначе, в том или этом — талантлив и хочет работать на благо души своего народа, и умеет непобедимо, страстно любить даже ту страну, где его мучают, — страну погромов».

Отношение к «Габиме» было последовательным выражением глубокого уважения и восхищения, которое испытывал Горький к ивритоязычной художественной культуре.

Очень рано он стал восхищаться поэзией Х.Н.Бялика, знал его стихи наизусть, защищал его от преследований, политических и идеологических, а после смерти поэта назвал его на Первом съезде советских писателей в 1934 году «почти гениальным». Из вступительной статьи к сборнику мы узнаем, что эти слова Горького прозвучали как вызов. Они были направлены против некролога в официальной московской газете Евсекции «Дер Эмес», в котором Бялика называли одним «из самых главных столпов гибнущего империализма — фашизма». И позже безуспешно Горький добивался публикации нового издания произведений Бялика на русском языке.

В беседе с Исраэлем Карниэли (в 1924 г. в Сорренто) Горький так объяснял свое отношение к еврейству: «Душа моя скорбит, и сердце мое оплакивает горькие судьбы еврейского народа, народа выдающегося, талантливого и духовно богатого, которого ведут как скот на убой в течение двух тысяч лет, несмотря на тот поразительный факт, что он дал человечеству Книгу книг и принес в мир возвышенный дух иудаизма». И далее Горький уточнил эту свою оценку иудаизма и закончил разговор стихами Бялика, которые знал наизусть: «Я не говорю, что весь еврейский народ целиком состоит из праведников, но уж во всяком случае он вовсе не виноват во всех смертных грехах, как обычно утверждают по легкомыслию и из-за племенной вражды. Ведь мы отлично знаем,

что среди евреев особенно много идеалистов, отдающих свою жизнь за святые и возвышенные идеалы и больше других в мире старающихся воплотить их в жизнь на благо всего человечества».

И вслед за этими словами Горький прочел строфу из стихотворения Бялика «Мишут лемерхаким» («Дальнее плавание»):

Кто знает, сколько слез еще будет нами пролито,  
Сколько гроз разразится над нашими головами,  
Пока не задует добрый, сильный и прекрасный ветер  
И не развеет тучу, пришедшую из пустыни?

Такое восхищение всем истинно талантливым в еврейской культуре было лишь частью его восторженного отношения к культурному и духовному потенциалу еврейского народа.

Вот почему, избегая окончательной оценки сионизма как явления политического, Горький с таким жадным интересом выслушивал все, что доходило к нему об успехах сионизма в подмандатной Палестине. И. Карниэли рассказывает, что Горький с большим интересом выслушал его рассказ о халуцианском движении в Эрец-Исраэль. «Он много спрашивал о кибуцах, интересовался подробностями и в изумлении воскликнул: «Если все так, как вы рассказываете, то в будущем ваши общественные учреждения станут образцом. И это самый лучший путь, дабы изменить омерзительное и вырождающееся общество эксплуатации и нищеты, позорящее человека. Мы в России не можем достичь воплощения идеалов коммунизма из-за отсутствия доброй воли трудящихся. Поэтому вожди вынуждены прибегать к методам принуждения для достижения этой цели... Естественно, что мы не можем похвастаться успехами, которых достигли вы».

Горький был так откровенен со своим собеседником, потому что тот обещал не публиковать их беседу. Впервые полностью она была напечатана лишь в 1953 году (в тель-авивской газете «Давар»).

В 1930 году, когда Горький стал союзником Сталина, он уже не высказывал вслух сочувствия сионистскому движению. И все же, как видно из письма Берла Каценельсона, посетившего Горького вскоре после еврейских погромов 1929 года в Хевроне и Иерусалиме, писатель предлагал ему написать статью об этом и обещал ее напечатать. Каценельсон отказался и стал объяснять поче-

му: «Я пытаюсь объяснить ему, что опубликовать написанное ему будет трудно, так как в России смотрят на все иначе. Тогда он стал сетовать на советскую прессу, на ее отношение к разным событиям. «Ох, у нас пишут много глупостей». Я цитирую по памяти рассказ того советского доктора, на которого напали арабы, но когда увидели его партбилет, заключили его в объятия. Он раздраженно прервал меня: «Это же анекдот из эмигрантской прессы. А что вы знаете о том, что писали об этом в советской прессе?» Соппротивление было бесполезно. Видел я, что он по-настоящему доброжелателен к нам, но не даст упасть и волоску с головы власти и ее представителей».

Это место из письма Каценельсона остроумно прокомментировано в сборнике: «На следующий день после посещения Горького Б.Каценельсоном, 4 января 1930 г., в «Правде» была опубликована редакционная статья, озаглавленная «Еврейское государство» в Палестине — глупая детская сказка». В ней говорилось, что произошедший в Палестине погром — вовсе не погром, а «один из эпизодов борьбы колониальных народов против британского владычества», что Палестина необходима Англии «для охраны Суэцкого канала» и что «роль английской дубинки взяли на себя сионисты». В заключение автор утверждал, что «трудящиеся арабы Палестины поэтому не ошибаются, когда в своей ненависти к угнетателям не делают различия между английскими колонизаторами и сионистами».

Оценивая сегодня то, что думал и писал Горький-публицист по еврейскому вопросу и о еврействе вообще, мы не должны забывать, что он не был политиком и хотел, чтобы в нем видели писателя, а не партийного деятеля. И к еврейскому вопросу он подходил как русский писатель, а не как партийный функционер. Позиция неполитика давала возможность не высказываться по таким вопросам, в которых он чувствовал себя неуверенно и к решению которых не был подготовлен.

Еврейский вопрос в России был, как мы видели выше, для Горького именно и прежде всего русским вопросом, вопросом о том, как жить евреям в стране диаспоры. Самостоятельная, экзистенциальная судьба еврейства относительно мало занимала его, и уже тогда с ним спорили некоторые корреспонденты-евреи, которых заботил не «наш русский вопрос» Горького, а еврейское самостоятельное и независимое существование. Горький



был убежден в том, что евреи в России должны получить полное равноправие; должны быть защищены от преследований со стороны властей и коренного населения; он дорожил евреями как необходимым, деятельным, активным и европеизирующим русскую жизнь элементом.

Сразу же после Февральской революции он писал, радуясь, что евреи наконец-то получили полное равноправие: «Угнетение евреев было срамом России, величайшей несправедливостью народа, который не знал справедливости и жаждал ее. А люди, которые командовали нами, не щадя и не жалея ни сил, ни жизни народа, не умея править Русью, разоряя ее, — эти люди боялись евреев как хороших, умных работников. Вот почему они внушали народу, что евреи во всем виноваты, вот почему каждый раз, когда их ошибки, их измена делу народа становилась ясной всем, они кричали на весь мир: «Это евреи виноваты!»

В ту безгосударственную эпоху еврейской истории сионизм Горький воспринимал лишь как красивую мечту. Тем дороже нам, что он сочувствовал ей безусловно:

«Мне говорят, — писал он в 1902 году, — что сионизм — утопия: не знаю — может быть. Но поскольку в этой утопии я вижу непобедимую, страстную жажду свободы, для меня — это великое дело жизни. Всею душой моей я желаю еврейскому народу, как и другим людям, вложить все силы духа в эту мечту, облечь ее в плоть и, напитав горячей кровью, неустанно бороться за нее, чтобы победить все несправедливое, грубое, прошлое».

Познакомившись с содержанием сборника хотя бы в таком кратком изложении, легко понять, почему М.Агурский и М.Шкловская назвали свою вступительную статью к нему «Своевременные мысли». С горечью и грустью убеждаемся мы, что очень мало что изменилось в Советском Союзе по сравнению с императорской Россией, а если и изменилось, то к худшему.

В России до большевистского переворота существовала антисемитская печать, но была и еврейская печать, и либеральная нееврейская, которая с антисемитизмом боролась. В императорской России в 1915 году евреев обвинили в военных неудачах русской армии, но тогда нашлись в русском обществе люди, которые против этой клеветы выступили, — среди них, конечно, и Горький.

В императорской России было создано дело Бейлиса, но русский суд опроверг эту грязную антиеврейскую провокацию.

А кто мог выступить в Советском Союзе против «дела врачей»?..

Все эти грустные сопоставления все же не должны создавать безнадежное настроение. Мы не вправе думать, что разгул официального антисемитизма выражает истинное самосознание русского народа. Верно, что нет сегодня в Советском Союзе Горького, но есть Андрей Сахаров, а ведь достаточно десяти таких праведников, чтобы город был спасен.

## Хоне Шмерук

### ВКЛАД ЕВРЕЙСКОГО ЖУРНАЛА

(К 25-летию «Советиш Геймланд»)

На обложке августовского номера журнала «Советиш Геймланд» (за 1986 год) — число «25», знаменующее четверть века существования литературно-художественного журнала на идише, официального органа Союза советских писателей, издающегося в Москве. «Советиш Геймланд» впервые появился как *д в у х м е с я ч н и к* в июле—августе 1961 года.

Стоит напомнить предысторию журнала, тем более что вряд ли многие с ней знакомы. В конце 1948 года жестокому, почти тотальному уничтожению подверглись остатки еврейской культуры в Советском Союзе — то немногое, что уцелело после второй мировой войны и Катастрофы советского еврейства. Большинство из пишущих на идише были арестованы. 12 августа 1952 года по вымышленному обвинению была расстреляна группа еврейских поэтов и писателей, в их числе — Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, Перец Маркиш, Ицик Фефер, Лейб Квитко. Многие деятели еврейской культуры были брошены в тюрьмы и лагеря. После смерти Сталина, в дни «оттепели», оставшиеся в живых были освобождены, и стали появляться официальные сообщения о реабилитации погибших. Было объявлено также о готовящейся публикации литературного наследия репрессированных еврейских писателей. С тех пор уцелевшие деятели еврейской культуры на языке идиш вели упорную борьбу за сохранение ее остатков. Встал вопрос о выходе периодического издания на идише, которое служило бы трибу-

ной для еврейских писателей. Эту борьбу поддерживали различные деятели культуры на Западе, главным образом коммунисты и сторонники Советского Союза.

Но лишь в 1961 году настал конец бесчисленным проволочкам, и журнал «Советиш Геймланд» увидел свет. Более пяти лет успело пройти со дня знаменитой речи Никиты Хрущева на XX съезде партии, в которой он не счел нужным даже упомянуть о том, что сделал Сталин с еврейской культурой и ее деятелями. Сам факт выхода в свет литературного журнала на идише свидетельствовал о том, что советские власти как бы вновь подтвердили принципиальное право еврейской культуры на существование, хотя не вызывало сомнений, что ее возрождение будет весьма ограниченным по сравнению с тем размахом, который был присущ еврейской культурной жизни до начала второй мировой войны и даже в первые послевоенные годы, до антиеврейских «чисток» конца сороковых — начала пятидесятых годов.

С января 1965 года «Советиш Геймланд» начал выходить е ж е м е с я ч н о, и его объем вырос со 128 страниц в начальный период до 170 и более. С января 1980 года к каждому номеру журнала прилагается дополнительная книжка на 64 страницах — так называемая «Библиотека «Советиш Геймланд». И журнал, и приложение радуют глаз полиграфическим исполнением. Следует отметить, что издатели тщательно следят за соблюдением норм литературного языка, понятного и профессионалам, и рядовым читателям.

Бессменный редактор журнала — поэт Арон Вергелис, человек энергичный и не лишенный способностей, верный проводник политики советской власти во всем, что касается статуса и проблем советского еврейства. С 1961 года Вергелис и журнал «Советиш Геймланд» служат своего рода официальным представительством, куда обращаются все, кого интересует не только литература на идише, но и любые проблемы, касающиеся советского еврейства.

В предисловии к юбилейному номеру (август 1986 года) главный редактор с гордостью сообщает, что за 25 лет существования журнала в 280 с лишним номерах было опубликовано 76 романов, 109 повестей, 1478 рассказов и новелл, 65 поэм, 6680 стихотворений, 28 пьес, 1628 критических статей по вопросам литературы и искусства. Кроме того, за тот же период в Советском Союзе вышло 127 книг на идише, главным образом отдель-

ные издания произведений еврейских писателей, ранее печатавшихся на страницах «Советиш Геймланд». Цифры весьма впечатляющие!

На Западе время от времени появляются статьи и критические обзоры, в которых даются попытки резюмировать очередные номера журнала, анализировать отдельные произведения или определенную тему. В то же время до сих пор не проведена серьезная исследовательская работа, которая дала бы оценку этому литературному изобилию, трезво оценила художественные достоинства журнальных публикаций, обсудила политические и идейные установки редакции, а главное, подвела бы итог всей этой деятельности с еврейской культурной общенародной точки зрения.

Будучи постоянным читателем «Советиш Геймланд», я хотел бы сделать несколько общих выводов. Нет сомнения, что «Советиш Геймланд» является инструментом правительственной политики. Антисионистское направление журнала видно невооруженным глазом: яростные нападки на Израиль, временами весьма ядовитые, можно встретить не только в прозе, но и в стихах. Все материалы «Советиш Геймланд» подчеркнуто патриотичны. Одним из наиболее ярких проявлений такой позиции является широкая публикация материалов о вкладе евреев Советского Союза в революционное движение, в строительство государства и особенно — о героизме и самопожертвовании евреев, солдат и офицеров, в период Великой Отечественной войны. Удивляет бедность материалов, относящихся к 1948—1953 годам, которые оказались роковыми для евреев СССР. Также весьма скудны материалы о погибших еврейских писателях и их мытарствах.

Журнал «Советиш Геймланд», наряду с газетой «Биробиджанер штерн», официально считается печатным органом Еврейской автономной области, где, по данным переписи 1979 года, проживало 10 166 евреев. Гротескно выглядит тот факт, что московский журнал на идише продолжает представлять Биробиджан как центр еврейской жизни в Союзе, часто печатает материалы о жизни автономной области, регулярно публикует произведения еврейских писателей, которые еще проживают в Биробиджане. Вместе с тем, почти в каждом номере можно встретить произведения, художественные достоинства и глубина которых не подлежат никакому сомнению. В «Советиш Геймланд» впервые была напечатана первая

часть романа Эли Шехтмана «Накануне» (полностью роман вышел в Тель-Авиве в 1983 году, но имя писателя стало запретным в СССР после его эмиграции в Израиль), роман Натана Забары «Еще день велик», рассказы Шолом-Алейхема, не включенные в ранее изданные собрания сочинений. На страницах журнала увидели свет избранные страницы литературного наследия трагически погибших еврейских советских писателей. И хотя эти публикации не свободны от искажений и купюр, все же следует признать, что сам факт их появления в печати в известной мере вырывает из забвения произведения, столь важные для культуры на языке идиш. В журнале постоянно печатаются документально-исторические материалы и литературоведческие исследования, касающиеся литературы как на идише, так и на иврите, в особенности ивритских текстов эпохи средневековья, хранящихся в советских библиотеках. Публикуются сведения о том, что делается в области гебраистики, изучение которой в Советском Союзе переживает известное обновление. Время от времени в журнале появляются разделы руководства по изучению языка идиш.

«Советиш Геймланд» заслуживает внимания даже с учетом того, что львиная доля публикаций весьма тенденциозна. И если когда-нибудь будет проведена серьезная исследовательская работа, посвященная деятельности журнала, то станет очевидным, что итог этой деятельности — положителен, с точки зрения еврейских национальных устремлений.

В первом номере «Советиш Геймланд» за 1961 год был напечатан список еврейских писателей, готовых предоставить свои произведения новому журналу. И хотя в этом перечне остро чувствовалось отсутствие писателей, расстрелянных начиная с 1948 года, все-таки он включал 111 имен. Вопреки довольно солидному среднему возрасту авторов, они сообща обеспечили существование журнала вплоть до наших дней. Если сегодня мы перечитаем этот список, выяснится, что по меньшей мере трети упомянутых в нем людей уже нет в живых. Кроме того, 15 еврейских писателей, входивших в этот список, эмигрировали в Израиль — Герш Ошеревич, Равель Баумволь, Л.Виленкин, Меир Харац, Зяма Телесин, Иосиф Черняк, Янкель Якир, Меир Елин, Хаим Мальтинский, Мотл Сакциер, Элиэзер Подрядчик, Иосиф Керлер, Эфраим Ройтман, Шломо Ройтман, Эли

Шехтман. (Ни один из этих писателей не упоминается в советских библиографических указателях.)

Сильно поредевшие более чем за 25 лет ряды авторов, пишущих на идише, — явление естественное и вполне понятное. К сожалению, сходную картину мы видим и в Израиле, и в Соединенных Штатах. Отличительной чертой журнала «Советиш Геймланд» и группирующихся вокруг него писателей является попытка вырастить в современных советских условиях молодую литературную смену, которая сможет перенять журнал, когда уйдут из жизни те, кто держит в своих руках его знамя сегодня.

За весь период существования журнала его главный редактор не покладая рук разыскивал и пестовал молодых, начинающих литераторов, призванных плечом к плечу со стареющими ветеранами продолжать начатое. Время от времени появляются в журнале новые имена. Арон Вергелис может гордиться А.Белоусовым, поэтом неевреем, который пишет на идише с неизменной приверженностью к этому языку. Но, по-видимому, этих сил все же недостаточно, и в конце 1981 года было открыто еврейское отделение на высших литературных курсах при московском Литературном институте им. Горького. Проректор Литинститута определил новое отделение как «школу для еврейских редакторов», т.е. редакторов на языке идиш. Слушателями курсов стали люди с высшим образованием, специалисты в разных областях, и с 1981 года в «Советиш Геймланд» регулярно печатаются их произведения. Июльский номер за 1986 год целиком составлен из материалов, написанных молодыми еврейскими литераторами, в том числе и теми, кто на курсах не обучался. Вергелис обещал, что июльский номер каждого года будет отдан молодым. Новый опыт заслуживает внимания со всех точек зрения, тем более, что редактор «Советиш Геймланд» считает необходимым при каждом удобном случае отметить появление группы молодых еврейских писателей в противовес печальным перспективам литературы на идише за пределами СССР.

Вот что пишет А.Вергелис в предисловии к молодежному номеру журнала: «После 25 лет упорного труда и возвращения новых всходов на ниве советской еврейской литературы мы снимаем первый урожай. И чтобы все могли по достоинству оценить плоды наших усилий, мы решили сделать нечто новое в истории литературы на

идише — предоставили специальный номер «Советиш Геймланд» молодой «бригаде». Когда читатель в нашей стране или за рубежом будет перелистывать страницы этого выпуска, он не поверит собственным глазам. Все авторы (а их тридцать один) родились после войны, когда уже не было ни одной еврейской школы, но все они пишут на вполне приемлемом идише — одни более свободно владеют языком, другим еще требуется преодолеть лексико-стилистические барьеры, — но их литературное творчество на подъеме».

Это же было подчеркнуто и на праздновании 25-летия журнала в Москве, куда приглашены были также некоторые зарубежные гости. Об этом писал, в частности, израильский журналист Йосеф Липский в статье «Идиш жив и отлично чувствует себя в Москве»: «Вдруг выясняется, что в СССР есть писатели, пишущие на идише, да притом молодые» («Аль а-мишмар», 1.11.1986).

Следует сразу заявить, что произведения молодежного номера ни по форме, ни по содержанию ничем не отличаются от того материала, который обычно публикуется в «Советиш Геймланд», — факт удивительный, если учесть, что речь идет о молодых писателях, только начинающих свой путь в литературе.

Раздел художественной прозы открывается большим рассказом Бориса Сандлера, родившегося в 1950 году в Молдавии. И хотя автор пытается иногда отступить от привычного бытописательства, его рассказ «Краткий миг между сегодня и завтра» не может поведать читателю ничего нового. Тема рассказа — крах молодого человека, покинувшего Советский Союз и живущего в израильском городе Нетания. Разочарование героя передается цитатами из его писем и сопровождается размышлениями автора о некогда счастливой жизни в СССР. Потуги автора, облаченные в форму художественного повествования, не способны ни убедить читателя, ни вызвать доверие к молодому писателю. С этой публикацией перекликаются и другие: рассказ об «отказнике», который когда-то работал в «почтовом ящике», хотел уехать из СССР, но в конце концов понял, что ошибся, и остался верным гражданином Советского Союза (Г.Эстройх, «Старая, обшарпанная лестница»); рассказ о некоем комсомольце, поехавшем по заданию комсомольской организации из Москвы в Ригу и встретившем там избранницу сердца (Д.Юшковский, «Студенческая «Песнь песней»); еще один слабый рассказик И.Дегтяря, разобла-



чающего Соединенные Штаты Америки: дескать, «еврейский вопрос» — это проблема евреев США, но уж никак не евреев Советского Союза; интервью с «положительным» евреем, строителем Еврейской автономной области, сыном и внуком первопоселенцев, прибывших в Биробиджан еще в 1928 году.

В разделе поэзии также трудно заметить признаки обновления: ни темы, ни формы, увы, не блещут новизной — там все еще слагают стихи о Биробиджане и о революционной Кубе. И все-таки попадаются изредка свежие строчки того или иного молодого, талантливое поэта.

Среди молодых литераторов выделяются те, кто жанру художественной прозы предпочел эссеистику, критику или то, что иногда определяется как популяризация науки. Обсуждаемый номер журнала предлагает весьма интересные публикации на эти темы, как, например, критический обзор важнейшей библиографической работы в области истории ивритской книги. Эта работа вышла в свет в Москве в 1985 году и подробно описывает ивритские инкунабулы, хранящиеся в библиотеках Советского Союза. Мы читаем в журнале также краткий обзор еврейских собраний — на иврите и на идише, — хранящихся в Ленинградской Публичной библиотеке; очень интересна статья молодой научной сотрудницы А.Айхенвальд о становлении современного иврита («Кристаллизация современного иврита как языковой эксперимент»). Ценную информацию можно найти в критических заметках А.Локшина о библиографическом словаре, тема которого — историки русского освободительного движения. Почетное место в нем отведено таким евреям-историкам, как Гессен, Цинберг, Дейч, Бухбинбер, Рафес, Киржниц, Заславский, которые были забыты — случайно или преднамеренно — после двадцатых годов. Не следует пренебрегать и данными, которые приводит М. Куповецкий в статье, посвященной проблемам демографии еврейства Латвии и Эстонии; эта статья появилась еще в 1985 году в одном из сборников на русском языке. Все упомянутые материалы напечатаны в номере «молодых». Если добавить увлекательнейшую статью-обзор еще одного исследователя, Игоря Крупника, о вкладе молодых советских ученых в развитие гебраистики в Советском Союзе да упомянуть заметки учено-гебраиста Лейба Вильскера, опубликованные в ноябрьском номере «Советиш Геймланд» за 1986 год, то мы получим представление о расширении научных инте-

ресов. Однако следует признать, что в ряде областей приходится создавать заново те направления исследований, которые в прошлом были намеренно закрыты в СССР. Здесь же подчеркнем, что языковые ограничения сняты: научные работы в области языка иврит, демографии и историографии евреев публикуются на русском языке, а сообщения о них печатаются в журнале «Советиш Геймланд» на идише.

Среди критиков выделяется Фаина Гримберг, родившаяся в 1951 году в Ташкенте. Свою статью она посвятила анализу рассказов Бориса Сандлера (его сборник «Ступеньки вверх, ведущие к чуду» вышел на идише в 1986 году в Москве в издательстве «Советский писатель» тиражом в 1100 экземпляров). Статья, содержащая весьма нетривиальные идеи, озаглавлена многозначительно, а в контексте специального выпуска, может быть, даже полемически: «Литература языкового эксперимента?» Что имела в виду Фаина Гримберг? Если для писателей старшего поколения идиш был языком повседневного общения, то по поводу Бориса Сандлера она пишет: «Появляется молодой автор, для которого русский язык — практически родной, это язык детства, на котором он получил образование от школы до университета. Возникает законный вопрос: что побудило этого молодого человека писать на идише?»

Ответ Ф.Гримберг не однозначен, она выдвигает несколько возможных вариантов, например, желание вернуться к наследию отцов и развивать его. Отождествляя героя рассказа с его автором, Ф.Гримберг поясняет: «Он живет в период, когда русский язык естественно все более широко используется как средство межнационального общения и так же естественно, что именно молодые люди в первую очередь являются носителями этого языка. Но, с другой стороны, — это период развитого социализма, предоставляющего широкие возможности для расцвета национальных литератур народов Советского Союза».

Проблема, представленная здесь, подается в контексте национальных проблем СССР, а не как присущая лишь советским евреям, ощущающим утрату национально-языковой личностной идентификации. На поверку оказывается, что курсы для молодых писателей, пишущих на идише, отнюдь не единственное в своем роде явление. А если это так, то и перспективы сохранения еврейского культурного наследия как законного, приемле-

мого для властей явления вполне реальны. Возможно, автору разбираемой статьи неизвестно, что отмеченное явление характерно не только для советских евреев, поскольку едва ли «развивающийся социализм» сколько-нибудь существенно влияет на схожие процессы, наблюдаемые среди еврейской молодежи на Западе. И для этих молодых людей идиш не является главным и первым языком, но они также со все возрастающим интересом относятся и к идишу, и к еврейскому культурному наследию в целом.

Возвращение к идишу видится Фаине Гримберг неким экспериментом, явлением, еще не пустившим глубокие корни. Об этом можно судить по требованию, которое она выдвигает: произведения молодых еврейских писателей не должны уступать по своему художественному уровню тем, что публикуются в русскоязычных литературных журналах. Следует принципиально отказаться от снисходительных поправок в оценке литературы на идише. Достоинство внимания и смелое предложение критика о возможности двуязычного литературного произведения, и на идише, и на русском, со ссылкой на двуязычность (русский и французский) «Войны и мира» Л.Н.Толстого или многоязычие австрийской писательницы, у которой героини одной и той же книги говорят и по-английски, и по-французски, и по-итальянски, и по-немецки. Свое предложение Ф.Гримберг завершает вопросом: почему же наши молодые, пишущие на идише, не могут перенять подобный опыт? Совершенно ясно, что за этим кроется мысль: необходимо как можно полнее использовать языковой потенциал молодых еврейских писателей, дав им возможность выразить себя и на русском, и на идише одновременно, в соответствии с той языковой реальностью, которая доминирует в жизни евреев Советского Союза, равно как и в жизни других национальных меньшинств этой многоязычной страны. На первый взгляд предложение Фаины Гримберг может показаться курьезным. Но выясняется, что сочетание идиша с русским и открывающиеся при этом возможности занимают не только автора статьи о книге Бориса Сандлера. В качестве примера сошлемся на рассказ Г.Эстрайха, одного из группы «молодых» («Советиш Геймланд», № 3 за 1987 год), в котором текст на идише прерывается прямой речью на русском. Правда, в постраничных примечаниях русский текст переведен на идиш.

Другой молодой литератор, Владимир Чернин (род. в 1958 г.), решил вернуться к своему еврейскому имени и подписывается Велвл Чернин. Он тоже учился на высших литературных курсах при Литинституте им. Горького. Этнограф, выпускник исторического факультета МГУ, а ныне сотрудник редакции «Советиш Геймланд», Чернин уже успел проявить себя на страницах журнала в многообразии жанров: поэзия, критика, этнографические статьи о неашкеназских еврейских общинах на территории Советского Союза, многочисленные интервью. Ноябрьский номер «Советиш Геймланд» за 1986 год вышел с приложением — книжкой «Диалог о еврейской культуре на идише в СССР». В этой примечательной книжке собраны взятые Черниным интервью, которые прежде были напечатаны в журнале. Собранные воедино, они подчеркивают постоянство вопросов В. Чернина, которые он неизменно задает советским актерам и деятелям театра, ставящим спектакли на идише. Выясняется, что идея представлений одновременно на идише и на русском обсуждалась в серии этих интервью не только как некое пожелание на будущее. В московском еврейском (на идише) драматическом коллективе такое «двуязычие» — существующий факт. Коллектив состоит из молодых актеров, как правило выпускников московских театральных вузов, и ставит на идише пьесы на еврейские темы, причем со сцены звучит и русский язык. Художественный руководитель коллектива представил это двуязычие как одно из направлений творческого поиска: «Речь персонажей на идише и вспомогательный комментарий на русском должны соответствовать конкретной пьесе, чтобы все вместе звучало вполне естественно». Нам не представляется возможным подробно обсуждать это нововведение, поскольку пока не удалось увидеть его сценическое воплощение, но ясно, что это явление переключается с предложением Фаины Гримберг.

Оказалось, что у подобного двуязычия есть и противники. Арон Вергелис, например, в одном из зарубежных интервью упоминает два еврейских театральных коллектива в Москве, которые на сцене говорят и на идише, и на русском, но сам он отмежевывается от этого новшества. Его позиция однозначно определена в рамках дискуссии по этому вопросу на страницах «Советиш Геймланд», № 4, 1987 г. (Заметим в скобках, что об этом «почине» в московском еврейском драматическом коллективе дважды сообщала варшавская «Фольксштимме» —

14.3.87 и 11.4.87 г. В первом сообщении говорится: «Все пьесы, за исключением «Тевье-молочника», играют на идише и на русском. Идея этого двуязычия впервые реализована Яковом Губенко в постановке пьесы «Дамский портной»; режиссер утверждает, что пьеса только на идише не будет понятна всем зрителям... и поэтому решено играть на двух языках».)

Но вернемся к сборнику интервью, которые Велвл Чернин опубликовал в библиотеке «Советиш Геймланд». Здесь противниками двуязычных спектаклей выступают постановщица из биробиджанского театра и труппа из Вильнюса. Актеры из Вильнюса свою верность идишу объясняют тем, что евреи Литвы, для которых они играют, менее ассимилированы по сравнению с евреями Москвы, но и они признаются, что еврейская молодежь отдает предпочтение концерту с танцами и песнями, а не пьесе, для понимания которой требуется хорошее знание идиша. Проблема понимания зрителями серьезного текста на идише затрагивается, по сути, во всех интервью, но особенно подчеркивается она теми актерами, которые говорят только по-русски в переведенных с идиша пьесах. Оказывается, что именно такие постановки пользуются сегодня в Москве большим успехом.

Впрочем, эти процессы станут сами собой понятными, если обратить внимания на то, что число советских евреев, называющих идиш своим родным языком, катастрофически падает от одной переписи населения к другой. Число читателей «Советиш Геймланд» также сокращается год от года: в 1961 году, в первый год своего существования, журнал издавался 25-тысячным тиражом, в 1966 году тираж упал до 16 000 экземпляров, в 1971 году — до 10 000, в 1973 — до 9000, в 1978 году тираж сократился до 7 тысяч, а в 1985 году вышло только 5 тысяч экземпляров. (Все данные приводятся по советским ежегодникам «Печать СССР». Последний из имеющихся в нашем распоряжении — за 1985 год.) Заметим, что немалая доля тиража расходуется за пределами Советского Союза, и более того, можно предположить, что многие из подписчиков «Советиш Геймланд» в Советском Союзе приобретают журнал ради «дайджеста» на русском языке, который издается с сентября 1971 года. На фоне резкого уменьшения числа читателей журнала на идише впечатляют тиражи ежегодного сборника «Год за годом», почти целиком составленного из материалов «Советиш Геймланд» текущего года в переводе на рус-

ский язык. Отбор материала производится редакцией журнала. Ко времени публикации этой статьи в Иерусалим прибыло два таких ежегодника, за 1985 и 1986 годы, тираж каждого выпуска — 30 000 экземпляров. Каким бы ни было отношение сотрудников журнала «Советиш Геймланд» к еврейской культуре и к еврейской литературе на русском языке, но сказанное выше доказывает, что русский язык принят как влиятельный фактор, как узаконенное коммуникативное средство в официальной культурной деятельности евреев Советского Союза.

Небольшое отступление. В 1977 году Арон Вергелис выразил свое резкое неприятие еврейской культуры на русском языке, заявив, что «культура может развиваться только на национальном языке. Маршак, Багрицкий, Бабель — представители русской культуры. Пластинка с еврейскими песнями в исполнении русского певца на русском языке — явление русской культуры. Еврейский театр на русском языке — вещь немыслимая, которую даже представить невозможно. Перевод убивает смысл произведения» («Вы мешаете нам своей деятельностью», — в сборнике, посвященном евреям Советского Союза, выходящем на иврите, № 10, 1987 г.).

Однако не переводы с идиша и не различные сочетания русского с идишем, которые здесь обсуждались, представляются нам главным направлением. В последние годы мы стали свидетелями того, как русскоязычная литература с явно выраженным интересом к еврейской тематике завоевала внимание евреев в Советском Союзе и за его пределами. В недавнем прошлом большим успехом пользовался роман Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок», который повествует о периоде Катастрофы. Этот роман в 1980 году вышел и в Израиле в переводе на иврит. Вместе с тем еврейская тема — отнюдь не центральная в последних книгах А. Рыбакова, а в его шумевшем романе «Дети Арбата» она и вовсе сходит на нет. Широчайшую популярность своими романами на еврейские темы приобрел Григорий Канович. Канович также переведен на иврит, его роман «Свечи на ветру» вышел в Тель-Авиве в 1983 году. Отметим еще одну талантливую писательницу, Дину Калиновскую, чей роман на еврейскую тему вызвал широкий резонанс. В сокращенном переводе на идиш роман впервые появился в «Советиш Геймланд» под названием «Старые люди» (№ 2, № 3 за 1975 г.). Русский оригинал был опубликован лишь в 1980 году в журнале «Дружба народов». В уже

упоминавшемся сборнике «Год за годом» за 1985 год опубликован интересный ее рассказ «Рисунок на дне». Тема рассказа — сбережение еврейской традиции и семейных реликвий советскими евреями в годы Великой Отечественной войны.

Есть и другие авторы, творчество которых заслуживает внимания и серьезного исследования. Упомянем лишь пьесу «Дамский портной», действие которой происходит в Великую Отечественную войну и которая известна также под названием «Ночь в Бабьем Яру». Именно этой пьесой московская еврейская труппа под руководством Якова Губенко начала свои представления на двух языках, на идише и на русском.

Многие еврейские критики в Советском Союзе видят в перечисленных выше произведениях, написанных на русском языке, некое возрождение русско-еврейской литературы, расцветавшей в предреволюционные годы. И хотя Рыбаков, Канович, Калиновская и другие авторы обращаются и к нееврейскому читателю, несомненно, что особый интерес представляют для них именно еврейские читатели, ищущие свои корни в недалеком прошлом. Успех и заслуга этих писателей в том, что созданные ими произведения действительно художественны, что они обращены к уму и сердцу читателя, и совершенно ясно, что появление таких книг — наиболее существенный момент в культурной жизни советских евреев за последние годы.

Интересно проследить, как относится к этому явлению та часть еврейского «истеблишмента», которая группируется вокруг редакции «Советиш Геймланд». Книгу А.Рыбакова «Тяжелый песок» перевели на идиш и опубликовали в журнале (№№ 4, 5, 6 за 1979 год), роман Дины Калиновской, как уже говорилось, тоже был напечатан в сокращенном переводе на идиш. Иная судьба у книг Григория Кановича: журнал не только не переводит его на идиш, но не публикует рецензий даже на самые популярные его книги. Однако литераторы, постоянно сотрудничающие в журнале, печатаются и в других изданиях на идише. Так, Мойше Беленький и Берл Ройзен восторженно отзывались о романах Кановича на страницах варшавского еженедельника «Фольксштимме», а Велвл Чернин, сотрудник редакции, опубликовал в газете «Биробиджанер Штерн» (29.9.1985) серьезную, очень положительную рецензию, которая была замечена зарубежной еврейской печатью (смотри, напри-

мер, статью А.Шульмана «Велвл Чернин — молодой еврейский писатель в России» — «Дер Векер», № 7—9 за 1985 г.).

В газете «Биробиджанер Штерн», кроме того, появились отрывки из книги Кановича в переводе на идиш, а также пространное интервью с ним. В этом интервью Григорий Канович заявляет: «Моя личная судьба — как бы она ни складывалась — не существует сама по себе, вне судьбы моего еврейского народа... Моя судьба тесно, можно даже сказать — неразрывно связана с живыми. А быть может, в еще большей мере — с мертвыми, с теми, кто лежит в Бабьем Яру, в Понарах, с моими дедами и прадедами». В этом же интервью Григорий Канович сообщает о своем новом романе «Козленок за два гроша», первая часть которого уже вышла по-русски в журнале «Литва литературная» (№ 7, 8 за 1987 год), а в сборнике «Современный литовский роман» (Вильнюс, 1986) появилась статья о писателе, затрагивающая также еврейские аспекты его творчества.

Итак, Чернин, который добрался до далекого Биробиджана, чтобы именно там напечатать положительную рецензию на книгу Кановича, излагает в этой статье свои принципы, выходя за рамки той темы, которую он обсуждает. Вот что пишет молодой советский еврей: «Я вспоминаю, что три наших классика (Менделе, Перец, Шолом-Алейхем) начали свою творческую деятельность на идише не потому, что не знали иврита или русского, а потому, что хотели говорить с народом на его языке, на языке, который ему, народу, будет понятен. Кто же осмелится сказать, что поэзия Бялика на иврите не имеет поэтому никакой ценности? — Никто, однако позиция Шолом-Алейхема, Менделе-Мойхер Сфорима, Ицхака-Лейбуша Переца видится ясной и обоснованной. В наши дни нельзя закрывать глаза на то, что еврейский народ в Советском Союзе в большинстве своем говорит и читает по-русски. Свидетельствует ли этот факт о том, что сегодня еврейская литература на идише не имеет никакой ценности? Нет, ни в коем случае! Но вместе с тем следует признать, что в наши дни еврейская литература на русском языке — столь же естественное явление, как еврейская литература на идише в конце прошлого века. И в этом нет никакого противоречия. Почему не может один народ создать свою литературу на нескольких языках?»

Почему же Велвл Чернин вынужден был напечатать



свою интересную статью о Кановиче в «Биробиджанер Штерн»? Не потому ли, что в редакции «Советиш Геймланд», сотрудником которой он является, не согласились с идеями критика? Быть может, у редакции есть определенное неприятие писателя Кановича? Может быть, деятели из «Советиш Геймланд» уполномочены оказывать сопротивление всяким проявлениям еврейской культуры на русском языке? Получит ли группа литераторов, объединившихся вокруг «Советиш Геймланд», преимущественные права на сохранение приоритета языка идиш как единственного языка еврейской культуры в Советском Союзе? У нас нет точного и ясного ответа на поставленные вопросы, а вероятные ответы не обладают большой достоверностью в свете четко обозначившихся явлений в культурно-языковой реальности, характерной для еврейского населения Советского Союза.

Есть немало признаков, которые свидетельствуют о том, что в последнее время в Советском Союзе появились определенные возможности возрождения еврейской культуры на трех языках: идише, русском, иврите. Вспомним, что подобная еврейская культура «о трех языках» естественно существовала в царской России и даже после революции, вплоть до двадцатых годов, хотя акценты в каждой «языковой ипостаси» были расставлены по-разному. Будем надеяться, что мы, живущие вне пределов Советского Союза, сможем понять и по достоинству оценить перемены в культурной жизни советского еврейства, чтобы по мере сил помочь расцвету той еврейской культуры, которая получает официальную поддержку в Советском Союзе и способна обогатить нашу национальную культуру сплетением языков, столь характерным для еврейского народа в силу сложившейся исторической реальности.

# История и современность

---

Савелий Дудаков

## ВОЙНА 1812 ГОДА И РИТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ

Известный юрист и общественный деятель Г.Б. Слиозберг, входивший в 1919 году в комиссию по изданию архивных материалов, касающихся обвинений евреев в ритуальных убийствах, обратил внимание на то, что обвинения эти исходили из католических (польских) кругов<sup>1</sup>. Более того, со стороны представителей православия особого энтузиазма по этому вопросу не возникало. Так, митрополит Филарет резко отрицательно относился к подобным обвинениям. Ни в Саратовском деле (1856 г.), ни в деле Бейлиса, где речь шла об убийстве православного мальчика, Святейший Синод не выступил ни с каким заявлением.

Если вопрос об авторстве антисемитской книги «Розыскания о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их», изданной в 1844 году по прямому указанию Николая I и министра внутренних дел графа Перовского, остался открытым, то главными консультантами по этому вопросу выступили воинствующие католики и польские националисты: князь Франциск-Ксаверий Друцкий-Любецкий (1779—1846); министр, статс-секретарь Царства Польского Игнатий Леонтьевич Туркул (1797—1857) и чиновник министерства внутренних дел Осип Антонович Пржецлавский (1799—1879). В своих воспоминаниях тайный советник Пржецлавский указывает, что граф Перовский обратился к статс-секретарю Туркулу по поводу употребления евреями крови и получил ответ, разъясняющий, что в Польше в прошлом имелось немало дел по поводу умерщвления христианских младенцев евреями и де самое примечательное из

них состоялось в конце XVIII века в городе Калише. Судьи постановили, что евреи города Калиша на вечные времена обязаны в годовщину совершения преступления участвовать в позорном шествии — босиком, в белых саванах, с веревочными петлями на шее, с зажженными свечами в руках девять раз обойти вокруг собора. Это производилось в Калише вплоть до раздела Польши<sup>2</sup>. Тот же мемуарист утверждает, что оправдание евреев по Гродненскому процессу 1816 года произошло лишь потому, что евреи сумели приписать полякам ненависть к ним, евреям, за их преданность русскому правительству.

Как нам кажется, корни Гродненского, Велижского и других дел 10—20-х годов таятся в истории войны 1812 года и в отношении к ней евреев и поляков. В результате трех разделов Польши вся Белоруссия и большая часть Литвы были включены в состав России и до 1843 года входили в пять губерний: Виленскую, Гродненскую, Минскую, Витебскую и Могилевскую. В 1816—1817 годах в вышеуказанных губерниях проживали 1 миллион 600 тысяч человек мужского пола (в 1834 году — 2 миллиона 300 тысяч). Национальный состав был весьма пестрым: белорусы, литовцы, евреи, украинцы, поляки, русские. В городах подавляющая часть населения была еврейской. Так, в 1816—1817 годах из 9873 жителей Гродно 8422 были евреями, что составляло 85% всего населения. Поляки в Виленской и Витебской губерниях составляли менее 10% жителей, являясь привилегированным слоем крупных и мелких помещиков, арендаторов земель и имений, дворовой администрации, и, самое главное, они занимали почти все должностные места в уездных и губернских судебных и административных учреждениях и учебных заведениях.

При разделе Польши Екатерина II, а впоследствии и ее преемники Павел I и Александр I проводили осторожную политику по отношению к польскому дворянству, сохранив за ним большинство привилегий и распространив на него все права российского дворянства<sup>3</sup>. Это была политика приручения польской шляхты, которая во всей громадной империи могла делать успешную военную и гражданскую карьеру.

Стремясь к восстановлению независимой Речи Посполитой, польское дворянство предпринимало для этого различные действия. В начале XIX века поляки делали ставку на Наполеона. Во время войны 1812 года поляки и ополяченное дворянство Литвы и Белоруссии постави-

ли французам, по некоторым данным, до 80 тысяч бойцов. Однако русское правительство не изменило своей осторожно-покровительственной политики по отношению к ним, и почти вся администрация Виленской, Гродненской и Минской губерний фактически состояла из польского или ополяченного дворянства. С 1815 по 1828 год гражданским губернатором Виленской губернии был поляк князь Друцкий-Любецкий, вице-губернатором — поляк Плятер-Зибберг. Как указывает профессор Ш. Акенази в своей работе «Царство Польское 1815—1830 гг.», все чиновники губернского управления, казенной палаты, губернские прокуроры, судебные приставы, стряпчие были исключительно поляки. То же в Виленском Главном суде и в судах низшей инстанции — межевых, земельных и городских, в Опекунском совете и в уездных управлениях. Подобное происходило при Александре I и в Гродненской губернии, где гражданским губернатором был поляк Сулистровский. (Одно время гродненским губернатором был и князь Друцкий-Любецкий).

Что же касается еврейского населения присоединенных земель Польши, то надо сказать, что евреям не приходилось проливать слезы по поводу потери поляками независимости. Польская «неустроенность», неспособность государства обеспечить нормальное существование национальных меньшинств привела к катастрофе во времена Хмельнитчины, когда погибло полмиллиона евреев Украины. В годы 30-летней и Северной войн Польша была местом бесконечных военных сражений, первыми жертвами которых становились евреи. На протяжении первых трех четвертей XVIII века народные движения украинцев и белорусов вновь обрушились на евреев (Колиивщина). Зачастую поляки выдавали своих сограждан-евреев на расправу бандам мятежников. Так, при обороне Умани (1768 г.) от банд Гонты и Железняк начальник Умани Младонович вступил в соглашение с гайдамаками за счет евреев, что, впрочем, не спасло и польское население от зверств казаков. В уманской резне погибло 20 тысяч человек. Во времена страшных погромов в Польше католическое духовенство инспирировало обвинения евреев в употреблении христианской крови. В 1713 году ксендз Жуковский издал книгу о ритуальных процессах, а в 1758 году монах Пикульский той же теме посвятил книгу «Злость Жидовская».

Физическое истребление привело к духовному кризису

су в еврейской среде, с одной стороны, вызвавшему отпадение от еврейства, массовое крещение (франкизм), а с другой — усиление мистических чаяний и создание нового течения в иудаизме, именуемого хасидизмом. Именно в этот период большая часть еврейства оказалась в пределах Российской империи. Манифест о переходе Белоруссии к России гласил о том, что все жители, «какого бы рода и звания ни были», отныне будут находиться в русском подданстве и будут пользоваться свободным отправлением своего культа и владением собственностью. Мы не будем входить в подробности правового положения евреев в Российской империи времен Екатерины II и ее ближайших преемников (оно было достаточно тяжелым), но важнейшее условие существования — избавление от постоянных погромов — дало возможность еврейскому населению Западного края быстро восстановить свою численность. Во всяком случае, евреи города Шклова в 1802 году с гордостью писали, что Александр I «осчастливил нас своей милостью, совершенно уравнив в правах с остальными жителями, и теперь евреи по всем своим делам могут судиться всюду, где имеются общие суды». И действительно, в 1783 году евреи приняли участие в выборах на должность старост и членов судов, несмотря на сопротивление поляков. Екатерина II поддержала евреев в этом вопросе: «Если евреи, в купечество записавшиеся, по добровольному согласию общества, выбраны будут к каковым-либо должностям в сходственность высочайшего учреждения, то не могут они удержаны быть от вступления в действительное возложенных на них должностей отправление». Историк не должен забывать и того факта, что Екатерина запретила в документах употребление презрительного слова «жид», заменив его нейтральным «еврей». Как бы то ни было, евреям, по сравнению с предыдущей эпохой, было обеспечено более сносное существование.

Одним из наиболее ярких фактов проявления интереса государства к евреям служит малоизвестная краткая история создания «Израилевского полка». Г. А. Потемкин (1739—1791) отличался редкой по тем временам веротерпимостью. В его свите состояло много евреев, как крещеных, так и некрещеных, большей частью — поставщики армии и осведомители. Но не это было главным. Будучи наместником Новороссийского края и ожидая скорого падения Османской империи, Потемкин надеялся, что Россия утвердится в Константинополе, и тог-

да Святая Земля будет возвращена евреям. В предвиденье этого он пытался создать еврейские вооруженные силы, и это ему частично удалось<sup>4</sup>.

В эпоху французской революции око другого великого человека остановилось на древнейшей ветви человечества. Этим человеком был Наполеон. Именно ему пришла в голову мысль о созыве собрания еврейских нотаблей. Еще раньше, во время египетского похода, Наполеон обратился к еврейству с призывом о помощи, так как он желает восстановления Иерусалима и Иудеи. Специальное обращение к афро-азиатским евреям обещало им восстановление Храма. Вместе с тем в опереточном Варшавском герцогстве, находившемся под протекторатом Наполеона, были проведены антиеврейские меры, отнявшие у всех «исповедующих религию Моисея» право на гражданство, предоставленное им конституцией («Кодекс» Наполеона). Впрочем, это неравенство перед законом позволило евреям герцогства избежать участия в военных авантюрах великого императора. Декрет 29 января 1812 года узаконил замену личной воинской повинности денежным налогом в 700 000 злотых ежегодно, подлив масла в костер ненависти юдофобов, упрекавших евреев в непатриотичности.

Русское правительство было озабочено заигрыванием Наполеона с евреями. Так, в циркуляре от 20 февраля 1807 года начальникам западных областей было предписано наблюдать за возможной связью между российскими евреями и парижскими. Но тревога была напрасной. Реформаторские идеи Наполеона, частично затрагивающие основы иудаизма, не нашли отклика у евреев России. Одним из наиболее ярых врагов Наполеона оказался ребе Залман Шнеерсон (1747—1812), глава белорусских хасидов. Ему принадлежит известное пророчество о гибели французского императора. Он сделал все, что было в его силах, для торжества России: кагалы и частные лица пожертвовали значительные суммы на ведение войны. А когда началось вторжение неприятеля, большой старик отправился в эвакуацию в глубь империи, где и скончался. Русские официальные власти везде оказывали ему соответствующий почет. Преданность евреев России неоднократно подтверждалась самыми высокопоставленными лицами. Александр I повелел 29 июня 1814 года выразить кагалам «свое милостивое расположение» за поведение евреев в годину тяжелых испытаний и обещал вскоре дать «определение относительно их желаний и

просьб, касательно современного улучшения их положения». Это свое мнение Александр высказал в разговоре с депутатами еврейского народа Зунделем Зоненбергом из Гродно и Лейзером Дилоном из Несвижа. Оба оказали неоценимые услуги русской армии в качестве поставщиков и всю войну находились при главной квартире. Будущий царь Николай I в 1816 году, совершая поездку по Белоруссии, в своем путевом дневнике сделал несколько критических замечаний относительно евреев и не преминул добавить: «Удивительно, что они в 1812 году отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностью для жизни».

Главкомандующий русской армией фельдмаршал М.И.Кутузов более двух лет был военным губернатором Виленского края (1809—1811). По свидетельству А.П. Ермолова, разведчик-еврей принес Кутузову рапорт генерала Виттгенштейна с чрезвычайно важными известиями о движении неприятеля. Тот же Ермолов описывает, как, благодаря помощи одного еврея, атаман Платов чуть не захватил в плен самого императора Наполеона в местечке Ошмяны.

В записках декабриста С.Г. Волконского рассказано о подвиге нескольких евреев, захвативших французского кабинет-курьера. Отметим, что дело происходило неподалеку от Велижа (около местечка Бабиновичи). Кабинет-курьер вез письмо из Парижа к Наполеону. Вместе с депешами военнопленный был отправлен в Петербург. Вероятно, захватившие француза были жителями местечка под Витебском, а один из них был фельдшером. Волконский пишет: «Я об этой частности упоминаю, как о факте преданности евреев в то время России...»

Герой войны 1812 года генерал М. А. Милорадович (1771—1825), по словам доктора М. Лилиенталя (1815—1882), говорил: «Эти люди суть самые преданные слуги Государя, без них мы бы не победили Наполеона и я не был бы украшен этими орденами за войну 1812 года». В русских частях — ввиду отсутствия воинской повинности — не было евреев, за исключением единичных случаев. Об одном таком случае рассказывает Денис Давыдов, отметивший «странность» того, что герой — бердичевский еврей — не мог носить Георгиевский крест по религиозным соображениям<sup>5</sup>.

В журнале «Сын отечества», № 26 за 1816 год, за подписью «Усердный почитатель добродетельных подвигов» помещен очерк «Известие о подвиге Гродненской

губернии, Кринского уезда, мещанина еврея Рувина Гуммера». Гуммер, находясь во время войны в имении помещика Чапского, спрятал в своем доме поручика Богачева, курьера с важными донесениями от генерала Эртеля к генералу Торماسову. Гуммер, отрезав волосы у одной из своих дочерей, сделал пейсы поручику и доставил его в целости вместе с документами в расположение русских частей. Французы, узнав о случившемся, «с лютостью диких напали... на семейство честного еврея, сожгли дом, заграбили имущество, били детей и верную злополучную жену его, измучив тирански, повесили!!!». Подвиг Гуммера был засвидетельствован не только спасенным поручиком Богачевым, но и его королевским высочеством герцогом Вюртембергским. К сожалению, добиться компенсации за материальные потери Гуммеру, по словам журнала, не удалось. Неизвестный автор указывает, что Рувин Гуммер, «сей достойный уважения еврей», был не один, а «вместе с единоверцами своими сохранял втайне непоколебимую преданность к Отечеству нашему».

Начало и конец Отечественной войны 1812 года связаны определенным образом с евреями. Утром 13 июня 1812 года главнокомандующий русскими войсками Барклай-де-Толли получил извещение о переходе французов через Неман и поспешил с этим уведомлением в Вильно, где находился Александр I. Каково же было удивление Барклая-де-Толли, когда он узнал, что государь о переправе войск неприятеля был оповещен еще в ночь на 13 июня. Источником информации императора были евреи. В то время, задолго до изобретения телеграфа, крупные еврейские торговые и банковские дома в западной полосе России и в Польше имели собственную почту, содержанием которой обычно были владельцы трактиров. Еврей-арендатор, таким образом, должен был содержать лошадь и быть почтальоном, за что получал соответствующее вознаграждение от банка или торгового дома. Заведующий архивом Московского Главного штаба (Лефортовский архив) Н. Поликарпов писал, что еврейская почта почти на сутки опережала фельдъегерей и курьеров. Местные польские помещики в насмешку прозвали ее «жидовской пантофельной почтой». В данном конкретном случае евреи опередили курьера генерала Багговута к Барклаю-де-Толли на сутки, сообщив свои сведения ковенскому городничему Бистрому, а тот, в свою очередь, министру полиции Балашову.



Заключительный этап войны обернулся для евреев трагедией из-за чрезмерного усердия трех евреев. Благодаря обманным маневрам маршалу Удино удалось внушить евреям место ложной переправы через Березину, и те поспешили сообщить об этом адмиралу Чичагову. Дальнейшее известно: Наполеон выскользнул из ловушки, а три борисовских еврея были казнены незадачливым адмиралом. Надо сказать, что, по выяснении обстоятельств дела, евреи, выражаясь современным языком, были «посмертно реабилитированы» сразу после войны.

В некоторых воспоминаниях, авторы которых весьма прохладно относятся к евреям, все же дается положительная характеристика поведения последних в год войны, особенно при сопоставлении с поведением польского населения. Так, в рассказе А. М. Романовского повествуется о евреях г. Чаусы, в 46-ти километрах юго-восточнее Могилева. Город Чаусы того времени был крупным торговым городом, население которого в основном состояло из евреев. Они занимали первенствующее место в торговле, промышленности, они были владельцами богатых каменных домов, лавок, магазинов, трактиров, кабаков. Администрация также была еврейской; городским головой был Рабинович, а бургомистром — Левик; «даже за секретарским столом сидел еврей в ермолке, с пейсами, который до того был нашпигован, что знал все указы наизусть, как свои молитвы. Это допускалось в то время потому, что все купеческое сословие состояло из евреев, в руках которых находилась вся торговля». При отступлении русской армии из города гражданскую власть захватило польское население, образовав муниципалитет из ксендзов и помещиков, «ликовавших и воспевавших в честь Наполеона патриотические гимны в костеле, где уже был выставлен на хорах французский орел». Что же касается евреев, то Романовский замечает, что у них не было заметно «ни радости, ни страха, ни печали, ни уныния». Впрочем, нейтральность исчезла после того, как чернь разбила несколько еврейских кабаков, и евреи начали заниматься активным сбором сведений о передвижении российских и французских сил для оставшихся верными России православных жителей города. Дело в том, что часть православного духовенства во главе с епископом Варлаамом присягнула Наполеону. Поляки города Чаусы образовали также милицию в помощь французам под названием «Охрана».

Приведенные примеры показывают, что евреи оказали правительству России неоценимые услуги и остались верны Александру I в самые тяжелые моменты войны.

Не то было с поляками. Уповая на восстановление Польши Наполеоном, они составляли не только отдельный корпус в «Великой армии», но, как мы видели на примере города Чаусы, образовали в тылу французов самоуправление и милицейские части, способствуя таким образом охране коммуникаций. Еще накануне войны польским кругам удалось сорвать мобилизацию в Западном крае. Это деликатное дело успешно провел Ксаверий Друцкий-Любецкий под предлогом ненадежности населения. Лидер польской партии князь Адам Чарторижский накануне войны благоразумно покинул Россию и уехал лечиться в Карлсбад и Вену. Его отец, тоже Адам Чарторижский, председатель сейма герцогства Варшавского, 26 июня призвал поляков, находившихся на русской службе, покинуть оную. В ходе войны на оккупированных территориях поляки присягнули Наполеону. Николай I записал в 1816 году: «В Белоруссии дворянство, состоящее почти все из весьма богатых поляков, отнюдь не показало преданности к России, и, кроме некоторых витебских и могилевских дворян, все прочие присягнули Наполеону».

Историк Н. К. Шильдер, описывая приход русских в герцогство Варшавское, отмечает недружелюбие поляков и радость евреев: «В герцогстве Варшавском никто, однако, не встречал русских, как своих избавителей. Лишь евреи каждого местечка, лежащего по дороге, где проходили войска, выносили разноцветные хоругви с изображением на них вензеля государя; при приближении русских они били в барабаны и играли на трубах и литаврах». Кстати, во время вступления русских в коренную Польшу, при дворе Александра вновь появился Адам Чарторижский. В печально известном для евреев городе Калише князь представился Александру, что дало Шильдеру повод ехидно заметить: «Прибытие этого страстного ревнителя восстановления Польши в русскую армию служило доказательством, что поляки начали отчаиваться в успехах Наполеона и обратились к новому солнцу, восходившему на политическом небосклоне Европы».

Адмирал А. С. Шишков, как известно, не любивший евреев, писал: «В поляках не приметно было никаких восторгов... одни только жида собирались с веселыми

лицами к домам, где останавливался государь, и при выходах его кричали «Ура». Тут же, под Калишем, еврей, посланный с донесением в одну из блокированных крепостей, был схвачен французами и казнен, оставив вдову и десятерых малолетних детей».

Русское правительство не стремилось к репрессивным мерам по отношению к полякам, служившим в армии Наполеона. Вместе с вернувшимся князем Адамом Чарторижским в окружении Александра и Кутузова вдруг оказалось великолепие карет, колясок и саней. «Толпы польских вельмож в губернских русских мундирах, с пресмыкательными телодвижениями».

В 1815 году в Царстве Польском началась разработка еврейского вопроса в «Комитете реформ». Наиболее либеральный проект был составлен русским комиссаром при правительстве Царства Польского, сенатором Н. Н. Новосильцевым. Он требовал предоставления евреям гражданских прав без всяких ограничений, рекомендуя путь экономической эволюции — распространения ремесел и земледелия. Этот проект вызвал яростный протест со стороны поляков: князя Чарторижского, Зайончека, князя Друцкого-Любецкого и других. Писатель-юдофоб ксендз Сташиц в 1816 году опубликовал статью «О причинах вредности еврейства», где объявил евреев основной причиной упадка Польши и того, что Польша стала «посмешищем Европы» и «еврейской страной».

Не случайно сразу после войны 1812 года в Царстве Польском возникает ряд ритуальных процессов, подготовленных, как считает С. М. Дубнов, сверху. В разных местах Царства Польского — в Межиречье, Влодаве, Люблине и др. — были вдруг найдены детские трупы на пасху 1815 и 1816 годов. Начался ряд судебных процессов. Было арестовано большое количество ни в чем не повинных людей. Единственное отличие от инквизиторских судов прошлого — это то, что арестованных не подвергали средневековым пыткам. Неизвестно, чем бы кончилась эта вакханалия, если бы не последовал грозный окрик из Петербурга — следствие победы здравого смысла в очередном ритуальном процессе, возникшем в Гродно в 1816 году.

Город Гродно издавна был населен евреями: первое упоминание о них относится к XII веку. По разделу Польши 1793 года город отошел к России. Большинство населения его в то время составляли евреи, занимая доминирующее положение в торговле и промышленности.

Гродно был также центром еврейской культуры — в нем находилась одна из первых еврейских типографий. С другой стороны, Гродно был также центром польских и ополяченных помещиков, имевших богатые усадьбы. При вторжении Наполеона в Россию католическое дворянство массами вступало в французскую армию. Так, О. А. Пржецлавский, переживший эту эпопею мальчиком, пишет, что два уезда Гродненской губернии — Слонимский и Новогрудский — за короткий период оккупации образовали два полка (полк Биспинка и полк Раецкого). Из семьи самого автора в Слонимском полку служило два двоюродных брата и дядя. В Слонимском полку служил цвет польского дворянства: князья Вороневские, графы Залусские, графы Тышкевичи и др. Общее число штыков достигало 800.

Польскому дворянству пришлось пережить страшное унижение, учиненное при занятии города русскими войсками под командованием известного партизана, впоследствии генерала, поэта и мемуариста Дениса Давыдова. Предыстория занятия города такова: Наполеон вошел в Москву 2 сентября, а покинул ее спустя 34 дня — 7 октября. По случаю занятия Москвы поляки на балконах Гродно вывесили громадные полотна, аллегорически изображавшие победу союзников (французов и поляков) над русскими. Город был отбит русскими внезапно — 8 декабря, когда всего лишь несколько дней назад дошли неясные слухи об исходе французов из Москвы. Денис Давыдов въехал в Гродно под благословения евреев, под «жидовским балдахинном» и увидел несколько панорам, позорящих русского императора. Его реакция была резкой. Он велел собрать всех жителей города и потребовал от поляков ношения траура по погибшим сородичам и соотечественникам; приказал изготовить в двухдневный срок панорамы, изображающие победу русского оружия над польским и французским. В довершение польского унижения Давыдов гражданскую власть в городе передал кагалу. В двухчасовой срок полякам предлагалось сдать все имеющееся оружие. За неподчинение приказам кагального он пригрозил отдать город на солдатский поток. Давыдов заставил ксендза произнести проповедь в городском соборе, восхваляющую российское воинство и царя Александра I, — в отместку за проповедь, произнесенную при вступлении в город французов этим же ксендзом, тогда превозносившим Наполеона. Короче говоря, по выражению поляков, Давыдов производил в городе

«неистовства». Новоназначенному городскому голове (еврею) было поручено составить списки сотрудничавших с французами.

Но власть кагального в городе была короткой. Уже 22 января 1816 года гражданским губернатором Гродно, а с июня и Виленским губернатором стал князь Франциск-Ксаверий Друцкий-Любецкий, один из принципиальных врагов еврейства. Свою гражданскую карьеру князь Друцкий-Любецкий начал членом гродненского комитета по устройству быта евреев, где примкнул к антиеврейскому большинству. Друцкий-Любецкий был сторонником восстановления Польши, и для него было принципиально важно уличить евреев в тяжком преступлении — ритуальном убийстве; он рассматривал евреев как проправительственную силу, которую следовало дискредитировать перед лицом русских в области весьма чувствительной — религиозной.

Перед пасхой 1816 года в окрестностях города было найдено тело 4-летней христианской девочки, дочери гродненской мещанки Марии Адамович. Христианское население стало обвинять евреев в ритуальном убийстве. Был арестован член гродненского кагала Шолом Лапин. Дело тянулось до февраля 1817 года, когда стараниями Н. Н. Новосильцева и министра духовных дел Голицына было прекращено. Как Новосильцев, лично знавший гродненских евреев (он имел общие с евреями фабрики в окрестностях Гродно), так и мистик-идеалист князь Голицын, мечтавший окрестить евреев через созданное им общество «Израильских христиан», не были юдофобами и потому, вероятно, обратили внимание на то, что в Западном крае и Царстве Польском существует тенденция всякое невыясненное убийство сваливать на евреев, воскрешая средневековые судебные процессы, которые позорили Польшу и готовы были лечь позорным пятном на Россию. 6 марта 1817 года последовал разосланный всем губернаторам циркуляр следующего содержания: «По поводу оказывающихся и ныне в некоторых от Польши присоединенных губерниях изветов на евреев об умерщвлении ими христианских детей, якобы для крови, Его Императорское Величество, приемля во внимание, что таковые изветы и прежде неоднократно опровергаемы были беспристрастными следствиями и королевскими грамотами, высочайше повелеть изволил: объявить всем управляющим губерниями монаршую волю, чтобы впредь евреи не были обвиняемы в умерщвлении хри-

стианских детей без всяких улик, по одному предрассудку, что якобы они имеют нужду в христианской крови».

Один из последовательных антисемитов О. А. Пржецлавский, сам уроженец Гродненской губернии, на глазах которого разыгралась трагедия, пристрастно свидетельствует, что депутат еврейского народа Зундель Зоненберг «жаловался на такую оскорбительную для единоверцев клевету, хитро приписывая ее ненависти поляков (выделено нами. — С.Д.) к евреям за их преданность правительству». Кроме вышеприведенного указа, местному губернскому начальству, князю Друцкому-Любецкому, было сделано высочайшее замечание.

Антисемитская агитация на несколько лет притихла, чтобы с новой силой возобновиться в конце царствования Александра I. В 1822 году костел г. Велижа заказал живописцу А. О. Орловскому (1777—1832) написать большую картину, изображающую евреев, выцеживающих кровь из тела замученного ребенка. Художник придал одному из изображенных лиц сходство с известным в Ленчицах евреем. Картина, подстрекающая народ к ненависти к евреям, была помещена на фасаде церкви, принадлежащей бернардинскому ордену. По жалобе евреев русская власть приказала снять картину. Но в следующем году Орловский написал на этот же сюжет еще большую картину, где придал героям «кровавого обряда» сходство с лицами ленчицкого раввина и других евреев местечка. Это было в марте 1823 года, и чернь, подстрекаемая отставным поручиком Венцеславом Дуниным-Скржино, сумела не допустить снятия картины. Спустя короткое время, в первый день христианской пасхи, исчез трехлетний мальчик Федор Емельянов, найденный через десять дней в болоте исколотым и покрытым ранами. Молва обвиняла евреев, и подозрение пало на двух почтенных граждан Велижа — купца Берлина и ратмана городского магистрата Цетлина. Осенью 1824 года Витебский главный суд постановил: «Случай смерти солдатского сына предать воле Божьей; всех евреев, на которых гадательно возводилось подозрение в убийстве, оставить свободными от всякого подозрения...» Но враждебное евреям местное униатское духовенство старалось направить следствие по ложному пути. Дело попало в руки юдофоба — генерал-губернатора Белоруссии князя Н. Н. Хованского. В городе начались новые аресты, оговоры и подкуп свидетелей. Всего под следствием оказалось 42 человека. К ним применялись методы воздейст-

вия, близкие к средневековым пыткам. Резолюция нового императора Николая I от 26 августа 1826 года отличалась жестокостью, свойственной новому духу времени: «Так как оное происшествие доказывает, что жида употребляемую им терпимость их веры употребляют во зло, то в страх и пример другим — жидовские школы (синагоги) в Велиже запечатать впредь до повеления, не дозволяя служить ни в самих сих школах, ни при них».

Здесь следует сказать несколько слов о Николае I и его отношении к ритуальным убийствам. Сурово осуждая и карая русское сектантство, особенно изуверское, император по аналогии считал, что и среди евреев должны быть тайные группы, занимающиеся ритуальными убийствами. Вместе с тем он понимал, что следствие по Велижскому делу ведется незаконно, и когда получил от князя Хованского донесение, что евреи неоднократно совершали преступления против христиан, такие как умерщвление детей в пригородных корчмах, осквернение церковной утвари и т. п., то в октябре 1827 года начертал резолюцию: «Надо непременно узнать, кто были несчастные сии дети; это должно быть легко, если все это не гнусная ложь».

Недоверие к Велижскому делу росло в Петербурге также и под влиянием жалоб евреев. Князю Хованскому было замечено, что «комиссия, увлеченная своим усердием и предубеждением против евреев, действует несколько пристрастно и длит без пользы дело». В результате дело попало в Сенат и, хотя большинство сенаторов склонялось к осуждению, исполняющему в то время должность товарища министра юстиции графу В. Н. Панину удалось взять на себя рассмотрение вопроса. Основываясь лишь на юридической стороне процесса, Панин убедительно доказал несостоятельность обвинения и потребовал немедленного освобождения невинно осужденных. Доклад произвел впечатление, и в 1834 году дело перешло в высшую инстанцию — Государственный совет, где горячим борцом за поправную справедливость выступил старейший член совета адмирал Н.С. Мордвинов<sup>6</sup>. Ему в то время было около 80-ти лет. Волею обстоятельств он лично знал обвиняемых, т.к. владел поместьями около Велижа, и возмущался лживостью возведенного навета. Будучи председателем департамента гражданских и духовных дел, он сумел непосредственно воздействовать на ход процесса. Мордвинов ясно заявил, что евреи стали жертвой религиозного фанатизма и невежества.

Государственный совет постановил освободить всех евреев и вместе с тем поручил министру внутренних дел подтвердить в губерниях с еврейским населением вышеприведенное высочайшее повеление 1817 года о запрещении ведения ритуальных дел. 18 января 1835 года Николай I наложил резолюцию: «Быть по сему». Спустя почти девять лет после начала следствия невинные были выпущены на свободу, синагоги были распечатаны, свитки Священного Писания были возвращены полицией. Не все осужденные дожили до освобождения, трое скончались в тюрьме.

Инсинуации против еврейства не ограничивались лишь обвинениями евреев в ритуальных убийствах. В это же время начался ряд явно инспирированных уголовных процессов против евреев, обвиненных в ограблении церквей, осквернении святого креста и т. п. Наибольший интерес представляет так называемое «Слонимское дело», возникшее в конце 10-х или в самом начале 20-х годов (во всяком случае, до 1822 года). Суть дела сводилась к тому, что группа евреев, следующих из Могилева на традиционную ярмарку в местечко Бельва, по дороге в Слониме якобы ограбила костел. Как утверждает Пржецлавский, воры были взяты с поличным, когда в погребе местной еврейки делили между собой добычу, ломали и распиливали священные сосуды и кресты. Дело вел городничий Конопка, бывший полковник наполеоновской армии, где служили также несколько его братьев. К этому времени младший брат уже служил в Варшаве в уланском полку, у Великого князя Константина Павловича, сестра их Юлия была замужем за генералом Безобразовым, а овдовев, вышла замуж за Д. П. Татищева, русского посланника в Австрии. Поэтому не имело успеха заступничество депутата еврейского народа Зунделя Зонненберга, который требовал освободить заподозренных в краже до полного выяснения обстоятельств.

В Слонимском уезде, Гродненской губернии, в 1827 году во время праздника Пурим были арестованы евреи по обвинению в осквернении одного из тех деревянных изображений Христа, которые католики ставили на дорогах. Ярыми обличителями евреев выступили ключвойт Луконицкого прихода Домбровский и священник Ягнешицкого костела Малишевский, утверждавшие, что евреи, сорвав изображения Христа, «били оное вместо Гамана». Несмотря на противоречия свидетельских показаний, девять человек были арестованы и приговорены к



каторжным работам. Губернатор утвердил судебное решение. Напомним, что в ту пору гражданским губернатором Гродненской губернии был Ксаверий Друцкий-Любецкий. 9 ноября 1828 года восемь человек подверглись экзекуции и были отправлены в Сибирь. Девятый избежал этой участи — он скончался во время следствия.

Один из еврейских историков писал, что 1816 год был годом «ритуальной вакханалии» в Западном крае и Царстве Польском. В нескольких пунктах — Гродно, Межиречье, Влодаве, Седлице — были найдены трупы христианских детей 2 — 5 лет. Как Варшава, так и Петербург внимательно следили за событиями. Это поветрие было остановлено Александром I в вышеприведенном указе о запрещении ритуальных процессов, внушенном ему министром духовных дел князем А. Н. Голицыным (1773—1844).

Автор предисловия к книге «Ритуальные процессы 1816 года» отмечает, что навет выплыл на свет «под шум дебатов по еврейскому вопросу в литературе и в государственных учреждениях» Царства Польского. Из переписки Голицына и Новосильцева следует, что они хорошо знали источник злобной клеветы на евреев. Голицын пишет: «Приверженность сего народа к Российскому престолу и усердие его к пользам правительства в продолжение прошедшей войны, неоднократно доказанные и как гражданским, так и военным начальством засвидетельствованные, приобрели евреям благоволение Государя Императора и, конечно, дают им полное право, наравне с прочими подданными Его Величества, на покровительство законов».

Процессы действительно прошли лишь в полосе движения французских войск и в Царстве Польском (бывшем опереточном герцогстве Варшавском). Войска Наполеона шли фронтом не шире 50-ти километров через города Вильно, Гродно, Слоним, Витебск. Области, лежащие южнее, в достаточной степени антисемитские, — Южная Белоруссия, Украина — не знали в это время ни одного ритуального процесса, равно как и лежащие севернее района вторжения Белорусско-Прибалтийский и Курляндский края не имели ни единого кровавого навета.

Именно в полосе, занятой французами, евреи выказали необыкновенную преданность Российскому правительству. Вспомним вышеописанные подвиги евреев

Гродно, Слонима, Чаусов, Велижа и Витебска. В этих же городах и прошли антисемитские суды. Это было лишь одной из важнейших причин. Другая причина — это опасения польской аристократии за судьбу своих привилегий. Поляки были обеспокоены проектом Н. Н. Новосильцева, пытавшегося лишить Варшавское правительство возможности влиять на правовое положение евреев. Проект Новосильцева требовал предоставления евреям полного равноправия, что вызвало ожесточенное сопротивление со стороны польской администрации (Сташиц, Чарторижский, Козьмин, Друцкий-Любецкий). Именно дискредитация еврейства в глазах русского правительства была насущной задачей поляков. Лишь неудачное восстание 1830—1831 годов сняло с повестки дня обвинение евреев в ритуальных убийствах. Больше Польша и Западный край не знали в XIX веке ни одного навета.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Этой же точки зрения на ритуальные процессы придерживался и М. Кулишер (1847—1919), который писал: «Эти сказания шли по стопам евреев в другие страны, благодаря усердию католических монахов, и служили почвой для возникновения новых сказок того же рода...» К у л и ш е р М. Миф о ритуальном убийстве у евреев (Возникновение и развитие его). М., 1901, с. 15; см. также: С л и о з б е р г Г. Б. Кровавый навет в России. Рассвет, 1932, № 16—17.

<sup>2</sup> П р ж е ц л а в с к и й О. А. Воспоминания. — Русская старина, № 14, 1883, с. 488—489.

<sup>3</sup> Известны имена некоторых евреев, достигших гражданской власти. Одним из них был городской голова Полтавы Абрам Моисеевич Зеленский, энергично участвовавший в выкупе из крепостного сословия великого русского актера М. С. Щепкина. Существует рассказ о постановке оперы «Жидовская корчма», в которой М. Щепкин образ еврея заимствовал у Зеленского (Щ е п к и н М. С. Жизнь и творчество, т. 2. Москва, Искусство, 1984).

<sup>4</sup> Учитывая исключительный интерес к этому факту, мы приводим литературную версию создания «Израилевского полка», принадлежащую перу романиста и историка Николая Александровича Энгельгардта (1867—1942), весьма реакционного сотрудника суворинского «Нового времени». Тем больший интерес вызывает его описание.

«Теперь, господа, прошу вас на смотр нового сформированного мною Израильского эскадрона, — сказал светлейший и пошел к стоявшей в конце сада декорации, изображавшей ипподром византийских царей. За нею был широкий плац, усыпанный песком, достаточный, дабы произвести эволюцию хотя бы целому полку.

— Что это за Израилевский батальон? — шепотом вопрошали в свите светлейшего.

Никто не знал. Но когда батальон внезапно выехал на арену, без объяснений все поняли, что это было за войско.

Потемкину пришла в голову единственная в своем роде идея — сформировать полк из евреев, который и наименовать Израилевским конным его высочества герцога Фердинанда Брауншвейгского полком, конечно, в том случае, если бы герцог согласился быть шефом столь необычайной войсковой части.

Покамест представлялся светлейшему один эскадрон будущего полка. В лапсердаках, со столь же длинными бородами и пейсами, сколь коротки были их стремена, скорченные от страха на седле, иудеи представляли разительную картину. В их маслинноподобных глазах читалась мучительная тревога, а длинные казацкие пики, которые они держали в тощих руках, колебались и бестолково качались, кивая желтыми значками в разные стороны. Однако батальонный их командир, серьезнейший немец, употребивший немало трудов, чтобы обучить сколько-нибудь сынов Израиля искусству верховой езды и военным эволюциям, командовал, и все шло по уставу порядком. Особенно хорош был батальон, когда поскакал в атаку. Комические фигуры, с развевавшимися пейсами и полами лапсердаков, терявшие стремя и пантофли и скакавшие с копьями наперевес, заставили гречанку разразиться неудержимым смехом, к которому присоединился сдержанный смех прочих дам и улыбки кавалеров.

Кажется, этого только и добивался светлейший. Он прекратил эволюции, поблагодарив батальонного командира.

— Ничего, они уже недурно держатся в седле, и, если еще подучатся, из них выйдет отличное войско, — пресерьезно говорил Потемкин.

И он стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет наконец разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Иерусалим более не во власти неверных. А тогда должно в Палестину выслать всех евреев, так как от них в Европе происходят один плутни. На родине же своей они возродятся. И вот в предвидении сего и подготавливается будущее палестинское войско.

<sup>5</sup> Д а в ы д о в Д. В. Сочинения. М., 1962, с. 364. Известно, что участники войны — евреи получили возможность проживания в столице. Так, известный актер Менакер рассказывает о своем прадеде, получившем это право (см.: М и р о н о в а М. В. и М е н а к е р А. С. «...В своем репертуаре». М., Искусство, 1984, с. 9).

<sup>6</sup> М о р д в и н о в Николай Семенович (1745—1845), государственный деятель, друг Сперанского, единственный участник суда над декабристами, отказавшийся от вынесения смертных приговоров. Приходился дальним родственником М.Ю. Лермонтову.

В «Литературном наследстве» опубликована обширная работа Леонида Гроссмана «Лермонтов и культура Востока». Глава X имеет заголовки «Испанцы» и «Велижское дело», в которой Гроссман убедительно доказывает бесспорное влияние велижской трагедии на сюжет «Испанцев», более того, драма должна была бы называться не «Испанцы», а «Евреи» (Лермонтов, Литературное наследство, т. 43-44. М.—Л., 1941, с. 715—735). Тем удивительнее, что в наши дни издатели «Лермонтовской энциклопедии» умудрились в статье «Испанцы» ни разу не упомянуть слово «еврей».

Д. Романовский

## СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ ПОД НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ

*(На материале Северо-Восточной Белоруссии  
и Северной России)*

Из 6 миллионов евреев, погибших в Европе во время Холокауста — тотального уничтожения евреев нацистами в 1940—1944 годах, — по меньшей мере, каждый четвертый погиб на территории СССР; если же говорить только об исконно советских территориях, то есть об областях, входивших в состав Советского Союза до 1 сентября 1939 года, то на них падает, по разным оценкам, от  $1/8$  до  $1/4$  всех жертв, понесенных еврейским народом во второй мировой войне.

Между тем Холокауст на оккупированных территориях СССР — вероятно, самая неясная, неосвещенная тема во всей истории еврейской катастрофы. Так, в одном из первых и до сих пор одном из наиболее капитальных исследований по истории Холокауста — книге Raul Hilberg'a «The Destruction of the European Jews» — трагическим событиям на советской земле посвящено лишь 70 из 700 страниц текста книги (в старом издании), причем сами эти события рассматриваются автором в их, так сказать, немецком аспекте. В книге Норы Левин «The Holocaust» не более 80-ти страниц из 700 в какой-то мере касаются советских событий (наряду с событиями в Польше и других странах). В книге Lucy Dawidowicz «The War against Jews» советский раздел фактически отсутствует. Мало информации и в последнем труде Мартина Гильберта.

Само количество погибших советских евреев до сих

пор точно не установлено. Несколько расчетов числа жертв геноцида, статистические сводки по всей оккупированной Европе и по отдельным районам, существующие на сегодняшний день, разнятся как раз за счет оценки числа евреев, погибших в СССР. Оценки по Советскому Союзу (в границах 1938 года) колеблются от 700 тысяч уничтоженных евреев (Reitlinger) до 1 500 000 (Лещинский / Lestchinsky).

В таком положении дел нет ничего удивительного. Советская историография упорно молчит о еврейской трагедии уже в течение без малого 40 лет. Официальные документы — довольно скудные, — касающиеся уничтожения мирного населения и составленные различными советскими органами, почти нигде особо не выделяют евреев. Еврейская общность СССР уникальна в том отношении, что здесь уже давно не существует официально признанной еврейской общины. Нигде, ни в каком городе, ни в каком местечке евреи не составляют ни юридически, ни духовно единого целого, они как бы обезличены, искусственно перемешаны с окружающим населением. Это значит, что уже свыше полувека не существует никакой еврейской общественной жизни, не ведется еврейская документация и исчез самый навык к ведению такой документации. То, что доступно еврейскому историку на Западе — документы общин, еврейские архивы, еврейская публицистика и т.д., — в СССР недоступно.

Хорошим источником информации о Холокаусте на советской территории могли бы послужить материалы судебных процессов над нацистскими преступниками и их сообщниками, прокатившиеся первой волной сразу после войны (наиболее известен из них Минский процесс 1946 года) и второй волной — при Хрущеве, в 1957—1963 годах, одновременно с процессом Эйхмана в Иерусалиме и с Франкфуртским процессом 1963 года. Однако материалы этих процессов находятся в настоящее время в архиве КГБ и совершенно недоступны исследователю. Еще один возможный источник — официальные немецкие документы (так, Хилберг основывался почти исключительно на них). Не говоря уже о том, что эти документы палачей со всеми присущими им изъянами, отметим лишь, что и эти бумаги — как военные трофеи — находятся по большей части в советских архивах, закрытых для подавляющего большинства историков.

Единственный источник, к которому пока еще можно прибегнуть, — это живые свидетели катастрофы, очевидцы, евреи и неевреи, собственными глазами видевшие страшные события 1941—1942 годов. В настоящей статье не используются опубликованные данные и архивные документы — только свидетельства очевидцев. Материалом служат события в Восточной Белоруссии и в сопредельных с нею районах России, то есть на землях исконно советских, а не «воссоединенных».

## I

Для краткости я не буду останавливаться на ходе военных действий летом — осенью 1941 года; они в достаточной мере освещены в литературе. Я только отмечу, что быстрее всего германские войска захватили Белоруссию — это было главное московское направление, и сюда были брошены лучшие силы вермахта. Минск немцы взяли 28 июня 1941 года; к 5 июля под Могилевом они вышли на Днепровский рубеж; Витебск был оккупирован 11 июля, Смоленск — 16 июля. Стремительное немецкое наступление захватило гражданское население, в том числе и евреев, врасплох.

До того как город или местечко захватывали немцы, оттуда успевало уйти около половины евреев. Бывали отклонения от этой доли как в ту, так и в другую сторону, но в среднем, по многочисленным свидетельствам, не более половины еврейского населения Восточной Белоруссии — Западной России сумело уйти от неминуемой гибели. Современного человека, живущего в мирной обстановке 80-х годов и вооруженного знанием дальнейшей истории, вероятно, удивит — почему так мало? Кажалось бы, всем известно, что лютее всего немцы настроены по отношению к евреям, — значит, бросай все и уходи. Тем более, что Восточная Белоруссия достаточно далеко от границы (новой) и через нее проходит несколько магистральных железных и шоссейных дорог.

Действительность, как всегда, была гораздо сложнее, она не подходила под элементарный рецепт «вставай-уйди».

Уход населения от наступающего врага может быть успешным тогда, когда он организован, и притом заранее, пока враг еще достаточно далеко. Самостоятельный уход из прифронтовой полосы был делом очень трудным

и рискованным. Дороги были заняты; своего транспорта почти ни у кого не было — велосипеды были предметом роскоши, да и вещи не погрузишь на велосипед, лошади с подводами были у немногих; большинство беженцев составляли горожане, они не знали местности, проселочных дорог, легко могли сбиться с пути, попасть в руки немцам, могли быть в дороге ограблены; колонны пеших беженцев были частой мишенью для низко летящих немецких самолетов, и группы, не имеющие опытного руководителя, впадали в панику, несли потери.

Однако был и более существенный фактор, не позволяющий человеку самостоятельно уходить из прифронтного города — это само военное положение. По законам, введенным незадолго до войны, в 1939 году, работник советского государственного предприятия не мог уволиться и быть уволенным без разрешения достаточно высоких властей, и самовольное оставление места работы считалось уголовным преступлением. Люди были привязаны к месту, по меньшей мере до тех пор, пока не наступал общий хаос и существовало само предприятие. Но не меньшей силы императив, только моральный, удерживал на месте тех, кто не были работниками предприятий и госучреждений. Тыл был подмогой фронту и, в каком-то смысле, вторым фронтом. Царила атмосфера всеобщей мобилизации. Строились укрепления, школьники выходили на ночные дежурства ПВО. И в мирное время трудно бросить все и уехать прочь со своего привычного места (вспомним, насколько это было трудно в конце 30-х годов). Во много раз труднее сделать это тогда, когда каждый остающийся трудится во имя победы, а каждый эвакуирующийся (ранее официально объявленной эвакуации) рассматривается не только властями, но и общественным мнением как дезертир. Оставались на местах рабочие и служащие, оставались врачи и медсестры, оставались мужчины и женщины, посланные рыть окопы; даже продавцы в бездействующих уже магазинах и сторожа при никому не нужных складах могли быть убеждены, что, оставаясь на месте, они выполняют долг перед родиной.

Исключительным источником инициативы в советском тылу были власти (партийная, советская и военная). Задача власти не спасать население, а организовать отпор врагу. Заблаговременно объявить в городе эвакуацию, то есть начать ее тогда, когда немцам еще остается несколько дней до захвата города, было для на-

чальства делом немыслимым. Это значило расписаться по меньшей мере в двух грехах: в неэффективности принятых оборонительных мер (выходит, вместо того, чтобы гнать население на рытье окопов, ему кричат: спасайся, кто может!), а также в паникерстве и неверии в победу Красной Армии. За последнее в особенности можно было поплатиться не только постом, но и головой. Значит, чтобы не быть обвиненными в этих обоих грехах, власти должны были проводить кипучую деятельность на пользу фронту — даже тогда, когда фронт был уже прорван и самые оборонительные меры были вопиюще бессмысленны.

В Горках Могилевской области за 2—3 дня до прихода немцев руководство отправило ребят 1924—1925 годов рождения, по большей части евреев, в район Шклова — рыть окопы. Там они и были застигнуты немцами и погибли. Аналогичные случаи — случаи захвата немцами евреев — горожан, отправленных властями на оборонительные работы, вспоминают жители Городка Витебской области и других мест.

В тех случаях, когда эвакуация организовывалась властями, ее объектом не было все мирное население. У советских властей (военных и гражданских) была своя «иерархия ценностей», подлежащих спасению от врага. Руководство отвечало не за жизни людей, которым, возможно, угрожала смертельная опасность, а прежде всего — за государственное имущество и за средства ведения войны. При формировании эвакуационного эшелона приоритет был за ранеными, вывозимыми из госпиталей и с передовой. Мирное население оставлялось на произвол судьбы. Что касается вывоза промышленного оборудования, то он спас жизни многим тысячам евреев — рабочих и служащих эвакуируемых предприятий, а также многим другим евреям, затесавшимся в их среду под видом рабочих.

Единственным крупным предприятием в Шклове Могилевской области была бумажная фабрика. Ее эвакуация была начата за 2—3 дня до объявления организованной эвакуации населения. Вместе со станками и прочим удалось выехать и работникам фабрики. Рабочие с семьями были помещены в вагоны вместе со станками, часто поверх станков (семья свидетеля Я. — на пространстве между вальцами станка и потолком вагона высота свободного места примерно 1 метр; сюда же мать Я., на свой страх и риск, взяла несколько нелегальных



пассажиров — евреев-беженцев из Вилейки). В других вагонах были «нелегалы» из Белостока и Минска. Устроенные таким образом, беженцы ехали до Краснокамска на Урале, где и была развернута фабрика.

Когда наконец местное начальство отваживалось (или получало указание свыше) начать эвакуацию людей, в первый (и, зачастую, единственный) эшелон этой эвакуации попадало несколько категорий лиц, которым, в представлении властей, грозила наибольшая опасность в случае немецкой оккупации. Евреи отнюдь не принадлежали ни к одной из этих категорий. С официальной точки зрения, наибольшей опасности подвергались работники партийного и советского аппарата, работники органов внутренних дел и семьи комсостава Красной Армии. По возможности, именно им предоставлялись самые скорые, надежные и комфортабельные средства эвакуации: автомобиль, место в пассажирском поезде и т.п. Остальные могли рассчитывать в лучшем случае на подводу, свою или казенную, чаще же на свою сноровку, свои ноги и плечи.

И все же стихийная эвакуация — фактически являвшаяся не чем иным, как паническим бегством, — была. Во многих городах и местечках только такая эвакуация и имела место — тогда, когда в руководстве царил хаос или само оно дезертировало, бросив население города на произвол судьбы. Обычно начало повальному бегству клал воздушный налет немецкой авиации, большая бомбардировка. Однако зачастую уходить из горящего города было уже поздно — не все из ушедших таким путем сумели ускользнуть от немецкого наступления.

Наряду с объективными факторами, препятствовавшими заблаговременному уходу еврейского населения, были и субъективные; наряду с теми, кто не смог уйти, были и те, кто не захотел уйти.

Прежде всего, еще во многом работала психология мирного времени. Положение было плохо, но никто не представлял, насколько оно плохо и сколь велика опасность. С довоенных времен народ воспитывался в убеждении, что грядущая война будет «малой кровью и на чужой земле». Это убеждение в сочетании с отсутствием правдивой информации о ходе военных действий питали различные легенды и фантастические надежды. В основном все полагали, что отступление носит временный характер и скоро сменится наступлением. Во всех районах Белоруссии люди надеялись на какое-то верное средство

против немцев. Жители северной Витебщины и Невеля уповали на укрепрайон под Полоцком, жители Центральной Белоруссии — на укрепрайон под Минском. Им было невдомек, что укрепления вдоль старой границы демонтированы.

Немцев вообще не боялись. Боялись не столько оккупации, сколько боевых действий. Жители городов считали, что надо отсиживаться в деревнях. Позже, когда перспектива немецкой оккупации стала вполне реальной, считали, что она ненадолго. Эта война, полагали многие, вообще ненадолго.

Один из важнейших вопросов — насколько реально советские евреи представляли себе опасность, нависшую именно над ними. Безусловно, все знали, что нацисты против евреев и преследуют их, но что значит — преследуют?

Еврейская молодежь, особенно комсомольцы, воспринимали возможный приход немцев как серьезную опасность для евреев. В 30-е годы немало говорилось и писалось о нацистском антисемитизме. По всем экранам прошли фильмы «Семья Оппенгейм» (по роману Фейхтвангера) и «Профессор Мамлок»; они весьма повлияли на общественное мнение. Однако в 1939—1941 годах, в связи с заключением советско-германского пакта, накал антифашистской пропаганды понизился. Об антиеврейских мероприятиях нацистов сообщалось мало. Самый термин «окончательное решение еврейского вопроса» потерял в передаче советских органов массовой информации свой зловеший, угрожающий оттенок. Кто его знает, в чем это «окончательное решение» состоит? Может быть, евреи от него не очень-то и проиграют? Когда, с началом войны, средства пропаганды опять всюду заговорили об антисемитизме немцев, «многоопытные» евреи считали эти сообщения пропагандистской уловкой.

Согласно официальной советской версии, главным врагом фашистов являлись не евреи, а коммунисты. Именно им, по всеобщему, в том числе и еврейскому, убеждению, грозила основная опасность. Поэтому уйти из прифронтовых районов в тыл старались, в первую очередь, коммунисты и комсомольцы из евреев, а остальные относились к угрозе нацистской оккупации более спокойно. Многие совершенно всерьез считали, что бывшим торговцам, нэпманам и т.д. вообще при немцах будет раздолье, потому что фашисты ведь за капитализм и хорошо относятся к бывшим «буржуям».

Но наиболее отрицательную роль в расхолаживании еврейского населения сыграло воспоминание о немецкой оккупации «в ту войну», о немцах 1918 года. Тогда из всех армий, прошедших с 1915 по 1921 год через Белоруссию, немецкая была самая лояльная по отношению к населению и, в частности, к евреям. Для иных местечек тогдашняя немецкая оккупация была первым соприкосновением с цивилизацией. Так, в Борисове в 1918 году, при немцах, впервые появилось электрическое освещение; и нечто в таком же роде могли вспомнить и в других городах, побывавших в те времена в оккупации. Если же город или местечко в 1918 году не были под немцами, там мог оказаться еврей, каким-либо образом побывавший в Германии, например, получивший там образование и отговаривавший своих соплеменников эвакуироваться.

С другой стороны, в Восточной Белоруссии в 1939 году появилась такая прослойка населения, как еврей-беженцы из Польши. Эти беженцы собственными глазами видели немцев новой формации и могли рассказать о них больше, чем любая газета. Такие беженцы, хотя бы в количестве одной семьи, имелись почти во всех городах и местечках Восточной Белоруссии. Однако часто это были люди незаметные, к которым не прислушивались, рассказы их оставляли без внимания. В других местах польские беженцы были на виду и весьма повлияли на общественное мнение. Так, Т. из Минска считает, что он поднялся уходить из города только потому, что постоянно общался с польскими евреями.

В атмосфере, когда сведения о том, что такое оккупация, поступали противоречивые, объективная информация отсутствовала, а в общественном сознании господствовали легенды, на решение вопроса «уходить или не уходить» повлияли самые примитивные мотивы. Многим было жалко бросать свое добро, дом, скотину. Впрочем, это, быть может, по тем временам был и не очень примитивный мотив. В конце 30-х годов, когда прекратились экономические эксперименты коммунистов, уровень жизни населения несколько поднялся. Первыми признаками наступившего благосостояния были самые простые вещи — элементарная мебель (стол, кровать), швейная машинка, а то и теплая шапка, а как предел роскоши — собственный велосипед или радиоприемник. Это и было то добро, которое привязывало людей к дому. После двух десятилетий голодной и нищей жизни не так-то

легко было от всего этого отказаться, переехать неизвестно куда и снова начать все с нуля. А для тех евреев, чьи местечки в 20 — 30-е годы превратились в колхозы, таких, как Сиротино Витебской области, для тысячи евреев — ишувников, превратившихся за это время в крестьян и т.п., — в понятие «добро» включался еще и свой участок, и коровенка, и прочие особенности крестьянского хозяйства. Крестьянам было труднее, чем горожанам, расстаться со своей «худобой», и неудивительно, что почти все еврейское крестьянство в годы войны было выбито.

## II

Ситуация, в которой оказались советские евреи под властью нацистов, во многих отношениях была уникальна, специфична в сравнении с ситуацией остального еврейского народа под гитлеровской оккупацией. Чтобы уяснить себе эту специфичность, следует принять во внимание два обстоятельства.

Согласно нацистскому мифу, большевистская Россия была главной штаб-квартирой мирового еврейства, мозговым центром всемирного еврейского заговора. (Другая штаб-квартира — штаб-квартира еврейской плутократии — в Америке, но до Америки еще далеко, да и что такое финансовые тузы по сравнению с иудеобольшевиками!). Вступая на советскую почву, немецкий солдат — впервые — попадал на территорию, контролируемую «сионскими мудрецами». Борьба с мировым еврейством (одна из официальных целей Третьего Рейха!) не могла не начаться с уничтожения его головного ядра. Не случайно именно на советской земле «окончательное решение» вступило в свою самую решительную фазу — фазу поголовного уничтожения всех евреев.

Истребление евреев в СССР проводилось не в соответствии с каким-либо особым приказом, а во исполнение широко известного «Komissarbefehl», приказа о комиссарах от 6 июня 1941 года. Евреи от мала до велика, включая женщин, стариков и детей — причислялись нацистской догмой к «комиссарам». Покажется удивительным, но немецкие инстанции, в том числе такие серьезные, как армейское руководство (а не какие-нибудь партийные болтуны), всерьез были уверены, что руководство советской страной, ее политикой и самое сопротивление германскому режиму исходят от евреев. Знаменитый

приказ фельдмаршала фон Рейхенау от 10 октября 1941 года и директива Кейтеля «Евреи на новооккупированных восточных территориях» от 12 сентября 1941 года — яркая иллюстрация того, как нацистский миф усвоен руководством вермахта.

Второе же обстоятельство, которое необходимо учитывать, — ареной Холокауста в июне 1941 года стала территория особого, советского государства, а средой, в которой он развивался — особое, советское общество. Еврейская ситуация на оккупированной части СССР уникальна в той же мере, в какой уникально и само советское общество. Уже отмечалось, что евреи СССР — единственная еврейская группа в мире, не имевшая настоящей общины. Но не менее специфична и русская, украинская и т.д. фракция советского общества. Любой член этого общества был человеком совершенно особого рода, человеком, прошедшим 23-летнее — особое — советское воспитание, имевший за своими плечами специфический советский опыт, отличный от опыта поляка, голландца или даже литовца. Можно сказать, что в 1941 году советское общество, как феномен, отстояло от европейского так же далеко, как, например, китайское.

«Окончательное решение еврейского вопроса» и доктрина искоренения иудеобольшевизма обладали и дополнительной ценностью для оккупантов. Они давали им возможность представить населению завоеванных территорий германскую агрессию как освободительную войну. Немцы пришли не захватывать новые земли, а освобождать крестьян от большевиков, неустанно вещала нацистская пропаганда. В идее, что чужеземцы освобождают русский народ от власти — плохой или хорошей, — но своей, русской, было что-то противоестественное, гитлеровцам необходимо было выглядеть как национальным освободителям. И нацистская пропаганда блестяще справилась с этой задачей: не новая, а прежняя, советская, власть — чужеземная, это — еврейская власть. Евреи были отождествлены с коммунистами; слова «коммунист» или «большевик» и «еврей», «жид» во всех немецких пропагандистских материалах появлялись рядом, легко заменяли друг друга. Все, чем были недовольны крестьяне и горожане — коллективизация, раскулачивание, режим труда в колхозах и на производстве, его оплата, снабжение, — все было приписано евреям, всем в целом и каждому в отдельности. Кроме того, евреи обвинялись в том, что они развязали войну; таким образом,

немцы перекладывали на них и свою, очевидную в глазах массы населения, вину за все бедствия военного времени. Был создан и внедрен в народное сознание образ еврейского эксплуататора, пьющего соки из трудящихся. Спектр доказательств был широк: от евреев-директоров и евреев-«комиссаров НКВД» до использования русских женщин в качестве домработниц.

Миссия германской армии, таким образом, была в совершении «национал-социалистической революции» и свержении класса еврейских эксплуататоров (идеология и терминология — куда как привычная советскому человеку). Новая власть называлась *die neue Ordnung*, что можно перевести не только как «новый порядок», но и как «новый строй». Одновременно этот «новый строй» был восстановлением старого добольшевистского, исконно русского строя. Первым делом оккупанты занялись «восстановлением традиционной русской формы правления» — созданием русских органов власти.

Было сохранено советское районное деление. Во главе района ставился начальник района, русский, со своим — чисто русским — чиновным аппаратом. В волостях (сельсоветах) был поставлен бургомистр, при нем была управа, делившаяся на отделы (вполне мирные — землеустроительный, здравоохранения и т.д.), при нем же была русская полиция. В деревнях крестьянским сходом, реже — прямым назначением военных властей, был избран староста, при нем 1-2, иногда больше полицейских. Поразительно, насколько быстро — в считанные дни — оккупантам удалось сформировать эти органы власти, особенно многочисленную полицию с ее отнюдь не безобидными функциями.

Какова была реакция «освобождаемого русского населения» на эту замену идеологии? Следует признать, что основная масса русских эту доктрину «освобождения от большевизма» на первых порах приняла. Ничего удивительного в этом нет. В памяти у всех живы были ужасы коллективизации и последовавшей за этим развал хозяйства. Немцев ждали как освободителей; не только евреи — украинцы и белорусы старшего поколения хорошо помнили немцев 1918 года. Советская действительность даже 1940 года не выигрывала в сравнении с 1918-м. «Немцы освободят нас от колхоза» — такую формулу можно было накануне оккупации услышать не только от белорусов, пострадавших от коллективизации и раскулачиваний, но и от евреев, имевших зачастую лишь кос-

венное отношение к колхозам — ибо общее настроение передавалось и им. Известны случаи (правда, крайне редкие), когда, наряду с белорусами и украинцами, немцев встречали «хлебом-солью» также и евреи (Касьяновский из Городка Витебской области).

Самое зерно нацистской пропаганды — обвинение евреев в том, что именно на них держится советский режим — было брошено на хорошо подготовленную почву. Народное сознание могло само привести немало подтверждений тезису об «иудеократии».

В памяти украинцев и белорусов старшего поколения живы были времена «жидокомиссаров» — когда непропорционально большое участие в революции и гражданской войне приняли евреи. Многочисленные евреи в новых партийно-советских органах власти в 20-е годы также иллюстрировали тезис об «иудеократии». Немало активистов из числа евреев приняло участие в коллективизации — одни в составе так называемых двадцатитысячников, другие — как работники НКВД, придававшие этому процессу кровавую «солидность». Разумеется, в конце тридцатых годов эпоха «жидокомиссаров» давно миновала. Партийно-советские органы, органы НКВД спешно очищались или уже были очищены от евреев. Однако не недостижимое по своей высоте партийное руководство и не загадочно-страшные НКВД-исты были властью в глазах крестьян и горожан-провинциалов Белоруссии и Украины. Гораздо более реальной властью были председатель Заготскота и Заготзерна, Заготкожи и Заготльна, председатель райфо и райпотребсоюза, даже попросту фининспектор и чиновник районо — ибо с кем же из начальства общается больше всего простой крестьянин или ремесленник? А вот на этих должностях позиции евреев еще и в 40 году были неколебимы. Неудивительно — весь XIX век евреи регулировали обмен между городом и деревней в Западном крае — в качестве торговцев, прасолов, скупщиков и т.д., эту же функцию — вековой опыт — они выполняли и в 20—30-е годы, только в качестве совслужащих заготовительных и финансовых организаций.

Немаловажную роль в принятии нацистского мифа сыграло и народное представление о том, что евреи меньше пострадали от советской власти, чем неевреи. Конечно, такого потока ссыльных евреев, какой образовался из раскулаченных белорусов и украинцев, до 1939—1940 года не было (да и сами ссыльные евреи

1939—1940 годов пошли не из Восточной Белоруссии, а с новоприсоединенных территорий). Коллективизация не так больно ударила по евреям, как по неевреям. Для многих евреев она была скорее благом — она давала возможность тысячам безработных «продавцов воздуха» найти какой-то источник существования, а слабым еврейским сельхозколхозам — укрепиться экономически (за счет раскулаченных). «И коллективизацию и раскулачивание проводили здесь евреи, — резюмирует Б., бывший колхозник сельхозколхоза в Сиротино Витебской области, в 1939 году преобразованной в колхоз. — Евреи хотели в колхоз, русские не хотели — они убежали, стреляли и так далее». Неудивительно, что евреи в глазах сиротинских белорусов ассоциировались с коллективизацией.

То, что ликвидация нэпа в 1928 году нанесла по евреям тяжелый удар, разорив и поставив за грань закона тысячи людей, для русских было не очень заметно — лишены средств к существованию (и прав) евреи двинулись в Минск, Ленинград, Москву, Харьков и исчезли из их поля зрения. Даже крепкие еврейские крестьяне, по которым ударила коллективизация, более спокойно, чем русские, бросали недавно обретенную землю и уезжали в города. А главное — любой еврей, даже пострадавший в 1928 году или в 1931-м, был в той или иной мере благодарен советской власти, избавившей его от черты оседлости и погромов. У русских было куда меньше оснований испытывать благодарность к Советам, которые начали за здоровье, а кончили за упокой.

Однако неверно считать, что реакция основного (нееврейского) населения на нацистскую оккупацию вообще и на уничтожение евреев в частности исчерпывается покорным принятием доктрины «освобождения от большевизма». Эта реакция была, разумеется, сложнее, и только разобравшись в ней можно ответить на проклятые вопросы: помогали ли русские евреям в этот страшный час? Кому они больше сочувствовали — палачам или жертвам? И не лежит ли на окружавшем погибших евреях населении доля вины за все содеянное?

Самым сильным мотивом, определявшим поведение русских, на глазах которых шло уничтожение евреев, был страх. Прежде всего страх заставил отвернуться большинство основного населения от евреев, именно под его действием русские чаще всего закрывали двери перед искавшими у них спасения евреями, гнали их из дере-



вень и выдавали зашедших туда беженцев из гетто. Не будем сурово осуждать этих людей. За укрывательство еврея русскому чаще всего полагался расстрел. Чтобы дать приют незнакомому, чужому — во всех отношениях — человеку, рискуя собственной жизнью и жизнью своих родных, нужен героизм. Нельзя требовать его ото всех, на него способны единицы.

Но существовал и традиционный антисемитизм. При советской власти подзапретный и подавленный, загнанный вглубь, он при немцах вышел наружу и проявился в отношении основного населения к геноциду евреев. Те же самые люди, которые отказывали в приюте евреям, впускали в свои дома бежавших военнопленных и окруженцев, хотя за них наказание было не меньше, чем за евреев. Потому что в их глазах окруженцы, пленные были «свои ребята», даже тогда, когда родина их была за сотни километров, а евреи — даже соседи — не свои. От евреев, которых спасали, часто ждали какого-то материального вознаграждения (ведь евреи!), русских спасали «за так». Русский окруженец, поселившийся в деревне и выдававший себя за местного «мужика», обычно мог рассчитывать на молчание односельчан (на таких мирных окруженцев зачастую закрывали глаза даже полиция и немцы); еврей, выдававший себя за деревенского, рисковал быть выданным каждый день. В сознании белорусов, украинцев, русских продолжало жить представление о евреях, как о людях, безусловно чужих и второго сорта, не могущих рассчитывать на те же чувства и то же отношение, что и «свои».

Но страх и традиционный антисемитизм — это очевидные мотивы поведения нееврейского населения в то время, характерные для всех оккупированных стран. Были еще и специфически советские мотивы.

Прежде всего — то, что в 1941—1942 годах, на глазах русских, происходило с евреями — было обычным делом. За 24 года, прошедших с 1917-го по немецкую оккупацию, советский человек успел навидаться такого, что уже ко всему притерпелся. У власти (советской) всегда были враги, и всегда с ними велась жестокая борьба, часто и кровавая. В 1917—1918 годах таким врагом был старый «эксплуататорский класс», элита дореволюционного общества; в 1921 году — остатки белых и недовольные продразверсткой крестьяне; в 1928 году врагами были городские нэпманы, а в 1930—1931 — сельские «кулаки»; все тридцатые годы врагами были

поочередно то троцкисты, то бухаринцы, уклонисты левые и правые. И со всеми велась борьба не на жизнь, а на смерть, и власть требовала от рядовых граждан поголовного участия в этой борьбе — уклонистов надо было публично предавать проклятию, кулаков — выселять, и т.д.

И вот пришли немцы, и установилась новая, немецкая власть. Разумеется, у нее тоже свои враги — на этот раз евреи. Эти враги не более абсурдны, чем, скажем, бухаринцы, и борьба с ними ведется лишь немного более жестокими методами, чем с крестьянами 1930—1931 годов, подпавшими под категорию «кулаков». И опять — все остальные должны принять участие в их избиении. Новое время — новые хозяева; у новых хозяев — новые враги. Однако схема та же, и приемы те же, и даже идеологическая подкладка — та же: евреи, как и кулаки, нэпманы, «белые» — угнетатели и эксплуататоры трудового народа, а борьба и с теми и с другими ведется классовая. Все привычно советскому человеку.

Как могли крестьяне в 1941 году сочувствовать евреям, когда в 30-е годы они не сочувствовали ссыльным? Как могли они не принять участие в антиеврейских акциях гитлеровцев, когда в 1931 году они выселяли своих же соседей-«кулаков» из их изб? Воистину, советская власть воспитала человека, очень удобного для любого тоталитарного режима, в особенности — для режима нацистской оккупации.

Наконец последнее, что страшным образом сказалось на судьбе евреев занятых советских областей — это природное равнодушие окружавшего их населения, то самое равнодушие, благодаря которому, по словам Бруно Ясенского, на земле существует и убийство, и предательство.

В городе Себеже Псковской области в первые дни оккупации, по обвинению в поджоге, было расстреляно два еврея. Закопала их полиция неаккуратно — из земли торчали ноги. Эти ноги вызвали массу шуток среди русского населения нижней части города, где был расстрел. Большой окончательный расстрел себежских евреев в марте 1942 года (96 человек. В основном старики, женщины и дети) также послужил развлечением для горожан, скрасил им, так сказать, серое однообразие будней. Полицаи, по-видимому, не стеснялись, рассказывали жителям о расстреле, и до сих пор старожилы со смехом пересказывают анекдоты об этом страшном событии: тронутая жидовка Хана кричала: «Великий Сталин, по-

смотри, как над нами издеваются», а начальник полиции Бусс вырвал из рук у одной женщины ребенка 3-4-месячного возраста, подбросил его в воздух и застрелил в воздухе из пистолета со словами: «Пусть жидовская кровь не поганыт русскую землю». Труп ребенка свалился прямо в яму.

Что это? Антисемитизм? Не только. Это — общая этическая неразвитость, какая-то духовная нецивилизованность. Жители Себежа, как и жители многих других городов и местечек Белоруссии, России и Украины, не ненавидели евреев, а попросту были безразличны к ним. Жизнь и смерть неблизкого, чужого человека, в особенности иноплеменника, не трогает их. («Как расстреляли евреев? Да что тут рассказывать — не знаю. Расстреляли — и расстреляли. И все», — из разговора с одной престарелой себежанкой, свидетельницей событий.) В русском народном сознании отсутствует представление о ценности человеческой жизни; ничего экстраординарного в акте убийства человека для среднего русского нет.

Так специфика советского общества отразилась на судьбе евреев, входивших в него составной частью. Еврейской массе, мирно трудившейся бок о бок с белорусами и украинцами, пришлось расплачиваться своей кровью за преступления наркома Лазаря Кагановича и пресловутых «жидокомиссаров»; расплачиваться всем, от мала до велика, и расплачиваться перед теми, кто не мог и не желал разбирать правых и виноватых, кто ни в грош не ставил человеческую жизнь и готов был принять участие в любой, сколь угодно жестокой акции, организованной бессовестной тоталитарной властью.

### III

Как выглядело уничтожение еврейского населения в Восточной Белоруссии с близкого, так сказать, расстояния?

Так, первое, что делали немцы, приходя в город, — это формировали русские органы власти: назначали (или избирали) бургомистра, управу, создавали полицию. Затем, обычно с участием уже созданной помощи, ликвидировали остатки прежней политической элиты, если она не успела загодя покинуть город. Первыми под расстрел шли коммунисты, советские активисты, особо заметные комсомольские вожди. Всего количество таких

жертв составляло от 1-2-х до нескольких десятков человек.

На этом национал-социалистическая революция не кончалась. Следующим шагом оккупанты принимались за евреев.

Если евреев было много — назначался особый еврейский староста ( в Чашниках Витебской области — бывший завхоз больницы Черейский; в Яновичах — врач Лифшиц; в Сенно — бывший директор школы Свойский). В местечках поменьше никаких старост не было. Староста назначался обычно по рекомендации русского бургомистра из числа евреев достаточно авторитетных, покладистых и знающих немецкий язык. Никакой реальной властью староста не обладал — он составлял для немцев всевозможные списки, доводил до евреев приказы оккупантов, распределял работы, исполнять которые приказывали евреям. Еврейская полиция, как в польских гетто, в маленьких городах рассматриваемого района практически отсутствовала. Лично мне известно о наличии полиции в гетто только одного города — Велижа Смоленской области (в гетто было не менее 1400 евреев; просуществовало оно до 30 января 1942 года).

Одновременно немцам надо было четко определить — кто именно еврей. Для этой цели немцы устраивали «перепись евреев» — регистрацию еврейского населения. После того, как круг евреев был очерчен оккупантами, им надо было отделить их от неевреев. Для этого на евреев навешивали опознавательный знак. Каждый взрослый еврей должен былшить на свою одежду «желтую латку». Иногда это была желтоматерчатая шестиконечная звезда, но обычно — просто два желтых круга на правом плече — один спереди, другой сзади. Окружающее население быстро окрестило эти круги «орден Ленина — орден Сталина». Позже во многих местах были созданы особые «еврейские лагеря», то есть гетто; часто гетто были совершенно примитивного устройства, реже — очень основательные. В Городке Витебской области гетто было создано в августе 1941 года на склоне, спускавшемся к реке Горожанке. В него входило большое деревянное здание бывшего училища и еще несколько домов. Гетто было обнесено колючей проволокой с трех сторон (четвертая — река). В самом высоком месте у границы лагеря стояла вышка, на ней дежурил немец — автоматчик. Всего в гетто попало 500 евреев, теснота была ужасающая. В Велиже Смоленской области в гетто входило

27 домов по Жгутовской улице и большой свинарник (там оказалось 500 человек) в конце ее. В свинарнике были оборудованы нары в 2-3 этажа и печка, окна были заколочены досками; гетто охранялось. В других местах гетто было устроено проще. В Яновичах, Ушачах Витебской области, в Усвятах Псковской области гетто представляло собой просто огороженный проволокой район местечка, откуда предварительно были выселены все русские и вселены евреи; гетто охранялось одним русским полицейским. В Сиротино Витебской области, Себеже Псковской области и в Торопце Калининской такое же гетто даже не было ничем огорожено. В Невеле Псковской области евреев выселяли за город, на так называемую Голубую Дачу, причем не менее 700 человек втиснули в несколько домов сельского типа; Голубая Дача не была огорожена, но охранялась одним человеком (часовым). В Чашниках, Бешенковичах Витебской области, в Горках Могилевской области гетто не было вообще — евреев просто выселили из многих домов на окраине и сгруппировали их в центре, также в тесноте; однако еврейский район не был ничем огражден и не охранялся; формально евреям даже не запрещалось выходить за пределы этого района. В Сенно Витебской области такое выселение евреев с окраин и с западного берега озера на восточный (в район, называемый Голынка) прошло в несколько этапов — евреев после первого выселения еще «уплотняли». В Езерище Витебской и в Опочке Псковской областей все евреи сравнительно незадолго до расстрела были собраны в один большой дом (в Езерище — в бывшую гостиницу; в Опочке — в первый этаж и в подвал сгоревшего четырехэтажного дома в центре города), до этого формально пользовались свободой.

Итак, гетто были созданы далеко не везде и не сразу. Формального полицейского или немецкого приказа, запрещающего общение между евреями и русскими, тоже во многих местах не было. Между тем, почти все старожилы этих местечек вспоминают о гетто. Старожилы города Горки — почти все — утверждают, что в Горках было гетто на Мстиславской горе. Между тем в действительности гетто там не было! Мстиславка не была огорожена и никем не охранялась. И тем не менее — редко кто из евреев отваживался выходить за пределы отведенного для них района. Жители русской части города почти перестали видеть на «своей территории» евреев, иду-

щих «не под конвоем». Ибо выходить в русскую часть города евреям сразу стало опасно. Любой еврей мог там подвергнуться издевательствам и нападениям, причем не только со стороны немцев или русской полиции. В Чашниках к немногочисленным водоразборным колонкам, оказавшимся в пределах еврейского центрального района, евреи старались выходить не в одиночку, а группами, иногда до 10 человек — пошедшему за водой одиночке могли перевернуть ведро, а то и что-нибудь похуже сделать. В Яновичах гетто было создано поздно (только в сентябре), приказов, запрещающих общение русских с евреями не было, но многие русские сразу же перестали на улице здороваться со своими еврейскими соседями, старались обходить их стороной; русские мальчишки перестали водить компании со своими одноклассниками — евреями.

Чем бы ни диктовалось такое поведение — страхом, антисемитизмом или принятием нацистского мифа — все это произвело на евреев самое тягостное впечатление, впечатление того, что весь мир отвернулся от них, все — и немцы, и русские — сообща против евреев. Эта атмосфера деморализовала население гетто и обособленных районов — у большинства евреев пропадало желание бежать из своих местечек в деревни или искать помощи у соседей — русских. Это — один из ответов на вопрос, почему евреи не бежали из почти не охраняемых гетто.

Создание гетто или лагеря для евреев в Восточной Белоруссии не преследовало никаких экономических целей и, в отличие от Польши и Литвы, никак не было связано с потребностями оккупантов в рабочей силе. Очень редко евреев посылали на какие-нибудь серьезные работы, жизненно необходимые для экономики города, окружающего его района или германской армии. Так, в Чашниках еврейскую молодежь послали на заготовку торфа, в других гетто — время от времени забирали на какие-нибудь ремонтно-строительные работы. Чаще всего же евреев использовали на вспомогательных, служебных или случайных работах: нарубить дров, вычистить выгребные ямы. Г. из Бешенковичей Витебской области хорошо помнит, что делали там евреи: «Что были за работы: грузили мы зерно; дороги кирками ремонтировали; чаще всего же мы разбирали кирпичные строения, кирпич дробили и засыпали этим дороги. Кроме того, пилили лес и парк на бревна...» Нередко евреев заставляли

делать просто подчеркнуто унижительную работу: возить воду на телегах без лошади; ловить мух в комендатуре. В маленьких городах и местечках основная масса евреев не несла вообще никакой трудовой повинности. Основной целью концентрации евреев было «довести их в сохранности» до полной ликвидации — до массового расстрела.

Гетто и полугетто Восточной Белоруссии были эфемерными образованиями. Большая часть евреев в них была уничтожена осенью 1941 года, меньшинство дожило до весны 1942 года. Методом уничтожения всегда был массовый расстрел. Стиль ликвидации еврейского населения был различным в разных районах Белоруссии и России.

Вопреки представлениям основной массы современных русских (и части евреев), уничтожение всего (иногда очень большого) еврейского населения города или местечка отнюдь не было простой операцией для немцев. Такие операции тщательно подготавливались, руководили ими специалисты из СС.

Для районов к северу от Витебска была характерна ликвидация в два этапа. Рассмотрим такую операцию на примере Городка. Первый расстрел евреев в Городке состоялся в августе, менее чем через месяц после того, как город был занят немцами. Жертвами его были молодые, крепкие мужчины; было также некоторое количество мужчин более старшего возраста, но здоровых и крепких, а также несколько женщин. Одним августовским утром их собрали для вывода на работу — на строительство укреплений. Предлог был правдоподобный — в предыдущие дни евреев так же собирали на работу, поэтому в указанный час все собрались с лопатами в указанном месте. Их погрузили в грузовик и отвезли на 1,5 км от города по Киевскому шоссе в деревню Березовка. Из деревни привезенных отвели в хорошо укрытую от глаз ложбину и заставили рыть яму. По буграм, окружающим ложбину, уже были расставлены пулеметы — бежать было некуда. Когда яма была готова, привезенных всех расстреляли из пулеметов.

Сразу после первого расстрела для стариков, женщин и детей было сделано гетто. В гетто началась эпидемия и часть его узников умерла. Последние 450 обитателей городокского гетто были выведены ранним утром 14 октября 1941 года за проволоку, проведены через весь город в так называемый Волков Посад и там в лесу расстреляны.

Всю колонну конвоировало 5 немцев с автоматами и какое-то количество полицейских.

Чего добивались немцы таким двухэтапным расстрелом? Первой задачей гитлеровцев было лишить еврейскую общину ее костяка, той группы населения, которая могла бы оказать им сопротивление. В нее, по представлениям немцев, входили бывшие партийные, комсомольские и советские активисты, молодежь призывного возраста и просто здоровые и крепкие мужчины, иногда и женщины. Активная прослойка была сравнительно невелика — значительная часть молодежи уже была в армии, кроме того, в провинциальных еврейских общинах преобладали люди пожилые, молодежь в 30-е годы активно выезжала в большие города. Расстрел актива проводился обычно большими силами немцев, опытными карателями и со всеми предосторожностями. Русской полиции в первом расстреле отводилась второстепенная роль. Количество палачей в этой акции было сравнимо с количеством жертв. Так, в Яновичах во время расстрела мужчин в августе 1941 года на 150 — 200 (по разным данным) евреев приходилось 64 эсэсовца плюс еще некоторое количество полицейских!

Оставшуюся еврейскую массу — деморализованных, подавленных, лишенных воли к жизни женщин, стариков и детей младше 13 — 14 лет, можно было брать уже практически голыми руками. Спустя некоторое время их без особого сопротивления выводили из гетто и с минимальным конвоем проводили к месту расстрела, где всех и уничтожали (именно отсюда идет классическая русская легенда о 1000 евреев, которые покорно идут на расстрел под охраной двух немцев). Эту работу проводила в основном русская полиция.

Такой способ проходил у немцев гладко в тех местах, где, как и в Городке, Яновичах, Сиротино, ликвидация еврейского населения происходила рано, и срабатывал эффект неожиданности. В Чашниках, например, эта ликвидация состоялась 12 февраля 1942 года. Здесь применена была другая тактика — тактика облавы.

Утром 12 февраля около 100 человек еврейской молодежи власти отправили на уборку снега. Днем в местечко въехали каратели-немцы. Мобилизованная со всего района русская полиция оцепила все выезды из Чашников, наводнила весь еврейский район и начала, прочесывая дом за домом, выводить евреев и собирать их в бывшем костеле. Разыгравшаяся сцена напоминала воен-



ную операцию: по улицам бегали люди, слышались выстрелы, автоматные очереди. Тем не менее к вечеру всех евреев в костел собрали. Одновременно полиция перехватила колонну молодежи, возвращавшуюся с уборки снега, и отправила их туда же. Наутро все евреи местечка были расстреляны, спаслось около 10-ти человек, в основном из числа молодежи, расчищавшей 12 февраля снег.

Нечто аналогичное имело место 11 февраля 1942 года в Бешенковичах. Там 100 — 150 крепких мужчин было собрано в городском парке; затем их отвели в конюшню и там заперли. В это же время в местечке началась облава на евреев, подобная той, что прошла в Чашниках. Бешенковичских мужчин уничтожили отдельно, позже женщин, стариков и детей.

В некоторых местах оккупанты доводили евреев до полной деморализации голодом и невыносимыми условиями жизни. Евреев местечка Ляды за месяц до расстрела загнали в здание бывшей школы — почти 2000 человек в одно строение! — и продержали там месяц без еды, медицинской помощи (свиерепствовал тиф) и без отопления. «Школа» охранялась полицией. Неудивительно, что, когда 2 апреля 1942 года лядянских евреев вывели на расстрел, никто не оказал сопротивления. В некоторых местечках, где, вследствие выезда молодежи в города в 30-е годы, еврейская община была на грани исчезновения (таких как Торопец Калининской области, Пустошка и Себеж Псковской области), никакой хитрой тактики гитлеровцам не понадобилось.

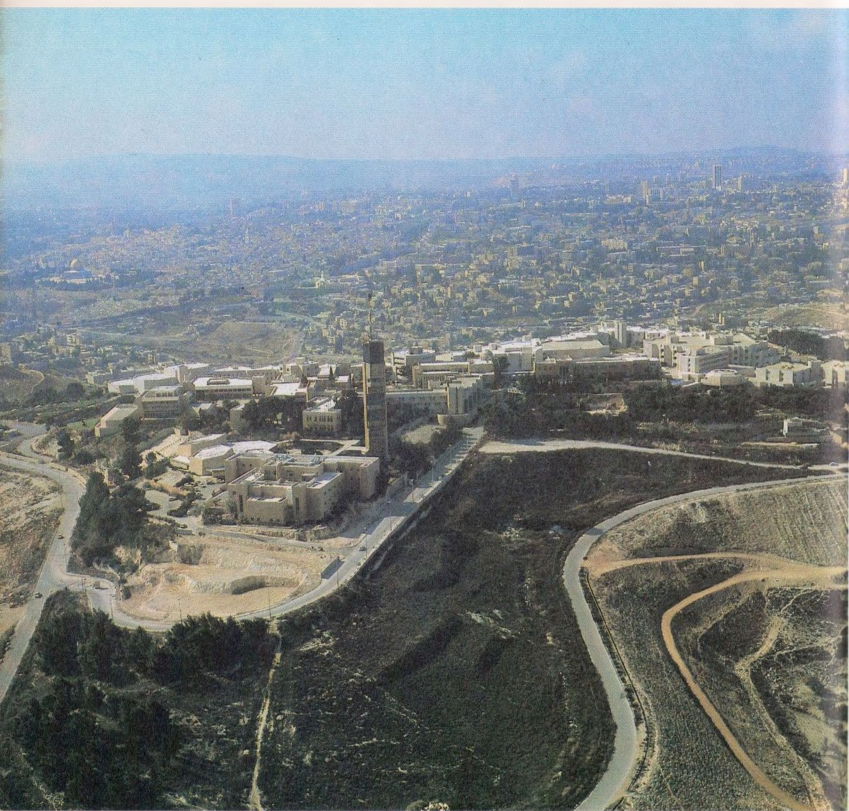
Почему же все-таки белорусские евреи не приняли никаких решительных мер, чтобы спастись? Почему они не бежали в относительно спокойный период из гетто и «полугетто»? Почему они не разбежались, когда уже точно знали, что их ведут на смерть?

Некоторые ответы на эти вопросы уже даны: вся обстановка оккупированных областей была враждебна евреям, основное население их боялось — в лучшем случае — или ненавидело как «виновников» коллективизации и других преступлений советской власти, или просто рассматривало их как врагов — ведь для немцев они враги. Искать помощи у крестьян было опасно. Уходить в лес было не к кому. Партизан в 1941 — начале 1942 года еще не было практически, несмотря на все курсировавшие о них слухи. Первые отряды, начавшие собираться осенью 1941 года, были еще настолько слабы, что



Давид, играющий на арфе. Сев. Италия, XV в.

К СТАТЬЕ А. ШАХАРА  
«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ГОРОД ИЕРУСАЛИМ»



Иерусалим. Общий вид.



Университет. Главные корпуса.

Университет. Галерея.

К СТАТЬЕ Ш. ЧЕРТОКА  
«РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ В ИЕРУСАЛИМЕ»  
*Фотографии Л. Дранкера*



Троицкий собор.



Внутренний дворик Сергиевского подворья.

Сергиевское подворье.



Византийская монограмма Иисуса Христа  
на арке Сергиевского подворья.

Доска Русской духовной миссии в Иерусалиме.



Иерусалим. Улица Яфо.  
«Давид скакал изо всей силы перед Господом»  
(2 Царств, 6, 14).

Площадь Сиона.  
«И пригласил его Давид, и сел Урия перед ним,  
и пил, и напоил его Давид»  
(2 Царств, 11, 13).







«И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид,  
и, уединившись, провел ночь, лежа на земле»  
(2 Царств, 12, 16).

«И вставал Авессалом рано утром,  
и становился при дороге у ворот...»  
(2 Царств, 15, 2).



и помыслить не могли об оказании помощи каким-то евреям. Кроме того, партизаны испытывали столько же симпатии к евреям, сколько и мирное русское население, то есть в лучшем случае были равнодушны. Когда, в конце 1942 года, партизанское движение окрепло, евреев в отряды брали крайне неохотно, считая их небоеспособными. Еврейских женщин и детей, как правило, в отряды не брали вообще. Партизанские отряды были боевыми единицами, выполнявшими задания, поступавшие из единого руководящего центра; спасение какого-то гражданского населения, тем более чужаков-евреев, ни в малой степени не входило в их задачу.

Были и другие мотивы, мешавшие евреям уходить из обреченных городов и местечек. Уйти могли только молодые и здоровые — жизнь беженца была чисто физически крайне тяжела. Уйти — значило оставить родных — родителей, малых детей без всякой опоры. Даже если они не были расстреляны гитлеровцами как заложники, в наказание за ушедшего, они бы остались абсолютно беспомощны против враждебного им мира. При еврейском отношении к семье, к детям и родителям, такой поступок был немыслим для большинства обитателей гетто. У известного белорусского партизана, Миная Шмырева, возглавившего осенью 1941 года один из первых в Белоруссии отрядов, после его ухода в лес была расстреляна вся семья. Вообще семьи партизан — это первые массовые жертвы, понесенные белорусским народом в 1941—1942 годах. Белорус мог переступить через это, еврей не мог.

Оказать же какое-либо сопротивление самому массовому убийству — попытаться бежать, наброситься на палачей и т. п. — было делом почти безнадежным. Немцы, безусловно, постарались обезопасить свои акции от подобных попыток. Расстрел происходил обычно на открытом месте, вдалеке от леса; немцы шли даже на то, чтобы он был отовсюду виден. Наконец даже бежавшему от расстрела еврею было крайне трудно спастись среди белорусов, незаметно затесаться в их среду, и все евреи хорошо это себе представляли.

Попытки оказать сопротивление палачам со стороны евреев были редки. Евреи местечка Камень Витебской области были предупреждены, что 16 сентября 1941 года будет расстрел. Утром этого дня всех евреев согнали в низину около русского кладбища; место было окружено полицией, на горе стоял пулемет. Мужчинам 30 — 35

лет и несколькими подросткам приказали рыть ямы. Один из взрослых мужчин, Мейсе (Моисей) Райхельсон, крикнул: разбегайтесь — кинулся на оцепление и ударил лопатой охранника. Полицейские не сразу опомнились, тем не менее все, кроме Райхельсона, погибли под пулями, он же сам сумел бежать и умер только после войны. В этот день была расстреляна его жена и четверо детей.

Евреи местечка Кубличи, выведенные зимой 1942 года на расстрел в Ушачах, также сделали попытку оказать сопротивление — в ночь перед расстрелом подожгли гетто. Из более чем 200 кубличан спасся один подросток.

Попытки сопротивления со стороны белорусов, русских, поляков в аналогичных обстоятельствах также были редки, но все же чаще, чем у евреев. И причина этого — не только в том, что славянину-беженцу легче было спрятаться в славянской среде и что, когда начались расстрелы белорусов, было мощное партизанское движение. У евреев был иной, чем у их соседей, стереотип достойного поведения перед лицом смерти.

Многовековая диаспора с ее периодическими гонениями приучила евреев к мысли о насильственной смерти. Смерть возможна всегда, поэтому ее надо встретить со спокойным достоинством. Последнее, что должен сделать еврей перед смертью — это обратиться к своему народу («Слушай, Израиль...») и мысленно повторить перед ним, с полной убежденностью — что до последней секунды своей жизни он верен ему и его Богу («...Бог твой — Бог единый»).

Сколь ни велика пропасть между советскими евреями и тысячелетней еврейской традицией, сбрасывать со счета ее значение для евреев Белоруссии и Украины нельзя. К тому же в час смерти всякая традиция в сознании человека берет верх.

К., русская из Городка, предложила еврейской девушке Тане, блондинке, документы своей выехавшей из города дочери. Таня отказалась: «Нет, я умру как еврейка» — и документы не взяла. Если бы она взяла их, сейчас, возможно, было бы на несколько молодых евреев больше. Русские свидетели массового расстрела евреев под Невелем с уважением рассказывают, что еврей-мужчины приняли смерть от нацистского палача без единого звука, без единой мольбы о пощаде — стоя прямо, глядя в лицо убийцам. Но разве это требовалось в тех обстоятельствах? Разве не важнее было постараться уцелеть

хоть кому-нибудь, помешать нацистам осуществить их чудовищный план, показать убийцам, что жертвы так легко им в руки не дадутся, наконец? Отношение русских к смерти оказалось, если можно так сказать, более конструктивным.

Вечная готовность евреев к смерти сослужила им плохую службу.

#### IV

Как только евреев уводили на расстрел, в их опустевшие дома устремлялись соседи — за «еврейским добром». Пресловутое «еврейское добро» послужило источником дополнительного тлеющего конфликта между обеими общинами в местечках — еврейской и русской, — конфликта, который не угас до сих пор.

«Еврейское богатство», реальное и мифическое, во все времена и во всех странах служило предметом зависти окружающего евреев населения и питало собой антисемитизм. Действительно, даже в 19 — начале 20 века средний еврей в России жил лучше, чем средний русский — настолько же, насколько вообще средний горожанин живет лучше среднего крестьянина. Само собой разумеется, что при нацистской власти вопрос о еврейском имуществе снова выплыл на поверхность.

Грабеж еврейского имущества начался с первых дней оккупации. Если же между отступлениями Красной Армии и вступлениями в город немцев проходило какое-то время — в дома, оставленные эвакуирующимися, и в первую очередь евреями, охотники за чужим добром вторгались еще до начала оккупации. Нередко не сумевшие уйти от немцев евреи возвращались в свои дома и обнаруживали, что они полностью опустошены.

Толчок к первой волне массовых грабежей давали обычно оккупанты. В результате военных действий в занятых немцами городах и местечках значительная часть домов оказалась разрушенной или споревшей. Многие горожане, евреи и русские, оказались без крова над головой. Немцы решили жилищную проблему в нацистском стиле, то есть за счет евреев. Евреев выселяли из лучшей — или из окраинной (это уже из тактических соображений) — части города в указанный для них район; оставшиеся дома отдавали русским — в первую очередь, конечно, тем, кто шел служить в оккупационные органы

власти. Евреи поселялись в еврейском районе в страшной тесноте. Таким образом, нацистское решение жилищного вопроса было первым шагом к геттоизации.

Русское население быстро сориентировалось в обстановке и поняло, что евреи как бы вне закона, жаловаться не пойдут. Попутно с «уплотнением» евреев началось повальное их ограбление: новые русские поселенцы забирали себе еврейские дома не только с огородами, но и с домашней утварью, домашним скотом, принадлежавшим прежним хозяевам. Лишь единицы из новопоселенцев позволили евреям забрать свои вещи и перенести их на новое место. Новая власть — это было достаточно очевидно — сквозь пальцы смотрела на грабеж еврейского населения. Более того — она сама же его подогревала. Ежедневно нацистские средства пропаганды вещали населению завоеванных территорий: «Жи́ды — эксплуататоры вашего труда; все, что у вас отняли жи́ды, — ваше, идите и возьмите». Ограбление евреев было своего рода «экспроприацией экспроприаторов», вполне укладывавшейся в схему «национал-социалистической революции». Власти знали, что делали — «национал-социалистическая революция» была способом оккупантов расположить к себе завоеванное население, купить за еврейские дома и вещи признательность. Очень быстро еврейские коровы и козы, еврейские запасы картошки и прочего, еврейские швейные машины и велосипеды перешли в руки наиболее бессовестной части русского населения.

Однако подлинная вакханалия грабежей развернулась во время массовых расстрелов евреев. И если в «экспроприациях» приняли участие действительно наиболее бессовестные люди, то в растаскивании имущества обреченных — большинство. Во многих местах власти запрещали входить в оставленные еврейские дома, но не везде следили, чтобы запрет соблюдался. Если же оккупантам удавалось сохранить еврейское имущество более или менее в целости, то его распродавали русским за продовольствие — картошку, яйца, битую птицу и т.д. В городах и местечках покрупнее мог быть создан магазин, где продавались вещи убитых. Такой магазин был, например, в местечке Кубличи Витебской области и, по видимому, в Чашниках. В маленьких местечках устраивался не магазин, а однодневный базар. Так, в местечке Островно Витебской области немцы попросту выкинули все вещи расстрелянных евреев на площадь и посадили у

вещей солдата. Солдат вытаскивал из груды простыню или подушку и выкрикивал: «Кому это?» Столпившиеся вокруг крестьяне тянули руки, толкались, перекрикивали друг друга: «Пан, мне! Пан, мне!» Продажа велась, конечно же, за продукты.

Главным мотивом, двинувшим десятки и сотни русских в покинутые еврейские дома, были поиски мифического еврейского золота. Мифического потому, что даже то золото, которое у евреев оставалось после жесточайших его конфискаций, проводившихся органами НКВД в начале 30-х годов, в период оккупации ушло к соседям в обмен на продовольствие, а то, что не ушло — было изъято немцами перед расстрелом (что-то, безусловно, оставалось неизъятым, но отнюдь не такое количество, которое могло бы удовлетворить «золотоискателей»). В местечке Ушачи Витебской области «золотоискатели» не постеснялись влезть даже в яму с телами расстрелянных евреев (расстрел был 14 января 1942 года, и ямы долгое время стояли незакопанные). Поразительно, что до сих пор многие старожилы помнят не столько как сгоняли и как убивали их соседей-евреев, а сколько у них немцы изъяли золота. Количество подчас называется самое фантастическое. Еврейское золото и сейчас не дает покоя кое-кому из жителей Восточной Белоруссии.

Фактически рейды русских жителей местечек по опустевшим еврейским домам вылились в растаскивание самых простых вещей — простыней, подушек, посуды. Жизнь русского населения под немецкой оккупацией была достаточна тяжела, и каждая тарелка, каждая катушка ниток, вынесенная из еврейского дома, была подспорьем.

Этично ли было со стороны русских брать вещи расстрелянных? Вопрос этот непростой. Многие русские, надо отметить, считали недостойным тащить вещи убитых и к еврейскому имуществу не прикасались; многие другие же рассматривали «еврейское барахло» как свою законную добычу; большинство русских исходило, в общем, из рационалистических соображений, что «все равно пропадет».

Если брать вещи мертвых есть грех только с точки зрения строгих моралистов, то этого уже нельзя сказать о растаскивании вещей людей еще живых, хотя и стоящих на краю гибели. Между тем вторгаться в дома евреев начинали тогда, когда евреев собирали для расстрела, то есть они были еще живы. Иногда такие попытки были и раньше. После того как у старика Нах-

мансона в Усвятском гетто расстреляли сына, к нему пришел русский, бывший сосед, и сказал: «Залман Ицкович, отдай мне корову, все равно тебя расстреляют, она немцам достанется». Попытки выпросить какие-то вещи у евреев, обреченных на гибель, были неединичным явлением.

С другой стороны, часть еврейского имущества ушла на русскую сторону не в результате грабежа, а в результате обмена на продукты. Едва ли стоит современным евреям пенять русским, что те нажились на еврейском голоде — жизнь русского городского населения под оккупацией была тоже достаточно тяжелой.

Помогали ли русские голодающим, запертым в гетто евреям? (Напомним — евреев немцы не кормили и за принудработы ничем не платили, даже не выдавали продовольствия на время.) И да и нет. Помогали безвозмездно обычно «своим» евреям — тем, кто состоял в браке с русскими, могли помогать русские родственники, деревенским евреям, ишувникам, могли помогать бывшие односельчане и т.д. Но такие «свои» евреи составляли, вероятно, несколько процентов от всей еврейской массы. Вся же масса могла рассчитывать не на безвозмездную помощь, а на обмен, на старый принцип: ты мне — я тебе. Впрочем, даже такой обмен во многих местечках был маленьким подвигом — полиция не дремала.

С другой стороны, сравним — а сколько хлеба и картошки было крестьянами, часто с риском для жизни, передано советским военнопленным? Да, все-таки евреи всегда были «не свои», даже если до войны в местечке были отличные межнациональные отношения! Не свои! Не в этом ли ключ к загадке еврейской трагедии?

## V

Кто уцелел и как они уцелели? Уцелевшие евреи, конечно, были, иначе невозможно было бы сейчас составить этот доклад.

Итак, еврей ушел из гетто или из-под расстрела. Что ему делать дальше?

Первый способ — идти в деревню и выдавать себя за русского. Это могли делать только те, у кого была нееврейская внешность. Могли — но не всегда удавалось это сделать. Крестьяне в ближних деревнях знали местечковых евреев в лицо. Беглеца могли опознать даже в даль-

ней деревне. Полиция была проинструктирована, что немало евреев скрывается в сельской местности под видом русских, и полицейские за ними охотились. По мере сил охотились за ними и многие крестьяне — это был простой способ снискать благорасположение оккупантов. Еврейский акцент скрывать многие беглецы не умели; что такое обрезание, белорусы знали.

А если еврей похож на еврея, а не на белоруса? Тогда в деревне не затесаться. Можно было искать партизан; и многие их искали. Но в 1941 году партизан еще практически не было. В 1942 году партизаны евреев брали неохотно, еще менее охотно занимались они спасением евреев. Когда в 1942 году в одном из партизанских отрядов востока Витебской области возникла задача — перевести через линию фронта группу евреев, командир поручил это задание бойцу-испанцу (из числа эмигрантов 1938 года), единственному испанцу в отряде, ибо он превосходно сознавал, что любой боец-белорус может не довести евреев до Большой земли, расстрелять их всех, отойдя достаточно далеко от базы, а потом доложить о выполнении задания.

Более верным способом спастись было идти через леса, минуя села и большаки, через линию фронта. С. из Чашников шел 35 суток по снегу, при 20-градусном морозе, почти не заходя в деревни, и перешел фронт у Великих Лук. Г. из Бешенковичей несколько месяцев бродил по Витебской области в разных направлениях, был опознан немцами как еврей, бежал, перешел линию фронта также у Великих Лук. Таких примеров можно привести еще достаточно много. Однако гораздо больше было тех, кто не дошел ни до линии фронта, ни до партизан, ни до безопасной деревни, а был опознан, выдан, убит по дороге и т.д.

Главной проблемой для еврея, идущего прочь из погибающего местечка, было раздобыть пропитание. Для этого надо было заходить в деревни. Надо было обладать большим чутьем, чтобы знать, в какую избу можно зайти за хлебом, в какую нельзя. Людей, сохранивших советский патриотизм, в 1941 году по деревням было мало. Еще меньше было тех, кто в понятие «советский патриотизм» включал помощь евреям. Человек мог быть другом советской власти, но не другом евреям. Обычно евреям подавали (и даже давали переночевать в избе или в бане) своего рода крестьяне-аутсайдеры — бедняки, чьи избы стояли на отшибе; бездетные старики, бобыли



и т. д. Крестьяне, социализированные в нацистский «новый порядок», от евреев практически отвернулись.

Напоследок — несколько уникальных способов спасения. В Чашниках еврейскую семью прятал у своих родных начальник следственного отдела полиции Пахомов, известный своими зверствами по отношению к евреям. Н. из Яновичей уходил не на восток, а на запад, и оккупацию пережил в Германии под видом вывезенного на работу белоруса. Г. из Сиротино долгое время прослужил при немецкой кухне на одной из железнодорожных станций — хорошо известно было, что немецкие солдаты (не СС и не гестапо) не разбираются, кто еврей, а кто нет.

О тех евреях, которые вышли из-под оккупации, можно написать целую книгу, здесь же о них сказано лишь два слова.

# У, ИЕРУСАЛИМ!..

---

Арье Шахар

## ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ГОРОД ИЕРУСАЛИМ

В небольшом городе наличие университета с его сложной спецификой и особым комплексом зданий способно определить весь стиль и ход жизни. Так это в Оксфорде и Кэмбридже, старинных центрах европейской учености. Так это зачастую в провинциальных городах Америки, где университет может оказаться гордостью целого штата и создать имя городу. В многолюдных же столицах университет, как правило, всего лишь еще один культурный центр среди многих, и ему редко удастся повлиять на урбанистическую структуру того современного мегаполиса, в котором он прописан.

Но в Иерусалиме, городе очень древнем и очень юном одновременно, да к тому же четырежды за последние шесть десятилетий отстраивавшем университетский комплекс, произошло именно это: каждый новый этап университетского строительства и развития вносил существенные поправки в урбанистическую структуру и социальную жизнь города.

Первые застройщики «старо-новой еврейской родины» выбрали для центра еврейского высшего образования одну из высот, доминирующих над Иерусалимом, которая на иврите называется Гар-а-Цофим, носит латинское название Скопус, а по-русски должна была бы именоваться Дозорной горой. И в начале столетия еврейские национальные организации постановили приобрести в собственность земли на Гар-а-Цофим, чтобы на этом пространстве, на холме, устремленном к небу, воздвигнуть храм современной науки. Университетский

комплекс на Гар-а-Цофим значится уже в первом градостроительном проекте Иерусалима, разработанном в 1921 году Патриком Гедельсом. По его замыслу, вся долина между Старым городом и Гар-а-Цофим должна была оставаться сплошным зеленым пространством и лишь вершина горы Скопус отводилась университетским постройкам. План этот, в сущности, никогда не был осуществлен в сколько-нибудь заметной полноте. Начало университетскому строительству было положено в 1925 году. При рождении университет получил благословение самого Альберта Эйнштейна, в ком соединились для его современников сила научного откровения с высоким благородством личности. Здесь, на склонах Дозорной горы, университет просуществовал в первом своем воплощении до 1948 года, став самым значительным центром высшего образования в Палестине. Университету принадлежала особая роль в политической географии города, связанная с тем, что во времена английского правления большая часть еврейского населения проживала в западном секторе города, в то время как иерусалимские арабы занимали главным образом Старый город и восточный сектор, и, таким образом, университет оказался еврейским анклавом внутри арабской зоны. Понятно, что такое местоположение было чревато постоянным напряжением.

После Войны за независимость линия раздела рассекла город на две враждебные зоны, сделав практически невозможным какой бы то ни было контакт между ними. Университетский кампус на Гар-а-Цофим оказался в иорданском секторе. Строительство нового университета стало насущной проблемой. А пока университет переживал особый период своего существования, который правильнее всего было бы назвать «монастырским»: только в старинных монастырях Иерусалима нашлись достаточные по площади помещения, где можно было провести научную конференцию, организовать лекцию для большого числа студентов или разместить современную лабораторию. Еще раз — как это уже было в средние века — монастыри приютили у себя науку. Университетская жизнь была, конечно, затруднена таким «рассеянием». Но для города размещение отделений университета в тех кварталах, где подобных учреждений никогда не было, можно было в тот период считать отрядным явлением. Вслед за появлением какого-либо университетского учреждения непременно улучшались бытовые службы,

средства связи и коммуникации того или иного городского района.

Поскольку после 1948 года Восточный Иерусалим был отсечен от Западного, развитие города пошло в западном направлении. Горожане и градостроители болезненно переживали искусственное отторжение города от его исторического и в значительной мере символического центра. Университет на Дозорной горе оставался ощутимой потерей и ностальгическим переживанием. Но для жизни Западному Иерусалиму требовался новый университет. Новый архитектурный проект отводил под университетские постройки территорию в Гиват-Раеме. Университетский комплекс был с самого начала задуман авторами проекта не как автономный студенческо-профессорский городок, а как часть нового обширного научно-культурного центра. По замыслу архитекторов, университет располагался в непосредственной близости от Музея Израиля, здания Кнесета и большого квартала, занятого министерствами и другими правительственными учреждениями. Так была сделана попытка создать новый административно-культурный центр, который заменил утраченный на время Старый город в его символическом значении и конкретном воплощении. Однако на уровне каждодневной жизни между старым и новым городскими центрами была большая разница. Старые кварталы имели древнюю историю; жизнь, полная традиционных условностей, торговой суеты и праздничных обычаев, не стихала в них с утра до вечера. В тщательно спланированном и отлично отстроенном новом культурно-административном центре жизнь замирала с концом рабочего дня.

Кампус университета в Гиват-Раеме, построенный в 50—60-е годы, несомненно, был задуман как самая оживленная и многолюдная часть нового городского центра. К 1967 году он мог принять 13 тысяч студентов, 2 тысячи преподавателей и около 2 тысяч административных работников. По тому времени это был самый большой университет Израиля. В черте Западного Иерусалима возникли в связи с этим многонаселенные городские кварталы, потребовавшие соответственного развития городских служб и коммуникаций. Однако университетский кампус был окружен обширными зелеными массивами, отделявшими его от других районов города, и потому не оказал на последние существенного влияния в урбанистическом плане.

Гораздо более серьезную роль в социально-экологической картине Иерусалима сыграл другой университетский кампус, отстроенный примерно в одни годы с университетским городком в Гиват-Раеме. Это был кампус медицинского факультета Еврейского университета, возникший в западной части города, рядом с деревней Эйн-Карем. Весь комплекс учебных зданий, лабораторий и общежитий был развернут вокруг медицинского центра «Хадаса», призванного заменить старую больницу, носившую то же название и примыкавшую некогда к университетскому кампусу на Гар-а-Цофим. Возникло большое количество новых рабочих мест, открылись новые учреждения, и это вызвало расширение городской инфраструктуры, дальнейшее развитие транспортной сети и дорожного строительства. На месте деревни Эйн-Карем благодаря университетскому центру «Хадаса», как и было задумано его проектировщиками, возник типичный городской квартал.

Следующий этап университетского строительства начинается после воссоединения Восточного и Западного Иерусалима в ходе Шестидневной войны. Наконец-то исчезла граница, болезненная рана, рассекавшая живое тело города надвое без малого двадцать лет. Путь на Дозорную гору был вновь свободен, и Еврейский университет решил вернуться на место своего первоначального расположения. Это решение поддерживалось практической нуждой развивающегося университетского организма в увеличении площади. Старый кампус и прежде не вмещал всех отделений университета, многие из которых ютились в малоприспособленных зданиях в различных частях города.

Университету для развития новых отраслей образования и знания требовались новые лаборатории и факультеты. На Гар-а-Цофим предстояло переехать научному учреждению, объединившему 18 тысяч человек — студентов, преподавателей, служащих.

Израиль — страна небольшая. В его масштабах построить университетский кампус такого размера — означало заложить средней величины город. Проект университетского центра на Дозорной горе был возвращением к старой мечте, восстановлением исторической справедливости и данью памяти тех медиков из «Хадасы», которые были убиты арабами, устроившими засаду на дороге к университету, незадолго до образования государства Израиль.

Новый проект университета на Дозорной горе был ориентирован прежде всего на завтрашний день науки. Но ничуть не меньшее значение, чем потребности университета в новых совершенных зданиях, имело романтическое желание «вернуться домой», восстановив современный храм познания в его доминирующем положении над старым и новым Иерусалимом.

Было ясно, что университету предстоит раздельное существование в Гиват-Раме и на Гар-а-Цофим. Как же разделить университет? По горизонтали — три первых курса, дающих первую научную степень бакалавра (Би-Эй), скажем, оставить на старом месте, а остальных студентов и аспирантов, стремящихся ко второй (магистерской — Эм-Эй) степени или к третьей (степени доктора философии — Пи-Эйч-Ди), перевести в новые здания? Или лучше предпочесть вертикальное членение — часть факультетов, институтов и университетских школ закрепить за Гиват-Рамом, а другую часть факультетов отстроить на Гар-а-Цофим? В любом случае, как это отчетливо ощущалось всеми участвовавшими в обсуждении проблемы, сама идея УНИВЕРСИТЕТА как образовательного и научного УНИВЕРСУМА страдала. Однако верх взяли реальные соображения, и было принято решение разделить университет по вертикали.

На старом месте были оставлены все естественнонаучные факультеты и факультеты точных наук. Зато теперь представилась возможность собрать в Гиват-Раме все университетские лаборатории, прежде разбросанные по Иерусалиму. Ведущим соображением для принятия такого решения оказалась астрономическая стоимость нового оборудования и строительства новых лабораторных помещений, которые потребовались бы на случай организации нового естественнонаучного учебно-исследовательского комплекса на Гар-а-Цофим.

Итак, Дозорная гора должна была принять все факультеты гуманитарных наук, отделение права, педагогический институт и высшую школу социальных работников. Уже на стадии ввода в эксплуатацию первой серии зданий новый кампус был рассчитан на 16 тысяч человек, считая 11 тысяч студентов, 2 тысячи преподавателей, 1,5 тысячи служащих и 1,5 — 2 тысячи ежедневных посетителей. Жилой студенческий городок было решено выстроить в непосредственной близости от учебного комплекса — это облегчает жизнь студентам, а сам кампус с его площадями и форумами, бассейном и кон-

цертным залом становится молодым и круглосуточно живущим городом.

Еврейский университет в Иерусалиме — западный по типу своей научной и учебной жизни. Здесь преобладает свободное посещение лекций, индивидуальный выбор программ и курсов (при ограниченном числе обязательных дисциплин), здесь упор делается на самостоятельную работу и индивидуальные исследования студента. При таком подходе лишь немногие лекции собирают аудиторию в несколько сотен слушателей. И — соответственно — нет нужды в большом количестве громадных лекционных залов. Зато требуется множество хорошо продуманных помещений, пригодных для аудиторных занятий и семинаров, проводимых с небольшой группой студентов. Этот тип учебного помещения преобладает во всех факультетских зданиях нового кампуса. Кроме того, в новом университете предусмотрены рабочие кабинеты для научных занятий преподавателей. В таких кабинетах всегда испытывался острый недостаток в старом комплексе в Гиват-Раге. Теперь преподаватель имеет хорошо оборудованное уединенное помещение для работы и всегда может пригласить студента для индивидуальной беседы или консультации.

Особая гордость нового кампуса — Центральная библиотека. В Гиват-Раге, кроме главной университетской библиотеки, носящей название Национальная библиотека, имелись факультетские книжные собрания, соответствовавшие профилям факультетов. За годы существования университета эти отраслевые книгохранилища разрослись, дополняя фонды Национальной библиотеки. Но при сложной системе распределения книг между факультетами и главной библиотекой все труднее становилось вести общий каталог и обеспечить читателю возможность найти нужную ему книгу, где бы она ни находилась в пределах университета. Теперь на Гар-а-Цофим размещается библиотека факультетов гуманитарных и социальных наук. Система открытого доступа к книжным полкам дополнена общеуниверситетским каталогом, все данные которого введены в компьютер. Так что, подсев к экрану ЭВМ, посетитель библиотеки за считанные минуты узнает, где находится нужная ему книга.

Центральная библиотека — средоточие университетской жизни. И требовалось расположить ее так, чтобы дорога к ней из любой точки кампуса занимала минимальное время. Эта задача была решена следующим об-

разом: все учебные помещения находятся в двух больших блоках — факультет гуманитарных наук расположен на севере кампуса, а педагогический институт и высшая школа социальных работников занимают северный блок. Центральная библиотека является перемышкой, связующим звеном и общим ядром обоих блоков, которые связаны общим уровнем переходов, соединяющих все элементы кампуса, в сущности расположенного под одной крышей. Переходы, лифты и эскалаторы дают возможность попасть из одной точки кампуса в другую и не выходя за пределы помещения. А это очень важно. Университет находится на возвышенности и открыт всем ветрам в холодное время года.

Таким образом, климатические особенности месторасположения нового университета продиктовали определенные требования к архитектурному решению, заставив создать замкнутую жилую зону, огражденную от непогод. Другой ряд непреложных условий выдвинул своеобразный ландшафт местности. Дозорная гора — одна из высот, господствующих над Иерусалимом. Другая естественная высота — Масличная гора. Город размещен в ложбине между этими двумя возвышенностями. И стало быть, здания, построенные на Гар-а-Цофим, просматриваются из любой точки города и не должны разрушать его сложившийся профиль и облик. Архитектурная комиссия разрешала строить на Дозорной горе только такие здания, которые органически сочетаются с контурами холма и не превышают высоты купола старой Национальной библиотеки, причем застройка должна была производиться лишь на вершине, поскольку большая часть зеленых склонов заранее отводилась проектом под Национальный парк и Ботанический сад. Большая часть территории отводилась под студенческий городок и подъездные пути. При соблюдении всех этих условий переплотненность кампуса казалась неизбежной.

Но преодоление трудностей продиктовало и единственно верное решение. Вся отведенная под застройку площадь оказалась очень скоро занятой стоящими почти вплотную трех-четырёхэтажными зданиями, объединенными под одной крышей. Так никогда еще не строили университетский комплекс. Решение было новаторским и вызывало споры не только на стадии проекта, но и после его воплощения: уж слишком разительно оно отличалось от традиционной планировки кампуса, когда отдельные факультеты-колледжи разбросаны среди обшир-



ных лужаек. Однако эта идея компактного расположения университетского кампуса в условиях тесноты современного города, впервые примененная при строительстве нового комплекса Еврейского университета в Иерусалиме, с тех пор неоднократно была повторена при сооружении заграничных университетов, вписанных в многонаселенные города.

Если искать метафизический смысл или выразительную метафору для определения воплощенного в новых университетских зданиях замысла, то можно сказать, что архитектурная конструкция нового университетского комплекса представляет собою как бы аналогию нового времени к замкнутому в своих стенах Старому городу. Старый исторический центр — средоточие мудрости и святости прошлого — смотрит со своего холма на современную, заключенную в своих собственных стенах крепость науки и еврейского образования.

Итак, новый кампус представляет собой непрерывное застроенное пространство, рассекаемое в разных направлениях паутиной безопасных переходов. Связь и связанность различных архитектурных элементов есть метафора, при помощи которой проектировщики нового города науки выразили мечту об активном взаимодействии всех элементов академического содружества. И по внутренним переходам (во времена зимних непогод), и по асфальтированным тропинкам между газонами и цветниками (под летним солнцем) непрерывно течет человеческий поток, объединяющий в одно целое все здания университета. Ниже — под этажом внутренних переходов — аудитории. Выше этажом — кабинеты профессоров, лаборатории и исследовательские институты.

На территории кампуса нет ни автобусов, ни частных автомобилей. Весь общественный транспорт по длинному подземному тоннелю прибывает на внутреннюю стоянку, расположенную под землей же. Сойдя с автобуса, вы добираетесь до центра кампуса лифтом или эскалатором. Для частных машин вокруг университета расположены подземные стоянки. Система указателей подскажет вам, как в несколько минут добраться от северного входа (факультет гуманитарных наук) до центрального выхода (возле педагогического института); где находятся главный форум и большой холл; как пройти в Центральную библиотеку.

Студенты и преподаватели еще не вполне привыкли к этой новаторской архитектуре, можно услышать жало-

бы, что новому кампусу на Дозорной горе не хватает уюта и камерности, которые отличали старые здания Гиват-Рама. Однако перед нами научный центр, принадлежащий уже XXI столетию. И в этом смысле новый университет накладывает свой отпечаток на урбанистический облик Иерусалима. Он является естественным мостом, соединяющим западные кварталы города с новостройками на востоке и делающим невозможным какое-либо расчленение нашей столицы в будущем. Ныне все три кампуса Еврейского университета определяют параметры городской структуры Иерусалима: от крайнего запада, где в Эйн-Кареме расположен кампус медицинского факультета, через новый центр (Гиват-Рам) и до восточного склона Дозорной горы. Университет, так явно вписанный в план своего города и в то же время во всех своих частях находящийся как бы немного на отшибе, отличается, с одной стороны, высоким уровнем участия в городской жизни, а с другой — обнаруживает стремление к уединению и отрыву от столичной суеты, без чего невозможен сосредоточенный научный поиск.

## Шимон Черток

### РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ В ИЕРУСАЛИМЕ

Одна из центральных площадей израильской столицы называется на иврите Миграш-а-Русим — Русское подворье: оригинальное название появилось на русском и потом было переведено на иврит. По этой площади мимо старинных домов русской архитектуры я прохожу минимум дважды в день — на работу и с работы. Теперь я получил фотографии подворья, сделанные в конце прошлого и начале этого века, — оно почти не изменилось, но старые снимки передают атмосферу ушедших лет и облик людей той поры: религиозная церемония, русские моряки на фоне и поныне действующего Троицкого собора, паломники...

Полгода назад, проходя по подворью, я встретил необычную группу людей: между собой они говорили по-русски, а с сопровождающими их израильянами по-английски. Оказалось, что это была советская консульская группа с приглашенными ею израильскими адвокатами и сотрудниками израильских министерств иностранных дел и юстиции. Она осматривала здания, которые собирались инвентаризировать в числе другого советского церковного имущества, а также бывшие русские владения, которые стали теперь израильской собственностью, и спорное имущество. Какова история этих владений?

Россия издавна была связана со Святой землей — паломничество на нее началось в XI веке. Никакие политические соображения не нарушали благоговения, с которым русские люди и русская церковь относились к Палестине, называемой ими Землей Желания, Святой землей, Землей евреев, Иудеей, Землей Обетованной. Первый русский паломник в Иерусалиме игумен Даниил Заточник побывал здесь в XII веке и возжег неугасимую

лампаду у Гроба Господня от имени «всех Руси». Он первым описал святые места и условия паломничества. Стоя на вершине Елеонской (Масличной) горы, Даниил Заточник сказал: «Есть же святой тот град Иерусалим, и около него горы каменны велики и высоки. Никто не может не прослезиться».

Но до середины прошлого века на далекий путь из России решались лишь отдельные смельчаки. В изданных в Петербурге в 1837 году «Очерках Иерусалима» говорилось: «Мы странствуем по пустынному городу, где царствует мрачное безмолвие и который богат только великими воспоминаниями». Постепенно стремление русских православных людей побывать в Святой земле превратилось в массовое паломническое движение, и Новороссийская пароходная экспедиция стала ежегодно перевозить в Палестину по несколько тысяч паломников. Они добирались до Одессы, а оттуда плыли пароходом до Яффы. 11 февраля 1847 года государю была представлена и одобрена им записка об учреждении в Иерусалиме русской духовной миссии. Крупное строительство началось после Крымской кампании 1854—1855 гг. Интересы церкви и правительства совпадали. Современник объясняет их так: «Усиление пропаганды католической и протестантской в Иерусалиме неожиданно пробуждает живой интерес к Святой земле и состоянию православия на Востоке у нашего правительства». Как и другие королевские дворы Европы, русский хотел отхватить как можно больший кусок распадающейся Оттоманской империи, и церковь была удобным прикрытием для осуществления колонизаторских замыслов. Поэтому правительство поощряло приобретение земель и строительство домов.

Формальное решение об открытии представительства на Святой земле Синод принял в 1857 году. За год до этого в Петербурге возникло Русское общество пароходства и торговли с целью перевозки паломников в Палестину. В 1858 году был основан Палестинский комитет во главе с братом царя великим князем Константином Николаевичем. В том же году в Иерусалиме начала действовать Русская духовная миссия. Она приобретала ценные, с религиозной точки зрения, земельные участки и сельскохозяйственные угодья, вела обширное строительство. Изданная в Иерусалиме в 1912 году брошюра «Пасха в Иерусалиме» констатировала: «Иерусалимские улицы шумные и оживленные...» Перед первой мировой войной в одном только Иерусалиме было 11 русских

церквей, 7 монастырей, 17 гостиниц для паломников, больница, 4 лечебницы, 25 школ, две учительские семинарии и 32 единицы другого крупного недвижимого имущества. Финансировало приобретение собственности и новое строительство императорское Православное Палестинское Общество, торжественно открытое в Петербурге в 1882 году под председательством великого князя Сергея Александровича и пришедшее на смену Палестинскому комитету. Оно имело отделения в 50 городах и собирало огромные добровольные пожертвования.

В Израиле сохранилось много памятников той поры: русский странноприимный дом в Рамле, теперь относящийся к греческому монастырю; церковь недалеко от Назарета, теперь заколочена, — она была построена в 1884 году русской благотворительницей М. Киселевой; целый русский городок в самом Назарете с подворьем для паломников, амбулаторией, школой, учительской семинарией; храм на горе Тавор, построенный в 1882 году на личные средства великого князя Сергея Александровича.

Недалеко от стен Старого города располагалась площадь, которую турки использовали для военных парадов и учений и называли Хамидан. В VII—VI веках до н.э. здесь был военный лагерь ассирийцев, а в I веке н.э. — лагерь римского легиона императора Тита, покорившего в 70-м году Иерусалим. В 1860 году эта площадь была куплена Россией у семьи Таунус за 733 190 рублей. Из Петербурга приехал архитектор Мартин Иванович Эппингер, и возведенные по его проекту здания стали первыми христианскими домами за пределами Старого города.

М.И. Эппингер спроектировал огромную, обнесенную стеной территорию Русского подворья как четырехугольник, внутри которого построил семь зданий — город в городе для русских паломников: действующая поныне церковь Св. Троицы с десятью зелеными главками и первыми колоколами, разрешенными в Иерусалиме турками, больница, постоянный двор для паломников-монахов, русское консульство, русская духовная миссия, Елизаветинское и Сергиевское подворья и чуть в стороне — Николаевское подворье для высокопоставленных и состоятельных паломников. Все строительство было завершено в 1903 году. В католических кругах зародилось даже подозрение, что истинное предназначение этих зданий — служить казармами, когда Российская империя начнет завоевывать Палестину. До окончания строи-

тельства паломники жили в палатках и временных деревянных постройках, и старые фотографии запечатлели эти не существующие теперь временки, бакалейные и книжные лавки, иконописные мастерские, котлы с водой для питья и для стирки белья, общественную кухню, баню... В дореволюционное время на Пасху в Иерусалиме собиралось до десяти тысяч русских паломников — столько же, сколько всего христианского населения жило тогда в Палестине. Один из паломников писал: «Везде звучит русская речь, слышится русский говор. Наши мужики и бабы чувствуют себя здесь, да и вообще в Иерусалиме, как дома и подобно англичанам искренно удивляются и даже негодуют, когда кто-нибудь их не понимает».

Русское подворье было самым большим из всех владений иностранных держав в Палестине. Вслед за этим приобретением началась покупка земель внутри и вне стен Старого города — у Новых и Дамасских ворот, на Масляничной горе, где находятся могилы патриархов, и других. Большинство участков осталось незастроенными: покупки совершались как капиталовложения — их стоимость росла. Попутно вытеснялся соперник — греческая православная церковь. Самые ценные приобретения были сделаны вблизи святых мест христианства. Рядом с храмом Гроба Господня было построено Александровское подворье с действующей до сих церковью Св. Александра Невского. Место это купило правительство для постройки русского консульства, но при закладке фундамента наткнулись на старинную стену трехметровой высоты, римскую мостовую и следы ворот с порогом. Археологи установили, что это Судные врата, через которые Иисуса вели на Голгофу, евангельское лобное место. Римский служитель сопровождал осужденного на казнь до Судных врат в крепостной стене, вешал ему на шею приговор, с этой минуты не подлежащий обжалованию, и дальше, за пределами города, с осужденным шли только солдаты и палачи. Раскопки были продолжены, планы постройки пришлось изменить, и над порогом в 1896 году построили храм. Место, где найден порог, называется с тех пор Русскими раскопками, а сам порог с выемками, на которых вращались створы ворот, и углублениями для задвижек почитается христианами как величайшая святыня. Русское православное зарубежье поддерживает в этом месте негасимые лампы, а во время литургий молятся об успокоении души императо-

ра Александра III — покровителя Православного Палестинского Общества.

В Гефсиманском саду, вблизи Гробницы Богоматери, стоит прекрасная действующая русская церковь московской архитектуры с пятью золотыми куполами-луковичами. Она была сооружена в 1888 году на личные средства императора Александра III в память его матери Марии Александровны и освящена во имя Св. Марии Магдалины. Внутри церкви иконостас изящной работы на стене из белого мрамора, царские врата из темной бронзы и иконы кисти художника В. Верещагина. При освящении храма присутствовал основатель Православного Палестинского Общества великий князь Сергей Александрович.

Храм находится на территории женской русской Гефсиманской обители. У ограды — место, где, по новозаветному преданию, Мать Божия после своего Успения бросила неутешному апостолу Фоме свой пояс и благословила всех апостолов. Обитель основала в 1934 году принявшая православие шотландка Варвара Робинсон, ставшая после пострижения игуменьей Марией. В 1937 году она основала в соседнем селе Вифания существующую и поныне православную просветительскую школу для арабских девочек. Теперь это единственная православная школа в стране. Я присутствовал на занятиях, наслаждался великолепным русским языком учителей, наблюдал, как дети танцуют под музыку Чайковского, постигают язык и культуру, слышал их церковное пение. Удивительно было видеть и слышать все это в мусульманской деревне.

На самой вершине Елеонской (Масличной) горы стоит видная отовсюду высокая белая колокольня с православным крестом. Здесь находится русский женский Елеонский монастырь. Участок этот был куплен в 1870 году для строительства храма Вознесения с 64-метровой колокольней, прозванной «Русской свечой». Обитель была открыта в 1906 году. Площадь монастыря вместе с двумя кладбищами, гостиницей для паломников, масличной и сосновой рощами составляет 54 тысячи кв. метров и обнесена каменной оградой протяженностью полтора километра.

Все русские церкви и монастыри в Иерусалиме, кроме Троицкого собора на Русском подворье и Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме, принадлежат Русской православной церкви за границей. Первая мировая

война и последовавшая за ней революция в России создали вокруг русского имущества в Палестине сложную ситуацию. Из России полностью прекратилось паломничество. Большевистский режим объявил себя наследником собственности Российской империи, но отказался от ее долгов и обязательств. В то время Святая земля и русское имущество на ней не вызывали у коммунистических лидеров никаких чувств и интереса. Связь России со Святой землей была нарушена, хотя полностью не прекратилась: большая часть священников и монахов не приняла «красную веру» и подтвердила верность царю и белому движению: находившиеся за границей не вернулись в Россию, а те, кто могли, ушли с Белой армией. Русская православная церковь за границей, сформированная в 1921 году, взяла на себя управление Русской духовной миссией и Православным Палестинским Обществом в Иерусалиме. Великобритания, к которой Палестина отошла в 1917 году в качестве подмандатной территории, продолжала считать наследником духовных и материальных ценностей православия Белую церковь. Однако деятельность Белой церкви в Палестине приходила в упадок, потому что перестали поступать пожертвования от верующих из России, и она существовала на средства от сдачи в аренду сельскохозяйственных участков, купленных в прошлом веке. До 1948 года у Русской духовной миссии и Православного Палестинского Общества было 32 владения, 24 из которых были признаны святыми местами.

После 1917 года Русским подворьем завладели англичане. Постоялый двор для монахов-паломников стал центральной тюрьмой (теперь музей героев борьбы против английских колонизаторов), русская больница стала военным госпиталем, в Николаевском подворье располагалась полиция.

Еще сложнее стала ситуация в 1948 году после образования государства Израиль. Уход англичан и Война за независимость разделили Палестину между еврейским государством и Иорданией, и русские церковные владения тоже оказались разделенными. СССР потребовал вернуть ему ту их часть, которая осталась на территории Израиля. Требование было удовлетворено простым административным распоряжением. Те, кто его отдали, оправдывались впоследствии тем, что священники и монахи бежали, бросив имущество, и с юридической точки зрения оно считалось бесхозным. Русская церковь за



границей отрицает это, утверждая, что последние оставшиеся монахи и священники были изгнаны насильно. Лично мне кажется, что сыграла свою роль политическая конъюнктура: СССР первым признал Израиль, помогал ему в Войне за независимость оружием, и время освобождения от иллюзий еще не наступило. С этим распоряжением Русская зарубежная церковь никогда не соглашалась, но большую часть имущества она сохранила, так как оно находилось на территории Иордании.

В начале шестидесятых годов советская власть почему-то решила продать большую часть принадлежавших ей в Иерусалиме земель. О причинах можно только догадываться — возможно, территории и постройки на них не приносили дохода и требовали ухода, или из-за вечной нужды в валюте, или по чьему-то головотяпству. Переговоры длились два года и завершились в 1964 году подписанием сделки, получившей название «апельсиновой», — за дома и земли Израиль уплатил апельсинами на пять миллионов долларов. (В московском учреждении, где я тогда работал, все сотрудники были отправлены на овощную базу. Каждый израильский апельсин был завернут в папиросную бумагу с надписью «Израиль» и изображением земледельца, срывающего с дерева плод. Власти решили, что это подрывает основы, приказали снять упаковку и сжечь. Несколько штук я все же положил в карман, чтобы показать друзьям.) Так было откуплено почти все Русское подворье, кроме церкви Св. Троицы, помещения духовной миссии Московской патриархии и здания, где Русская духовная миссия располагалась до революции (теперь оно арендуется Верховным судом Израиля).

Вне Иерусалима остались непроданными участок и церковь Св. Марии Магдалины на горе Кармель в Хайфе, участок с часовней на озере Кинерет, апельсиновый сад, гостиница и церковь Петра и Павла в Яффе (она была построена в начале века, когда консулом в Яффе был барон Устинов, отец известного английского киноактера Питера Устинова). Московская патриархия владеет и женским монастырем «Горнее» в Эйн-Кареме под Иерусалимом. Он был основан в восьмидесятых годах прошлого века в память посещения этих мест Девой Марией. Арабы называют это место Эль-Московией. В Русской духовной миссии Московской патриархии 3 священника, 44 монахини и два гражданских лица — советник и администратор.

Советская консульская группа претендует еще на два владения в Иерусалиме, не включенные в сделку 1964 года. Это большая незастроенная площадка в самом центре города. В 1964 году кто-то из советских представителей обмолвился, что земля оставлена на тот случай, если когда-нибудь понадобится площадка для строительства советского посольства в Иерусалиме. Поскольку она не использовалась, муниципалитет счел ее бесхозной и устроил на ней автомобильную стоянку, и теперь спор должен решать суд. Спорным является и здание Сергиевского подворья, в котором теперь размещается Министерство сельского хозяйства и Общество по охране природы Израиля. Здание названо в честь брата царя, основателя Православного Палестинского Общества великого князя Сергея Александровича, убитого в 1905 году террористом Каляевым. Соседнее подворье было названо в честь его жены Елизаветы Федоровны, родной сестры последней русской императрицы; прах великой княгини был захоронен в 1920 году под нижними сводами церкви Св. Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Спор вызван тем, что Сергиевское подворье записано на имя Сергея Александровича Романова и касается, в сущности, имущества царской семьи. Представители СССР утверждают, что дом записан на Романова как председателя Палестинского Общества и принадлежит не частному лицу, а обществу, правопреемником которого является Советское государство. Но просьба представителей Израиля предъявить решение Советского суда, ясно определяющее, кто является наследником имущества этого общества, выполнена не была. Поскольку наследники великого князя не объявились, для Израиля здание считается бесхозным.

...На фронтонах зданий Русского подворья в Иерусалиме, в том числе и на принадлежащих теперь Израилю, сохранились исторические названия, и, проходя по подворью, то и дело встречаешь русские надписи: «Вениаминовский приют», «Мариинское подворье», «Русская духовная миссия», «Русская больница», да и выглядят они внешне точно так же, как в былые времена, когда в них проживали сотни и тысячи паломников. И везде сохранилась эмблема императорского Православного Палестинского Общества, обрамленная выписанными славянской вязью словами пророка Исая: «Ради Сиона не умолкну и ради Иерусалима не успокоюсь».

## Айвен Швებель

### ЭТЮДЫ О ЦАРЕ ДАВИДЕ

Я полагаю, в моих работах есть два-три постоянных элемента, которые дают ключ к их пониманию.

Действие происходит всегда в центре современного Иерусалима, точнее — западного Иерусалима, той его части, что застроена в недавнее время. Безо всяких литературно-религиозных мудрствований я перенес сцены из Книги пророка Самуила в пространство сегодняшней улицы.

Я спрашивал окружающих меня людей, религиозных и прочих, допустимо ли это, нет ли здесь нарушения какого-либо запрета. «Недопустимо», — говорили те, у которых от Библии остались лишь дурные воспоминания, относящиеся к поре школьных экзаменов. Ответы других были более благоприятными. Они полагали, что таким образом может быть подчеркнута поразительная легкость, с которой прошлое смыкается с настоящим.

Батшева понесла от Давида. Царь отзывает ее мужа, воина Урию, с передовой в надежде, что Урия переспит с женой и тем покроет его грех. Здесь, на Яфском проспекте, Давид кормит и поит Урию, в общем-то, совершенно зря. Об этой истории повествуется во Второй книге пророка Самуила, в главе 11.

Я приходил сюда в жаркие летние месяцы двух последних лет. Есть особое свойство у иерусалимского солнца — его режущий яркий свет. И я храню этот свет внутри себя — в память о моих первых годах в Иерусалиме. От белого к желтому, красным по синему — точно многоцветная смесь ледяного шербета в стакане. Стоит лизнуть — и война исчезнет. Если писать этим крас-

ным, и желтым, и синим — война исчезнет. Иными словами, танец алого цвета вместо пляски алой крови. И пусть даже сила рисунка возникает скорей от природных красок заката, чем от раскраски военных действий! Пусть! В винном финале знойного летнего дня это неизбежно.

Трудно дается мне в этой серии натюрморт. Ему следует быть и простым и тревожным одновременно, но покамест он и не думает становиться таким. Куриная ножка выглядит очень даже странно... Сгустки кармина — то ли помидоры, то ли фрукты... Зато бутылка с вином удалась на славу, чему рады вдвойне и натурщик (в данном случае сын художника Артемис), и сам создатель шедевра. Оба любят игру света в стакане вина — у натурщика это скорее всего наследственное. Но в общем натюрморту явно не повезло. В журнале «Дом и сад» (да и в любом другом того же типа) можно найти куда более впечатляющие картинки.

Но вот все повторяется снова. На этот раз Давид и Урия возле книжной лавки Стеймацкого, там же, на Яфо. Моделью для Урии (взятого в три четверти поворота) послужил мне Джимми Дайкс — третий основной игрок команды «Филадельфия атлетикс» набора 1920 года. Не все прояснено до конца в этой фигуре, повернутой в три четверти. Давид — бутылка в руке — предлагает еще стаканчик. Пустые хлопоты: Урия и без того «готов». Вышло совсем неплохо. Но с этим «в три четверти» вечно проблемы. Именно поэтому я уже многие годы отдаю фигуре на полотне все свободное дыхание пространства. Я и тут колебался: не поставить ли их обоих лицом к зрителю, прямым, как они есть. А не решился. Нет, если все сделано хорошо, то и «в три четверти» сработает как целое.

Наконец-то нашел решение. Вместо Дайкса — Эд Роммель. Кстати, тоже великий спортсмен. Впечатление интимности достигнуто, и о «трех четвертях» больше нет и речи. Давид дан в голубых тонах, в его серьезности есть что-то от святых с полотен Джотто. Вот только Урия уж слишком пьян, трудно поверить, что он доберется до постели Батшевы.

Не удивляйтесь тому, что библейская драма разворачивается на улице Яфо, что молодой результативный игрок из Филадельфии позирует в роли Авессалома: потупясь стоит он перед великим царем. И не так-то легко разместить мне библейских героев на Яфском проспекте.

Прошлое может срастись с настоящим, лишь если обе эпохи пойдут на компромисс. Да, именно на компромисс. Вот наконец-то и найдено нужное слово. В нем самая суть того, что я затеял.

Смеяться над собственными достижениями среди всеобщей самодовольной серьезности, среди банальностей, выдаваемых за истину, среди мнимых успехов и ложных откровений и обнаружить после всех сомнений и смешков, что получилось нечто стоящее, — это и значит «смеяться последним».

Человеческие чувства не смешны, смешны их преувеличенные внешние проявления — прыжки и ужимки. Вот Давид стоит перед соперником, скалит зубы от удовольствия и буквально не сводит с него глаз.

Я вспоминаю лица на картинах Пьетро делла Франчески (не говоря уже о Джотто) — сколько в них величавой отрешенности! Искусство чем-то сродни первой из стихий — воде. Хорошо ныряет только тот, кто в душе уже не хочет выплыть. Он повторяет опыт снова и снова — и каждый раз уходит на все большую глубину. Что-то, наверное, тонет вместе с ним, но тем не менее...

Фигуры Урии и Давида я набросал углем. Стол сервирован отнюдь не для вегетарианцев. Поджаренное мясо, специи; кроваво-красные тона этих пиршественных блюд колористически обрамляют главную фигуру — Урию. Яфский проспект выполнен углем и уходит на восток — к площади Сиона.

А остановка автобуса! Чем-то эта иерусалимская сцена сродни Нью-Йорку, включая фигуру возле черно-белой афиши.

Но что это? Мне и самому не верится, так это удивительно вышло, точно дух Караваджо снизошел на меня. Одно из двух: либо живопись, либо психологизм — редко когда им случается объединиться. Но тут это неожиданно произошло. Такого, кажется, еще не бывало (чеснок, оливковое масло и выразительный кусок мяса — но разве это можно описать словами?). Нет, я положительно убежден, цвет — великое чудо! Сродни психологии. Законы у них одни.

И теперь, перед лицом испытаний, которые предстоят Израилю, смею ли я дать померкнуть моим краскам? Конечно, алый цвет напоминает о крови. Но разве только о крови?! Не заставляет ли нас эта сочащаяся краска вспомнить об Апокалипсисе, скрыто присутствующем в самой природе вещей?!

Я, может быть, злоупотребляю цветовыми эффектами, но человек — эта причудливая комбинация противоречий и двусмысленностей — нуждается же в чем-то необычном, чтобы выразить себя!

Вопль Давида: «Авессалом, сын мой!» — вот глубочайшее выражение его характера. Сын восстал против отца, пытался захватить трон и едва не преуспел в этом. Узнав о поражении восставших, Давид не радуется своей победе, а скорбит о гибели сына. Подданные ликуют, но умолкают сразу, заметив печаль царя.

Я пытался изобразить это, насколько мог. Давид стоит одиноко — на том месте, где теперь кинотеатр «Сион». А ликующая толпа повалила на свадебную вечеринку — я видел их, свидетелей этих, они действительно были там — на проспекте Яфо, я видел их за минуту до того, как взялся за кисть.

Площадь Сиона заслуживает бессмертия! Отличная декорация для превосходно написанной драмы, не говоря уж о том, что она — истинный центр нынешнего Иерусалима. Несколько дополнительных линий, небольшие изменения в контурах зданий, — и ты вырываешься за пределы времени. А подъем по улице Бен-Йегуды всегда увлекателен, как парадокс.

Работа пошла легче: больше свободы и больше уверенности в себе. Думаю, что удастся избежать фальши. А появление Давида на улице, порожденное современной кистью, вызывает трепет и у меня. И заметьте: в Библии его нигде не называют царь Давид — этот титул прирос лишь к названиям отелей и вывескам сувенирных лавок.

Площадь Сиона испытывает наши способности, наше ощущение настоящего и наше чувство ответственности. В картине слышится м о й крик, а не шум движения, суэта прохожих и мельканье фигур возле уличного прилавка фалафельщика.

Делакруа сказал когда-то: «Человека делает гением совсем не новая идея, но поглощенность идеей, одержимость ею до конца, — вот в чем суть».

Долой всякую декоративность, долой! Если персонаж возник на полотне, если эффект присутствия достигнут — пусть он даже выглядит неуклюжим, во всяком случае в такой конкретности больше смысла, чем в заигрываниях с абстракциями.

Внешний мир — «хаос» по терминологии Беренсона. А с хаосом хороша лишь одна тактика: оберегать инди-

видуальность каждого входящего в него элемента — во имя его самоценности и нравственной чистоты художника. Не погубите детали, стремясь гармонизировать мир!

Лучше всего просто не знать, что происходит в том участке хаоса, который ты воспроизводишь. Старайся зацепиться за какой-нибудь кусочек и, когда он пойман, гонись за следующим! И никаких бредней о живописном видении мира!

Странно, я острее чувствую хаос, рисуя единичный предмет, а не пытаюсь воссоздать противоречивую картину целого.

*Иерусалим, 1982.*

## Нина Перлина

### ПОПЕЧИТЕЛЬ

*(Н.И. Пирогов и еврейское просвещение)*

Имя Николая Ивановича Пирогова (1810—1881), столетие со дня смерти которого широко отмечала русская (как советская, так и зарубежная) печать несколько лет назад, может быть упомянуто сразу в нескольких контекстах. Выдающийся деятель медицины, впервые применивший метод эфирной наркотизации и еще в 1847 году сумевший ввести применение наркоза в практику военно-полевой хирургии, герой Крымской кампании, Пирогов в 1856—1861 годах был попечителем Одесского, а затем Киевского учебных округов и своей деятельностью внес неоценимый вклад в дело народного просвещения; в частности, он заявил себя инициатором и горячим сподвижником дела еврейского образования. Эта сторона административной и учебно-педагогической деятельности Пирогова сейчас мало кому известна, а его статьи «Одесская Талмуд-Тора», «Доклад о еврейском образовании», равно как и официальные письма и проекты, в которых он защищал свою просветительскую и глубоко гуманную позицию, не переиздавались с 1910 года.

Еврейское население России и еврейская культура в России XIX века многим обязаны Пирогову. Достаточно сказать, что по его инициативе и при его административном содействии стало возможным издание первых еврейских журналов в России. В 1858 году в Одессе начал выходить на русском языке журнал «Рассвет», а через два года было получено разрешение на печатание жур-



нала «Гамелиц», первого в России периодического издания на иврите. Николай Иванович Пирогов не раз публиковался в этих журналах, и его статьи были, разумеется, существенной моральной поддержкой для еврейской периодики. Пирогов горячо одобрял программу «Рассвета» и «Гамелица», которые ставили своей целью «доказать единоверцам необходимость образования, убедить односторонников (так Пирогов называл ортодоксальных евреев), что в Божьем мире есть много высокого, полезного и кроме изучения талмудических книг». «Если бы, — обращался Пирогов с письмом в редакцию журнала «Гамелиц», — вам удалось убедить хотя бы некоторую часть ваших односторонников в необходимости общечеловеческого образования, то вы соорудили бы себе памятник, превышающий крепостью медь и гранит» (Киев, 12 февраля 1860 г.). Эта поддержка еврейских журналов не была каким-то мимолетным эмоциональным порывом или либеральным жестом — Пирогов был противником либерализма; она основывалась на тех общих принципах справедливости, гражданского патриотизма и просвещенного христианства, которыми Пирогов руководствовался в жизни.

Пирогов много раз выступал против юдофобства как культурно-изоляционистской, националистической и государственной позиции. Пытаясь облегчить положение и расширить права еврейского населения в России, Пирогов особое внимание уделял движению просвещения среди самих евреев. Он всегда придавал большое значение вопросам образования. «Вопросы жизни» — так озаглавил он свою главную работу о значении воспитания и образования. Эпиграф к этой статье принадлежит самому автору и вполне выражает мировоззрение Пирогова:

— *К чему вы готовите своего сына? — кто-то спросил меня.*

— *Быть человеком, — отвечал я.*

— *Разве вы не знаете, — сказал спросивший, — что людей собственно нет на свете, это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.*

*Правда это или нет?*

— Нет, — было ответом Пирогова, — неправда, и быть человеком — значит быть частицей человечества. В этом отношении Пирогов вполне разделял мысли великого немецкого ученого Александра Гумбольдта, авто-

К СТАТЬЕ И. МОШКОВИЧА «МАРК ШАГАЛ И РОССИЯ»  
*Репродукции работ Марка Шагала*



Псалом Давида. 1956 г.



Автопортрет перед мольбертом. 1914 г.



Дом в местечке Лиозно.



Адам и Ева. 1912 г.



Ворота еврейского кладбища.



Ангел над Витебском. 1977 г.



Русская деревня. 1959 г.





Песнь песней. 1974 г.

ра книги «Космос». У Гумбольдта же Пирогов нашел словесную формулу, которая стала девизом его практической деятельности: *«Цель человечества состоит в развитии внутренней его силы, к которой оно должно стремиться общими усилиями, не стесняясь различием племен и наций»* (из речи Пирогова, произнесенной при прощании с еврейским обществом города Одессы в 1858 г.). Ограничение евреев в правах, как и всякое ограничение человека в его человеческих правах, Пирогов считал «негуманным и нерациональным анахронизмом». В середине XIX века никто из его русских современников не решался, да и не считал нужным, столь зрело, обдуманно и всесторонне обсуждать деморализующие последствия таких государственных установлений, как черта оседлости и «исключительные и ограничительные меры для евреев в круге деятельности учебного ведомства».

В автобиографическом очерке, составленном на склоне лет, за год до смерти, Пирогов писал: «В стране обширной, малонаселенной, нуждающейся в интеллектуальном и материальном капиталах, стеснять и ограничивать весьма ненадежными полицейскими и административными мерами... семитическое племя — есть поистине величайший политический абсурд, ведущий только к деморализации как стесненной, так и стесняющей среды. Для обитателей территориальной полосы, назначенной для еврейского гетто, эта прогрессирующая деморализация проявляется на каждом шагу в ужасающих размерах и видах. Поэтому, быв попечителем двух округов в этой полосе, я считал первым моим долгом... всеми законными и нравственными мерами смягчать суровые ограничения и происходящий от них вред».

Отменить черту оседлости было не во власти Пирогова, но, обладая большими административными полномочиями как попечитель двух учебных округов, он оказал большую поддержку еврейской учащейся молодежи, учителям-евреям и еврейской интеллигенции. Православный христианин, русский патриот и просветитель, Пирогов верил в общечеловеческие начала христианства, патриотизма и просвещения. В его отношении ко всем национальным меньшинствам Российской империи было много уважения и сочувствия. Он умел видеть черты общечеловеческого в коллективном образе каждой нации и всеми силами способствовал живому развитию этого «общечеловеческого начала», а потому никогда не боялся

учить русских христиан на примере евреев-иноверцев. По мнению Пирогова, «самая высокая, общечеловеческая сторона еврея» — в глубоко укоренившемся, врожденном уважении к грамоте, к образованию. «Еврей считает священной обязанностью научить грамоте своего сына, едва научившегося лепетать: это он делает по глубокому убеждению, что грамота есть единственное средство узнать Закон. ...Маймонид, основываясь на устном предании, утверждает, что слово «сын» в Ветхом завете значит также и «ученик»; приходская школа евреев, или Талмуд-Тора, значит «изучение Закона». Итак, грамота и Закон, сын и ученик, ученье и воспитание сливаются в одно в понятии ветхозаветного человека, и эта тождественность в глазах моих есть самая высокая сторона еврея» («Одесская Талмуд-Тора»).

Когда Пирогов писал эту статью в 1858 году, он отдавал себе отчет в том, как накинута на него патриоты-юдофобы, антисемитствующие просветители русского народа да и просто те русские образованные люди, которым кажется оскорбительным сопоставление их нравственных принципов с принципами и свойствами «отжившего (так они считали) семитического племени». Предвидя такого рода нападки, Пирогов продолжал настаивать: *«Как ни чужды, странны и непонятны кажутся нам обычаи и законы евреев, — евреи следуют им по убеждению и по убеждению же отдают детей в школу с самого малолетства изучать грамоту и Закон. Если же к этому убеждению в необходимости знания, грамоты и Закона прибавить еще и умение учить, и скромнейшие материальные возможности обучать и учиться — произойдет истинное чудо преображения».*

Большая часть статьи «Одесская Талмуд-Тора» посвящена тем впечатлениям, которые Пирогов вынес из двух посещений этой школы. В 1857 году, начав службу попечителя учебного округа, он застал Одесскую Талмуд-Тору в плачевном состоянии: бедность и грязь, духота и теснота помещения, неграмотные и неопытные учителя; дети, занятые, как выражался Пирогов, бессмысленной механической зубрежкой и «подстрочным переводом с еврейского на испорченный немецкий жаргон»; больные, недокормленные, запуганные мальчики, теснящиеся по 8—10 человек на лавке... Пирогов, обладавший не только гуманными убеждениями, но и редким умением претворить эти убеждения в жизнь, взялся за дело, не терпя отлагательств. Он выписал из Германии

нового директора для Талмуд-Торы, доктора Гольденблюма, и одновременно добился разрешения на издание в Одессе первого еврейского журнала на русском языке. Тем самым он привлек себе на помощь целый кружок образованных евреев.

*«И вот, — пишет Пирогов, — несколько просвещенных благотворителей, вникнув в глубокий смысл слов вдохновенного пророка («Слушай, Израиль...» — Второзаконие, 5: 1, 6: 4 — 6), движимые высоким милосердием к своим соплеменникам, в течение девяти месяцев изменили и сущность, и вид училища».* Исчезли грязь, бедность, вшивость; более 200 учеников (преимущественно сирот, подчеркивает Пирогов) были переведены в чистые теплые классные помещения; колотушки и оплеухи исчезли из практики педагогической работы, дети научились осмысленно относиться к изучаемым текстам, они научились читать и переводить с древнееврейского на немецкий и на русский; директор школы ввел в Талмуд-Торе хоральное пение, дети перестали отлынивать от занятий и бесцельно шататься по улицам; даже в дурную погоду школа была полна учениками. *«Изумительные перемены! — восклицает Пирогов. — И все это в девять месяцев!»* Используя этот впечатляющий и назидательный пример полного преобразования, Пирогов обращается к своим единоверцам и соплеменникам: *«Почему же наши христианские училища в эти девять месяцев не сделали никакого шага вперед? Не я ли виноват? По совести говорю: нет».* И попечитель одного из крупнейших в Российской империи учебных округов приводит евреев в пример своим русским читателям, подчиненным и своему петербургскому начальству.

В газете «Одесский вестник» он доказывает своим читателям, что секрет таких небывалых успехов, достигнутых еврейским училищем для бедняков, объясняется тем, что еврей-благотворители да и все еврейское общество были движимы общими убеждениями, действовали не врозь, а общими силами. *«Только когда мы, русские православные христиане, прекратим споры о том, что должно быть нашим кровным убеждением, и научимся действовать согласно, единомысленно, подчиняясь одной, твердо выбранной цели, — мы сможем стать настоящими просветителями бедняков и их благодетелями».* Необходимо также *«прямое и истинное участие в нравственной судьбе бедного»*, то есть нужна не школа для бедняков, а школа, где бедные дети перерождаются, ста-

новятся другими, обретают другие культурные и социальные привычки, учатся мыслить и жить.

Опыт Одесской Талмуд-Торы Пирогов положил в основу своих официальных проектов преобразования еврейских школ и русских приходских училищ. В письмах, адресованных в министерство народного просвещения, он предлагал *«полное уничтожение замкнутости еврейских школ и уравнивание их в правах с общеобразовательными учреждениями»*. Пирогов предложил, а в Одесском учебном округе и ввел в жизнь, новые учебные программы для еврейских училищ.

Будучи убежденным сторонником «общечеловеческого», защитником «университетского перед специальным» (т.е. сторонником вселенского, универсально-всеобщего значения наук, веры и просвещения), Пирогов увеличил возможности поступления еврейской молодежи в гимназии и коммерческие училища. В нарушение правил, высочайше утвержденных императором Николаем II в 1844 году, Пирогов настоял на введении преподавания еврейского Закона в одной из вверенных его попечительству гимназий. По поводу этого нововведения Пирогов не раз входил в официальную переписку с министром народного просвещения графом А. С. Норовым. Любопытно, что в делах архива министерства народного просвещения сохранились все частные письма Пирогова к Норову, официальных же документов — его предложения о введении преподавания еврейского Закона во 2-й Одесской гимназии и «представления» о преобразовании Одесской Талмуд-Торы — обнаружить не удалось, хотя, судя по данным «исходящего» журнала министерства, эти официальные документы, составленные Пироговым, были в Петербурге получены. Можно предположить, что Авраам Сергеевич Норов, активный деятель Российского библейского общества, человек многогранной образованности, уважая Пирогова и не желая привлекать внимания к рискованной инициативе своего подчиненного, распорядился изъять оба эти отношения из бумаг, поступающих в министерский архив. Из-за отсутствия столь важных документов мы не можем во всей полноте судить о предлагаемых Пироговым преобразованиях, но общий характер идей Пирогова может быть восстановлен из его статьи «Доклад о еврейском образовании».

В этой пространной записке Пирогов вновь повторяет свой основной тезис, что для еврейского племени вера и грамотность соединены неразлучно. «Учители еврейского

юношества для него суть и наставники веры, очевидно, что в их руках находится и будущее направление целого поколения. Из одного этого можно судить, как опасно и сколь нежелательно было бы лишить еврейскую гимназическую молодежь возможности изучать еврейский Закон (то есть Ветхий завет). В городах и местечках в черте территориального гетто молодых евреев, получивших гимназическое образование, единоплеменники будут уважать именно за их грамотность и образованность. Но в том-то и дело, что эта столь уважаемая образованность, лишенная фундаментальной основы — веры, окажется чем-то ущербным как с узкоеврейской, так и с общечеловеческой стороны...» В письмах к Норову Пирогов настойчиво повторяет: «Опыт и знакомство мое со многими молодыми евреями, не получившими в наших гимназиях никакого религиозного воспитания, убедил меня уже давно, что они, не получив в приготовительных еврейских школах никакого истинно религиозного направления, обучаясь потом в христианских школах, не имеют ни времени, ни охоты обучаться еврейскому Закону дома в свободные от учения часы, через что оставляют и ту формальную религиозность, которую приобрели в их детстве, блуждая на пути к неверию и безнравственности».

Из этой пространной цитаты следует, что Пирогов, добываясь одобрения своего проекта, руководствовался убеждением в преимуществах общечеловеческого над узкопрофессиональным. Он пытался провести эти убеждения в жизнь и воспитывал в школах и гимназиях не ограниченных специалистов, а молодых людей с широкими духовными представлениями о жизни и Законе. Многократные повторения этой идеи в газетах и журналах помогли Пирогову провести, хоть и не во всей полноте, свой проект в жизнь. Министерство народного просвещения согласилось «дозволить евреям, если пожелают, учредить при гимназиях и других учебных заведениях особые для своих детей пансионы и предоставить евреям обучать детей своих закону веры по собственной их воле, в училищах или у частных учителей» (Распоряжение за № 3643 от 19 мая 1859 года). Однако заступничество Пирогова за евреев, его глубокое уважение к традициям еврейской культуры, постоянное привлечение одесских евреев к сотрудничеству в делах Одесского учебного округа, обсуждение вопросов еврейского образования в газетах, публикация там статей, написанных самими

евреями, вызвали резкое сопротивление у многих современников; деятельность его не заслужила поддержки в официальных петербургских кругах. Пирогова стали обвинять в отсутствии патриотизма; были, разумеется, пущены слухи о его еврейском происхождении, и, наконец, получив несколько жалоб на Пирогова, министр народного просвещения распорядился о переводе Н.И. Пирогова из Одессы в Киев. Из Киевского учебного округа Пирогов был в 1861 году отправлен за границу для руководства молодыми людьми, подготовлявшимися там для профессорства в России. Когда в 1866 году на должность министра народного просвещения был назначен граф Дмитрий Толстой, Пирогов был отстранен и от этой должности. Вернувшись на родину, Пирогов принял участие в осмотре ведущих российских университетов и составил свои замечания по поводу состояния университетских дел и университетской науки в России. Ни одно из замечаний Пирогова не было принято во внимание составителями нового университетского устава. Проект преобразования русских университетов, составленный Пироговым, нигде гласно не обсуждался, а текст его, отпечатанный министерством народного просвещения, в продажу не поступал. Гуманно-просветительные идеи этого документа остаются неосуществленными в России и поныне.

С именем Пирогова связан начальный этап развития еврейской светской культуры в России и та особая роль, которую играла Одесса в этом движении. Этот период в жизни и деятельности Пирогова остается и до сих пор наименее изученным. Только по газетным статьям XIX века, воспоминаниям современников и по некрологам, посвященным памяти Пирогова, можно судить о том, сколь значительна была его инициатива и как плодотворно оказалось его начинание. Вслед за появлением первого русского еврейского еженедельника «Рассвет» выходят новые еврейские периодические издания: журналы «Восход» и «Русский еврей». В бытность свою в Одессе Пирогов привлек к постоянному сотрудничеству в «Одесских ведомостях» О. А. Рабиновича, ставшего в 1858 году также и редактором «Рассвета». В течение двух последующих десятилетий, пока «Одесские ведомости» не были отняты у учебного округа и переданы в ведение военного генерал-губернатора, газета эта, реорганизованная по инициативе Пирогова, оставалась выдающимся явлением в тогдашней русской провинциальной

прессе. «Рассвет» и «Одесские ведомости» оказались первыми периодическими изданиями, на страницах которых стал обсуждаться вопрос о бедственном положении еврейского студенчества, и эти же газеты сыграли немалую роль в создании фондов вспомоществования нуждающимся еврейским студентам. И тут инициатива принадлежала Пирогову, который в феврале 1861 года из Киева обратился к редактору «Рассвета» с просьбой поместить на страницах еженедельника письмо одесского почетного гражданина Абрама Марковича Бродского о сборе пожертвований для создания фонда помощи киевским студентам еврейского происхождения. С полным на то основанием Марк Матвеевич Антокольский, выдающийся скульптор и своеобразный мыслитель, решив заняться созданием бюстов всех замечательных людей, первым хотел вылепить Пирогова. *«Пирогов был замечателен и как ученый, и как человек,— писал Антокольский.— Он первый начал говорить о равенстве евреев в России»* (из письма Стасову от 11 июня 1873 г.).



## Ю. Каган

### О ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧЕ РОЗАНОВЕ

Удивительно, как я удељивался с ложью. Она никогда не мучила меня. И по странному мотиву: «А какое вам дело до того, что я в точности думаю, чем я обязан говорить свои настоящие мысли...»

*В. Розанов. Уединенное*

...век этот не знал, что делать со своей духовностью, или, вернее, не знал, как определить подобающее духу место в структуре жизни и государства.

*Г. Гессе. Игра в бисер*

Эта статья была написана почти десять лет назад. Тогда сочинения Розанова еще не переиздавали в «Огоньке», не объявляли о предстоящей публикации тома Розанова в 50 печатных листов, не посвящали ему целых страниц в «Литературной газете». Однако и тогда уже из-за усиливающихся национальных устремлений, а также из-за необходимости иметь каких-то неофициальных, иных учителей жизни, из-за все более явного интереса к истории, к некогда ярким, а потом, несмотря на всю их значительность и влияние, почти совсем неназываемым именам, по разным поводам вспоминали этого блестящего стилиста, журналиста, литературного критика и весьма своеобразного философа — моралиста и имморалиста одновременно. На Западе Розанова публиковали и изучали. В разговорах о путях России, русской

культуры и бескультурья на Розанова ссылаются часто. У нас же совсем недавно в журнале «Литературная учеба» (№ 2, 1989) Розанова опубликовали в разделе под названием «К истокам!» — и это звучит как призыв.

Вопрос о том, каким был этот человек, какую роль сыграл он в русской культуре, годится ли он сколько-нибудь в учителя жизни вообще и особенно сейчас, — непрост, и ответить на него нелегко. Я попыталась это сделать на примере только одной из разнообразнейших тем, которые занимали Розанова.

За свою жизнь (1856—1919) Розанов написал очень много. Сочинения его не собраны. Известнее его книги (их более двадцати!), прочитать же бесчисленные газетные и журнальные статьи, которые он публиковал и под своим именем, и под псевдонимами (их около сорока) — гораздо труднее. С разной степенью глубины Розанова интересовало чуть ли не все. Как-то в одном из писем к Розанову Н. Н. Страхов похвалил его за какую-то удачную статью по химии. Издавая эти письма в 1913 году, Розанов к этому письму сделал такое примечание: «Зачем я в химию залез — не понимаю. Это — умора». В 1888 году Страхов писал ему: «Для меня ясно, что Вы не только хорошо пишете и обладаете большой гибкостью ума, но что, сверх того, лихорадочно возбуждены и рветесь к истине и к тому, чтобы сейчас же заявлять свои мысли»<sup>1</sup>. Это стремление «сейчас же заявлять свои мысли» как бы заведомо сочетается с отсутствием глубины этих мыслей и напоминает сразу о двух героях Гоголя. О том, у которого «легкость в мыслях необыкновенная», и о том, который хотел, чтобы существование его было замечено, просил сказать в Петербурге, что «живет такой Петр Иванович...».

Когда Розанов был еще учителем провинциальной гимназии<sup>2</sup>, он перевел «Метафизику» Аристотеля, издал потом философскую книгу «О понимании» (1886). Тираж этой книги по теперешним меркам был мизерным — 600 экземпляров, однако и они не разошлись: автору вернули из магазина нераспроданные книги. С изданием этой книги у Розанова было, по-видимому, связано мно-

---

<sup>1</sup> Розанов В. В. Литературные изгнанники, т. I. СПб., 1913, с. 18.

<sup>2</sup> Ученики его не любили. М. М. Пришвин, стараниями Розанова выгнанный из гимназии в Ельце, вспоминал потом в «Кашеевой цепи», что учителя звали «Козлом». Но в «Курымушке» тот же Пришвин писал, как «Козел» принес в класс карты Азии, «забылся» и «полетел», удивительно интересно рассказывая о жизни азиатских народов.

го надежд. Когда он писал ее, то терпел насмешки от своей «инфернальной» первой жены — Аполлинаруи Сусловой, долго откладывал деньги на печатанье... Два года спустя Страхов сообщил Розанову, что философ Э. Л. Радлов «пишет разбор» этой книги для журнала Министерства народного просвещения. Розанов по этому поводу с печалью замечал: «Не появился, — вероятно, неоконченный. В те годы и вообще несколько лет меня удивляло, каким образом при восьми университетах и четырех духовных академиях не появилось никакого отзыва и никакого мнения о большой книге (40 печатных листов), во всяком случае не нелепой или не только нелепой... Что же за мертвая пустыня Россия, — где думай, открывай, изобретай — и никому даже и не захочется подойти и посмотреть, что ты делаешь... Вот тебе и книгопечатание!!»<sup>1</sup>. Это было очень печально. Тем более что Розанову очень важно было любым способом обратить на себя внимание. В 3-й части гораздо более поздней его книги «Сахарна» есть такая запись, в которой публикатор В. Сукач заметил две описки. Розанов написал: «...накалились таким бешенством. против «Нового времени», какое вообще не имеет параллелей себе иначе как разве в классическом и библейском мире, в ярости Медеи, оставленной Тезеем, или Соломона, остриженно-го Далилой...» Это не описки. Розанов не мог не знать, что не Тезей покинул Медею, а Ясон, и не Соломона остригла Далила, а Самсона. Не мог, а написал. Может быть, для того, чтобы смешнее было, чтобы показать, насколько все это не имеет никакого значения. Если же он в 1913 году делал такие описки, то, вероятно, был не очень-то здоров. В недавней статье о Розанове читаем: «Не нужно иметь проницательного взгляда, чтобы заметить в книгах Розанова большое уважение к фактам, историческим событиям, вообще данности»<sup>2</sup>. Это утверждение неверно. Розанова интересовали вовсе не факты, а свои собственные фееерические обобщения.

Живя в провинции: в Брянске, в Ельце, в городе Белом Смоленской губернии, Розанов написал острую книгу «Сумерки просвещения», в которой обрушивался на казенщину в образовании, зная все по опыту, т. к. сам преподавал в неполных четырехклассных гимназиях гео-

---

<sup>1</sup> Розанов В. В. Литературные изгнанники, т. I, с. 130.

<sup>2</sup> Литературная учеба, 1989, № 2, с. 82.

графию и историю. Министр Делянов требовал прекратить печатание, но редактор «Русского вестника» Ф. И. Берг не послушался его. Потом, с помощью Страхова, В. В. Розанов перебрался в столицу и стал служить в должности чиновника особых поручений при государственном контролере, одновременно печатаясь в столичных журналах и приобретая все большую и большую известность.

Зная уже, что «спор решает не «писатель», а «уважаемая редакция», которая дала писателю нужных 60 тысяч своих читателей», Розанов охотнейшим образом отзывался на разные темы: в «Русском вестнике» он защищал нетерпимость господствующей православной церкви, а обо всех других писал плохо — о протестантах, о католиках, об иезуитах, которые будто бы — неизвестно для чего?! — обваривают инославных детей...

Несмотря на то, что в те годы Розанов еще не обрел своей темы и своего стиля, интересно и знаменательно, что в ответ на статью Розанова «Свобода и вера»<sup>1</sup>, в которой он писал, что Владимир Соловьев — это «танцор из кордебалета», «разыгрывающий пророка», высмеиваемый философ ответил статьей «Порфирий Головлев о свободе и вере» с эпиграфом из Салтыкова-Щедрина: «Ишь ведь как пишет, ишь как языком-то вертит... Ни одного-то ведь слова верного нет. Все-то он лжет, и «милый дружок, маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует». Видно, что Соловьева задели и литературные особенности разнужданной манеры Розанова. Сейчас эту манеру склонны называть свободной, провоцирующей на ответ любыми средствами — даже скандальными. Этой манерой любуются, считая иногда ее признаком одаренности Розанова. А Розанов не забыл Соловьеву обиды и в 1913 году написал, что Соловьев был «не талантливый», а «очень скоро бегающий». Эти его быстро бегающие ножки были приняты за талант, и он был сочтен «русским Оригеном».

Немало души, таланта и вот этой одаренности вложил Розанов в свои ответы на еврейский вопрос. Об этом и пойдет у меня речь дальше. П. Палиевский в «Литературной газете» (28 июня 1989 года) пишет, что Розанов «внес нечто новое» в национальные отношения, что его подход «чрезвычайно скандализовал» общество, «не готовое к такой откровенности». Составитель тома

---

<sup>1</sup> Русский вестник, 1884, № 1.

избранных сочинений Розанова Ю. Иваск (Нью-Йорк, 1956) не поместил никаких статей писателя на эту тему и объяснил это так: «Заметки «черносотенные» опущены: они пера его недостойны и писал он их неискренне». А я думаю, что Розанов, напротив, писал всегда искренне. Но ведь это и не очень важно. Не очень важна и личная беда: Аполлинария Суслова ушла от Розанова к еврею Гольдовскому. Важно то, что, отдавая свои статьи в газеты и журналы, Розанов всегда знал, что его будут читать. Штатный сотрудник «Нового времени», увлекшись революцией, он под псевдонимом В. Варварин писал в либеральном «Русском слове» (потом свои эти фельетоны он издал в сборнике «Когда начальство ушло». А когда начальство вернулось, он снова стал черносотенцем). В 1911 году он писал, что такую «нелепую страну», как Россия, «завоевать нужно» (в книге «Среди художников»), в 1913 году у него «душа вздыхает по Аракчееву, который всему сказал бы величественное: «Высечь!» В 1914 году — он определенный шовинист, он за силу, за Россию, против Германии. И, кажется, каждый раз он был искренним. «Широк человек»...

Еврейская тема Розанова волновала. И те, которые полагают, что он был юдофилом (существует даже работа А. Селивачева «Психология юдофильства» с главкой о Розанове<sup>1</sup>, и те, которые убеждены в обратном, могут начать знакомство с этим вопросом по статье Розанова «Место христианства в истории». Сам Розанов писал об этой своей статье так: «Объективное ее значение заключается в том, что... показано историческое движение человечества, где, во-первых, «сказался Бог» и, во-вторых, где орудиями или проявителями Промысла являются семитические и арийские племена, Библия и Акрополь... Мне даже казалось и кажется, что со времени этой статьи вопрос «о семитизме» и встал во всей значительности, не допускающей далее говорить «о жиде» и даже «об евреях»<sup>2</sup>, а о евреях — Судьбе, евреях — Роке, евреях — Персте Божиим и Плана Истории. Переходя к суетному и земному, к сору и рублю, должен заметить, что эта статья как-то навсегда, для всего «потом» проложила в сору «улицу Розанову»... «путь Розанова»<sup>3</sup>. На этот «путь Розанова» мы и посмотрим.

---

<sup>1</sup> Русская мысль, 1917, февраль.

<sup>2</sup> Но говорил, и сколько говорил! А главное, что говорил!

<sup>3</sup> Розанов В. В. Литературные изгнанники, т. I, с. 203—204.

Не раз упоминаемый здесь Н. Н. Страхов, который очень ценил начинающего Розанова и много для него сделал, когда-то писал ему: «Если бы было в моей власти, я бы предписал Вам, во-первых, — регулярный образ жизни, а во-вторых, — чтение хорошей немецкой философской книги. Настоящее образование и настоящая зрелость не достигается в три-четыре года, а только в десятки лет»<sup>1</sup>. Это совершенно не соответствовало отличительному свойству Розанова — его оттолкновению от рассудочного постижения мира, его уверенности в силе интуиции. Это и вспоминает П. Палиевский в разговоре с А. Ф. Лосевым: «Ты говоришь, что этот нетеоретический человек прав... Так ведь он тоже себе на уме. Взять бы и ввести в теорию, что он себе думает... ужаснулись бы. Гегель и все это в сравнении с ним сладкая водичка. Розанов! Он это умел, и он начал... Ведь что наговорил...» Сам Розанов по поводу совета Страхова тогда заметил: «Все это глубоко верно. Но, увы, надо иметь «ангела чтения» около себя, чтобы начать так читать, так изучать, так готовиться. Этого «ангела» никогда не стояло около меня, и я чувствую, что во всех вещах делания и писания я был всегда, в сущности, «неподготовленный». Это, конечно, отнимает у них определенную группу качеств; но есть качества, специфически принадлежащие *statui pa cendi*, и, думаю, эти качества у меня были».

И вот «неподготовленный» журналист с изощреннейшим умением опытного литератора утверждал виновность Бейлиса в ритуальном убийстве, убеждая в этом «60 тысяч своих читателей»! Это посерьезнее его забытой статьи о химии, написанной в молодости, или опубликованной в самом конце жизни смехотворной заметки о том, что англичане «не имеют песен и выписывают музыку из-за границы»<sup>2</sup>.

Среди нескольких тем зрелого Розанова одна из самых важных — религия и пол. Ему казалось, что евреи глубже других народов понимают важность продолжения рода, он считал, что религиозность у евреев сексуальна, а сексуальность их — религиозна. Новый Завет для него — религия смерти, Ветхий Завет — религия жизни. Многие считали Розанова каким-то жрецом фаллическо-

---

<sup>1</sup> Розанов В. В. Литературные изгнанники, т. I, с. 203—204.

<sup>2</sup> Заключение это Розанов сделал после рассказа В. В. Андреева, ездившего в Англию.

го культа, «гностиком семени», «первосвященником религии совокуплений и рождений»... Самого Розанова это его жречество нередко доводило до пародийности и полной безвкусицы: «...сочинения мои замешаны не на воде и даже не на крови человеческой, а на семени человеческом», — писал он в «Опавших листьях». Но безвкусица эта была намеренной, цель ее была все та же — обратить внимание читателя, задеть его, эпатировать. П. Палиевский с восхищением вспоминает, что А. Ф. Лосев называл Розанова «всеприсутствующей потенцией»... Со мною Лосев таких разговоров не вел. Я помню совсем другой его рассказ. Вернее, пересказ слов П. А. Флоренского: на Пасху, идя вслед за Флоренским во время крестного хода, Розанов сказал ему: «А в Христа-то я не верю...» И еще помню, что Лосев сказал, что не хотел встречаться с Розановым. Не хотел его видеть.

Новый Завет для Розанова акосмичен, Ветхий Завет — космичен. При том, что Розанов обо всем судит «то так, то эдак»<sup>1</sup>, этой своей мысли он был верен до конца жизни. В последней своей книге «Апокалипсис нашего времени» он писал: «Христианство не космологично, «на нем трава не растет». И скот от него не множится, не плодится». Не только ветхозаветные евреи, но и вообще весь древний восток кажется ему теплее, семейнее. Он читал Талмуд. Дочь Розанова — Татьяна Васильевна — вспоминает, что «у отца был Талмуд, весь испещренный его заметками». Что именно он там замечал — неизвестно, книга эта потом пропала. Верно лишь, что «Розанов... занимался Талмудом, углублялся в «египетские тайны», но, как писал Ю. Иваск, «по-любительски, и многое дополнял воображением»<sup>2</sup>.

Свой политический и бытовой антисемитизм, смешанный, как утешались многие, с любовью к евреям, он тоже «дополнял воображением». Как, впрочем, и многие другие свои умозаключения. Ведь считал же он дружбу библейских Давида и Ионафана, мифических Ореста и Пилада связью гомосексуалистов.

---

<sup>1</sup> За эту многоликость некоторые называют Розанова Протеем. (Например, Г. Штаммлер во вступительной статье к мюнхенскому изданию 1970 г., где он объясняет, что Протей — это мифический знаток глубинных тайн, обладающий свойством принимать любое обличие, чтобы только уклониться от неприятных вопрошателей. И предполагается, что Протей знал истину, владел ею. А Розанов?)

<sup>2</sup> Ю. И в а с к. Вступительная статья к книге Розанова «Избранное» (Нью-Йорк, 1956, с. 27).

У Розанова была книга «Сахарна», названная по бессарабскому поместью друзей автора, у которых летом 1913 года он гостил с семьей. В воспоминаниях Т. В. Розановой сказано, что эта книга не поступила в продажу, т. к. началась мировая война. Розанов имел обыкновенные издавать свои газетные публикации отдельными книгами. Поэтому я думаю, что несколько статей в «Новом времени» 1913 г. под названием «Уголок Бессарабии» и легли в основу той книги «Сахарна», единственный экземпляр которой, по свидетельству старшей дочери писателя, хранится в Государственном литературном музее. Сейчас третья часть «После Сахарны» издана по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 419, оп.1, ед. хр. 226, 228). Т. В. Розанова вспоминает, что в этой книге были «выпады против евреев, которые ловко скупают хлеб из-под рук помещиков», т. к. управляющий помещением, «когда не мог рожь продать по той цене, которую назначил, то выходил из себя и во всем винил евреев; с тех пор изменился взгляд отца на евреев — во всех несчастях русских он стал всецело винить евреев». Но еще до поездки в Бессарабию, до встречи с этим управляющим, весной 1913 года (12/25 марта), в статье, посвященной картине Репина «17 октября», Розанов писал: «Евреи — не творцы. Творит, выдумывает и рвется вперед арийская кровь. Еврею есть дело до «сегодняшнего дня» и нет дела до России... Роль еврея — глупая, хитрая».

Вот отрывки из статьи «Уголок Бессарабии».

«21 мая/3 июня.

— Это еврейский паром?

— Всё еврейское, — угрюмо сказал возничий. — И паром еврейский...» Далее Розанов замечает, что около домов, принадлежащих евреям, стоят почему-то высохшие деревья, и пишет: «...А я-то все ищу у евреев «Ваалов» и «Астарт» плодородия и вечного зачатия. Вот тебе и «плодородие»... Оно дальше «своей постели» не идет, и чем «своя постель» плодороднее, тем более умерщвляют они все вокруг... у них плодородие — не пантеистическое... Только «самому», и никому больше! Их плодородие скопческое! Ни у кого оно не скопческое, а у них — скопческое.

«Еврею нужно «лучше»; лучше ему самому, и только ему; ему и им, евреям... Ему вообще ничего кругом не нужно, и он страшно антикультурная сила в каждой местности, где живет...»



В статье как будто бы на вполне невинную тему — о переводе с одного языка на другой: «Откуда несходство греческого и еврейского текстов Священного Писания» (25 сентября/8 октября) — Розанов обвиняет на этот раз уже и древних евреев в злонамеренном «тайномыслии», «тайнодумии». Так что статьи его по поводу дела Бейлиса, его глумление над теми, кто отрицал обвинение в ритуальном убийстве, не выглядят неожиданными. 26 сентября (9 октября) в заметке «Важный исторический вопрос», следуя своей манере обо всем судить, обо всем сообщать читателю, но ничего не изучать, Розанов утверждал, что ритуальное убийство действительно имело место, основываясь при этом на собственной интуиции и на прочитанной им книге В. Соколова «Обрезание у евреев» (оттиск из журнала «Православный собеседник», 1890—1891)<sup>1</sup>. На первый взгляд кому-нибудь может показаться, что в отношении Розанова к делу Бейлиса проявилась как раз его увлечённость иудейской религией. У евреев, мол, религиозность жива, она еще не перешла в бытовую обрядность, которая не помнит о своей значительности, а религия — дело серьезное, и она требует жертв не на словах, а на деле. Ритуальное убийство, якобы совершенное Бейлисом, как раз, мол, и подтверждает всё это. «Неподготовленный» не только по химии, Розанов толковал Ветхий Завет на свой лад, «дополняя» прочитанное «воображением» и тем, что он услышал «от Ревекки NN, ставшей бывать теперь у нас в доме». И Розанов знал — не мог не знать, — что следствие начисто опровергло обвинение в ритуальном убийстве и причастность Бейлиса к убийству вообще. Несмотря на это, Розанов упорно стоял на своем. И не в ученом споре богословов, историков религии и философов, а перед громадным числом читателей весьма влиятельной столичной газеты. В газете в эти дни из номера в номер печатались статьи об «астральном вампиризме евреев» и о том, как страшны евреи вообще, а Розанов потешался над теми учеными, врачами, литераторами, церковными деятелями, которые с ним не соглашались, и, после того как его позицию осудили в Религиозно-философском обществе, поместил в «Новом времени» свое «Письмо в редакцию»:

---

<sup>1</sup> В. Б. Шкловский писал, что Розанов пользуется «типично фельетонным приемом развертывания отдельного факта в факт общий и мировой, причем развертывание дается автором в готовом виде (в книге «Сюжет как явление стиля», 1921, с. 41).

«Меня упрекают и устно и печатно, отчего я ничего не ответил на обвинения, сыпавшиеся на меня в последнем Религиозно-философском обществе и вообще «по делу»...

— Какому?

— Бейлиса.

Но меня интересуют жертвоприношения и нисколько не интересует Бейлис, «раб» и «ничто» в процессе — вилка, которую ткнули в жертвенное мясо. От русских Бейлис не заслуживает каторги преступника, а заслуживает пощечины презрения.

— Почему же не говорили?

— Кому? Где?

...вы говорите: «говори об этом в религиозно-философском собрании»... «Ибо адвокаты полны спора и курсистки внимают». Пусть им и говорили, кто должен был говорить. Но «Розанов» все-таки кое-что понимает «в Аврааме»... Понятно, что «Европа шокирована» и «мы опозорены». Но это понятно «Левину» и не понятно «Розанову»... Мне просто ясно было, что это «ровно ничего» и «не имеет никакой значительности и интереса»...

Далеко было ехать, и от скуки я закрывал глаза... и мне чудилась их страшная синагога на Офицерской...»

Из Религиозно-философского общества Розанова исключили, т. е. члены этого общества открыто высказали Розанову, что они не хотят, чтобы он участвовал в их заседаниях. Д. В. Философов сказал, что статьи Розанова «Не надо амнистии» (в «Богословском вестнике»), «Андрюша Ющинский» (в газете «Земщина»), «Наша кошерная печать» (в той же газете) — это «самый отвратительный цинизм, перемешанный с доносами и призывами к погрому»<sup>1</sup>. П. Палиевский полагает, что исключение произошло из-за того, что равнодушие Розанова «к «направлению» вместо истины почиталось беспринципностью». Это неверно. И Палиевский знает, что все было не так, — ведь он знаком с материалами Религиозно-философского общества. Т. В. Розанова об исключении пишет: «С тех пор положение отца резко изменилось, никто из прежних знакомых не стал бывать... Затем появились новые знакомые». В их числе она называет редактора журнала «Вешние воды» — известнейшего антисемита М. Спасовского. Когда в Религиозно-филосо-

---

<sup>1</sup> Записки Петроградского Религиозно-философского общества. Вып. 4. Пг., 1914—1916, с. 15.

софское общество был принят брат Оскара Осиповича Грузенберга — адвоката Бейлиса — С. О. Грузенберг, погибший потом у нас в 1938 году, Розанов, с редкой для него твердостью держась своих взглядов, нисколько в них не раскаиваясь, уже после исключения, написал заявление о том, что не считает для себя возможным пребывание в одном обществе с этим человеком.

В 1914 году Розанов издал книги «Европа и евреи», а также «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Последняя книга довольно большая — 302 страницы. При всей своей переменчивости, в этой теме Розанов был редкостно одинаков. Если что и поражает в этих книгах, так это «уровень доказательств», вроде таких, например, как: «еврей никогда не женится на русской, и еврейка никогда не выходит за русского». Или: «всякий почувствует, до чего евреи есть невозможный для сожительства народ, до чего они народ 40 веков антикультурный и антиисторический». Или: «Смех Вольтера был глубоко здоровым смехом сравнительно со смехом Гейне, значительно отравившего европейский дух». Поражает также полное презрение Розанова к науке, к законам. Он пишет о деле Бейлиса: «Что же это за «суд», который ничего не умеет «найти»? Это не «суд», а, извините — ротозей». И это тогда, когда В. В. Шульгин по этому же поводу писал: «Горько видеть вождей народа в роли искусителей и развратителей...» (в газете «Киевлянин», 1913, № 298), когда Шульгин, Короленко и многие другие считали, что оправдание Бейлиса спасло чистоту русского суда и честь русского имени. Розанов писал, что еврейское консонантное письмо существует для сокрытия тайн, что евреи живут обособленно от других народов тоже для того, чтобы скрывать свои тайны. Может быть, Розанов и не слышал о народах, мало смешивающихся со своими соседями, не слышал об индийских кастах... В этой книге Розанов и его собеседник, обозначенный буквой «омега» (а это был не кто иной, как погибший потом мученической смертью священник П. А. Флоренский)<sup>1</sup>, приходят к тому, что «есть только одно средство — оскпление всех евреев». Но тут же — слава Богу! — они останавливаются, заключая: «т. е. средство такое, применить которое можно только при нашем отречении от христианства» (стр. 208).

---

<sup>1</sup> И это было в 1914 г., т. е. в год публикации самой известной его книги «Столп и утверждение истины».

Примеры, которые приводились здесь, были из газетных статей Розанова и из тех его книг, которые не принято считать художественными. Но вот знаменитые «Опавшие листья» — оба «короба».

«Еврей всегда начинает с услуг и услужливости и кончает властью и господством.

Оттого в первой фазе он неуловим и неустраним. Что вы сделаете, когда вам просто «оказывают услугу»? А во второй фазе никто уже не может с ним справиться. «Вода затопила все». И гибнут страны и народы».

(За набивкой табаку)

«Услуги» еврейские как гвозди в руки мои, ласковость еврейская как пламя обжигает меня.

Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо, обвеянный этой ласковостью, задохнется и сгинет мой народ...

Ибо народ наш неотесан и груб. Жесток.

Все побегут к евреям. И через сто лет «все будет у евреев».

«Сила евреев в их липкости. Пальцы их — точно с клеем. «И не оторвешь».

(Засыпая)

Все к ним прилипает, и они ко всему прилипают. «Нация с клеем».

«...Вся литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелька: они пришли «по душу русскую»...»

Эти выписки можно продолжать и продолжать. Но не хочется Все это «мы уже проходили»...

Н. А. Бердяев когда-то утверждал: «Все, что писал Розанов, — писатель богатого дара и большого жизненного значения<sup>1</sup>, есть огромный биологический поток, к которому невозможно приставать с какими-нибудь критериями и оценками... Розанов не может и не хочет противостоять наплыву и напору жизненных впечатлений, чувственных ощущений...»<sup>2</sup> Это неверно. Исповедальные сочинения Розанова «Уединенное», оба «короба» «Опавших листьев», «Мимолетное», «Смертное» — это не «резервуар, принимающий в себя поток, который потом... переливается на бумагу». Розанов здесь пользовался определенным литературным приемом. Он литератор. Свои записи Розанов хотя и писал, что не выбирал,

---

<sup>1</sup> Позднее в «Самопознании» Бердяев сравнивает Розанова с Федором Павловичем Карамазовым.

<sup>2</sup> Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918, с. 31.

но он держал корректуру, прочитывал записи на «листах», пребывая уже не в том состоянии, в каком делал запись. Это уже была не «душа», а «литература»... Даже у Гофмана, когда на бумагах хозяина писал кот и история кота перемешивалась с историей человека, перемешивал все это писатель, автор. Это был способ мыслить, способ привлечь читателя, это был литературный прием. Тем более у Розанова, который в своих писаниях одновременно и автор, и кот, и хозяин кота. Это очень хорошо понял когда-то Шкловский, в литературной жизни которого Розанов, вероятно, сыграл не последнюю роль.

В свое время Пушкин в письме к Бестужеву говорил, что писателя надо судить по законам, им над собой признанным. Чего хотел Розанов от читателя, которому он исповедался? Он писал: «Что, однако, для себя я хотел бы во влиянии? Психологичности. Вот этой ввинченности мысли в душу человеческую, — и рассыпчатости, разрыхленности их собственной души (т. е. у читателя). На «образ мысли» я несколько не хотел бы влиять; на «убеждения» — даже «и не подумаю». Тут мое глубокое «все равно». Я сам «убеждения» менял, как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими, чужими)», («Опавшие листья», короб I). И еще: «Мое имя никогда не будет забыто, а с именем — и мысли. «Розанов сказал», «Розанов хотел», «Розанов пытался...» «После Сахарны».

Чего же добивался он своими статьями и заметками о евреях, кроме «ввинченной» в душу ненависти? Ведь еще в «Уединенном», эпатируя своими парадоксами, он писал: «Даже не знаю, через «Ъ» или через «Е» пишется «нравственность». И кто у нее папаша был, не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее — ничегошеньки не знаю». Это он, конечно, ерничал: уж адрес-то ему был известен — 10 заповедей в любимом им Ветхом Завете.

Позднее, когда сменилась власть, когда «начальство» опять ушло и надолго пришло новое начальство, тогда голодный и несчастный, стареющий, умирающий Розанов стал писать иначе. (Тогда Розанов продавал свою любимую нумизматическую коллекцию, а пролетарский Горький купил ее...)

После смерти Розанова его друг Э. Ф. Голлербах общал: «Очень любопытно было в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к евреям

и, однако, призывал в свое время к еврейским погромам за «младенца, замученного Бейлисом». Одновременно проклинал и благословлял евреев. Незадолго до смерти почувствовал раскаяние, просил сжечь все свои книги, содержащие нападки на евреев, и писал покаянные письма еврейскому народу. Впрочем, эти письма загадочны: в них и «угрызения совести», и нежность, и насмешка<sup>1</sup>.

В «Апокалипсисе нашего времени», написанном и издававшемся уже при советской власти, есть главки «Об одном народце», «Немножко радости», «Туфля», «Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромов?» — т. е. бить евреев, оказывается, все-таки нельзя. В главке «Домострой» Розанов пишет: «Живите, евреи. Я благословляю вас во всем, как было время отступничества (пора Бейлиса несчастная), когда проклинал во всем. На самом же деле в вас, конечно, «цимес» всемирной истории: т. е. такое «зернышко» мира, которое «мы сохранили одни». Им живите. И я верю: «о них благословятся все народы». — Я нисколько не верю во вражду евреев ко всем народам. В темноте, в ночи, не знаем, — я часто наблюдал удивительную, рачительную любовь евреев к русскому человеку и к русской земле.

Да будет благословен еврей.

Да будет благословен и русский».

Такое вот вынужденное обстоятельствами покаяние в конце «пути Розанова». Есть еще и «Моя предсмертная воля», 10 января 1919 года, и специальные слова, обращенные к евреям. Приведу их здесь.

«Моя предсмертная воля.

Я постигнут мозговым ударом. В таком положении я уже не представляю опасности... И можно добиться мне разрешения выехать с семьей на юг...

Веря в торжество Израиля, радуюсь ему. Вот что: пусть еврейская община в лице московской возьмет половину права на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное пользование моему роду и племени Розановых честную ферму в пять десятин хорошей земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку и лошадь, и чтобы я ел вечную сметану, яйца, творог, всякие сласти и честную фаршированную щуку.

---

<sup>1</sup> Г о л л е р б а х Э. Ф. Розанов. Жизнь и творчество. 1922, с. 87—88.

Верю в сияние возрождающегося Израиля и радуюсь ему.

В. Розанов».

«К евреям.

Благородную и великую нацию еврейскую я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения, и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по значению.

Главным образом, за лоно Авраамово, в том смысле, как мы объяснили это с отцом Павлом Флоренским<sup>1</sup>.

Многострадальный терпеливый народ люблю и уважаю.

В. Розанов».

Думаю, что все эти слова искренни. Бердяев вспоминал: «За месяц до смерти и в разгар коммунистической революции Розанов был у нас в Москве и даже ночевал у нас. Он производил впечатление человека, который постоянно меняет свои взгляды, противоречит себе, приспособляется. Но думаю, что он всегда оставался самим собой и в главном никогда не менялся...» И Т. В. Розанова писала о своем отце: «Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем не было. Воспитанным человеком он не был».

Несмотря на то, что слова, написанные перед смертью, требуют к себе особого отношения, не могу не вспомнить других слов Розанова — о том, что болтун — еще не учтенная сила. В «Опавших листьях» он писал: «Русский болтун везде болтается. «Русский болтун» еще не учитанная политиками сила. Между тем она главная в русской истории... Русь молчалива и застенчива и говорить почти что не умеет: на этом просторе и разгулялся русский болтун».

В мюнхенском издании избранных сочинений Розано-

---

<sup>1</sup> Не берусь сказать, что именно имеет здесь в виду Розанов. Сейчас у нас Флоренский известен гораздо больше, чем несколько лет назад, конец его жизни был ужасен. Бердяев в «Самопознании» (Париж, 1949, с. 174) писал о Флоренском: «Его богословствование было эротическое. Это было ново в России». Может быть, речь идет все о той же таинственной сексуальной религиозности, о которой Розанов не переставал проповедовать до последних своих дней. Но, может быть, все гораздо проще. В предисловии к «Сахарне» Розанов приводит письмо к нему Флоренского с советом: «Про Хомякова говорили, что он «горд православием». Будьте же и Вы горды — православием, Россией, Богом и не вмешивайтесь в гевалт «-зонов»... «Это и Флоренский обывательски потешается над еврейскими фамилиями, которые часто оканчиваются на «-сон» или «-зон»...»

ва (1970 г.) есть восторженная статья Евгении Жиглевич «Купель жизни». Не стану высказывать о ней никакого суждения и не буду приводить никаких восторженных фраз о «соках жизни, биении крови, трепете плоти» и пр., но этой статье Е. Жиглевич в качестве эпиграфа предпосылает слова Мартина Бубера — еврейского философа, так глубоко понимающего необходимость слушать и слышать другого человека, Бубера, который никогда не призывал к ненависти, не умножал зла, никогда не давал какому-нибудь Смердякову толковать его слова в человеконенавистническом смысле. А Розанов, «ввинчивая в душу человеческую» ненависть, заклиная в «Сахарне»: «Не уступлю. Не уступлю. Не уступлю. Не уступлю», делал это.

Сейчас пишут, что отношение к разным народам было «одним из центральных моментов в творческом мировоззрении Розанова...», — оказывается, и так теперь можно изъясняться с читателем...

В понимании «феномена Розанова» очень помогает статья Р. А. Гальцевой о Флоренском, суждение которого передает, как пишет автор, не мысль, а волю, «которая не столько направлена на осмысление реальности, сколько занята инсценировкой, или представлением идей»<sup>1</sup>. Мировоззрение Розанова было исключительно мало обременено позитивными знаниями, оно основывалось на чрезвычайно зыбком и резко неприязненным противопоставлении «наших» и «ваших», «своих» и «чужих», исходило из пренебрежения к истине и к таким важным словам апостола Павла, которые, конечно же, были известны Розанову: «Нет ни элина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного...» В эпоху Сумгаита, в эпоху общества «Память» учиться у Розанова страшно. До какой же степени непросветленности должно быть доведено сознание общества, чтобы принять Розанова за праведника, а его поверхностную, пусть и блестящую, — словоохотливость за глубокий источник?! Ссылаясь на авторитеты, П. Палиевский вспоминает, что читать Розанова советовал сам Бахтин. Думаю, что Бахтин, которому были так близки идеи Бубера, менее всего стал бы рекомендовать Розанова в качестве учителя жизни. А так — почему бы и не почитать? Интересный был писатель. Но разные люди и читают по-разному, и разное вычитывают.

---

<sup>1</sup> Сборник «Образ человека XX века». М., 1988, с. 96.



## Ицхак Мошкович

### ШАГАЛ И РОССИЯ

Творчество Шагала — это долгий, длиной в десятки лет, рассказ о евреях *штетла*, черты оседлости. И даже когда Шагал не писал евреев и, может быть, даже переставал о них думать, у него получались главы из этой же живописной книги о Витебске, в котором он родился и откуда отправился в почти столетнюю прогулку по миру большого искусства. Не определяя для себя ни целей, ни стиля, ни границ. Не прибываясь к школам и течениям и не пытаясь создать собственные. Так поет птица, не кончавшая консерваторию по классу вокала.

Как все вундеркинды, он был странным ребенком и вызывал своим поведением удивление окружающих.

«Я, — писал он позднее в своей книге, — был не только большим ловкачом по части игры в перышки-палочки, не только купался в Двине и торчал на крыше во время пожаров, но еще и обладал множеством других талантов.

Не случилось ли вам, будучи в Витебске, слышать мой детский голос?

У нас во дворе жил один маленький, но довольно крепенький старичок.

У старичка была длинная, черная, едва тронутая сединой борода, которой он временами потряхивал, крепко упершись одновременно в землю и воздух.

Он был меламедом и кантором.

Нельзя сказать, чтобы очень выдающимся меламедом и кантором.

Он давал мне уроки основ певческого искусства.

Почему я пел?

Откуда я знал, что голос служит не только для того, чтобы орать и браниться с сестрами?

У меня был голос, и я старался им пользоваться.

На улице прохожие оборачивались, не догадываясь, что это было пением. Они думали про себя:

— Чего он орет? Может быть, он ненормальный?

Я нарядился помощником кантора, и в дни больших праздников вся синагога и я сам слышали, как широко разливался мой звонкий дискант.

Я замечал улыбки на лицах верующих и их внимание к моему пению и мечтал:

— Я буду певцом, кантором. Я поступлю в Консерваторию.

А еще в нашем дворе жил скрипач. Не знаю, откуда он взялся.

Днем он работал в скобяной лавке, а по вечерам обучал игре на скрипке.

Я тоже немножко поскрипывал.

И независимо от того, что я играл и как у меня получалось, он всегда говорил мне, отбивая такт сапогом: «Восхитительно!»

А я думал про себя: «Буду скрипачом, поступлю в Консерваторию».

В Лежно, в каждом доме, родственники и соседи просили меня потанцевать с сестричкой. Я был грациозен и кудряв.

Я думал: «Буду танцором, поступлю...», я уже не знал, куда именно.

Днем и ночью я сочинял стихи.

Их похваливали.

Я думал: «Стану поэтом, поступлю...»

Я просто не знал, куда податься.

В один прекрасный день (других не бывает), в тот самый момент, когда мама запускала хлебы в печь, я подошел к ней, а она держала в руке большую лопату, и, тронув ее за перемазанный мукой локоть, сказал:

— Мама, я хочу быть художником.

Кончено, больше не могу быть ни продавцом, ни бухгалтером. Довольно. Не зря же я чувствовал, что что-то должно было случиться.

Ты же видишь, мама, ну разве я такой, как все?

На что я гожусь?

Я бы хотел стать художником. Спаси меня, мама.

Пошли со мной. Ну, пошли же. Есть одно место в городе; если меня туда примут и мне удастся закончить, я стану настоящим художником. Я буду так счастлив!

— Что? Художником? Ты спятил. Дай мне положить хлеб в печь, не мешай. У меня хлеб.

— Мама, я больше не могу. Идем!

— Оставь меня в покое.

Наконец решили. Пойдем к господину Пену. И если он признает во мне талант, тогда подумаем. А если нет...

Все равно буду художником, подумал я, но про себя.

По крайней мере в маминых глазах, моя судьба — в руках Пена. Отец дал мне пять рублей, месячную плату за уроки, но швырнул эти деньги во двор, чтобы я за ними еще побегал.

О Пене я узнал, стоя на трамвайной площадке. Я увидел надпись, белым по синему: «Школа художника Пена», в тот момент, когда трамвай пересекал соборную площадь.

«Ах! — подумал я. — Какой же он интеллигентный, этот наш Витебск!»

И немедленно решил познакомиться с мастером.

По сути, вывеска представляла собой всего лишь надпись — белым по синему — на листе жести, и она ничем не отличалась от множества других, повешенных над дверями лавок.

В действительности же в нашем городе визитные карточки и таблички на дверях не имели абсолютно никакого значения, на них просто не обращали внимания.

«Булочная и кондитерская Гуревич».

«Табаки всех видов».

«Фрукты и бакалея».

«Портной из Варшавы».

«Парижские моды».

«Школа живописи и рисования художника Пена».

Все это коммерция.

Однако, как мне казалось, последняя вывеска была просто из другого мира.

Синий цвет был цветом неба.

Вывеска трепетала на солнце и под дождем.

С потрепанными листочками рисунков в руке, дрожащий и взволнованный, я отправляюсь к Пену. Мама идет со мной.

Уже поднимаясь по лестнице, чувствую, что пьянею от запахов краски и от вида картин. Со всех сторон пор-

треты. Жена градоначальника. Сам градоначальник. Г-н Л. и его жена, барон К. с баронессой. И много других. Я что, их знал?

Полная мастерская картин, от пола до самого потолка. Пол тоже завален пачками бумаги и рулонами. Только потолок свободен.

А на потолке паутина и полная свобода.

Повсюду торчат гипсовые греческие головы, руки, ноги, орнаменты, всевозможные белые, покрытые пылью предметы.

Инстинктивно чувствую, что путь этого художника — не мой путь. Своего я еще не знаю. Мне некогда об этом думать.

Меня потрясает живость лиц.

Возможно ли?

Поднимаясь по лестнице, щупаю нос и щеки.

Мастера нет дома.

Не могу передать выражение маминого лица и ее чувств. Она впервые в жизни попала в мастерскую художника.

Она заглядывает во все углы, оглядывается на картины.

Потом оглядывается на меня и чуть ли не умоляющим тоном, но очень отчетливо произносит:

— Сыночек, ну ты же сам видишь... Ты никогда в жизни такого не сделаешь. Пойдем лучше домой.

— Нет, мама, давай подождем.

Что касается меня самого, то я уже решил для себя, что ничего подобного никогда делать не буду. Да и нужно ли?

Что-то другое. Но что именно? Не знаю.

Ждем мастера. Он должен решить мою судьбу.

Господи! А если у него будет плохое настроение, он отрежет: «Никуда не годится!»

(Все может случиться, и — с мамой или без мамы — нужно ко всему приготовиться.)

В мастерской — никого. Но кто-то там возится в соседней комнате. Вероятнее всего, один из учеников Пена.

Входим. Он нас почти не замечает.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, если угодно.

Сидя верхом на стуле, пишет этюд. Мне нравится.

Мама сразу спрашивает:

— Скажите, господин С..., что это за штука — живопись? Неплохо?

— Ну, как вам сказать... Это не лавка и не товар...

Тут мама окончательно убедилась в своей первоначальной правоте, и на голову несчастного зайки обрушился ручей материнской горечи.

Но вот и долгожданный мэтр.

Если бы я вам его не описал, то обнаружил бы абсолютную бесталанность.

Не важно, что он маленького роста. Это придает его фигуре некоторые черты интимности.

Полю пиджака болтаются где-то у колен.

Они летят одновременно вправо, влево, вверх и вниз, а следом за ними — цепочка часов.

Остроконечно-подвижная светлая бородка выражает то меланхолию, то благорасположение, то «здрасте».

Подходим. Он небрежно здоровается. (Со всей тщательностью здороваются только с градоначальником или богачами.)

— К вашим услугам.

— Вот... я сама не знаю... он желает стать художником... Совсем с ума спятил! Посмотрите, пожалуйста, его рисунки... Если у него есть способности, то, пожалуй, стоит брать уроки, а если нет... Сыночек, идем лучше домой.

Пен даже глазом не моргнул.

(Злюка, ну подморгни хотя бы!)

Машинально листает мои картинки, перерисованные из журнала «Нива». Бормочет:

— Да... Есть кое-какие наклонности...

Мама, безусловно, ничего не понимает, но с меня и этого достаточно.

Как бы то ни было, я получил от отца свои пять рублей и на два месяца определился в Витебскую школу Пена.

Что я там делал? Понятия не имею.

Передо мной висел гипс. Нужно было вместе с другими рисовать его.

Я прилежно взялся за эту работу.

Вытягивал карандаш и измерял, измерял.

Всегда неправильно.

Нос Вольтера постоянно тянуло вниз.

Подходит Пен.

В соседнем магазине торговали красками. У меня был коробок, и в нем, как детские трупики, перекатывались тюбики с краской.

Денег не было. Ходил в город на этюды. Чем дальше уходил, тем становилось страшнее.

От страха, что «перейду границу» и окажусь близко от военного лагеря, синели краски, а живопись наполнялась горечью.

Где они теперь, эти этюды, написанные на грубом полотне, которые висели над маминой кроватью? Водовозы, домишки, фонари, процессии на холмах...

Поскольку полотно было грубым, возможно, из них сделали потом половики.

Очень даже мило!

Нужно же вытирать обо что-то ноги. Только что помыли полы.

Сестры считали, что только для этого мои картины и нарисованы. Тем более на грубом полотне.

Я вздохнул и чуть не задохнулся.

Расплакался, подобрал полотна и снова повесил на дверь, но в конце концов их уволокли на чердак, а там они покрылись слоем пыли и понемногу ушли в небытие.

У Пена я один писал фиолетовой краской. Что это?

Откуда это?

Это показалось ему такой смелостью, что с тех пор я уже бесплатно посещал школу и ходил до тех пор, пока она не стала для меня тем, что С... называл «ни лавка, ни товар». Окрестности Витебска. Пен.

Сегодня все, что осталось дорогого, — это земля, в которой покоятся родители.

Я люблю Пена. Вижу его дрожащий силуэт. Он живет в моей памяти рядом с отцом. Часто видятся мне пустынные улицы моего города, и то там, то здесь вижу его.

Сколько раз на пороге дома у меня возникало желание молить его о помощи. Мне нужна не слава, а возможность быть молчаливым ремесленником, как вы; как ваши картины, хочу я висеть на вашей улице, возле вас, у вас. Разрешите мне».

Витебск был не в большей степени тюрьмой, чем нынешний НИИ, в котором какой-нибудь современный еврей устроился на должность научного сотрудника, но Шагал чувствовал себя в нем пленником. Однако, вырвавшись из плена, сохранил его в сердце и в памяти, как теплую колыбель.

Не он один ушел, но другие ушли в сионизм или революцию, а он потихоньку проскользнул в небо, устроился на облаке и начал писать. Летающие евреи — не оригинальничание художника, не желание поразить наше воображение необычностью композиции и растрясти кошельки коллекционеров. Скрипач над крышами Витебска — не плод необузданной фантазии. Вы найдете его в книге Шагала «Моя жизнь». Скрипач написан почти с натуры. Это дядя будущего художника. Дядя был *шойхетом*. После тяжелого рабочего дня он приходил в свою комнату, брал скрипку и улетал в небо. Мелодии были нехитрыми, и играл он неумело. Неважно. Он парил над крышами деревянных домиков, над церковью и синагогой, над базарной площадью и свадебной процессией, и написать его на полотне было совершенно необходимо для тех, кто без помощи шагаловской кисти не узнал бы об этом и так ничего бы и не понял.

Шагал самый реалистичный из реалистов, но его реализм ведет не к идеологии и скуке, а к феерии, к полной идентификации духовного и физического начал, к описанию чувств как физических действий.

Он был внуком и племянником шойхетов. Шойхет — это не мясник-живодер. Быть внуком витебского шойхета — все равно что принадлежать к жреческому роду. Это только на первый взгляд может показаться, что сарай, в котором происходило священное жертвоприношение теленка, отличался от импозантного беломраморного храма. Жрецу народа майя, чтобы приблизиться к облакам, нужно было много тысяч камней положить особым образом друг на друга, а потом еще вскарабкаться по высоченным ступеням, а шойхет выходил из сарая, мыл руки и брал в руки скрипку.

На картинах Шагала нет «персонажей» в гриме и париках. Он просто писал евреев. Иногда русских солдат, исправников, городовых. Они были из того же мира. К счастью, он вовремя уехал из России, и к нему в дом не врвались чекисты. Они были из другого мира, их он не смог бы написать. «Его» исправник однажды пришел к ним в дом, чтобы потащить парня на призывной пункт, но не нашел Марка, потому что мать спрятала сына у себя под кроватью, на груди приятно пахнувшей старьем обуви. На картине Репина исправники производят нормальный «шмон» в доме пропагандиста. Шагал в этом мире не жил, а чего не видел, того не писал.

Летают над крышами влюбленные и коммивояжеры,

равнины и «люди воздуха», а снизу, с земли, смотрят на них печальные овечьи и коровьи глаза приговоренных к священной жертве ради продления жизни. Нестареющая кисть витебского мальчишки провожает их в последний путь. Годы спустя он жил в Париже по соседству с бойней, слышал вопли убиваемых животных (Господи, что за живодееры!), и сердце жреческого внука наполнялось жалостью.

Если было бы возможно издание полного собрания живописных и графических произведений Марка Шагала, мы прочли бы его жизнь шаг за шагом, эпизод за эпизодом, но прежде всего — детство и юность, написанные в зрелые годы с такой потрясающей эмоциональной точностью, как будто они писались с натуры. Получилась бы одна невероятной длины картина. С шойхетом-скрипачом, с красавицей-невестой, бородачами-патриархами, евреем Иисусом на кресте и евреем Шагалом на облаке. В одеждах из солнечного и лунного света.

Одну из глав мы назвали бы «Революция глазами Шагала». Только так, потому что он не был ни историографом, ни бытописателем революции. Когда, противно треснув, лопнул царизм, Шагал подумал, что главное преимущество революции состоит в отмене паспортов для евреев. «Мое первое впечатление: больше не придется иметь дело с паспортисткой». Откуда ему было знать, что потом будет пятая графа?

Самые важные события происходили в больших городах. У него не было перед ними ни страха, ни удивления, а только недоумение: «...почему люди предпочитают толпиться на одном месте, между тем как за городами, справа и слева, десятки километров свободного пространства».

Году, очевидно, в девятьсот десятом, живя в Париже, полный впечатлений от залов с картинами Веронезе и импрессионистов, от сопричастности с поэзией Сандрара и Аполлинера, вдохновенный и деятельный, Шагал думал, что только большое расстояние, отделяющее от Витебска, удерживает его от того, чтобы хотя бы на недельку устроить себе каникулы и съездить в родной штетл. Была ли это традиционно русская привязанность к родине-матери? (Мачехе?) Или к атмосфере штетла, добровольным пленником которого он оставался до конца своих дней, и даже тогда, когда не было уже ни штетла, ни его обитателей?



«В моем воображении, — писал Марк Шагал в 1922 году, — Россия рисовалась мне корзиной, подвязанной к воздушному шару. Резиновая груша постепенно сплющивалась, болталась и, медленно охлаждаясь, опускалась, с каждым годом все ниже.

Таким представлялось мне русское искусство, и я не знаю, что там еще.

Действительно, всякий раз, когда мне случалось задуматься о русском искусстве или заговорить о нем, я испытывал то же смутное и беспокойное чувство, полное горечи и досады.

Как будто русское искусство фатально обречено тащиться у Запада на буксире.

Причем, если русские художники обречены на ученичество у Запада, то при этом они ученики весьма непослушные по самой своей природе. Самого лучшего русского реалиста шокирует реализм Курбе.

Русский импрессионист в самом чистом его виде приводит тебя в замешательство, когда сравниваешь его с Моне и Писарро.

Здесь, в Лувре, стоя перед полотнами Мане, Милле и других художников, я понял, почему мой альянс с Россией и русским искусством не состоялся. Почему даже мой язык им чужд.

Почему мне не оказывают доверия. Почему в кругах художников меня не признают.

Почему я в России как пятое колесо у воза.

И почему все, что я делаю, кажется им странным, а то, что они делают, представляется мне бесполезным. Но почему все-таки?

Не могу об этом говорить.

Я люблю Россию».

Не будем комментировать приведенные выше строки Марка Шагала. Заметим только, что это написано в 1922 году. Ему оставалось прожить еще целых шестьдесят три года, и он, несомненно, много раз возвращался к этим раздумьям.

(Много лет спустя горестно сокрушался по поводу убожества отечественной литературы другой эмигрант — но русский по крови — Владимир Набоков.)

Может быть, такие размышления — неизбежный удел русского эмигранта, человека, возвращенного на русской земле и в атмосфере русской культуры и вынужденного от них бежать и адаптироваться в другой среде? Но Марк Шагал не был русским эмигрантом. Он

был пленником еврейского штетла, горькой судьбой занесенного в Россию, а от штетла он не бежал, он увез его с собой, на своей палитре.

В 97-летней биографии Марка Шагала Россия составляет две не самые длинные главы: с 1887 (дата его рождения) по 1910 (отъезд в Париж) и с 1914 по 1922 (дата последнего «прости»). Некоторые считают, что период с 1910 по 1914 год был тоже русским. Или *штетловским*?

Собственно, событий в первый период не так уж много: учеба у местного портретиста и пейзажиста Александра Пена, учеба в Императорской Академии художеств, занятия и работа у художника Леона Бакста — все это в Петербурге — и встреча с будущей женой Беллой Розенфельд. Белла вошла в жизнь как муза и ангел-хранитель, советник и секретарь, модель и объект бесконечно обожания. Жизнь с нею до самой ее смерти в 1944 году — непрерывный медовый месяц. Что бы ни сделал Шагал, он добавлял: «по совету Беллы»; неосторожный шаг — «напрасно не послушался Беллу...».

Потом Париж и своеобразная колония живописцев в «ла Рюш», где рядом были Леже, Модильяни, Лоран, Архипенко. В круг ближайших друзей входили Сандрар и Аполлинер. Очень помог немецкий экспрессионист Нерварт Уолден.

В 1914 году Уолден организовал для Шагала индивидуальную выставку в берлинской галерее «Дер Штурм».

Оттуда до Витебска — или так показалось? — рукой подать, и Шагал не удержался, чтобы не съездить. Там и застрял, потому что началась война. И снова — в плену у Витебска, у берегов ненаглядной Двины, у красавицы Беллы. Год спустя они с Беллой поженились.

Служба по призыву в петербургском военном ведомстве свела его с Маяковским, Пастернаком, Демьяном Бедным, Блоком.

Революция означала: паспорт — за борт и полная свобода творчества. Значит — следом за революцией! Единственное, что Шагал знал о марксизме, — неподражаемая борода основоположника. С наркомом просвещения Луначарским познакомился еще раньше, в Париже, и получил его покровительство. Ему предлагают ответственную должность в наркомате, но Белла советует вернуться в родной Витебск, где он становится комиссаром по делам культуры. Трудно сказать, успел ли витебский «комиссариат по делам культуры» оформиться как уч-

реждение, но его руководитель развил бурную деятельность.

По случаю первой годовщины Октябрьской революции он организовал в городе такое грандиозное празднество, так разбудил спящий Витебск, так много наобещал обывателю невиданными прежде средствами живописи и плаката, что фестиваль должен был бы войти в историю Советов как одна из ярчайших ее страниц, но, естественно, не вошел. А жаль. Именно в этом фестивале, как нигде и ни разу, проявилась широко пропагандируемая (и одновременно жестоко подавляемая) и н и ц и а т и в а с н и з у. Радость Шагала по поводу обретенной свободы выплеснулась наружу, заполнила улицы, встряхнула покосившиеся от старости домишки. Революция! Свобода! Твори! Выдумывай! Пробуй! Включить бы витебские октябрьские торжества в историю борьбы за полное освобождение искусства от всех и всяческих цепей и оков, систем и идеологий, школ и направлений — но кто напишет такую историю?!

Праздником было все: флаги, диорамы, триумфальные арки и открытие школы искусств для всех, под громким названием Академия и под управлением самого комиссара. Власти во всем содействовали, с ними у Шагала никаких конфликтов не возникало. Проект будущей клетки содержался в самой идее, еще недоступной невооруженному глазу, — и не было еще ни ее конкретных рабочих чертежей, ни материала для решеток вокруг революционных живописцев и музыкантов. До ближайшего постановления ЦК «Об искривлениях в области...» оставалось немало лет.

Поводом для отставки послужила, если можно так выразиться, внутриведомственная ссора на непонятной непосвященному эстетической основе — с одним из пионеров самого что ни на есть авангардистского искусства художником Малевичем. О взглядах и живописи Казимира Севериновича Малевича можно, в частности, судить по его эссе «От кубизма и футуризма к супрематизму», по его поискам высочайшего (supreme) совершенства формы. Вершиной его творчества был «Черный квадрат на белом фоне». (После он перешел к писанию белых форм на белом фоне!)

Все к лучшему в этом лучшем из миров, но зачем было ссориться с Малевичем? Разве абстракционизм — не освобождение от оков? Что имел Шагал против абстракционизма и малевичевского супрематизма? Не боль-

ше, чем против всех остальных «измов», от абстракционизма до марксизма включительно. Шагал принимал в с е, но до тех пор, пока «изматические» системы не навязывали ему самому. В этом главный смысл е г о свободы и е г о личности. Абстрагируйтесь от чего угодно и сколько вашей душе угодно, но не пытайтесь втиснуть меня в рамки вашего квадрата на черном фоне. А Малевич в отсутствие комиссара снял с двери табличку «Свободная академия» и повесил свою: «Супрематистская академия».

А если кто не супрематист, то куда ему?

Шагал супрематистом не был и быть не хотел. К абстракционизму он относился не лучше, чем к тому реализму, который немного позднее стал социалистическим. И тот, и другой он считал бесплодными. По поводу «Черного квадрата» он еще прежде заметил Малевичу, что квадрат — «это нечто такое, на чем я могу сидеть. Квадрат — это предмет».

Возможно, комиссар мог воспользоваться данной ему комиссарской властью: поводить дулом маузера перед малевичевским носом и даже... Примеры известны. Но Шагал? Он собрал пожитки, подхватил Беллу и маленькую дочь Иду и уехал в столицу.

Для театра он работал и прежде. Писал декорации к «Игрокам» и к «Женитьбе» Гоголя в постановке Николая Евреинова. Теперь же в Еврейском художественном театре Шагал взялся сразу за все. Писал декорации, костюмы, даже гримировал актеров. Большими панно украсил зал. Никто до сих пор не знает, куда запропастилось его панно под названием «Введение в театр» после того, как художник попал в категорию «отщепенцев» и покинул советскую Россию.

Работе в Еврейском театре предшествовала выставка картин в музее Зимнего дворца, где картины Шагала заняли два зала, причем, по инициативе Луначарского, правительство купило у Шагала дюжину картин. До социалистического реализма было еще очень далеко. Луначарский поддерживал Мейерхольда и Московский еврейский театр. Вообще в мире искусств это было время больших надежд и ожиданий. Иные, правда, сразу поняли, что и ждать нечего, и надеяться не на что. Шагалу на это понадобилось пять лет. Но и его тоже можно понять: у других ведь на такое же заблуждение ушла целая жизнь, и понимание истины пришло к ним только в кабинете следователя или вообще у стенки.

Первые симптомы будущих чисток в рядах армии работников искусств и идеологического фронта наметились уже тогда, в 1919 году. По поводу празднования первой годовщины Октября в Витебске критика писала, что «налицо вакханалия мистики и формализма». Потому что над крышами парили скрипачи и коровы. Но на то они и критики, и поди ж ты догадайся, что годы спустя, прежде чем самим стать к стенке, те же самые искусствоведы станут писать свои рецензии в кабинетах ГПУ!

Шагал никогда не был ни революционером, ни левым, ни правым, но революция, под бешеный аккомпанемент которой даже «кулацкий» Сергей Есенин готов был, «задрвав штаны, бежать за комсомолом», импонировала и казалась — по крайней мере, в плане общего порыва и основных целей — не заменой одной догмы другой, а курьерским поездом в недогматический мир (не царство!) свободы. Ален Жоффруа писал, что Шагалу история представлялась «мечтой личности, которая то находит себя, то теряет, то снова обретает любовь. Человек участвует в истории, чтобы познать и обнаружить самого себя, а если история лишает его образа, который он себе создал, человек утрачивает способность в ней участвовать».

Может быть, это единственно правильное объяснение его отъезда? Потому что, повторяем, конфликта с властью не было.

Прошло много лет, и однажды, когда в Москве была организована выставка его работ, он приехал в СССР и, естественно, встретился с тогдашним министром культуры Екатериной Фурцевой, которая задала ему тот же вопрос: «Почему?» — «Не хватило краски», — ответил он.

Шагал представлял себе революцию как большой фестиваль, а театр ассоциировал с революцией и праздником. Отсюда его панно «Введение в театр». Сохранились только эскизы, которые дают основания считать, что основные мотивы панно те же, что мотивы «больших цирков».

В том же Еврейском театре-студии Шагал написал декорации к пьесам Шолом-Алейхема «Агенты», «Ложь» и «Мазл тов». Кроме «Введения», он написал для зала «Свадебный стол», «Любовь на сцене» и другие, разделившие судьбу основного панно.

Вахтангов ставил в недавно перед тем созданной «Габиме» и пригласил Шагала сотрудничать. Намечалась к

постановке пьеса Ан-ского «Дибук». Ан-ский тоже был из-под Витебска. Видимо, этот факт кое-что значил для Шагала. Он набросал эскизы и принес Вахтангову. Разгорелся скандал. Вахтангов раскричался: «Все эти ваши акробатические номера и трюки — чепуха! Существует только один путь — путь Станиславского».

Практически то же, что в споре с Малевичем. Только Малевич строил свой частокол ограничений слева, а Вахтангов — справа. Шагалу было неважно, кто пытается подавить его свободу, супрематист или психореалист, — он не желал терпеть над собой диктатуры.

В Париже, при встрече с Аксеновым, он объяснил, какой краски ему не хватило в России — краски свободы.

А тогда, в кабинете Вахтангова, он грохнул кулаком по столу: «Вы еще копировать мои картины будете! Помните мои слова!»

Блестящую характеристику натуры и творчества Шагала в 1914 году дал его друг Аполлинер: «Он исключительно разносторонний художник, способный создавать полотна монументального звучания, и никакие системы к нему не приложимы». Эта оценка относится ко всему творчеству Шагала до и после русского периода, к картине Шагала «Похвала Аполлинеру» и, в равной степени, к его поступкам.

Периоды творчества художника не обязательно совпадают с главами его биографии. Свою знаменитую картину «Революция» он написал в 1937 году. К 37-му незабываемому она не имеет ни малейшего отношения. Имел ли художник понятие, что именно в это время в действительности происходило в России? Нет, иначе революционные массы, заполнившие всю левую часть полотна, возможно, заменила бы толпа эзков, и «Революция» приобрела бы совсем другое звучание. Фантазировать по этому поводу можно сколько угодно, но тот факт, что в 1944 году он эту картину уничтожил, о чем-то говорит...

В центре полотна — Ленин. Вождь мирового пролетариата стоит в неудобной акробатической позе, кверху ногами на краю стола. Вокруг удивленные зрители в овальном пространстве, напоминающем арену цирка. Солдаты, актеры Камерного Еврейского театра, музыканты, влюбленные, осел, по-человечьи сидящий на стуле. Осел — единственный равнодушный зритель. Или единственный, кому удалось сохранить здравый смысл.

Шагал много раз возвращался к идее цирковой арены как места исторических событий. На полотне «Большой цирк» — тоже арена и те же фигляры, а клоун тоже стоит на руках, кверху ногами. Один из критиков Шагала сказал: «Цирк и искусство не ведут никуда, но сами они — все».

В «Революции» Ленин — в центре, что не мешает ему быть среди актеров, стоящих справа. В «Большом цирке» перевернутый клоун — справа. В истории то же самое: не очень важно, в какой части арены фигляр, слева, справа или в центре. Важнее реакция зрителей.

По Шагалу, мир есть не что иное, как пародия на самого себя, пестро расписанная маска, искаженное отражение, которое и есть истина. Игра есть выражение прекрасного, а если она прекратится, наступит смерть. Все игроки на одной арене, где неразделимы любовь, реальность, общество, поэзия, революция...

Директор Камерного Еврейского Алексей Грановский высоко ценил Шагала, и художник оформил у него несколько спектаклей. Из всего, что сделал Шагал для театра, сохранился только серебряный Христос, висящий вниз головой над золотым теленком. Христос и Ленин — два величайших актера человеческой истории, клоуны, фигляры, создающие иллюзию революции, опрокидывания мира. На самом деле мир не опрокидывается, а переворачиваются они сами.

Оставив театр, Шагал в течение двух с половиной лет преподавал живопись и графику в двух детских домах для беспризорников. (Помните: Макаренко, «Педагогическая поэма», «Путевка в жизнь»?) Не стоит удивляться тому, что и это увлечение нашло место в жизни Шагала. Искусство — в массы, туда, где *tabula rasa* позволяет все начать сначала, избежав влияния жестких, как протезы, систем. Жаль только, что этот невыполнимый эксперимент, возможно, помешал художнику написать картины, оставшиеся на уровне замысла.

Тем не менее в свой русский период он написал глубоко лиричные портреты, интерьеры и пейзажи, посвященные двум любимым существам, Белле и Иде, и потому исключительно гармоничные и нежные по колориту.

Он любовно выписывал предметы, детали одежды. Снова и снова возвращался к евреям дорогого сердцу штетла («Еврей в черном и белом», «Над городом», «Я и деревня»), к впечатлениям войны с ее солдатами, ране-

ными, медсестрами... Война не как бедствие вообще, а война, которая здесь, у околицы Витебска...

Возвращаясь к его работе в театре, стоит добавить, что его панно и декорации явились поворотным моментом и в творчестве самого Шагала, и в истории современного декоративного и монументального искусства.

Однако ему не хватило в России «краски», и он продолжил свою работу на Западе. Ниже — его последние строки из книги «Моя жизнь», посвященные России:

«В приемной Наркомпроса я терпеливо дожидаясь, когда зав. отделом наконец-то соизволит меня принять.

Я бы хотел, чтобы со мной рассчитались за настенные росписи, которые я выполнил для театра.

Если нельзя по «первой категории» — по ней получают более умелые живописцы, — то пусть заплатят хотя бы по минимуму.

Но заведующий улыбается.

— Да... Да... Вы понимаете, — бормочет он, — смета... подписи, печати... Луначарский. Приходите завтра.

Это длится уже два года.

Я получил... воспаление легких. Грановский тоже улыбался.

Что мне оставалось делать?

О, Господи! Ну, ладно, ты наградил меня талантом, или, по крайней мере, мне так говорят. Но почему ты заодно не дал мне внушительной фигуры, чтобы меня боялись и уважали? Если бы я был крупным, здорового роста, с длинными ногами и крупной головой, меня бы остерегались, как это чаще всего случается в этом мире.

Но у меня слишком добродушное лицо. Мне недостает громового голоса.

Я в отчаянии.

Слоняюсь по московским улицам.

Проходя мимо Кремля, украдкой заглядываю в широкие ворота.

Из машины выходит Троцкий; он большой, с красносиним носом. Тяжелым, уверенным шагом переступает порог и направляется к своей кремлевской квартире.

Мне приходит в голову мысль: «А не навестить ли поэта Демьяна Бедного, который тоже живет в Кремле и с которым мы вместе служили во время войны в Военном комитете?»

Попрошу его похлопотать за меня перед Луначарским, чтобы мне позволили вернуться в Париж.



Надоело мне быть учителем и директором. Хочу писать свои картины.

Думаю о родителях, о Рембрандте, о матери, о Сезанне, о дедушке, о жене.

Съездил бы в Голландию, на юг Италии, в Прованс и, сбросив одежду, сказал бы:

«Дорогие мои, вот видите, я вернулся к вам. Мне здесь грустно. Единственное, что я хочу, — писать картины и еще кое-что».

Ни Россия императорская, ни советская Россия во мне не нуждаются.

Я им непонятен и чужд.

Уверен, что Рембрандт меня любит.

.....  
В эпоху РСФСР я кричу во всю глотку:

— Неужели вы не чувствуете, что наши электрические подмостки уходят у нас из-под ног?

И не были ли правильными наши пластические предчувствия — мы же в самом деле болтаемся в воздухе и нас мучает единственная болезнь: отсутствие стабильности.

Эти пять лет кипят в моей душе.

Я отощал. Я голоден.

Хочу вас видеть: Б... С... П... Я устал.

Я приеду с женой и ребенком.

Прикорну возле вас.

И, быть может, Европа меня полюбит, а с нею и моя Россия...»

# Взгляд

---

Бен-Цион Томер

## РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

...Есть два пути, по которым развивается духовная жизнь творческой личности. Один путь — это «ангаже», т.е. вовлеченность, завербованность, мобилизованность. Путь этот обычен, в нем отражение современных политических течений, возникших примерно со времен Французской революции. Другой путь — всмотреться в происходящее со стороны. Вот уже в течение многих лет поэтов и писателей обвиняют в том, что они «сидят в башне из слоновой кости», «уходят из жизни».

Но лишь немногие понимают, что нет случайных побегов от «ангаже», и сам «побег» — это способ писателя откликнуться на окружающую его реальность, от которой он не может освободиться даже в «башне из слоновой кости».

Я нередко думаю, что если нам, израильским писателям и деятелям культуры, недостает чего-либо, так это именно пристального взгляда на происходящее со стороны — из «башни». Мне лично кажется, что будь у меня такая внутренняя возможность, — я на какой-то срок удалился бы подальше и от этой страны, и от того, что здесь происходит в течение последних лет. Видимо, в истории каждого народа наступает такая минута, когда люди, обладающие особой чувствительностью, должны взглянуть на происходящее со стороны. Примеры, хорошо известные русскоязычному читателю (Гоголь, Достоевский, Тургенев, Тютчев, творившие в определенный период своей жизни вне пределов России), все же не объясняют в полной мере то, что я имею в виду. Поясню свою мысль на примере литературы... ирландской. Ир-

ландское общество — консолидация весьма и весьма замкнутая, подверженная давлению; общество воинствующее и воюющее. И вот пришел такой момент, когда лучшие ирландские писатели покинули страну. Так случилось, что и Джойс, и Беккет, и некоторые другие оказались вне Ирландии, и только там, освободившись от давления общества и католической церкви, они сумели проникнуть в глубь своего «я» и выяснить многообразие связей личностного с окружающим обществом. Такой же процесс привел группу американских писателей в Париж между двумя мировыми войнами. (Подчеркну, что я говорю об ирландских писателях лишь в том смысле, в каком эти писатели занимались проблемами ирландского общества, я не касаюсь писателей — ирландцев лишь по происхождению). Уже в первой своей книге «Портрет художника...» Джойс прослеживает созревание писателя, созревание художника, пытающегося выстоять под давлением семьи, школы, церкви. Это — постоянная борьба за личностное «Я». Именно в этом контексте я говорю об Ирландии, я не пытался прочертить литературные параллели, я конкретно говорю о влиянии на творческую личность того «котла высокого давления», в котором «варится» художник, и о процессе его созревания.

Безусловно, это «высокое давление» ощущает каждый израильский интеллеktуал. Если обратиться к израильским писателям, то нельзя не отметить парадоксальности их творческого состояния: все они — сыны своего народа, но нет на сегодняшний день ни одного писателя, который мог бы заявить о себе: «Я — писатель всего этого народа».

Хаим Азас был последним из наших современных писателей, который предпринял попытку тотального охвата еврейской действительности последних поколений. Что я понимаю под попыткой тотального охвата? Азас отправился в городские кварталы — шхунот — к йеменским евреям, к курдам, он стремился охватить разные слои и оттенки, потому что понял важную истину. Многообразие его тем и героев — существенный компонент нашего бытия, не нашедший достойного выражения в литературе. И ивритскому писателю не следует говорить только от имени еврейства Восточной Европы, русских, польских, украинских местечек, откуда он сам происходил (Азас родился на Украине), откуда черпал и темы, и вдохновение. Развивая мировоззрение Х.-Н. Бялика,

Азас понимал, что собрание еврейского народа в Эрец-Исраэль — это также и «духовное собрание».

Сложность проблемы тотального охвата израильской жизни побудила Амоса Оза, нашего современника, написать книгу «Там и сям по Эрец-Исраэль» — книгу очерковой прозы, где писатель дает развернутую панораму своих встреч с широким кругом израильтян. Но в чем разница между подходом Оза и Азаза? В то время, как Азас в своих книгах рисует картину народной жизни «изнутри», Амос Оз — этот кибуцник, *ашкенази*, социалист и т. д. — вглядывается в жизнь «извне», пытаясь понять, что происходит с ним и с его героями. Нет, я не ставлю в вину Амосу Озу этот его взгляд «извне»: он честно и талантливо передает свои подлинные чувства и в определенных аспектах ощущает мир некоторых своих героев как мир чужой, как бы ни стремился к нему приблизиться. В такие минуты он ощущает, что его собственный мир подвергается угрозе, идущей от этого чужого мира; с интеллектуальной честностью он пытается постичь корни угрозы. Мне кажется, что Азас был в состоянии постичь внутренний мир йеменских евреев, например, потому, что для него, как и для йеменских евреев, «Шулхан Арух» все еще оставался связующим звеном, объединявшим разбросанные израильские колена.

Все вышесказанное свидетельствует о кризисной ситуации. Но я сказал бы, что мы живем в период не одного, а двух культурных кризисов. Первый кризис возник тогда, когда был задан простой вопрос: каково отношение поколения израильтян, которые родились, выросли, получили образование здесь, в Эрец-Исраэль, к культурному наследию, накопленному еврейской диаспорой за последние 2000 лет? Уроженец страны, ее питомец, мог бы попытаться убежать от этого наследия, но ведь еще Ибн-Габироль сказал в своей поэме «Кетер Малхут» («Царский венец»): «*ва иврах мимха элеха*» — «и убегу от тебя — к тебе». Побег возможен, но это не спасение!

Да, кризис; но бывают такие кризисы, в которых заключено конструктивное начало, столь важное и в жизни человека, и в жизни народа. Прежде чем говорить о культурных кризисах, хотелось бы подчеркнуть существенную разницу между культурным кризисом и культурным вакуумом. Культурный кризис — свидетельство наличия культуры, которая дошла до кризиса, вакуум же никакой культуры не предполагает, и попавшие в культурной вакуум — лишь жертвы ситуации.

Другой аспект кризиса — это ситуация (состояние) в сионизме, разумеется, с точки зрения моего понимания сионизма. Если спросят меня: «Кто ты? Израильтянин, еврей?» — я определяю себя, в первую очередь, как: сионист. Я прежде всего сионист, а уж потом — еврей, израильтянин, хоть и отдаю себе отчет, что «сионизм» может быть лишен всякого смысла, если не думать и о «еврействе», и о «израильтянстве».

Итак, о еврействе, о иудаизме. Если свести рамки этого понятия лишь к религиозному аспекту, — а многие именно в этом аспекте понимают иудаизм, и такое узкое понимание сводится к принятию на себя выполнения религиозных предписаний, — то получится некий «краткий курс» для чужаков об иудаизме. Этот «краткий курс» в большинстве случаев смахивает на легкий покров над пропастью невежества. Я вспоминаю тех необразованных евреев из местечка, которые читать не умели, но заучивали наизусть, и по команде кантора в синагоге в нужные моменты раскачивались и провозглашали: *Амен!*

И уж если иудаизм — в этом узком смысле — самое главное, то еврей остается евреем в любой точке земного шара. Ведь уже было: Вавилон — и Иерусалим; нынче: Нью-Йорк — и Иерусалим. Что ж такого? Но именно люди религиозные должны бы знать, что иудаизм обязывает. Вопрос — к чему он обязывает? Есть ли у него обязательства по отношению к народу, его судьбе, его будущему? Я уж не говорю о том, что иудаизм утверждает: заповедь заселения Эрец-Исраэль важнее выполнения всех остальных заповедей, вместе взятых...

Мое израильтянство? Тут уж я спрошу по-арабски: *шу-хада?* — «что это такое?». Кто не желает быть евреем и не хочет более быть сионистом, тот заявляет: «Я израильтянин!» Это свидетельство гражданской и территориальной принадлежности, не более того, но ведь израильтянин — это и араб из Назарета или Ум-Эль-Фахема; и ультрарелигиозный еврей — житель Иерусалима, не приемлющий сионизм, государство Израиль и все, что представляет собой это государство, — он тоже израильтянин! Так что же общего между мной и этими двумя? А почти ничего общего и нет! Кроме, разумеется, контактов — культурных, человеческих, а также признания права всех израильтян жить так, как им хочется. Да не обвинят меня в том, что я настаиваю, будто у меня нет ничего общего ни с арабом из Назарета, ни с

религиозным евреем из Иерусалима. Этого я не утверждал — не в том состоит мое намерение. Я хочу подчеркнуть, что у каждого из нас есть своя, отдельная проблематика при всем общем, нас связывающем. Иными словами: я живу в напряженности, вызванной соприкосновением с этими двумя мирами. Напряженность — не всегда явление отрицательное. Бывает напряженность «Я — ТЫ» в буберовском понимании, а не только напряженность (Я — ОН (чужой)). Напряженность может быть и явлением весьма плодотворным...

Но если мы вернемся к тому, о чем говорили, — о культурном наследии, созданном за 2000 лет диаспоры, то надо признать: мы не знаем, что нам с этим делать. И тут я должен сделать личное отступление. Я родился в польском местечке, большая часть моих родных и близких погибла в Катастрофе. У меня есть личное отношение к диаспоре и личное отношение к Катастрофе. Сионизм — это бунт против диаспоры, бунт против галута, бунт против галутного образа жизни. Не будь этого бунта — не возник бы сионизм. Но случилось несчастье: диаспора не осознала грозящих опасностей, не услышала призыв сионизма, и результат известен: Катастрофа. И вот тут-то неким неожиданным образом начинается сентиментальное украшательство того самого, ушедшего в прошлое местечка. Стоит обратить внимание, что в нашем народе бродит некая генетическая болезнь: народ вышел из Египта, — и уже в пустыне началась тоска по «горшкам с мясом». Только что оставлен дом рабства, — и уж тут как тут ностальгия. Уцелевшие в Катастрофе прибывали в Эрец-Исраэль, — и тут же испытывали чувство вины, чувство вполне естественное! И следующий этап — сентиментальные вздохи по местечковой жизни, ее восхваление, да еще такое, что невольно задаешься вопросом: если все было так прекрасно, то, черт возьми, к чему сионизм вообще? Итак, чувство вины уцелевших как движущий мотив сентиментального отношения к жизни евреев местечка.

Думаю, в Израиле многие испытали это чувство, не только уцелевшие в Катастрофе. Я знаю, после боя испытываешь бурную, неудержимую радость: уцелел! Но уже через минуту охватывает тебя чувство вины за то, что павшие товарищи своей смертью обеспечили твою жизнь... Полагаю, что это чувство вины уцелевших не исследовано в достаточной степени во всех аспектах его

влияния на коллективную психику, а в особенности — наше глубокое ощущение вины перед евреями, уничтоженными в Катастрофе. Одним из путей преодоления этого чувства вины всегда был побег. Этот побег — здоровое явление, если оно не теряет необходимых пропорций и не искажает общей картины. И уж коль скоро жизнь еврейской диаспоры до прихода Гитлера была столь хороша, то о чем же писали Менделе Мойхер-Сфорим, Бренер и другие бунтовщики против галутного мироощущения?

Славословием своего галутного бытия заняты не только евреи из Европы, но и наши братья, прибывшие из стран ислама. Ну, а те, кто не знал галута, кто родился и вырос в Эрец-Исраэль, дети тех, кто принадлежал к первой и второй алии, что же они?

Большинство из них, — я имею в виду ту часть, которая думает и чувствует, — переживает трагедию. Выше я говорил о двух кризисах. Данная трагедия — это и есть тот второй кризис. Поясню. В Эрец-Исраэль, начиная со времен первой и особенно второй алии, начался процесс создания особого культа, того, что Берл Каценельсон называл «цивилизацией Эрец-Исраэль». Эта «цивилизация», по-моему, самое удивительное и прекрасное явление, одно из выдающихся достижений еврейского народа во всех поколениях. Так вот, эта самая «цивилизация» получила смертельный удар как раз тогда, когда она преуспела, когда еврейское государство было создано!

Берл Каценельсон не был человеком «одного измерения», он не считал, что развитие сельского хозяйства — это и есть ответ на все вопросы, он не думал, что всеобъемлющий ответ — это армия, он не полагал, что духовный сионизм Ахад-ха-Ама — вот оно, решение. Нет! Он определял «цивилизацию» как сочетание всех областей человеческой жизни. И поэтому в кооперативной столовке рабочих Петах-Тиквы и Тель-Авива видел проявление «цивилизации» и вкладывал в это свою энергию, равно как и в создание издательства «Ам овед» или газеты «Давар».

Как я уже сказал, «цивилизация» Берла Каценельсона пришла к кризису еще в первые годы создания государства Израиль. Но сначала вернемся к кризису религиозному. Этот кризис не возник с зарождением сиониз-

ма: наоборот, сионизм был результатом этого кризиса, начало которого относится к периоду «Гаскалы».

Религиозный кризис есть результат революционных изменений в жизни нации, произошедших в течение последних столетий. Сионизм же появился как попытка продолжения национального существования вне религии, поскольку для части нации религия перестала играть доминантную роль; сионизм предложил альтернативу тому, что должно было стать уделом «народа без религии» — ассимиляции.

*В Шестидневную войну я был израильским культурным атташе в Бразилии. После освобождения Иерусалима бразильское телевидение показало, как парашютисты, солдаты Армии Оборона Израиля, плакали у Западной Стены. На следующий день меня навестили три местных раввина: ортодоксальный раввин-сионист, ортодоксальный раввин-несионист и реформистский раввин. У всех троих был ко мне один вопрос: «Как, сеньор Томер, вы объясняете тот факт, что парашютисты, уроженцы кибуцов, воспитанники «Ашомер а-цаир» плакали у Стены?»*

*Особенно настойчив был раввин-несионист. Я ответил: «Уважаемые господа раввины! Меня удивляет ваш вопрос. Ведь именно вы всегда настаиваете на том, что в еврействе нельзя провести границу между религией и национальной принадлежностью. По вашим словам, это единство прочнее «гордиева узла». Отсюда вывод: как возможен приход к иудаизму через национальное, так же возможен приход к национальному через религию. Но ведь можно быть религиозным без упора на национальность и можно ощущать национальность, не будучи религиозным. И мы, четверо в моем кабинете, убедительно доказываем это...»*

В 50-е годы, когда, к великой радости, началась большая алия, эта алия, с определенной точки зрения, не была сионистской. Напомню, что я говорю и о прибывших из Восточной Европы, уцелевших в лагерях уничтожения, и о выходцах из Азии и Северной Африки. Конечно, среди новых репатриантов были и воспитанники различных молодежных сионистских движений; всем известно, например, что в Ираке было сионистское



движение, сионистское подполье, но это движение не завладело всем еврейством Ирака, то же самое — и в Марокко. Не думаю, что надо напоминать здесь о том безмерном уважении и гордости, которые я испытываю, когда читаю о героизме, мужестве, инициативности, находчивости членов сионистских групп в Ираке и Северной Африке. Сказанное выше справедливо и по отношению к новоприбывшим из Восточной Европы. Массовая алия 50-х годов — это алия замечательных евреев, всем сердцем стремившихся в Эрец-Исраэль, но нельзя утверждать, что мир их духовных ценностей сформировался под влиянием современного сионизма. В сионизме есть такое понятие «ахшара» — «подготовка». Эту «подготовку» в начале века проходили те, кто собирался поселиться в Эрец-Исраэль; будущие *халуцим* обучались трудовым навыкам, но не только в трудовых навыках дело. Я бы назвал этот процесс духовной подготовкой, особым внутренним настроем. Думаю, что со мной согласятся многие, — если я скажу, что алия 50-х годов этой духовной подготовкой в значительной степени не обладала. Кстати, и «русская» алия последнего времени, на мой взгляд, — не обладает. (Еще раз: я говорю о большинстве, отдавая дань уважения тем, кто эту подготовку получил в самых немыслимых условиях.) Я не ставлю это в вину: подавляющее большинство евреев России — и Северной Африки в свое время — просто не имели возможности получить таковую. (Замечу в скобках, что целые группы репатриантов из «свободного мира» точно так же прибывают в Израиль без этой «подготовки». Сам факт прибытия в Эрец-Исраэль еще не есть отличительный признак сионистского мировоззрения, как, скажем, не каждый брак свидетельствует о наличии пламенной любви между супругами. Бывает брак по расчету, и в таком браке тоже рождаются дети...)

В 50-е годы прибыла массовая алия, которой был чужд сионизм, сформировавшийся в Эрец-Исраэль. Все для новых репатриантов было в значительной мере чуждым — и сама терминология, и система ценностей. И та самая «цивилизация», о которой говорил Берл Каценельсон, зашла в тупик. Так, в сущности, создались в Израиле два общества; книга Амоса Оза, о которой я упоминал, отражает этот факт. Сам Амос Оз, безусловно, принадлежит к Каценельсоновой «цивилизации», но у него на глазах создается новая реальность, новое, дру-

гое общество, несомненно, имеющее право на существование, поскольку это общество живет. А что живет, не умирает, — у того и есть право жить! (Другое дело — наши моральные оценки...) Эти два общества пока «не склеились», и «цивилизация» оказалась в состоянии кризиса.

Мы живем в эпоху двух кризисов, разразившихся за сравнительно короткое (историческое!) время — 300 лет: первый кризис возник в результате нашей переоценки моральных ценностей, созданных в галуте; второй же кризис возник оттого, что мы не знаем, как быть с тем наследством, которое оставила Израилю сионистская «цивилизация» Берла Каценельсона. Переход из галута в Эрец-Исраэль всегда сопряжен с кризисными явлениями, но мы, *ватиким*, старожилы Израиля, — стали свидетелями кризиса нашей «цивилизации», вызванной развитием новой реальности.

Мне лично кажется, что более серьезным является кризис «цивилизации» и создание двух «обществ», для которых характерны резкие различия и в культуре, и в системе ценностей.

Я убежден, что в конечном итоге эти два «общества» непременно придут к «общему знаменателю». Но что же пока с мечтой А.Д. Гордона? С мечтой Берла Каценельсона и его соратников? Теперь у нас есть два больших лагеря: сторонники «цивилизации» и «национальный стан — *махане а-леуми*».

«Рабочее движение», считающее себя представителем, наследником и продолжателем «цивилизации» Каценельсона, стоит перед серьезной проблемой: что же делать с наследием Берла в меняющемся мире? Другой лагерь, претендующий на то, чтобы считаться продолжателем идей Жаботинского, — стоит перед подобной же проблемой: что делать с духовным миром Жаботинского? Оба лагеря находятся в глубоком идейном кризисе.

Здесь мне хочется сказать несколько слов о наследии Жаботинского. Я понимаю, что из всей «духовной продукции» сионизма написанное Жаботинским больше всего доступно евреям России, потому что многие свои произведения он писал по-русски. Но, увы, многие из тех, кто припадает к «высокому древу» наследия Жаботинского, усвоили из него лишь несколько расхожих фраз и лозунгов. Думаю, что Жаботинский переворачивается в гробу, когда узнает, что его последователи обвиняют

своих противников... в либерализме! Мог ли он предположить, что хотя бы один из его наследников окажется противником либерализма и сам не является либералом?!

Отметая заранее обвинение в односторонней критике, скажу, что многие-многие из тех, кто претендует быть представителем творческой мысли «рабочего движения», также не читали писания духовных отцов движения и не знакомы с их творческим наследием.

*...Я прибыл в Эрец ребенком, в 1943 году. Прожив несколько месяцев в оккупированной гитлеровцами Польше, мы смогли бежать на «русскую» часть разделенной Польши; оттуда нашу семью (вернее, то, что от нее осталось) отправили в Сибирь, затем в Самарканд. К началу войны мне было всего девять лет, но я повзрослел быстро, обстоятельства заставили. И вот через Тегеран (надеюсь, русским евреям известна судьба «тегеранских детей» — детей из польских еврейских семей, которых при посредстве международных организаций удалось вывезти из России в Иран, чтобы затем переправить в Палестину) я, наконец-то, добирюсь до Эрец-Исраэль.*

*Мы были еще во временном лагере, когда наш наставник объявил: «Завтра поедем на экскурсию, чтобы познакомиться с различными формами поселенческого движения: побываем в кибуцах и мошавах, принадлежащих разным поселенческим идеологиям». Я, тринадцатилетний парнишка, заявляю: «Мы в колхозы и совхозы не поедем. Хватит, наелись этого, с красными знаменами покончено! Не ради этого прибыли мы в страну!» Конечно же, бунт не удался, воспитатели убедили ребят, что такая поездка полезна, но меня наказали: я остался в лагере, а мои сверстники три дня ездили по стране... Но шло время, пора было и мне выбирать свой путь, и я решил пойти... в кибуц. Я, правда, выбрал кибуц, не принадлежащий движению «А-шомер а-цаир», куда отправилось большинство моих друзей, а «менее левый». Надо сказать, что в те годы все население Эрец-Исраэль испытывало симпатию к России, которая вела войну с нацизмом. Да и сам я, несмотря на гонения, голод и унижения, несмотря на все, перенесенное в России, — не могу не помнить, что Россия*

дала нам, польским евреям, убежище. Не будь этого, я бы разделил судьбу своей старшей сестры Эстер, которая погибла в Катастрофе.

Учиться я начал в школе, которая мне не нравилась. Вскоре мне пришлось побывать в другой школе, принадлежащей кибуцу «Мишмар а-Эмек» из движения «А-шомер а-цаир», и я перешел в ту школу. Я был единственным учеником, не состоявшим в движении «А-шомер а-цаир», которое в те годы представляло собой касту, секту в полном смысле этого слова. Я ни за что не хотел присоединиться к этому движению из-за его позиции по отношению к Советскому Союзу. Но даже сегодня, будь у меня возможность выбирать школу, методы преподавания и образования, — я бы снова выбрал ту школу, где я учился. Мои учителя и товарищи по школе вернули мне веру в человека, и — боюсь сказать это людям, прибывшим из России! — веру в социализм, как я понимаю это слово.

Русские евреи (далеко не все — не будем обобщать!), едва ступив на землю Израиля, зачастую уже знают, что кибуц плох, что социализм — бяка, они сыты им по горло, знают, что делать с арабами, знают, за кого голосовать, знают ответы на все вопросы. Стоп, ребята! Поживите, вникните, не торопитесь, разберитесь, присмотритесь, подумайте, взвесьте, сравните, подучите слегка иврит, чтобы хоть газеты начать читать, не говоря о книгах. Где же ваше любопытство, интеллектуальная честность? Знаете, когда я чувствую себя по-настоящему плохо? Когда хорошие, неглупые, в сущности, евреи из России начинают учить меня патриотизму и любви к Израилю!

Впрочем, подобные явления встречаются не только среди евреев, прибывших из России. Так случается всегда, когда пытаются механически перенести схемы, усвоенные в прошлой жизни, на израильскую почву; невозможно пересадить одну, хорошо знакомую реальность в новые, подчас неведомые условия. Я это механическое перенесение встречаю повсеместно в самых ужасных и уродливых формах. «А, так ты, значит, социалист, — стало быть, ты... если ты думаешь так, значит, ты...» За всем этим — лишь дремучее невежество и еще один «краткий курс». Один освоил «краткий курс» иудаизма, выучил несколько заповедей — и быстренько «вернулся

к вере отцов». Другой усвоил «краткий курс» сионизма, вооружившись некоторым числом расхожих лозунгов и простеньких формулировок, полагая, что это делает его подлинным израильтянином.

Но пора и сказать похвальное слово «русской» алии. Когда я прихожу в дом к русскому еврею, первым делом просматриваю его библиотеку. Почти нет еврейского дома — ни у нас в Израиле, ни в Москве, где я бывал, представляя Израиль на книжной ярмарке, — где бы книжный шкаф не представлял достойно своих хозяев. Западный «технар» — инженер, физик, химик, включая и «технарей» израильских (снова: говорю о «среднем», без обобщений!), — он — «гомо фабер», т. е. мастер своего дела, знает профессию, и эта профессия — весь его духовный мир. В доме «среднего» западного «технаря» редко увидишь классику, книги по искусству, поэзию, философию. Русская алия привезла с собой много книг. Книги всегда служили прибежищем для русских евреев, как для бедных американцев таким прибежищем был Голливуд. И я, конечно, предпочитаю в качестве прибежища книги. Пожалуй, лишь в беседе с «русским» инженером ты вдруг услышишь цитату из книги, строчку из стихотворения, слово из песни. Русская алия внесла огромный, неопределимый вклад в промышленное, техническое развитие Израиля за последние 15 лет. Как алия из Азии и Северной Африки, например, развила поселенческую базу после Войны за независимость, так в развитии промышленного и технического потенциала Израиль многим обязан русской алии.

О еврействе советской России не следует говорить обобщенно — безусловно, имеются существенные различия между евреями, скажем, Прибалтики и Украины, и не мне рассказывать, с каким трудом добывалась там каждая книга, каждая статья на еврейские темы, как урывками слушались радиопередачи «Коль Исраэль». Евреи России были отрезаны от больших событий, происходивших в Эрец-Исраэль, и у них практически не было возможности вникнуть в то, что происходило в еврейском культурном мире за последние 60 — 70 лет.

Но русские евреи, приехавшие в Израиль, не сделали того, что должен сделать каждый интеллигентный человек, прибывающий в новую, неизвестную ему страну (и снова: не все! нельзя обобщать!).

*Много лет назад я прочел блестящую статью японского журналиста об американском туризме в Японию. Журналист рассказывал, что, когда начался туризм из США, японцы думали, что американцы хотя бы познакомятся с Японией, узнать о ней побольше, почувствовать ее жизнь. И потому гостиницы были в истинно японском стиле: и мебель, и еда, и бычаи. Но американцы стали жаловаться: «Мы, дескать, привыкли спать на кровати, а не на полу». Что ж, построили им гостиницы на американский лад, но кухня оставалась японской. После этого в американской гостинице по просьбе ее обитателей сменили кухню на привычную американскую. Короче, вскоре вывезены были из Америки пекари — специалисты по особым американским булочкам. Японский журналист, поведавший все это, спрашивал в конце: «И для того чтобы найти Америку в Японии, глупые американцы платят бешеные деньги?»*

Я знаю, каждый, кто прибывает в новую, незнакомую страну, переживает кризис. Да, обидно быть эмигрантом! Правда, титул «репатриант» как-то помогает преодолеть ощущение эмигранта и ассоциации, с этим понятием связанные. Но в смысле культурном и репатриант — эмигрант! Взрослый, образованный, обладающий определенным культурным багажом человек вдруг ощущает себя ребенком, который не умеет слова сказать! Чтобы попасть в Эрец-Исраэль, надо пересечь два моря: первое — это море, которое отделяет вас от нового берега, и второе — куда труднее первого — языковое, культурное море, которое тоже надо преодолеть.

Культурному человеку свойственно любопытство, любознательность. Но я с сожалением обратил внимание на весьма странное, хоть и объяснимое явление: те, кто жил в странах, называемых «великими державами», убеждены, что весь мир обязан знать их язык, особенно если на нем имеется культура, достойная этого названия. В порядке духовной самообороны эмигрант бежит в гетто, окруженное стеной высокомерия; гетто как оправдание духовной лени, хотя, разумеется, никто в этой лени не готов признаться. «Духовный лентяй» находит себе алиби: «Все равно у них нечему учиться».

Это стремление к замыканию в культурном гетто наблюдается именно среди тех, кто принадлежит к интел-

лектуальным кругам, и таким образом гетто превращается в некий неприступный замок, где рыцари элитизма собираются за круглым столом, горестно причитая: «У них нет культуры». Надо сказать в их оправдание, что проникновение в чужую культуру — мучительный, трудный, долгий процесс, особенно для человека взрослого, который в первые годы своей абсорбции поглощен не менее серьезными трудностями вживания в новую среду.

Мое определение интеллектуала просто: это человек, обладающий любознательностью, любопытством, которому нет границ. И даже если ты замыкаешься в культуре великой — это, в конце концов, все равно провинциальная замкнутость! Я давно пришел к выводу, что в мире нет провинций, есть только провинциалы. А как узнается провинциал? Провинциал — это тот, кто боится быть провинциалом!

*Как-то пришли ко мне две дамы, прибывшие из России (имен называть не будем!), занимающиеся литературой. Каждую из них я уважаю, обе — способные, одаренные. Дамы пытались убедить меня употребить мои силы и влияние для создания здесь, в Израиле, одного из самых крупных в мире центров по изучению славистики вне пределов России. Я сказал: «Уважаемые дамы! У вас нет никаких причин стыдиться той культуры, которую вы усвоили в России. Это поистине одна из самых великих культур. Но я хотел бы понять: какова та высокая миссия, возложенная на меня здесь, в Израиле, которая обязывает меня заняться центром славистики? Если дело в том, чтобы обеспечить работой и зарплатой группу людей, — это мне понятно. Но если гвоздь всех усилий — идеология, то нам, евреям, было бы полезно, если бы мы узнали прежде всего друг друга. Я готов употребить свои скромные силы на то, чтобы добиться стипендий для нескольких профессиональных литераторов из России. Пусть посидят в университете, поработают как следует над ивритом, займутся переводами русскоязычных еврейских писателей на иврит. Я считаю это делом первостепенной важности в строительстве израильской культуры, уверен, что без такой деятельности наша культура всегда будет ощущать определенный изъян, без такой деятельности невозможно вза-*

*имное сближение, взаимное влияние, взаимное узнавание. Пусть поймут меня правильно: я отнюдь не против центра славистики, я просто не считаю его создание первоочередной задачей. Более того, я готов понять, что создание такого центра может идти параллельно с решением тех насущных потребностей нашей культуры, о которых я говорил.*

И русскоязычные наши литераторы должны осознать эти потребности. Я решительно не понимаю тех редакторов русскоязычных газет и журналов, от которых укрылся очень важный момент их деятельности: обязанность и долг доказать на практике, борясь за это непрестанно, — два основополагающих права русскоязычных литераторов. Первое: чтобы читали их как можно больше на иврите те читатели, которые русским не владеют. Только так можно узнать то, что я назвал бы «эпопеей русского еврейства». И переводы на иврит — естественный способ этого узнавания. Второе: в равной степени русскоязычные литературные журналы, претендующие быть проводниками культуры, должны быть для русского еврейства мостом к еврейской и ивритской культуре.

Я же, читая иногда русскоязычную продукцию, выпускаемую в Израиле, — эти газеты, журналы, еженедельники, ежемесячники, отмечаю один непреложный факт: абсорбция состоялась, и эта абсорбция абсолютна. То есть общий знаменатель наиболее низкого — а зачастую просто нулевого! — уровня западного мира объединяет почти все издания: со многих страниц глядят на меня сомнительные «звезды» а-ля Голливуд и всякое другое в том же духе.

Я никогда не рискну давать советы писателю, о чем ему писать, чем заниматься. Тем более писателю из России — ему такие «советы» хорошо знакомы. Достаточно, если он напишет... о себе, выразив свое подлинное «Я». Пусть пишут о себе — в любом жанре, в любой манере, но только всегда о «себе». Вспомним строчку из Рахели, тоже родившейся в России: «Лишь о себе рассказать я умела...» И когда я говорю: «себе», «я» — подразумеваю то «я», которому «ничто человеческое не чуждо».

Когда творческое «я» писателя пытается объять, включить в себя как можно больше, все окружающее его становится этим «Я». Тут мы снова возвратились к про-



блеме любопытства, любознательности. Я часто слышу во время своих зарубежных поездок от знакомых социологов, психологов, историков, антропологов (причем не только евреев!): «О, как бы хотелось провести свой *шабатон*<sup>1</sup> в Израиле!.. Израиль — это пересечение культур, встреча духовных, культурных течений. Это самый богатый микрокосмос, существующий на земле. У меня же складывается некое странное ощущение, что по недостатку любознательности, из какого-то жуткого «геттоизма» мы не отдаем себе отчета в этом богатстве; либо иная крайность: «я принадлежу всему миру», некоему абстрактному миру, но при этом не делается никаких усилий, чтобы понять, что происходит на соседней улице в этой удивляющей всех стране.

Я не призываю к растворению (ассимиляции), я только надеюсь, что каждый останется верен самому себе, открыв свое подлинное «я». Помните, что сказал раби Зуся? «Когда Всевышний призовет меня к себе, он не спросит, почему я не был Моисеем, он спросит, почему я не был раби Зусей». Не пытайся быть кем-нибудь другим, найди свое «я» и будь им.

Мы, евреи, странный народ. Адам Мицкевич, которого многие считают евреем (вот еще одна странность — немедленно зачислять в евреи всех знаменитостей: так, евреи бурно радовались, когда появились доказательства еврейского происхождения Сервантеса и Колумба; что же касается Мицкевича, то, возможно, он действительно происходил из семьи еврейских сектантов — «франкистов»), написал однажды о евреях: «Чужое — хвалите, своего — не знаете. Сами не ведаете, чем вы владеете».

*Мы, евреи, порой пытаемся выйти в заоблачные сферы, избавиться от земного притяжения. Вот история на эту тему. Французский радиожурналист однажды вел интервью с писателями. Израильскому писателю и журналисту, жившему в то время в Париже, был задан вопрос: «Влияет ли на ваше творчество тот факт, что вы еврей?» И этот писатель ответил: «Нет. Я — израильтянин, а мое еврейское происхождение... Ну так что?..» Аналогичный вопрос задали*

---

<sup>1</sup> Шабатон — буквально «седьмой год»; годичный оплачиваемый отпуск для учебы, усовершенствования в своей специальности и т. д., который обычно проводят за границей. (Примеч. ред.)

писателю, состоявшему во французской компартии, нееврею: «Вы живете в христианской Европе, хоть и не ходите в церковь, но христианство — это часть Франции: влияет ли этот факт на ваше творчество?» И француз ответил: «Безусловно, влияет! Потому что весь мир моих ассоциаций, мой язык, моя культура — все теснейшими и неразрывными узами связано с христианским миром, и без этих связей я себя не мыслю». Напоминаю: это ответ коммуниста!

И здесь мы вновь возвращаемся к той пропасти между религиозной и нерелигиозной частью нашего населения, что рассекла израильское общество, а быть может — и весь еврейский народ. Живое культурное творчество — литература, искусство, театр — вотчина евреев нерелигиозных (почти без исключения), и рост религиозного экстремизма непреложно ведет к обнищанию культуры, к отторжению культурных, философских, лингвистических ценностей, созданных в рамках религиозно-культурного мировоззрения. Нельзя допустить, чтобы из еврейской культуры исчезли культурно-исторические и языковые ассоциации, иначе наша культура, став на «якорь современности», будет только культурой «здесь и сейчас». Как ничто человеческое, так и ничто еврейское не должно быть нам чуждым.

*Я никогда не сомневался в своем еврействе, поскольку вырос в доме, где соблюдались традиции, хотя семья и не была религиозной. Я с детства был свидетелем парадоксов, которые наблюдал в кругу нашей семьи. Отец мой — наполовину приверженец «Мизрахи»<sup>1</sup>, наполовину — сионист-либерал. Мать склонялась к Бунду, старшая сестра была членом «Бетара»<sup>2</sup>, у другой сестры был легкий роман с движением «Гехалуц»<sup>3</sup>, у брата — связи с «А-шомер а-цаир». Я же был в семье самым младшим, и каждый пытался затянуть меня в «свой клуб». Однажды за вечерней трапезой, когда вся семья была в сборе, я спросил бабушку, кото-*

---

<sup>1</sup> «Мизрахи» — религиозно-сионистская партия.

<sup>2</sup> «Бетар» — молодежная организация, созданная В. Жаботинским.

<sup>3</sup> «Гехалуц» — сионистско-поселенческое движение.

*рая, пожалуй, оказала на меня самое большое духовное влияние: «А ты, бабуля, в какой «клуб»ходишь?» И она ответила: «Я вхожу в клуб Адонай элогейну, Адонай эхад...» — «Бог наш, Бог един...»*

Профессор Гершом Шолем, великий еврейский историк и философ нового времени, так однажды определил сионизм: «Сионизм — это возвращение народа к истории». История же — в противовес религии и философии — проистекает в плоскости «горизонтальной», а не «вертикальной». (Понятия «плоскость», «вертикаль», «горизонталь» — это мои представления, Шолем этих слов не употреблял.)

Я с тревогой думаю, что всегда, когда мы, евреи, стоим на пороге некоего катаклизма, в нас пробуждается инстинктивная «склонность к вертикали». Я признаю, что этот «инстинкт вертикали» внес гигантский вклад в культуру, в философию, в науку — и не только в наши, еврейские. Последствия этого «инстинкта» ощутимы в мировой культуре, и это наш, еврейский, вклад. Но я также знаю о той страшной цене, которую заплатили евреи за свои «вертикальные» грезы. Время от времени «мессианское безумие» овладевает нами, и тогда я точно знаю: пришла беда. (Пусть не будет сомнений, я люблю еврейскую мистику — это интереснейшее духовное явление, и «мессии» наши — это особая захватывающая тема.) В конце концов, надо задать вопрос: что же случилось с нами, с еврейским народом? С тем народом, который обладает необоримой жизненной силой, у которого были все причины быть сброшенным с «парохода истории»? Но ведь факт — мы остались на «палубе». Израненные, но остались — в противовес иным народам, более многочисленным и великим.

Уже в древние времена мы были народом странствия, «цыганским племенем». Земля — в самом естественном и прямом смысле — не играла особой роли. Отсюда и вечная напряженность между Вавилоном и Иерусалимом...

Мессианство приходит тогда, когда действительность, как говорится, «обложила тебя со всех сторон». Хорошо читать об этом в книгах, где у евреев есть прекрасное, но и жуткое выражение: битухн — и я намеренно произношу его на идише. Битухн ин Гот, битухн... битухн...

Израильский эквивалент этого «битухн» — *ихье беседер!* («Все уладится!») «Битухн» — это *битахон*, уверенность, надежда на Божью защиту. Именно из-за этого «битухн» глаза евреев, вечно устремленные ввысь, не замечали того, что готовилось им здесь, на земле...

*Однажды в наше местечко забрел цыганский табор. Я боялся цыган, но табор притягивал меня, как магнит. Взобравшись на дерево, я издали наблюдал живописное становище, очарованный яркими красками, музыкой, быстроглазыми женщинами, а главное — цыганскими песнями. И вдруг меня осенило решение «еврейской проблемы», которое осчастливит не только евреев, но и весь мир. Ведь о чем, в конце концов, спорят все народы? Что является причиной всех войн? Земля! Этот кричит: «Моя земля», а тот возражает: «Моя!» Но зачем же кровь проливать? Пусть весь мир превратится в цыган, и не будет никаких народов — ни евреев, ни поляков, ни русских, даже цыган не будет! Все народы станут кочевать по всей земле и владеть всем миром, ни одно место не будет принадлежать кому-либо отдельно.*

Должен признаться, что эта «цыганская идиллия» по сей день представляется мне идеалом великого человеческого единства и братства. И наша история, и в особенности те, кто одержим мечтой, взывают к нам: уважайте и цените верных себе, «непримиримых» — *кданаим*, не отступающих от своих идей и т. п. Но в то же время я думаю: Боже праведный! Если бы у рода человеческого было чуть-чуть поменьше этой непримиримости, чуть-чуть побольше неуверенности в том, во что мы верим, какие-то сомнения...

Я призываю: не восхищайтесь фанатизмом, любим, в том числе и своим собственным! Человек взыскует высокого идеала, но чем выше идеал, чем тверже вера в этот идеал, чем глубже уверенность в правоте идеала — тем больше крови пролито во имя этих идеалов. История тоталитаризма, в особенности со времен Французской революции, не говоря уже о XX веке, увы, убедительно доказала это. Во имя «маленького идеала» нельзя допустить кровопролития, а уж если и проливать кровь — то немного. Великие же идеалы «оправдывают» великое кровопускание.

Говорят, опасно воспитывать детей так, чтобы военные игры занимали главное место в наборе детских игр. Но случается, что ребенку, которому не давали в детстве «милитаристских» игрушек, очень хочется пострелять — хоть один разочек! И когда такой ребенок вырастает, он зачастую страстно приобщается к «военным играм», а те, кто воспитывал его согласно высоким принципам пацифизма, получают результат, противоположный задуманному! Единственным оружием еврейского народа на протяжении долгих веков было только «моральное оружие». И когда в руках его появилось настоящее оружие, часть народа стала напоминать мне того ребенка, о котором я говорил.

Я так и слышу праведный гнев людей, которые мне скажут: «Как ты можешь обвинять в «бряцании оружием», в «демонстрации силы» народ, который всегда был только жертвой, и не просто жертвой, а самой большой?!» Я же скажу: «Не мудрено быть праведником страдающим, когда у тебя нет силы; подлинное моральное испытание не тогда, когда человек слаб, а тогда, когда у него есть сила».

*...Я помню день, когда немцы вошли в местечко, где я родился и вырос. Дом наш сгорел, семья приютилась в амбаре у старика крестьянина, поляка. И хотя меня строго предупредили, что выходить на улицу опасно, но я не удержался и вышел на улицу, вопреки всем предупреждениям. Пустынная улица, да не улица — пепелище. Я остановился у калитки, и глазам моим предстала такая картина. Слева шествует наш раввин в сопровождении синагогального служки, шамеса, справа — вооруженные немецкие солдаты. Встреча состоялась недалеко от моей калитки. Один из солдат спросил раввина, кто он, куда следует. Я понимал немецкий. Раввин с достоинством ответил на идише, звучащем на немецкий лад, что он — раввин местной общины, вместе со своим помощником идет навестить раненых. У немцев исполнение заповеди посещения больных (бикур холим) не вызвало должного уважения, один из солдат вынул кинжал, дал его шамесу и велел отрезать у раввина полбороды. Шамес отказался, тогда раввин сказал: «Делай, что тебе сказано! Я приказываю тебе исполнить». Шамес с осторожностью начал исполнять приказание немца, я видел, что*

слезы стояли у него в глазах. Осторожные, медленные движения шамеса разозлили немца, и, вырвав кинжал, он показал, как надо резать бороду раввина, разумеется, при этом пролилось немало крови. Я, еврейский мальчик, хоть и вырос без религиозного воспитания, но для меня раввин — это раввин, и поношение раввина равносильно поношению Бога! Я был уверен в ту минуту, что Бог спустится на землю и расправится с немцами, либо пошлет молнию, которая испепелит нечестивцев, посягнувших на честь и достоинство нашего раввина. Либо земля разверзнется и поглотит негодяев! Я был так уверен в близкой каре, которая постигнет немцев, что даже отступил, готовясь к бегству, дабы не быть проглоченным разверзшейся землей или испепеленным молнией. Но, увы, Бог, видимо, по своей чрезмерной занятости не уследил за этим поношением: кары Божьей не последовало.

Перед тем как броситься наутек, я успел прочесть на пряжке немецкого армейского ремня три слова: «Гот мит унс» — «С нами Бог»...

Я примчался в наше убежище, подошел к бабке, которая принадлежала к известной раввинской династии и которая меня, младшего внука, уговаривала посвятить свою жизнь Учению и тем самым продолжить династию, к бабке, которая всегда рассказывала мне о великих раввинах, об ангелах, о Кабале — о «сферах», о «святых искрах», — я подошел к бабке и сказал: «Бабушка, мы с тобой много говорили о Боге, но теперь я знаю точно: Бога нет! А если Бог все-таки существует, то он — немец! Потому что немец так обращался с раввином, и не последовало ни молнии с небес, ни землетрясения. Значит, самый сильный Бог — немецкий». Она спросила: «Сынок, что случилось?» Я рассказал ей о том, чему был свидетелем. Бабка ответила: «Дитя мое! Горе нам, евреям, горе каждому человеческому существу, у которого нет возможности защитить себя. Нет ничего хуже. Человеку нужна сила, чтобы оборонять себя».

Бабка моя совсем не подходила под определение «сиониста». Но это ее поучение — важнейшая часть теории сионизма, усвоенная мною прочно и навсегда. Кстати, о Боге. Бабка моя — умница, у нее был врожденный талант педагога и философа, и она сказала мне: «Скажи, дитя мое, ты готов принять немецкого Бога только потому, что в данный момент он силь-

нее?» Я знал: немцы творят ужасные вещи. Это стыдно, позорно хоть в чем-то с ними быть заодно! И поэтому я ответил: «Нет, принять Бога-немца я не готов, но и твоего Бога, слабого, бессильного, я тоже не хочу». Сегодня я думаю, что это и был тот мой сионизм, который я инстинктивно ощущал в себе еще в детстве, хоть никогда и не пытался сформулировать его как «идеологическую программу». Тот мой сионизм (да и нынешний) прост: «Я не хочу быть с тем, что стыдно, позорно!»

Бабка продолжала: «Горе народу, у которого нет силы, чтобы защитить себя. Но, дитя мое, ты ведь знаешь, что у человека две руки. Люди думают, что Бог дал нам две руки, чтобы каждая из них могла делать одну и ту же работу. Нет! Когда овладеешь Учением, — а я надеюсь, что когда-нибудь ты изучишь нашу мудрость, — узнаешь, что Бог связан с правой рукой. Это сильная рука (яд а-хазака!). Левая же — рука «моральная», рука мечтательница, рука прекрасная, но, увы, не сильная. Сильная рука дана нам для обороны, для того, чтобы строить, создавать, и когда необходимо защищаться — всю мощь вложи в правую руку, и да будет крепка десница твоя! Левая рука всегда слабее правой. И все-таки, дав нам левую руку, Бог исходил из того, что правая рука наша не всемогуща, что запрещено пускать в ход десницу силы, когда нет в том нужды, ее необходимо приводить в действие лишь тогда, когда нет иного выхода».

Я с каждым днем узнаю все больше евреев, у которых вместо «двух рук» — правой и левой — имеются два «протеза», обладающие недюжинной силой. Я же хочу, чтобы в нашей жизни вновь вернулось минимальное равновесие между двумя «руками», левая рука должна «знать», что иногда она должна перехватить правую и остановить ее сокрушительный удар: нельзя давать правой руке превратиться в «протез», сметающий без разбора все, что ему противостоит. Прекрасные слова «патриотизм», «любовь к Родине» не оправдание для слепой силы правой руки, если нет необходимости применить эту силу.

Мечта сионизма — это гордый, расправивший плечи еврей, а не согбенный, униженный Мойше или Шлойме. Я принимаю эту мечту, я с ней в ладу, эта мечта — ча-

стица моего личного «я». Позднее я усвоил еще одну истину: подлинно гордый человек не думает 24 часа в сутки, как именно он должен быть гордым, как ему эту свою гордость показать всему миру. Его гордость — в скромности, граничащей со стыдливостью. Это выходит у него естественно, и потому — красиво. А тот, кто все свои мысли направляет на то, чтобы показать, насколько он горд и прям, уже одним этим доказывает, что в нем что-то «искривилось».

Еще в 50-х годах я заметил нарастающий «культ силы». Но надо отдать должное и тем, кого я здесь критикую. Если бы сыны другого народа пережили все, что выпало на долю евреев, то, обретя силу, они, несомненно, были бы опьянены этой силой куда больше, чем мы, евреи. В те годы я опубликовал статью, в которой говорилось о том, что известное мольеровское понятие «мнимый больной» в нашей жизни претерпело метаморфозу, которую я назвал «мнимый здоровый». Наша «еврейская гордость», которой мы потрясаем перед лицом мира, порой не более чем гипс, наложенный на больную ногу.

*Как-то мы с отцом приехали в один из курортных городков Западной Украины, как говорят теперь в России (в Польше этот край называли «Восточной Польшей»). В этом местечке евреи и поляки держались вместе, чтобы противостоять украинцам, которые были там большинством. На вокзале подошел к нам молодой еврей, которого мы знали по прошлым нашим наездам, учтиво справился о здоровье. В это время на перроне появился пожилой крестьянин-украинец, босой, в холщовой одежде. В руках у него был узелок со свежими яйцами. Крестьянин обратился к нам: «Господа хорошие, я прошел пешком десять верст, чтобы раздобыть мыла и соли. Утречком хозяйка моя говорит: «Ян, снеси-ка в город свежих яиц, продай их, а на выручку купи соли да мыла». Так вот, добрые паны, не купите ли у меня свежих яиц?» Молодой еврей посмотрел на мужика и как гаркнет: «Ты вор! Не рассказывай нам истории про яйца, потому что это — ложь. Воровать — вот зачем ты сюда пришел!» Он вырвал у крестьянина узелок и шваркнул на платформу, так что получился большой гоголь-моголь. Я впервые в жизни видел, как еврей «задал гою». И помню, как я подумал: «Великолепно! Наконец-то и у нас есть свои*



*Самсоны!» (Замечу в скобках, что у многих выходцев из Восточной Европы был некий «роман» с этим библейским героем.) Но когда я увидел крестьянина, согбенного, как еврей, который ковылял прочь, я сказал себе: «А вдруг рассказ мужика — правда?! Ведь тогда поступок этого еврея ужасен!»*

Мы столько лет непрерывно получали пинки и зуботычины от «гоев», нам понадобилось так долго ждать, чтобы и мы смогли «дать пинка» наседающим на нас, что, быть может, вполне понятна первая реакция семилетнего ребенка, увидевшего, как еврей задал «гою». Но я не советую делать глубокие моральные или философские выводы из восторгов ребенка. Следует задать и второй вопрос: «А вдруг рассказ этого мужика — чистая правда?..»

Есть у нас, у евреев, нечто такое, что можно и объяснить, хотя объяснения не снимают неприятного чувства. Я бы назвал это «либо — либо». Либо «мы во всем правы», а вот находятся же такие, которые утверждают, что «мы во всем не правы», либо все наоборот! И вновь мы возвращаемся к еврейской «вертикальности», о которой говорилось прежде. Конкретно: если речь идет о войне и мире, то я хочу четко изложить свою позицию: большинство наших войн были навязаны Израилю, и я не собираюсь оправдываться и просить прощения за то, что вышли победителями из навязанных нам войн. Не всякий побежденный прав. Я ненавижу циничную эксплуатацию побежденных, но я знаком также с естественной склонностью посочувствовать униженному поражением. Это вовсе не значит, что мы ни в чем не виноваты. В какой-то момент надо уметь сказать самим себе: «Стоп! Вдумаемся!» У культа силы есть еще одно побочное свойство: вдруг неожиданно культура, мораль, законность и многое другое оказывается «лишним», в определенный исторический момент оно «мешает» достижению поставленной цели.

Я не открываю ничего нового, но в старом споре о цели и средствах мне кажется примитивной сама формулировка вопроса. Проблема не в том, оправдывает ли цель средства. Проблема в том, что огромное число негодных средств рождает в конце концов всегда негодные цели. Так, нацисты заявляли, что при слове «культура» им «хочется взяться за пистолет». Я думаю, что нацизм

принес Катастрофу не только евреям, он разрушил культуру, это была Катастрофа культуры! Вот почему я считаю, что нельзя возводить силу в культ. Еще раз повторяю: я за силу, потому что без нее нам ничего не добиться, и наше желание быть сильным я одобряю и понимаю! Но поклонение силе, сила как абсолютный идеал — это служение «чужим богам», это язычество, это для меня тевтонство! Увы, мы убеждаемся, что у каждого народа, как и почти у каждого человека, проявляются элементы этого языческого культа. И если мы не задумаемся об этом языческом поклонении «культу силы», охватившем определенные слои нашего общества, — значит, ничему не научила нас человеческая история, выплеснувшая в мир нацизм.

Проблемы еврейского самосознания, нашей личной культурной и человеческой самоидентификации в стране массовой иммиграции на фоне непрекращающихся войн — трагический, по сути дела, процесс, потому что еще ни одна национальная идея не воплощалась в жизнь ценой такого количества пролитой крови. Но именно переплетение всех этих факторов, столкновение различных культур, привезенных новыми иммигрантами из стран рассеяния, при отсутствии демократических традиций у большинства новых граждан нашей страны, — вот что является, на мой взгляд, питательной почвой, на которой произрастает культ силы.

У нас есть все причины радоваться, что после двухтысячелетнего изгнания евреи пришли к созданию Еврейского государства. Но в моих глазах государство — при всем его гигантском значении! — не более чем рамки, которые ограждают смысл, сущность, во имя которых это государство создано. Смысл, сущность придают облик этому государству.

У нас же долгое время существовал народ, у которого не было своей земли. После Декларации Бальфура большинство евреев осталось на своих прежних местах и в Палестину не ринулось. Сказано было однажды о нас, о евреях: народ, у которого есть голова, но отсутствуют ноги. И если странствия из одной земли в другую свидетельствуют о появлении «ног», то ноги эти не обязательно приводят нас в Сион, даже тогда, когда там создано государство. И «цыганская кровь» играет не только в тех, кто никогда не слышал о сионизме, но и в тех, кто родился на Земле Израиля...

Подход «рабочего движения» к решению проблем

всего еврейского народа и каждого еврея в отдельности базировался на кардинальном изменении всей системы ценностей, сложившейся в галуте. Главным лозунгом этого движения стал лозунг «ам овед» — превращение еврейского народа в народ трудовой, не чуждающийся никакой работы.

С созданием Государства Израиль Бен-Гурион выдвинул новый лозунг: «От класса — к народу» («Ми маамад — лэ ам»).

Но вскоре выяснилось, что вопрос не в том, являемся ли мы единым народом, — конечно же, мы единый народ в силу исторического прошлого! Подлинная проблема в том, являемся ли мы единым обществом! Общество, на мой взгляд, это прежде всего ощущение общей судьбы, взаимная ответственность, и мне кажется, что нам этого не хватает в достаточной степени. Взаимная ответственность, как мне это видится, гарантируется основополагающим принципом: неисчерпаемой способностью взаимного диалога, умением выслушать и «другую сторону». Мы же постепенно превращаемся в народ, страдающий глухотой. Эта глухота напоминает мне рассказ Бубера из книги «Гог и Магог». Рассказывают, что во времена Наполеона — евреи называли Бонапарта Великим Орлом — один из приближенных к Провидцу из Люблина сказал тем евреям, которые сообщили ему о приближении Наполеона: «Знайте, после пришествия Орла наступит черед воронов». Спросили евреи: «Что ж плохого в воронах?» Ответил спрошенный: «Ничего плохого нет, напротив. Вороны всегда вместе. Но у воронов есть существенный недостаток: они обязаны и кричать все вместе. А почему вместе? Потому что у ворона — ужасный голос. И когда раненый ворон, отстав от стаи, остается один, то сам не может вынести собственных криков, но и не кричать не может. Так одинокий ворон умирает от тоски».

Я вижу явные признаки того, как мы превращаемся в народ, где не говорят друг с другом, а кричат хором, выкрикивают в ухо друг другу лозунги. Мы еще долгое время будем народом плюрализма идей и плюрализма культурных традиций. В моих глазах это не идеальное состояние, но есть в нем свои плюсы и минусы. Плюсы можно было бы реализовать с большей пользой, если была бы признана законность этого самого плюрализма. А что же у нас? Я уже говорил, что многие из тех, кто считает себя «последователем Жаботинского», никогда не открывали

его книг; многие из тех, кто причисляет себя к «рабочему движению», не заглядывали в труды идеологов этого движения. Да и определенная часть религиозных кругов, столь пространно и страстно рассуждающая о Божественности, по моим опасениям, никогда не читала трудов Рава Кука. А ведь Кук — последний из великанов, крупнейший религиозный мыслитель, проникший в глубину необъятных религиозных сил, которыми были охвачены души «босяков», отправившихся в Израэльскую долину, осушать болота и создавать поселения, тех «босяков», которые говорили о социализме, о гуманизме, об освобождении мира. Рав Кук знал также о глубоких еврейских корнях этих людей. Он сказал (передаю его слова по смыслу, а не цитирую точный текст): «В наши дни те, кто строит подножие Трона Мессии, ближе к Богу, чем те, кто только молится ему». Не в том суть, что он не хотел, чтобы весь народ еврейский был народом религиозным, он не выдавал этим строителям «отпущение грехов» и освобождение от бремени религиозных обязанностей и предписаний. Но он признавал и те обязательства, которые эти «босяки» добровольно на себя взяли.

Увы, в наши дни многие радикальные религиозные круги не следуют учению раввина Кука. В этих кругах царит уверенность, что только их приверженцы — настоящие Евреи с большой буквы. Чванство и презрение по отношению к тем, кто не разделяет их взглядов, порою просто непереносимы. Однажды Бен-Гурион прибыл к выдающемуся раввину, которого звали Хазон Иш, для обсуждения серьезных проблем взаимоотношения религии с государством. Хазон Иш рассказал притчу о двух верблюдах, которые должны пройти по узкому мостику. Один из верблюдов — с ношей, а второй налегке. Пройти по мосту может лишь один верблюд. Кто же должен пройти по мосту? И Хазон Иш отвечает: «Конечно же, должен пройти верблюд с ношей!» Излишне объяснять, что Хазон Иш уподобил религиозное еврейство «верблюду с ношей». Но ирония в том, что лишь благодаря «верблюду без ноши» можно спорить о приоритете «верблюду с ношей»; более того, именно «верблюды без ноши» — гарантия физического существования «верблюдов с ношей».

Ответ, который дал Хазон Иш, — доказательство тотальной глухоты, столь характерной для тех, кто уверен в абсолютности своей «правды», не умея выслушать и другую сторону. Мы утратили нашу способность слушать друг друга. Сионизм вышел из слова «Сион», из тради-

ционных молитвенников («Сидур» и «Махзор»), из обращения к востоку во время молитвы, из «в будущем году — в Иерусалиме». Даже тогда, когда сионизм вышел из религиозных рамок, эти древние обычаи сопровождали нерелигиозный, светский сионизм, питая его душу. Сионизм лишится своего духовного смысла, если растеряет прочные узы, связывающие его с древними мифами, а с другой стороны, если утратит связь с мифом гуманизма, создания справедливого общества, который питал «рабочее движение» в его звездные часы. А утратив эти два важных момента, сионизм станет рамкой, лишенной духовного содержания.

И в заключение мне хотелось бы рассказать о разговоре с Джорджем Стайнером, евреем, который имеет английское подданство, но жить предпочитает в Швейцарии. Думаю, что эта история подведет как бы некий итог моим размышлениям.

— *Что же вы, израильтяне, делаете? — сказал Джордж Стайнер. — Мы, евреи, были величайшим народом, давшим миру неисчислимы духовные сокровища во всех областях: науке, философии, искусстве, литературе, музыке, — во всем этом есть наш еврейский вклад, на века наложивший существенный отпечаток. А что же вы, израильтяне? Сгрудились на малом клочке земли, заняты не тем, что нужно, воюете, а не творите нетленные духовные ценности. Ведь пока евреи жили среди других народов, они созидали, несмотря на страдания, антисемитизм, гонения и прочее. Еврейское государство — это ошибка, направившая духовные силы нации не по тому руслу. Разве в Израиле со дня его основания создано что-нибудь существенное? Живите среди других, думайте о непреходящих духовных ценностях и занимайтесь созиданием. Истинное призвание еврейского народа — нести свой свет всему миру, всем народам земли, пока не сольются в единое человечество.*

— *Евреи очень дорогой ценой заплатили за то, что первыми предложили миру различные универсальные идеи, — возразил я. — И даже если принять ваш взгляд, то на этот раз мне хотелось бы быть только вторым, а не первым. Вы — гражданин Великобритании, и прежде чем поучать нас, почему бы вам не научить англичан? — спросил я.*

*И поскольку Джордж Стайнер — умный еврей, не без доли цинизма, он ответил вопросом на вопрос:*

*— А к кому я там могу обратиться?..*

На нынешнем историческом этапе я выбираю Еврейское Государство. Я хочу видеть в нем ту почву, на которой вновь взрастут самые прекрасные из плодов еврейского народа во всех его поколениях...

*Записал и перевел с иврита Виктор Радуцкий.*

#### ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

*Бен-Цион Томер родился в 1930 году в Польше. Семье Томеров удалось бежать из родного местечка, оккупированного немцами, и добраться до России. В 1943 году Бен-Цион с группой еврейских детей при посредстве международных организаций добрался через Тегеран до Эрец-Исраэль. Во время Войны за независимость Томер в составе ударных отрядов Пальмаха участвовал в легендарной обороне Гуш-Эциона, а после его падения попал в плен к иорданцам. Возвратившись в 1949 году из плена, Бен-Цион Томер служил офицером в кадрах Армии Обороны Израиля до 1953 года. В том же году поступил в Еврейский Университет в Иерусалиме, где изучал литературу и философию.*

*Писатель, поэт, переводчик, драматург, дипломат, в прошлом — советник заместителя главы правительства Израиля Игаля Алона, а также председатель союза израильских писателей, Томер свободно владеет многими языками, в том числе и русским. Его переводы стихов Пастернака на иврит признаны образцовыми. Многие его произведения переведены на различные языки мира, особым успехом пользуется его пьеса «Две тени», поставленная Национальным израильским театром «Габима» и прошедшая также на Бродвее в США.*

*Человек необычайного жизненного пути, Томер — личность обаятельная, сложная и временами противоречивая, как сложен и противоречив тот клубок проблем, над которыми он размышляет. Несомненно, что высказанные Бен-Ционом Томером мысли не всем придутся по душе. Но мысли эти вводят нас в мир типичного израильского интеллектуала, и в этом их ценность.*

**В. РАДУЦКИЙ**

# Трибуна

---

## ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ!

*Государство Израиль было создано 40 лет назад. Этот удивительный феномен безусловно оказал и продолжает оказывать влияние на евреев диаспоры. Возникновение государства после двухтысячелетнего рассеяния, казалось бы, должно было разрешить многие большие вопросы народа-скитальца. И действительно, теперь у всякого еврея есть свой дом, куда он всегда может вернуться. Но новое государство породило огромное количество непредвиденных трудностей политического, социального, этического и культурного характера. Несмотря на недоброжелательное отношение многих народов к живущим среди них евреям, «сыны Израилевы» не бросились переселяться на свою вновь обретенную родину. А сейчас, когда уже столько времени в стране продолжается напряженность между евреями и арабами, евреи диаспоры еще раз пересматривают свое отношение к Израилю, который они хотели бы любить, которым они хотели бы гордиться перед своими детьми и перед другими народами, но который оказался не таким лучезарным и образцово-показательным, как, может быть, виделось отцам сионизма.*

*Не желая вдаваться в политические дискуссии, мы, тем не менее, хотели бы предложить читателям четыре статьи\*. Одна, «Кто еврей?», написана профессором политических наук, членом Британской академии Эли Кедури. Нам хотелось бы показать на примере этой статьи, над чем размышляют еврейские интеллектуалы диаспоры, люди, которые в немалой степени определяют еврейское и нееврейское общественное мнение за рубежом, отношение диаспоры к Израилю.*

*Статья «Народ и земля» написана эмигрантом из СССР, бывшим отказником Владимиром Френкелем, одним из организаторов культурного семинара в Риге. Нам кажется, что его статья пред-*

---

\* Все статьи были написаны и опубликованы к 40-летию государства Израиль, отмечавшемуся в 1986 году.

*ставляет интерес как позиция еврея, решившего оставить галут и жить в Израиле.*

*Еще одна статья принадлежит перу известного израильского писателя Ицхака Орена, который излагает в ней свои мысли о самоидентификации евреев и о предназначении еврейской культуры. Несмотря на то, что статья была написана более десяти лет назад, позиция автора по-прежнему оригинальна, а тема не утратила своей злободневности.*



## Р. Спектор

### ЛОМИР АЛЭ ИНЭЙМЕН

Время сейчас такое, что того и гляди подойдет к тебе журналист, представится как специалист по еврейским вопросам и предложит сказать пару слов о еврействе.

Еврейство (идишкайт): слово-то какое. Попробуй его образовать от других народных самоназваний — язык сломаешь. Если же удастся произнести без травм какое-нибудь узбекство, французство, американство, итальянство, то все равно не звучит. А еврейство звучит, звучит по меньшей мере сотню лет. Но что оно означает? Вопрос, разумеется, на засыпку, но именно ему я хочу уделить основное внимание. Не раз и навсегда ответить на него, не для всех ответить, а уделить основное внимание.

Мы хорошо знаем, как много исторически сформировавшихся людских общностей, как много попыток дать им определения и как мало при этом удовлетворительных (я уже не говорю гениальных) результатов. Но что такое удовлетворительное определение таких общностей, как нация, наука, начальство? Трудно сказать, благодаря чему то или иное определение (точнее, определяющее) ценного содержания становится неустранимым моментом культурного, исторического или социально-политического процесса. Да и в словах ли здесь дело? Дело, видимо, в самом содержании, которое само себя определяет. В таком случае нет особой нужды в дефинициях, единых и незыблемых, за которыми может быть только нечто ставшее, обладающее конечным числом признаков и, следовательно, как бы неживое.

Еврейство, положенное (точнее, изложенное) как некое понятие, таким образом попадает под ураганный

огонь критицизма, скептицизма и пр. «измов». В результате от понятия остаются рожки да ножки, что чаще всего и небезосновательно проецируется на само содержание, и получается, что еврейства нет, а есть много разных евреев или много всякого еврейского, которое (множество) не только не «стремится» к единству, но, напротив, чурается его как вслух, так и про себя. Такая центробежность доносится до нас как еврейскими, так и нееврейскими голосами. Эта активная, но, слава Богу, всегда безуспешная центробежность проявлялась и проявляется во всех формах еврейской консолидации, как-то: традиционалистской, политической, конфессиональной, географической и т. д. Мудрые наши предшественники или остроумные наши современники видели и видят в этом еврейском плюрализме сразу два достоинства: во-первых, демократичность, — каждая община, независимо от масштаба — это все равно Израиль, этот плюрализм все-таки остается еврейским, а во-вторых, неуязвимость, неистребимость. Достоинство первое проблематично, т. е. сомнительно, что те и другие правы. Достоинство второе следует из военно-политической аналогии. Действительно, при прочих равных (время, сила, ресурсы) захватить или принудить к капитуляции небольшую территорию централизованного государства, имеющего свою столицу, армию, единую идеологию проще, чем такую же территорию, где хозяйство, политика, обороноспособность и пр. не подчинены единому порядку. Примеров тому — множество. Самые яркие из недавних — это Вьетнам, Афганистан. Но та же самая аналогия подсказывает еще один вывод. Получается, что еврейство жизнеспособно только в партизанской форме. Партизанами Господа ли, традиции ли, языка ли, но не в официальной легитимной, а в подпольной форме предпочитают мнить себя и оставаться евреи. Несмотря на чаще вынужденный характер, еврейское партизанство от кого только не получало благословения и исполненного национальным рвением и исторического пафоса признания. Это суть еврейской неуязвимости. Добровольным ли (бывали и такие случаи), вынужденным ли был путь евреев в гетто, но изоляция отложила свой отпечаток на самый дух говорения о еврействе, его исторической судьбе, его потенциях. «Благословенна будь, тюрьма», — писал Солженицын, обосновывая самую возможность увидеть смысл происходящего в мире, отечестве, душе. Изоляционизм действительно внешне парадоксально

обеспечивает проницаемость окружающего мира, позволяет за счет сведения человека к своего рода социально-политической точке превратиться в каплю воды, отражающей абсолютно все. Взгляд узника вынужденно соответствует добровольному взгляду философа. «Заключите меня в скорлупу ореха, — говорил Гамлет, — и я буду чувствовать себя повелителем Вселенной». За счет относительной социально-политической бездейственности он (узник) становится абсолютным созерцателем. Иной, чужой, изолированный видит больше, глубже, точнее. Не потому ли еврей — исторический узник — шаржированно изображается таким философом, чего, собственно, вполне достаточно в наш прагматический век, чтобы из мудреца «не от мира сего» еврей превращался в хитреца против мира сего, сублимируя стадию просто умного человека, достойного среди равных?

\* \* \*

Все эти рассуждения вполне тривиальны, скажет искушенный читатель. Уж больно все знакомо. Евреи, еврейство... О чем конкретно хочет сказать автор? Что нового в этом вечном еврейском предмете мы узнаем? Я сразу хочу предупредить, что о предмете ничего нового сообщить не берусь. Берусь усомниться, что этот предмет существует у нас (евреев) и для нас. Берусь усомниться, что еврейство советской общины имеет исторический шанс оставаться среди других еврейских общин, что в этой, на мой взгляд, обреченной ситуации отражается и мировое еврейство. «Говорят, что запад — свет России; говорят, что Россия — свет западу» — так начинается свою статью Андрей Белый, с которым я собираюсь обсудить проблему еврейской культуры. Его высказывание легко перефразировать для целей моих заметок: еврейство России — свет западному еврейству. Я предлагаю еврейству мировому увидеть себя в зеркале советской общины.

Она своим характером и состояниями продолжает то, что сложилось к началу века и было отражено проницательным антисемитом.

Автор статьи «Штемпелеванная культура», опубликованной впервые в 1911 году в журнале «Весы» (Россия), перепечатанной журналом «Узы» № 3, 1982 (Израиль), вслед за Вольфингом красноречиво доказывает, что русское искусство, равно как и немецкое, находится

под угрозой варваров, имя которым — евреи, их — легион.

Это про нас, «отзывчивых, страстных, талантливых вундеркиндов», по их собственным уверениям. Это мы — варвары — беремся за все, что предлагает германский ли, русский ли (арийский) дух, который «творил ценности», и мы со свойственной нам энергией, не видя в этих ценностях «неразгаданной тайны», ковали «из них ходячие монеты». Правда, благодаря этому высокое арийское искусство быстрее и полнее делалось достоянием всех желающих, но эта, с позволения сказать, услуга оценивается, пусть не совсем осознанным, желанием переделать культурные ценности на свой (узконациональный) лад. Итак, евреи, с точки зрения арийского гения (глубоко народного и укорененного в духовной, да и географической почве), — не только культурные варвары (это очень плохо и очень опасно), но и своего рода (это до некоторой степени) культурные официанты.

Я делаю этот вывод, не опасаясь выглядеть кликушествовавшим евреем, — мол, до чего докатились, дожили на старости лет. Этот вывод вполне согласуется с утверждением одного из лидеров культурного сионизма — Владимира Жаботинского. Это он в знаменитом трактате о четырех сыновьях объяснил нам, что такое деятельность, которая «мерзость в глазах Фараона». Это всякая деятельность «по распространению» чего-то, безусловно, ценного для Человечества. Начиная с пастушества, через купечество и торговлю, кончая наукой, искусством и пр. Видимо, в этом современный еврейский разум (я ни в коей мере не сомневаюсь в заслугах Зеева Жаботинского перед еврейством) видит воплощение Божественного обетования «Царством священников и народом святым сделаю...». Для атеистического сознания это вполне согласуется с тем выводом, который я сделал. Евреи — культурные официанты. Это гуманизированное замещение тезиса о нас как исторической закваске, катализаторе и чего там еще?

\* \* \*

Культура есть процесс воспитания и роста человеческого духа: но точка отправления здесь — раса; она — земля всякой культуры: «нация — альфа и омега культуры, — пишет Андрей Белый, — наука — нормировки и координировки процесса. И потому-то неправы запад-

ники: условиями роста культуры подменяют они самую культуру (есть культурная Европа, но нет европейской культуры)». Утверждение, помещенное автором в скобки, я опять перефразирую на еврейский лад, возвращаясь к началу заметок о понятии «еврейства»: есть культурные евреи, но нет еврейской культуры. Вот тут-то простившие мне длинную цитату из Андрея Белого спохватятся и спросят: «То есть как это, собственно, нет?» А вот так: нет, и если она была, то не более чем пару раз в истории нашего народа. Потому-то и выделил я культуру в особое производство в самом начале статьи, что дошел, к своему удивлению, до мысли такой: нет еврейской культуры.

Ну-у-у, — скажет образованный читатель, — это зависит от того, что понимать под культурой. «Самобытность культур порождает борьбу национальных особенностей рас: это расовая борьба — вне плоскости политики, — рассуждает А.Белый, — она в борьбе бытовых, индивидуальных расовых черт, в борьбе памятников искусства: в этой борьбе происходит естественный отбор наций, наиболее самобытные нации духовно побеждают. Повторяю: условием этой борьбы является полное равноправие рас в их экономическом укладе жизни».

Обсуждая судьбу арийских культур и констатируя их плачевное положение в ситуации еврейской духовной осады, автор «штемпелеванной культуры», в отличие от современных антисемитов, не обвиняет евреев в злонамеренном заговоре против всех культур, его замечания и анализ не приводит к очередному навету. «...Бесспорно (подчеркнуто мною. — *Р.С.*) и то, что полное неравноправие евреев в России и отчасти в Германии заставляет их проявляться в области, где юридически они могут выступать как равноправные», — утверждает русский писатель. И следовательно, дальше: «еврей-издатель, с одной стороны грозит голодом писателю; с другой стороны — еврейский критик грозит опозорить того, кто поднимет голос в защиту права русской литературы быть русской и только русской».

Обыкновенно здесь смешиваются две несоизмеримые сферы: борьба культур с борьбой политических партий. Правовое неравенство евреев затыкает нам рот (подчеркнуто мною. — *Р.С.*).

О, если бы сверху сознали, что для существования русской культуры равноправие евреев необходимо прежде всего!»

Этим публицистическим крещендо следовало бы начать мои заметки, согласившись с Андреем Белым в том, что культурная активность евреев, во-первых, есть результат их правового неравенства, а во-вторых, активность эта — «не культура вовсе» и, добавлю, не еврейская культура, прежде всего.

Сегодняшняя еврейская ситуация прямо противоположна той, которую косвенно описал знаменитый символист. Но именно это заставляет увидеть их принципиальное сходство. Слово «противоположная» приходит на помощь: ситуация та же самая, но положена она наоборот или навыворот.

Сегодня, еще робкий, но вполне определенный еврейский голос, культурный голос, т. к. он самодеятелен и направлен на утраченное свое; из беспамятного молчания выплывающий голос заглушается совсем не беззлым окриком: чего вы шумите, — вам предоставлены все права. Слишком много в этом окрике того еврейского, о котором писал А. Белый. Поэтому-то и силен этот окрик: изнутри нашей доносится он. Правовым (формальным) равенством затыкают евреям рот, когда тот готовится произнести что-то об условиях еврейской культуры. Заметьте, не о еврейской культуре — об условиях ее говорю. Точно так же говорит и А. Белый, не допуская знака равенства между культурой и всеобщими формами (условиями) ее осуществления. Вспомним, что автор «Штемпелеванной культуры» опасался, что «юдаизация» этих самых условий (театра, науки, литературы и пр.) грозит нивелировкой многообразию арийской культуры. В результате, опасается символист, европейская культура станет еврейской.

Культура — слово, используемое для выражения самых разнообразных смыслов. Сегодня переосмысливаются и, следовательно, многосмысливаются едва ли не все понятия, еще недавно имевшие четкие границы значений. Слово «культура» не представляет собой исключения. Не следует путать культуру с популярно изложенной историей, литературой, музыкой, театром, наукой — условиями и средствами культуры; традиционалистскими представлениями и процедурами. Культура — не па-

мятник, который можно оберегать, которому можно поклониться. Культура может оказаться таким памятником (истуканом, идолом...), и еврейская культура становится на наших глазах именно памятником-памяткой, превращаясь в содержание музеев и красочных альбомов, которые издаются фактически на всех европейских языках, за исключением, пожалуй, русского.

Культура — это живой, самодеятельный способ реагирования на существенную общенародную утрату. Земля ли утрачивается, Божественное ли присутствие (шехина), храм, язык, — все эти актуальные пустоты заполняются подлинным содержанием только культурным путем. Если культура не занимается такой пустотой, т. е. если не культура занимается, то пустота будет заполнена всем чем угодно. Более того, оставленная без культурного «внимания» и «заботы», зона пустоты быстро прогрессирует, опустошая самую жизнь народную. Культурная ситуация — это мучительное и действенное переживание угрозы самобытности народной жизни.

Сегодняшняя еврейская жизнь со всей настоятельностью требует культурного отношения. Культурного, т. к. угроза опустошения (вырождения) жизни народной налицо. Культурного, т. к. никаких готовых рецептов возрождения не бывает. Метаться между изучением Библии или Талмуда и соблюдением немудреных обрядов и праздников бессмысленно, т. к. изучают Библию, язык и народные традиции специалисты всех мастей, и в этом изучении ничего специфически еврейского может не быть. Культура, как мы уже договорились с А. Белым, выражает дух народный и не сводится к всеобщим условиям существования продуктов духовной жизни (искусство, наука, религия). Культура — это живое содержание народного духа, возможное только там и только тогда, где и когда есть общность, действенность, солидарность. Единство народной жизни, как главное условие культурного выживания, евреям вменено изначально. Все те немногочисленные случаи рождения еврейской культуры (культура всегда — рождение заново), которые мы знаем, выражали безусловное народное единство — единое сердце. Без народной консолидации ни о какой культуре не может быть и речи. Никакой гений не сможет сложить культуру: культура не дом, не поэма, не соната. Да и откуда взяться гению, если нет народной жизни, если нет того духовного «бульона», в котором он (гений) может зародиться.

Сегодня есть по крайней мере два процесса, которые задают контуры еврейской консолидации в СССР: алия (борьба евреев за репатриацию в гос. Израиль) и анти-семитизм, или юдофобия, расцветшая за последнее время под эгидой общества «Память». И тот и другой контуры (предельный и остаточный) весьма противоречивы и обнажают главное — отсутствие контура нормальной консолидации.

Действительно, алия только в крупных городах «срабатывает» как условие консолидации. Совместные действия в рамках алии не нуждаются в паспортных данных и, во всяком случае, представляют собой еврейскую культуру. Про периферийных евреев того же самого сказать никак нельзя. В провинциальных городах алия разобщает евреев. То, что видно на примере провинциальном, хорошо корреспондирует с государственной ситуацией, которая стала просачиваться в печать. «Граждане еврейской национальности» (это неудобоваримое словосочетание понадобилось, чтобы подчеркнуть инородность нашу) могут себе позволить заявить, что они лучше тех евреев, для которых гос. Шульц везет в Москву кошерную еду. Такие заявления прямо направлены на разобщение и раскол. Письма этих граждан под жирным заголовком «Не мешайте нам жить!» выражают, на мой взгляд, другой тезис: не мешайте нам вымирать! Тезис людей, сознательно занимающихся той самой штемпелеванной культурой, о которой писал А. Белый. Эти письма вышли из-под пера культурных официантов.

Внутри самой алии тоже противоречивая ситуация: развернувшаяся в последнее время то ли борьба, то ли дискуссия по поводу предоставления особого квартала в Иерусалиме для проживания советских репатриантов, наводит на грустные размышления. Приобретать участки для захоронения в земле ханаанской — традиция наидревнейшая. Библия рассказывает о первом еврее — Аврааме, который впервые совершил такую сделку. Мне кажется, что слухи об этом иерусалимском квартале указывают на столь же некультурный голос из алии, который призывает не к жизни, а к вымиранию. Почвенность культуры, мистическая связь Народа и Земли вырождается просто в привилегированное место на почве. В этом голосе нет жизни, нет культурного порыва. Жить нужно здесь и сейчас, а не там и тогда. Особенности еврейской жизни не надо (пусть бессознательно) сводить к



особенностям еврейской смерти. Братская могила или братский многоквартирный саркофаг — не одно ли это и то же, с культурной точки зрения.

\* \* \*

27 мая 1987 года в Москве и Ленинграде в День Памяти о 6 000 000 задушенных евреев, в день, когда мы вспоминаем о Катастрофе, о живых и мертвых, собрались сотни людей и пришли на кладбище, где нет бронзовых или каменных памятников жертвам геноцида и героям еврейского сопротивления. Таким памятником была живая толпа и прочувственные выступления, фотографии, развешанные на деревьях, и выражения лиц, говорящих и слушающих. Это была живая консолидация евреев, у которых единое прошлое. Это была культурная ситуация в полном смысле этого слова: наше состояние в памяти, о жертвах и героях, такое же как наше состояние у горы Синай в день дарования Торы. Такие состояния — начало культурной жизни еврейского народа. Это вселяет надежду на то, что мы в состоянии выжить как народ. Из разных событий нашего состояния в Памяти вырастает наше культурное со-бытие, со-знание нашей ответственности.

Самый подходящий лозунг для еврейской культуры — ломир алэ инэймен — лозунг, подсказанный словами популярной песенки. Будем вместе здесь и сейчас, а где мы будем потом... «Господь усмотрит...»

## Эли Кедури

### КТО ЕВРЕЙ?

Сорок лет — столько, сколько провели в скитаниях по пустыне сыны Израилевы, — срок немалый; поэтому для государства Израиль, отмечающего свою сороковую годовщину, естественно сейчас праздновать и возносить благодарения. Кроме того, это тот срок, когда уже можно оглянуться и подвести итоги, чтобы оценить, что изменилось с появлением государства в еврейском самосознании, какие проблемы возникли или обострились.

С появлением государства особую актуальность приобрел вопрос о том, кто считается евреем, так как по Закону о возвращении, принятому 5 июля 1950 года, евреи со всего света могут репатриироваться в Израиль и имеют право на израильское гражданство. Этот вопрос является юридическим, причем существует расхождение между критериями Галахи — еврейского религиозного закона — и принципами израильского права. Однако вопрос, кто считается евреем, выходит далеко за рамки узкоюридической компетенции. Это экзистенциальный вопрос в самом широком смысле слова, касающийся каждого еврея, независимо от того, принимает ли он, отрицает или игнорирует применимость к нему предложенного определения.

В прежние времена среди евреев, которых не коснулось дыхание нового времени, которые жили в относительно замкнутых общинах, в вопросе, кто считается евреем, не было ничего сложного. Более того, сам вопрос казался бессмысленным. Так было и остается по-прежнему среди евреев, живущих в странах ислама или сохраняющих нормы и стиль жизни, какими они были в

мусульманских странах. Для них критерием является религиозная принадлежность, и мусульманские законы оставляют для них (как и для христиан) место в социальной структуре.

В европейских странах на современном историческом этапе религиозные критерии были заменены на критерии по рождению, местожительству или принадлежности к нации. Теперь и евреи и неевреи утратили определенность этих дефиниций, и нет единого мнения по поводу того, на чем должен основываться выбор национальности.

По этому вопросу предлагались разные теории. Вполне понятно, что при той политической силе и интеллектуальному престижу, какими обладал нееврейский мир, теории, выдвинутые неевреями, нашли широкой отклик и поддержку, причем не меньшую в среде самих евреев — тех евреев, которые, пытаясь найти себе место в нееврейском обществе, восприняли европейское мышление и которые, как я уже успел заметить, не знали четко, кто они и что они.

Одна из таких теорий родилась сравнительно недавно и приобрела большое влияние. Она принадлежит Арнольду Дж. Тойнби и нашла выражение в его десятитомном труде «История», первый том которого был опубликован в 1934 году, а десятый — двадцатью годами позже. Тойнби считает, что некогда существовала сирийская цивилизация и древние евреи являлись ее частью. Со временем эта цивилизация потеряла свое творческое начало, была сметена другими культурами и исчезла. Евреи пережили крушение этой цивилизации, но их выживание оказалось неполноценным. Тойнби даже подобрал для этого феномена название, заимствованное из палеонтологии, — окаменелость, то есть они сохранились, но их существование с трудом можно счесть жизнью. Лишенные созидательной и жизненной способности, евреи унаследовали от ревностной и ограниченной веры своих предков лишь крайнюю нетерпимость и жестокость.

Рассуждения Тойнби по поводу окаменелости очевидным образом повторяют, только в терминах современной науки, древнее обвинение христианских теологов в том, что евреи, которые видели свет и отвергли его, были в свою очередь отвергнуты Богом и обречены жить бездомными изгоями, причем их непрекращающееся жалкое бытие служит доказательством и свидетельством бо-

жественной правды христианской религии. Иудаизм, при таком подходе, оказался выхолощенным в набор строгих установлений, где важны лишь всякие ритуальные мелочи, которые соблюдаются скрупулезно, механически, бессмысленно.

Концепция Тойнби в отношении иудаизма и евреев вызвала резкий протест, и все же теологическая платформа, лежащая в ее основе, прочно укоренилась в самосознании современного европейского еврейства и явилась причиной отрицательного отношения широких еврейских кругов к раввинскому иудаизму, непризнания авторитета раввинов. Мир их диспутов и методы их аргументации вызывали раздражение, казались бесплодной, беспредметной софистикой.

Другой современный ответ на вопрос, кто считается евреем, находим в эссе Жан-Поля Сартра «Размышления о еврейском вопросе». Книга вышла в 1946 году, по следам Катастрофы и режима Виши, то есть тогда, когда французские евреи были исключены из жизни общества, а французская полиция охотилась за своими и иностранными евреями и отправляла их в лагеря смерти. И хотя Сартр не обсуждает эти события, они отбрасывают на его философские рассуждения мрачную тень.

По Сартру, в новое время и даже раньше, с разрушения древней еврейской государственности римлянами, еврейская община утратила какое бы то ни было историческое своеобразие, и национальное, и религиозное. Еврейская община, говорит Сартр, наименее историчное из обществ, так как ее единственное наследие — память о длительных мучениях, «иначе говоря, длительной пассивности». Евреев объединяет не их религия, не их прошлое и не их земля, скорее, они просто разделяют «общую участь».

Эта «общая участь», как она видится Сартру, есть «враждебное презрение» остальной части общества. Сам по себе еврей — ничто, он еврей, потому что окружающие считают его таковым. Некоторые евреи отказываются взглянуть ситуации в лицо; они пытаются представить дело так, будто еврейство — это малозначительная деталь, будто они в первую очередь французы, немцы или просто представители человечества, и то общее, что сближает их с другими людьми, гораздо более важно, чем их специфические особенности. Но, стремясь таким образом убежать от своей судьбы, евреи приходят к отрыву от реальности. Сартр считает, что евреи, наоборот,

должны взять на себя весь риск и ответственность, возлагаемые их общей ситуацией, и перестать искажать истину в отношении себя или бежать от нее. Только тогда жизнь их будет правильно соотноситься с реальностью, и они свободно и сознательно пойдут навстречу своей судьбе.

Что сближает обе рассмотренные позиции Тойнби и Сартра, так это полное отрицание еврейской истории с момента разрушения Второго Храма римлянами и триумфальной победы христианства — отрицание жизнеспособности опыта еврейской диаспоры, его преемственности и сознания этой преемственности, которое передается определенной части евреев из поколения в поколение. В истории мы найдем немало неопровержимых доказательств и этой преемственности, и этого сознания. Но несмотря на все доказательства, идеи Сартра и Тойнби нашли себе много приверженцев среди современных евреев, которые поверили, что еврейская жизнь — это бремя отрыва от реальности, и которые так или иначе настойчиво стараются сбросить его тяжесть.

Один путь избавления от этого бремени заключается в том, чтобы осознать «подлинный смысл» последних столетий и исчезнуть как общность и как личность, свободно избрав и приняв новую, совершенно нееврейскую самоидентификацию. Это, в частности, решение, предложенное Артуром Кестлером тем евреям, которые продолжают жить в диаспоре после образования государства Израиль. Та же мысль прослеживается в названии работы Джоржа Фридмана «Конец еврейского народа?» (1969 год). Ведь действительно, если быть последовательным, то надо осознать «неестественность» формы «жизнь в состоянии смерти» и изменить ее на естественное и адекватное состояние — смерть.

Другой путь покончить с призрачностью «жизни в состоянии смерти» лежит через «воскресение», причем за образец принимается радостное существование древних израильтян на своей земле. Этот путь признан частью современных израильтян. Их позиция крайнего сионизма нашла свое выражение в ханаанитском движении в Палестине и затем в Израиле. Поэт Уриэль Гальперин, более известный под своим литературным псевдонимом Йонатан Ратош, писал в манифесте в 1944 году: «Еврей и израильтянин никогда не смогут быть тождественны. Тот, кто является израильтянином, не может быть евреем, а еврей не может быть израильтянином...» И в дру-

гом манифесте, написанном несколько раньше и обращенном к «израильской молодежи»: «Ты израильтянин, потому что твоя родина — реальная, существующая родина, а не мечта, не предмет душевного стремления и тоски, не легенда... Для тебя иврит — реальный, существующий, повседневный язык, родной язык, язык культуры и язык души... пейзаж, среди которого обитает твоя душа, — это пейзаж твоей родины, и твое прошлое — это только прошлое твоей родины» (цит. по Якову Шавиту, «Новая еврейская нация», 1987).

Однако и Тойнби, и Сартр, и ханааниты резко искажают еврейское прошлое и настоящее. Откуда пришел этот так категорически отделенный от еврея и так поэтически воспетый «израильтянин»? При всей его законченной и сияющей подлинности, этот израильтянин есть и должен быть евреем, потомком еврея. А если это так, то мы вновь вернулись к тому, с чего начали: к ответу на вопрос, кто считается евреем.

В кратком изложении своей «Истории», которое вышло в 1972 году, Тойнби делает сальто. Он, который в течение двадцати лет утверждал, что живущие ныне евреи — окаменелость, ископаемое древней цивилизации, теперь приветствует их как посланцев будущего, что необъяснимо в рамках предложенной им концепции. Причину столь неожиданного заявления следует искать в другой доктрине Тойнби, а именно, что в мире современных связей и экономических систем наилучшей формой социальной и экономической организации являются группы людей, рассредоточенные на больших территориях, но объединенные языком и культурой, иначе говоря, — диаспора. А так как после разрушения Второго Храма евреи превратились в народ диаспоры в чистом виде и дожили в этом состоянии до настоящего времени, то они служат образцом и моделью для будущего.

Независимо от того, был ли Тойнби прав в своем социальном и экономическом анализе, не вызывает сомнения, что в конце своей долгой жизни (он умер в 1975 году) он постиг наконец главную истину в еврейской истории. У престарелого Тойнби были основания поразиться собственному открытию. Значение еврейской диаспоры заключается в том, что группа, лишенная политической власти и собственной территории, сохранила тем не менее свою общность в течение двух тысячелетий, под разными политическими режимами, среди разных культур и цивилизаций, разбросанная по многим странам и кон-

тинентам, в условиях жестких ограничений и порою кровопролитных преследований.

Дважды в древности евреи столкнулись с военной катастрофой и политическим поражением, причем оба раза был разрушен Храм: Первый в 586 году до н.э. и Второй в 70 году н.э. Сами по себе эти события не были из ряда вон выходящими. Но для других народов военное поражение оказывалось более серьезным и даже фатальным, так как в древних религиях связь между группой и ее божеством была довольно хрупкой, и поражение народа означало поражение опекающего его божества. Для адептов языческих культов не существовало внутренней защиты от превратностей политического и военного характера. Евреев же отличала от их соседей именно уверенность в том, что Бог несомненно важнее и масштабнее, чем какая бы то ни было государственность, и что все политические события находятся под Его постоянным судом. Мне кажется, что здесь следует искать начало объяснения столь необычного выживания этой группы в крайне неблагоприятных условиях изгнания и рассеяния.

Тяжесть ответственности за эту изгнанную, рассеянную по свету и лишенную власти общину взяли на себя раввины, комментаторы письменного и устного закона, который (согласно традиции) был получен Моисеем на горе Синай, передан Йегошуа бин Нуну, от него — старейшинам, от старейшин — пророкам, от пророков — мужам Великого Собрания, а от них он передавался раввинами из поколения в поколение. Вот она, цепочка тех, кто передавал, и суть того, что передавалось, и развивалось, и обогащалось, и дошло до нас как иудаизм и как еврейство.

Невозможно считать раввинский иудаизм окаменелостью или механическим повторением давно утративших всякий смысл формул, если он нашел в себе ресурсы, чтобы выработать и уложить в четкие словесные формулировки такой стиль жизни, который не отказывается от обычных человеческих желаний и устремлений, но, напротив, принимает их, регулирует и освящает. Это очевидным образом проявилось в отношении к вопросам пола и брака: в свадебной церемонии Бога благословляют, в числе прочего, и за то, что Он создал радость и веселье, жениха и невесту, торжество и ликование, удовольствие и наслаждение, за то, что жениху предназначено испытать радость со своей невестой. Подобным же

образом, нет презрительного отношения к труду и к тому материальному благополучию, которого можно достигнуть с помощью труда. Как сказано в «Пиркей Авот», «без хлеба нет Торы». Богатый не осуждается за то только, что он богат. Наоборот, особо подчеркивается и устанавливается как закон, что богатство или бедность в некотором смысле одно и то же: «...не будь пристрастен к нищему и лицеприятен великому; по правде суди ближнего твоего» (Левит, 19:15).

Здесь уместно отметить, что отношение к обладанию богатством (а следовательно, и к его наживанию), которое высказывал Иисус: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие» (Евангелие от Матфея, 19:23—24), — разительно отличается от принятого в иудаизме. Вспоминаются в этой связи слова дочери и биографа третьего маркиза Солсбери, написанные ею об этом благочестивом христианине: «Хотя он не знал, что такое подвергнуть сомнению христианскую доктрину, всю жизнь ему было трудно принять нравственное учение Евангелий». Именно ригоризм христианской этики мешал Солсбери, так как не всегда она могла служить надежным и полезным руководством в решении проблем, которые ставит перед нами повседневная жизнь. В противоположность этому евреи руководствовались этикой, которая была выработана в реальном мире перед лицом его многочисленных сложностей и которая не отвергла этот мир как безнадежно неприемлемый. Эта этика позволила евреям не утратить связи с миром и чувствовать себя в нем как дома.

Система общин, составлявшая диаспору, сумела наладить отношения и плодотворно взаимодействовать с огромным разнообразием культур и обществ, внутри которых евреям приходилось жить. Здесь проявилось отличие от народов ислама. Когда мусульмане стали влиятельной силой в мире, они начали контактировать с более сложными и развитыми цивилизациями: эллинской, сасанидской, индийской — и довольно быстро впитали те черты, которые можно было у них позаимствовать. Но для мусульман этот первый взрыв интеллектуального заимствования оказался и последним. Исламской цивилизации как религиозной общности и как определенному стилю жизни оказалось не под силу приспособиться к современным цивилизациям и понять управляющие ими законы, и сейчас культура страны ислама производит грустное впечатление, поскольку опирается на политиче-



ские, социальные и экономические стандарты древности и обречена на бесплодную конфронтацию и борьбу с не менее значительными концепциями современного мира.

Иудаизму и евреям не пришлось вести подобную борьбу. Еврейское общество и еврейский склад ума, сформировавшийся в диаспоре в условиях насаждавшегося раввинами мировоззрения, восприняли современную цивилизацию не как угрозу, но как вдохновляющий стимул.

Таким образом, совершенно ясно, что нет еврея без иудаизма, а иудаизм — это произведение раввинов прошлого и будущего. Однако если еврейская религиозная мысль имеет для евреев первостепенное значение, то необходимо признать, что она принесла нам в наследство немало проблем. В досовременный период интеллектуальное «единство в многообразии», свойственное традиционному еврейскому мышлению, явилось результатом многовековых обсуждений и споров, причем для каждого их участника авторитет Торы, как письменной, так и устной, был незыблем, а доводы черпались из прецедентов (что очень напоминает английскую юриспруденцию). Этого мира теперь нет. Хотя мы наблюдаем поразительный рост активности синагог, мир раввинского диспута утратил большинство своих традиционных связей, своих привычных черт и методов аргументации.

Этими потерями мы обязаны современности, в которой религия не играет больше ведущей роли. Из этого следует, в частности, что нынешнее общество состоит из отдельных индивидуумов, которые таковыми себя и сознают, то есть руководствуются и в своих поступках, и в своей пассивности личными желаниями и представлениями, другими словами, такое общество весьма отличается от традиционного, где нормы жизни и правила поведения регулировались неоспоримыми законами.

Может ли раввинская мысль апеллировать к новой ситуации без поддержки тех социальных сил, которые действуют в небольшой традиционной общине? Хватит ли у нее творческой силы создать такую религиозную доктрину, которая удовлетворяла бы духовным запросам всех многочисленных еврейских общин? Сможет ли она свободно прийти к соглашению о том, что считать приемлемым? Если нет, нам предстоит столь нетипичное для традиционного иудаизма разделение на священное и светское. Светская жизнь превратится в отчужденную область и утратит смысл и назначение, а священное лишится содержания, так как шесть дней недели и все, что

в них происходит, выйдут из его компетенции и ему останется только суббота.

Мы уже можем наблюдать этот «развод» между той и жизнью в среде ортодоксального еврейства, которое определяет себя как приверженцев «истинной Торы» и которое другие называют ультраортодоксией. Эти люди отказываются считаться с современным миром, который они рассматривают как погрязший в мелкотравчатом материализме. Сторонники этой точки зрения мечтали бы распрощаться с практической жизнью, с работой и прогрессом и уйти в чисто духовную жизнь. В результате мы приходим к ригоризму того же сорта, что помешал Солсбери принять христианскую этику. Бегство от практической жизни таит в себе опасность и парадокс: опасность для тех, кто принимает его и следует ему буквально, а также для их учеников, видящих в своих лидерах пример для подражания; парадокс, потому что чистая отрешенная духовность невозможна, ведь и самим духовным людям тоже не обойтись без еды, одежды и жилья, а потому они вынуждены заботиться об удобствах материальной жизни.

Религиозная мысль должна была отреагировать на еще одно беспрецедентное явление, а именно — существование еврейского государства со всеми вытекающими из этого факта этическими и политическими проблемами. С такой ситуацией раввинская традиция не сталкивалась два последних тысячелетия. Внезапно приходится сформулировать множество вопросов и найти на них ответы. Являются ли этика и политика взаимоисключающими понятиями? Должны ли они быть таковыми? С одной стороны, нет, так как политика — это защита интересов и безопасность определенной группы людей, и эта общественная задача подразумевает ответственность. Для политического лидера или государственного деятеля, взявших на себя эту ответственность, нет сомнения в том, что она носит моральный характер.

На протяжении многих столетий еврейской государственности не существовало, и у евреев не было случая осмыслить массу этических вопросов, касающихся реализации власти и связанной с этим ответственности (исключение составляют внутренние проблемы еврейской общины). Однако Библия дает нам примеры того, как моральная ответственность ложится на плечи лидеров в периоды политической самостоятельности евреев. Так, в книге «Исход», 32, описывается возвращение Моисея с

горы Синай. Моисей видит, как народ поклоняется золотому тельцу, сделанному во время его отсутствия. Он останавливается у входа в лагерь и зовет всех, кто еще верен Всевышнему. Когда потомки Леви присоединяются к нему, он приказывает им вернуться в лагерь, обнажив мечи, и говорит: «И убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего». И «пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Затем встречаем в Книге Царей (3 Книга Царств) рассказ о том, как Соломон приказал убить своего сводного брата Адонию, которому вначале был завещан престол царя Давида. Соломон заподозрил, что Адония стремится оживить в народе память об этом давнем обещании и тем самым разжигает раздор и создает угрозу гражданской войны.

Два рассмотренных выше примера не могут автоматически подчиняться какому-то одному простому моральному критерию. Моисей и Соломон несут бремя не только личной ответственности, как всякий другой человек, они несут еще ответственность перед народом, и поэтому понятие справедливости для них включает учет интересов общества, которое они призваны защищать, даже если для этого придется вторгнуться в сферу чьих-то личных интересов. В этих условиях справедливость требует пристального изучения всех обстоятельств и возможностей, оценки риска в каждом из альтернативных решений, причем может оказаться, что ни один шаг не будет выглядеть полностью приемлемым, а будет сопряжен с опасностью при его выполнении или может иметь пугающие последствия.

В современном мире, особенно на Западе, сложился определенный стереотип в отношении к политическим вопросам, который завоевал широкую популярность и имеет тенденцию закрепиться и в еврейском религиозном мышлении. Этот стереотип так или иначе основан на известных словах Иисуса, предписывающих воздавать кесарю — кесарево, а Богу — Богово. Что бы ни значило это высказывание в устах Иисуса, сейчас оно трактуется как неизбежный разрыв между царством кесаря и требованиями Бога: политика безнадежно далека от морали, если вообще не аморальна, и кто ищет Царства Божия, должен держаться в стороне от дел в царствах земных. Этика здесь словно представляет собой некую независимую внешнюю сферу, откуда она накладывает свое вето и предает анафеме. Но несмотря на все возвы-

шенное благородство подобных приговоров, они всегда оказываются необидительными и неэффективными.

Другой популярный западный стереотип отношения к политике основывается на этических воззрениях Иммануила Канта, утверждавшего, что только те поступки хороши, которые отвечают универсальным принципам морали, а последние, в свою очередь, диктуются совестью. Но совесть индивидуума в качестве арбитра никак не гарантирует, что поступки всегда и по определению будут моральны. Адольф Эйхман, как мы помним, определял свои действия как добросовестное выполнение долга — пример того, что веления совести, каковы бы они ни были, не всегда приводят к добрым делам. Добрые намерения не всегда кончаются хорошими поступками, а хорошие поступки могут привести к жутким последствиям. Взгляд на политику как сферу приложения общих этических норм содержит в себе серьезную опасность, так же как и убеждение, что справедливость в политических делах базируется на универсальных принципах.

Хотя в раввинской литературе не отводится сколько-нибудь значительного места политике и кроющимся в ней сложностям и подвохам, мы с уверенностью можем заявить, что раввинская традиция не станет молчаливо принимать априорную несовместимость этики и политики и не даст полномочия судить о политике с позиций чьей-то личной совести, без опоры на письменный и устный Закон.

В маленькой книжке Давида Даубе «Раввинский Закон о сотрудничестве с тиранией» (1965) автор исследует, как в первых столетиях новой эры раввины решали жестокий вопрос о том, что делать, если нееврейские власти приговорили еврея к смерти. Этот серьезный научный анализ показывает, как тщательно раввины взвешивали все обстоятельства, приводили ссылки на авторитетные источники и прецеденты, как спорили, законен ли такой приговор и в каких случаях, как в зависимости от обстоятельств менялась линия их поведения. Даубе не устает разматывать нити рассуждений, разбирает причины той или иной позиции в диспутах, и мы можем почерпнуть из них ценные и в наше время принципы этико-политических доктрин. Подобные принципы, выведенные из недр традиционной раввинской литературы, могли бы составить «Дерех эрец», т. е. морально-галахическое право, предлагающее критерии оценок порядочности и разумности в политических действиях. Понять и

принять это перед лицом требований и сложностей современного мира чрезвычайно непросто. Но если евреи являются таковыми благодаря иудаизму и останутся евреями тоже благодаря иудаизму, тогда принять это придется непременно.

Принятие новых раввинских критериев должно происходить сознательно, по трезвом размышлении и людьми, которые хорошо осведомлены о характере политической жизни. Не в последнем ряду трудностей окажется и тот факт, что Израиль, политические проблемы которого придется решать, является светским государством, то есть снова реальностью, осмыслить которую раввинской традиции еще не приходилось. Поэтому велико будет искушение вообще отказаться от подобной задачи или перенестись мыслью в другой мир, где, словно по мановению волшебной палочки, исчезнут и нерелигиозный образ жизни, и трудности, связанные с соседством чужих стран.

Побег от реальности может принимать различные формы. Это может быть утопизм, который, по правде говоря, отравляет многие политические концепции. Немало утопизма было с самого начала и в сионистских идеях, особенно в социалистическом сионизме. Эта утопическая вера подсказывала, что общество самоопределяющихся наций, или наций, которые покончили с неравенством и эксплуатацией, будет свободно от всяких конфликтов.

Другой формой утопизма заражены те, кто смешивает существующий Израиль с представлением о том идеальном государстве, которым в положенный срок будет править Мессия из Дома Давидова. «С Сиона придет Закон, и слово Господне из Иерусалима» — сказано в молитве, но эти Сион и Иерусалим не могут быть ни современным Израильским государством, ни его столицей. К сожалению, в определенных религиозных кругах Израиля крепнет стремление слить два этих образа в один, а после 1967 года набирают силу мессианские идеи, источником которых служат книги древних пророков и некоторые черты израильской действительности.

Обе эти формы утопизма далеко не новы. Что касается второй из них, то раввины издавна учили, что возрождение Дома Давидова произойдет в назначенное Богом время, и люди не должны торопить приход этого события, срок которого не вычислить и не предсказать.

## Владимир Френкель

### НАРОД И ЗЕМЛЯ

Теодор Герцль часто бывал наивен. Это не мешало ему видеть и предчувствовать многое лучше своих современников, но некоторые вещи он просто не знал или не мог представить. Он был человеком XIX века, ассимилированным еврейским либералом, и может вызвать лишь улыбку то, как в книге «Еврейское государство» он думал решить проблему неизбежной разноязыкости репатриантов. Евреи говорят на нескольких языках? Ну и что же? Пусть говорят каждый на своем, в еврейском государстве будет просто несколько языковых общин, как в Швейцарии, — вот и все. Очевидно, Герцль считал, что евреи Германии и Восточной Европы говорят по-немецки, т. е. считал идиш немецким. Что же остается? Французский, да еще английский евреев США и Англии. О восточных евреях Герцль, наверно, мало что знал, тем более — о грузинских, горских, болгарских с ладино и т. д., ведь это и вовсе небольшие группы, но каждая со своим языком! Даже если бы во времена Герцля существовавшие тогда еврейские языковые группы собрались вместе, то какой бы получился интернационал! А сейчас — тем более, ведь прибавились испанский, русский, да еще все восточноевропейские языки, пришедшие на смену идишу. Что там твоя четырехязыкая Швейцария — Вавилон!

Вот на слове «Вавилон» я и хотел бы остановиться. Иногда, предаваясь фантазии, думаешь: а что, если и вправду так? Ни тебе учить иврит, ни привыкать к новому окружению, сразу облегчается абсорбция: вокруг евреи, но «свои», нечто вроде России (Англии, Франции

и т. д.), но без «еврейского вопроса». В самом деле, «еврейский вопрос» исчезнет в двух крайних случаях: или не будет евреев, или все будут евреи. Все будут евреи, но одновременно — русские, англичане, американцы, французы, поляки, грузины и т. д., ну почти все. Вавилон? Да, Вавилон, но что такое Вавилон, как не человечество? Вот и здесь — человечество в миниатюре. Не просто разноязычные евреи, а именно разные народы, ибо евреи переняли в галуте не только язык, но частично психологию, привычки, обычаи, иногда даже внешний вид окружающих народов.

В таком «человечестве в миниатюре» есть и свой смысл: вот буквально разные народы, но поскольку все — евреи и знают об этом, невозможна национальная рознь (вообще-то и тут возможна, но я говорю об идеале, да и нет все же такого ожесточения, как в «большом» человечестве), все братья. Как бы напоминание: вот так должно жить человечество: разные — но братья.

Все это было бы прекрасно, если бы евреи жили на Марсе. Ибо в Израиле такое «малое человечество» неосуществимо, да и не нужно: на то и есть еврейское государство, чтобы евреи были народом в полном смысле слова, а не отражением других народов. Ну а вне Израиля это «малое человечество» окружено «большим», которое косится на «малое», считая его чем-то вроде пародии на самое себя. И в чем-то эту неприязнь даже можно понять. Неприязнь именно к группе, а вовсе не к отдельному ее представителю (что уж, конечно, просто свинство). Можно понять и то, что у каждого антисемита есть свой «хороший» еврей. Да, антисемитов больше, чем евреев, поэтому где же «плохие» евреи, но суть в том, что неприязнь — именно к группе как феномену. А в самом деле, что за странные люди: народ и не народ, живут среди других и как другие, но считают себя народом, ассимилируются духовно (язык, привычки, духовный мир), но физически растворяться не желают. Поневоле закрадывается подозрение, что тут что-то не так, какой-то непонятный для неевреев умысел, план... заговор?

Разумеется, заговора никакого нет, но надо признать: положение евреев как «малого человечества» в «большом», т. е. в галуте, — неестественно. Неестественность в неизбежном «двойном» сознании: как еврея и как «француза», «русского» и т. д. Причем само «еврейство» тоже неестественно: оно одновременно неизбежно (ибо,

вне зависимости от твоей духовной ориентации, окружающие воспринимают тебя как «еврея» и только как еврея) и неуловимо: ибо в чем же оно? В религии? А если ты нерелигиозен? В сознании национальной принадлежности? Но как ее понять, если любой, самый ассимилированный еврей думает о своем еврействе больше, чем самый «национальный» русский о своей «русскости»? Для русского в России быть русским так же нормально и естественно, как дышать. Думаем ли мы о дыхании? Да, когда задыхаемся. Галут и есть та среда, где еврей всегда задыхался и будет задыхаться как «еврей», и поэтому так преувеличено внимание к его еврейству и со стороны окружающих, и у него самого.

Но, возразят мне ортодоксы и традиционалисты, это только потому, что в новое время евреи отошли от Торы, от своего национального обличья, перестали выполнять свое предназначение — быть народом Божиим, и вот попали в двусмысленное положение. А раньше, когда евреи были прежде всего общиной, они не испытывали никакого национального раздвоения. Значит, надо снова стать евреями, соблюдать законы Торы, быть народом, причем народом Божиим, в чем и состоит избранничество евреев.

В этих рассуждениях есть, конечно, зерно истины, есть смысл и логика. Но есть и историческая аберрация. Неверно, что только в новое время евреи стали жить вне гетто, свободно общаясь с неевреями, перенимая в какой-то степени их национальный облик и даже национальное самосознание. Наоборот, именно крайнее отъединение, гетто физическое и духовное характерно только для позднего средневековья, это недолгий период для еврейской истории, даже для истории галута. Изгнание из страны рождения евреи воспринимали как трагедию — например, евреи Испании, — значит, уже были связаны с ней духовно. И когда в пределы Речи Посполитой хлынули евреи из германских земель, они принесли с собой немецко-еврейский диалект, сложившуюся общинную жизнь, а поляки, украинцы, русские, да и сами евреи воспринимали это как нечто национально-еврейское, отличавшее евреев от народов Восточной Европы куда сильнее, чем от народов Западной. Но надо ли говорить, что многое из этого «национального» (от языка до одежды) было лишь наследием и пережитком европейских гетто!

На самом деле со времен Римской империи евреи в



галуте вовсе не чуждались окружающих народов: говорили на их языках, носили их одежду, перенимали образ жизни, философию, искусство, гражданское сознание тех, среди кого жили. Но все равно продолжали быть евреями и даже не сомневались, что их еврейство останется при них, ибо незримые стены религиозной общины, ограждающие народ Божий, сохраняли этот народ, который при рассеянии в разных странах неизбежно превращался в «малое человечество».

Спора нет, национальное и религиозное сознание еврея до Нового времени, до эмансипации евреев было все же более цельным, как более цельной была и их жизнь. Но цельная — вовсе еще не означает нормальная.

Нет, не только в Новое время, но и всегда в галуте еврей все же ощущал какую-то двойственность своего положения. Сознание местного жителя «Моисеева закона» было уже в евреях Рима, затем Италии, Испании, германских земель. В Новое время это сознание только возродилось («немец», «француз», «поляк» Моисеева закона), но вопрос существовал всегда: какое же место мы, евреи, занимаем в человечестве?

Прежде чем рассмотреть, как евреи пытались решать этот вопрос, обратимся к историческим корням их двойственного положения. Галут родился далеко не только от преследований. В эллинистические времена, а затем в Римской империи евреи уже массами селились в городах средиземноморской экумены: в Александрии, Риме, Дамаске, Афинах, на юге Галлии и Испании. Еще много евреев жило в Эрец-Исраэль, еще никто не изгонял их со своей земли, однако рост еврейских поселений привел к тому, что уже в I веке н. э. евреев было больше в галуте. Евреи, жившие в галуте, не забывали, конечно, ни Иерусалима, ни страны, но... все меньше думали о ней как о своей стране. Иерусалим, Храм, Сион, Эрец-Исраэль превратились, скорее, в религиозные символы, в «святые места» и даже в «святую землю», но перестали жить в сознании как реальная возможность для жизни. Почитать и поклоняться — не то же самое, что жить дома.

Понятно, что разрушение Храма и прекращение жертвоприношений косвенно подтверждало правоту тех, кто видел Мессию в Учителе из Галилеи, видел тем самым утверждение Нового Израиля взамен Ветхого, не по крови, а по крещению. Поскольку христианство распространялось и среди неевреев и неевреев-христиан было уже

больше, чем христиан из евреев, то иудейские учителя не без основания считали, что новая вера приведет к растворению евреев, по крайней мере в галуте. С этой опасностью надо было бороться, и наилучший выход был: преобразовать религиозную жизнь народа так, чтобы еврей всегда и всюду мог оставаться евреем, даже без Храма и Земли Израиля.

Мы знаем, что учителя с этой задачей справились. Ограда вокруг закона — вот скрепа, заменившая Храм. Закон, прежде всего закон, закон в многочисленных толкованиях, чтобы предусмотреть все, любые особенности жизни. Вся жизнь еврея должна была стать теперь как бы непрерывным богослужением, литургией — это одно могло заменить Храм и жертвоприношения. Несомненно, эта задача удалась, еврейский народ был сохранен и в рассеянии, вне Эрец-Исраэль. Но какой ценой? Над этим стоит задуматься. Никогда, даже со времен Эзры, закон не играл такой непомерной роли в еврейском сознании, как в послехрамовом иудаизме, созданном Йохананом бен Закаем, его учениками и их последователями. Тем самым как-то отодвинулась в сознании евреев важность своей земли. Ведь можно быть хорошим евреем и вне ее. И хотя по-прежнему звучали слова: «В будущем году — в Иерусалиме», «Если я забуду тебя, Иерусалим», но все же...

Первый галут образовался уже после вавилонского пленения. Ведь даже когда царь Кир разрешил евреям вернуться на свою землю — вернулись далеко не все: это понятно, уже привыкли, выросло новое поколение. Но тем не менее духовная направленность вавилонского галута была определенной: возвращение. Изгнание воспринималось как несчастье, как нечто ненормальное. Поэтому в Вавилоне были написаны книга Плача, книги Исаяи Вавилонского, Иезекииля.

Новый галут был уже иным. Духовная революция, произведенная раввинами, дала и горькие плоды. Задумимся вопросом: действительно ли евреи были изгнаны с Земли Израиля? После разрушения Второго Храма евреям запрещали жить в Иерусалиме. После восстания Бар Кохбы страна обезлюдела: евреев массами продавали в рабство, изгоняли. Но все-таки часть из них осталась в стране, никогда не запрещалось евреям жить там вообще, хотя было трудно, страшно и бедно. Земля заселялась колонистами-нееврейцами, еврею удобней и спокойней было в еврейской общине в Александрии или в Ри-

ме, чем в своей стране. И евреи уезжали — не потому, что не любили свою землю, но главным для них было их еврейство. А ограда вокруг закона гарантировала им сохранение еврейства где угодно. Им как бы внушили: народ важнее, чем земля. Поэтому не было новой книги Плача, и мы не знаем даже, когда именно еврейский народ почти исчез с Земли Израиля. Никто не осознал это как катастрофу. Галут, конечно, считали наказанием, верили, что Бог вернет евреев в Землю Израиля, но... когда-нибудь потом. Во всяком случае, это не первоочередная задача, и, наверно, даже греховно опережать в этом Бога. Вот поэтому даже те евреи, что приезжали жить в Эрец-Исраэль, жили там как в галуте: только молились, толковали Писание и главное — не обрабатывали землю. Эрец-Исраэль стала для евреев, как и для христиан, только Святой Землей, но не Землей, которую дал им Бог, чтобы они жили там и сеяли на ней свой хлеб. Вообще как-то забылось, что обетование евреям Земли Израиля — такой же религиозный акт, как и дарование Торы на горе Синай. И что народ Божий должен служить Богу именно на этой земле, а не где вздумается. Так создалась галутная психология.

Рассеяние есть и у других народов — армян, греков, но нигде оно не стало основной формой их существования. Только евреи превратились из народа-изгнанника в какой-то всемирный народ, живущий везде и нигде, т. е. не имеющий почвы и даже не ищущий ее.

Отсутствие почвы, отсутствие нормальной национальной жизни привело к укоренению галутного сознания. Уже стало казаться, что это и есть предназначение еврейского народа: быть в рассеянии, что это — не бедствие, не наказание Божье, а, наоборот, служение. Конечно, мысль о возвращении в Сион никогда не оставляла евреев, но сделалась отдаленной мечтой. Не было того трагизма, даже отчаяния, что владели евреями во время вавилонского изгнания, того плача о потерянной родине и взыскания возврата. Изгнание стало бытом и жизнью, возвращение — мечтой. Вот придет Мессия, Он и возвратит нас — так в конце концов стали думать. Но когда еще Он придет...

В духовной жизни евреев отсутствие нормальной национальной жизни на своей земле привело к своеобразному практическому гностицизму. Презрение к «народу земли», не занятому специально толкованием Торы, возникло уже во времена наследников Йоханана бен Зак-

кая — явнийских богословов и галилейских патриархов. Но любая духовность, оторванная от «земли», т. е. от нормальной жизни народа на своей земле, в конце концов приобретает соблазнительные черты. Любая слишком «чистая» и «абстрактная» духовность начинает принимать духов, не испытывая, откуда они исходят. Гностицизм и был в I—II веках н. э. таким собранием причудливых «тайных» учений, мистических вычислений и «откровений», эклектически сочетая языческую мистику Востока и Запада, манихейский дуализм и пифагорейскую числовую мистику. И странно, сколь многое из того явно языческого наследия попало в еврейскую мистику (в основном Кабалу), совершенно не встречая сопротивления еврейских богословов.

Но не это главное. Изошренная и в то же время оторванная от земных реалий духовность породила определенное, своеобразное мышление. Легко воспринимаемая самые утонченные, самые разработанные теории, это мышление никогда не интересуется: к чему приведут эти теории на деле и вообще как они соотносятся с живой жизнью и почвой. Привычка не обращать на «почву» никакого внимания и даже вовсе не видеть ее привела впоследствии многих евреев к идеологии левых движений, самоубийственных для самих евреев.

Превратив евреев из народа на своей земле в духовную общину, тогдашние вожди еврейского народа, сами того не заметив, вывели этот народ из живой истории. Бог евреев — Бог истории, Святое писание прежде всего вещественно, полно земными историческими реалиями, и эта реальная история богоизбранного народа и есть развернутое во времени Божественное Откровение. Вся библейская реальность полна земли, почвы, плоти, и только так поверяются духи — от Бога ли они: как этот дух преобразует историю.

И вот этот-то исторический по преимуществу народ, приобретя твердую скорлупу для самосохранения в рассеянии, в том же рассеянии лишается смысла своего существования, ибо выпадает из истории как народ!

Поясню свою мысль. Разумеется, евреи и в рассеянии деятельно участвовали в бурных событиях истории Европы и Ближнего Востока. Но участвовали — поскольку были в них втянуты. Народ, везде и всюду живущий в меньшинстве, среди других народов, тем самым лишается возможности самому распоряжаться своей судьбой. Народ, оторванный от своей земли, т. е. от обыденного,

многослойного национального существования, не может участвовать в истории как народ, как исторический феномен. Он разделяет — поневоле — историческую судьбу народов, среди которых живет, хотя вовсе не стремится к этому, и еще несет свою собственную судьбу, и тоже поневоле. Все силы уходят на то, чтобы поддерживать собственное существование как народа, к этому приковано все внимание — а для чего?

В самом деле, для чего надо быть евреем? Для того, отвечают нам, чтобы сохранился еврейский народ. Если бы наши предки не отгораживались стеной религиозного закона от окружающих народов, то мы не были бы евреями и не сохранился бы еврейский народ. Возможно. А зачем сохраняться еврейскому народу? Чтобы было кому исполнять Тору и тем самым служить Богу. Хорошо. Но разве Бог не дал евреям землю, чтобы служить Ему там? Зачем же нужен галут? Но, отвечают нам, евреев изгнали с этой земли, и поэтому на протяжении столетий главная задача была — остаться евреями в галуте.

Но я уверен, и история многих народов это подтвердит, — если бы евреи с таким же упорством, с каким они оставались евреями в галуте, держались бы за свою землю — они не потеряли бы ее. В том-то и дело, что послехрамовый иудаизм дал еврею твердое сознание своего еврейства где бы то ни было — и тем самым превратил евреев в народ-странник, народ, для которого своя земля оставалась прекрасной мечтой, в лучшем случае — наградой за праведную жизнь, но не первой необходимостью, не обязательным условием нормального национального существования. Евреи мечтали о своей земле, но все же могли обойтись без нее — и земля поэтому обошлась без них.

Но жить вообще без почвы — невозможно. Хотели того евреи или нет, но та страна, те страны, где они жили, все же в какой-то степени становились их почвой — одной и той же с коренным населением этих стран.

А что, кстати, значит — коренное население? Почти во всех странах еврейского рассеяния «коренное» население пришло туда позже самих евреев! В Галлию хлынули франки, когда евреи уже там жили, в Испанию — вестготы, на Балканы — славяне, в Закарпатье — венгры, в Малую Азию — турки, весь Ближний Восток затопили арабы, и все они пришли в эти страны поздно, когда евреи уже были там. И все-таки именно они стали коренным населением, ибо для этого совсем не надо

прийти в страну первыми. Главное, придя, эти люди оседали на земле, ассимилировали местное население (как, к примеру, славяне — угро-финские племена на Русской равнине) или сливались с ним, и так начиналась история народа — коренного народа страны, потому что здесь этот народ сформировался и в эту почву врос корнями. И евреи именно так стали когда-то народом на своей земле. За землю и надо было держаться, за землю во что бы то ни стало, хотя бы частью народа, как держались за свою землю армяне, у которых тоже ведь было рассеяние, были резня и изгнание.

Но так не получилось. Успокоенные, что стены закона в любом случае охраняют их как народ, евреи все равно, во все времена, вне своего желания, вопреки зримым и незримым гетто, все же как-то питались соками той земли, где жили. Ведь не может народ состоять только из толкователей священных книг, ибо для чего же книги, если не для прояснения высшего смысла вот этой, повседневной жизни? И даже не было страха перед чужой почвой именно у религиозных евреев: ведь закон Торы нас охраняет, мы все равно евреи: так надо ли беречь язык, историю нашу (за исключением священной), вообще что бы то ни было — мы же все равно — евреи! Вот почему, кстати, нынешние миллионы религиозных евреев вовсе не спешат в еврейское государство: конечно, хорошо, что оно существует, но мы и здесь, где живем, — евреи, говорим ли мы по-английски или по-французски, мы исполняем Закон, мы — хорошие евреи. А о яростном сопротивлении ортодоксов сионистскому движению в самом его начале — достаточно хорошо известно. Тут, конечно, не в Мессии было дело (ведь потом ортодоксы как-то разрешили этот вопрос), а в неосознанной обиде, ревности: как же так? Ведь чтобы быть хорошим евреем, достаточно исполнять закон, чего же хотят эти? Зачем нам еще государство? Значит, раньше было что-то не так? Но о сионистском движении — ниже.

Невольно, и даже не боясь этого, впитывая то, что давала им земля, на которой они жили, невольно евреи приобретали все же почву — условную, зыбкую, но почву. И это делало их похожими на окружавший их народ — и непохожими одновременно. Так евреи стали как бы тенью человечества.

Легко сказать, и даже находить в этом странном положении какую-то «миссию», но для отдельного-то чело-

века такое двусмысленное национальное положение могло обернуться бедой и трагедией. Неверно, что духовную двойственность евреи ощущали только в Новое время, когда они получили гражданские права и началась частичная ассимиляция. Ненормальная национальная жизнь — со своей, еврейской, духовностью и нежеланной, но неизбежной чужой почвой — непременно приводила к раздвоенности. Только ли страхом объясняется то, что многие испанские евреи приняли католичество, пусть тайно и оставаясь иудеями? Ведь они могли уехать из Испании. Но легко ли уехать испанцу, будь он хоть трижды иудеем?

Так, казалось бы, удачная идея Йоханана бен Заккая и его наследников — оградить народ стеной закона, «еврейством» заменить Землю Израиля — загнала народ в ловушку. Свой везде и чужой везде, еврей со временем привык к одной мысли: независимо от степени религиозности, еврейство надо сохранять во что бы то ни стало.

Но все-таки — для чего сохранять? Если для религиозного человека вопрос ясен (или он думает, что ясен), то с массовой секуляризацией в XIX веке этот вопрос встал перед евреями иначе. Действительно, для чего быть евреем? Для чего вообще нужен еврейский народ? Заметим, что ни перед каким другим народом этот вопрос не стоял, и хотя у этих народов не было столь мощного инстинкта самосохранения, как у евреев (отдельные представители этих народов, при определенных условиях, легко ассимилировались среди других народов), но они-то сохранялись сами по себе, естественно, ибо была у них почва под ногами. У евреев этой почвы не было, и потому вопрос «зачем нужен еврейский народ?» в сущности прикрывал вопрос несколько иной: зачем нужен галут?

Так, в XIX и XX веках появились апологии галута, более или менее остроумные, но, как я думаю, все — несостоятельные. Рассмотрим некоторые из них.

Евреи, говорят нам, всегда были чем-то вроде соли в европейской истории, будоражащей, связующей — хотя бы как торговцы в неподвижном феодальном средневековье, как наследники римской культуры среди варваров; евреи торопили прогресс, как и всякие свободные люди, не привязанные к земле и феодалу.

Еще нам говорят, что евреи внесли громадный вклад в науку и культуру тех народов, среди которых жили. (Правда, честнее было бы тут сказать — выходцы из ев-

реев, ибо чем глубже этот еврей погружался в жизнь коренного народа, тем более духовно отходил от своего, даже не желая и не замечая этого.)

Но положим, все это так. Так что же из этого? Разве европейцы не смогли бы и сами развить торговлю, промышленность, науку, культуру? Не смогли бы обойтись без евреев? Правда, что было в истории, то уже было, только стоил ли весь мученический путь еврейской истории в галуте задачи вовсе не такой уж и обязательной?

Но, возражат нам, евреи выполняют моральную задачу. Воплощая в себе высокую мораль Торы и пророков, евреи благотворно влияют на окружающие народы. Я слышал даже, что теперь, когда евреи закончили эту миссию и народы просвещены, надо возвращаться домой. Действительно, как же сочетать иначе сионизм с апологией галута? Остается добавить, что, очевидно, евреи так хорошо исполнили свою миссию, что благодарная Европа уничтожила 6 миллионов евреев, ну а оставшимся по недосмотру теперь уже можно ехать домой, миссия выполнена. Черный юмор, но апологеты галута сами на него напрашиваются.

Есть и еще мнение, и к нему стоит прислушаться, потому что этот вклад евреев в историю действительно уникален. Речь идет о том, что вся европейская, а в сущности, и мировая культура стоит на библейском основании, пронизана библейскими понятиями добра и зла, греха и святости, гибели и спасения. Конечно, здесь необходимо учесть следующее. Выходя из общего библейского основания, духовные пути христианства и послехрамового, законнического иудаизма разошлись. Надо сказать, что христианство развило во многом те стороны еврейской духовности I века, что в самом еврействе развития не получили. Например, отшельничество, монашество, вообще ессейская традиция. А с другой стороны, основы христианского богословия: учение о воскресении, о Страшном суде, об ангелах — полностью были разработаны еще фарисеями. Во всяком случае, еврейской, библейской основы христианства отрицать невозможно, равно как и того, что на этой основе построена европейская духовность. Сами священные книги евреев — Библия — распространились по всему миру. Но задачу эту выполнило христианство. Да, если и есть смысл в галуте, его место в истории, то только в I веке новой эры. Только благодаря тогдашнему галуту, еврейским общинам во всей Римской империи, христианство распростра-



нилось невероятно быстро. Но... какое отношение это имеет к последующей истории галута? Евреи стали враждебны новой религии, принесенной ими же, и христианские народы стали враждебны им. Чтобы не усомниться в своем еврействе, евреи вынуждены были делать вид, что христианства вообще нет, что оно не имеет к ним никакого отношения, что они по-прежнему живут в языческом мире. Это еще более отделило евреев от истории. А народы Европы, конечно не забывшие о происхождении своей религии, тем более недоумевали: почему эти люди, давшие нам веру, сами этой веры не признают? Нет ли здесь подвоха? Уж не потому ли и отдали они на смерть Иисуса, что он хотел разрушить стены еврейского высокомерия, всем народам принести свет?

Как видим, корни неприязни к евреям у христианских народов психологически глубоки, глубже, чем у тех народов, которые евреям ничем не обязаны — и потому к ним просто равнодушны.

Неевреи распространили Слово Божие по всему миру, неевреи (хоть и от евреев) открыли народам Единого Бога, и искать здесь «задачу» галута бессмысленно.

Не больше смысла и во всех теориях «мирового народа»: ведь это все и есть «тень человечества», для остального человечества непонятная и пугающая. И потом, просто для одного человека (не все же мыслить мировыми категориями), как разрешить вопрос: зачем все унижения, вечная борьба с неприятием — неужели для какой-то высшей цели, которую поставили, у него, человека, не спросившись? А если и цели-то давно нет, осталась лишь психологическая инерция — тогда что?

Такие вопросы, непривычно резко и прямо, задал человек, обрусевший и ассимилированный с рождения, вне России себя не мысливший и прямо желавший как блага — ассимиляции, исчезновения еврейского народа. Послушаем же его:

«И мы говорили о средних деятелях, ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии — еврейство. Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом, и только народом, в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов,

весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление чертовщины повседневности, этот взлет над скудоумием будней — все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слушали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной? В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению! Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей? Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».

О еврейском вопросе Борис Пастернак с такой определенностью больше не высказывался, да и в романе, откуда эти слова, эта тема, конечно, далеко не главная. Но тем не менее возмущение в еврейском мире, в Израиле было велико. В романе эти слова говорятся во время первой мировой войны, но писал-то Пастернак уже после второй мировой. Как?! После Катастрофы, после создания еврейского государства — такая давно не виданная проповедь абсолютной ассимиляции, отказа от еврейства!

Тем не менее к Пастернаку надо прислушаться. В сущности, его выступление было не столько против еврейского народа, сколько против галута, против явно ненормального положения народа в галуте. Не может нормально жить народ, тратящий все свои силы на самосохранение, на защиту от враждебного окружения. Что за бессмыслица: быть народом, именно народом, только о том и думать, что ты народ и обязан им быть, но в то же время как раз нормальной национальной жизни не

иметь! Но на самом деле тут все понятно: здоровый человек не думает о здоровье и не много им занимается, больной же чем серьезней болен, тем более внимателен к своему телу, к своему недугу.

Пастернак считал, что христианство внесло подлинный смысл в историю европейских народов, в их национальную жизнь. Этот смысл и должен быть выше, чем просто национальная жизнь, но для того сама эта жизнь должна быть естественна, не поддерживаться «высшим смыслом», а расти, как лес растет, — на почве. И если другой почвы нет, то надо быть на той, где живешь, и не отделяться от народа земли, раствориться в нем.

Вывод жесткий, но это именно вывод, выбор.

Однако возможен и другой.

Мне кажется далеко не случайным, что сионистское движение основали и составляли в основном ассимилированные евреи. Нужен был резкий удар ассимиляции, открывший евреям окружающий мир. Что же они там увидели? Народы, не замороженные без конца собственным «вопросом», народы, живущие не «для чего-то», а просто живущие, как они возникли в истории, на своей земле. И нужен был не менее сильный удар антисемитизма, который больнее всего почувствовали ассимилированные евреи, уже считавшие себя как все — и вот, они все же чужие. Эти удары выбили из евреев ужасающее еврейское национальное самодовольство, воспитанное веками галута: «Раз я еврей, то все в порядке, зачем же еще национальный дом?» Да, Теодор Герцль, плохо знавший свой народ, во многом был наивен. Во многом были наивны и его последователи. Но именно эта наивность позволила им увидеть незамутненно ненормальность жизни народа в рассеянии, без земли, без почвы. «Национальные» евреи (не только религиозные) увидеть этого не могли, мешало им их собственное еврейское национальное содержание: ведь они им живут, чего же еще? Сионистское движение вошло в противоречие с традиционным еврейским мироощущением, удивительно ли, что оно вызвало такое яростное сопротивление среди евреев, и не только ортодоксов. В сущности, сионизм отрицал самый смысл охранной грамоты Йоханана бен Закая. Евреи, огражденные законом, везде могут быть полноценными евреями? — Нет, не везде, а только в своем государстве. Для еврея неважен повседневный язык, быт, занятия — ибо главное Тора, духовность, закон? — Нет, все это важно, как важно и возрождение

своего языка, своих традиций — ибо это все составляет национальную почву, без которой нет народа, если он хочет быть народом, а не сектой и не кастой. И духовность должна быть связана с этой почвой, «чистая» духовность слишком легко вырождается в начетничество, изошренную эквилибристику. Мы — народ Книги, духа, интеллекта? — Нет, не должен, не может нормальный народ состоять только из книжечеев, мудрецов, интеллектуалов. Народ должен жить полной жизнью, быть полноценным организмом. Мы исполняем в галуте особую миссию? — Да ничего подобного! В галуте у нас нет истории, ибо мы там лишь тростник, ветром колеблемый, мы не властны над своей судьбой. А чтобы снова стать хозяином своей судьбы, народу нужна своя земля. Земля.

«Если хотите переродить человечество к лучшему, то наделите его землей! В земле есть что-то сакраментальное. Родиться и всходить нация должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут».

Это не Жаботинский написал, не идеолог халуцианства, это Достоевский пишет в «Дневнике писателя». Может быть, и не случайно: если «государственная» идея сионизма пришла с Запада, то «почвенная» — из России. Необязательно здесь было прямое влияние, но идея «почвы» была в воздухе. И пусть этих еврейских почвенников воодушевляли идеи социализма, пусть они считали, что на своей земле надо непременно строить социализм, — почва все же победила утопию.

Выбор, предложенный сионистским движением, был тоже жесток, ибо бил по национальному самолюбию: выходит, мы здесь, в галуте, и в самом деле не совсем полноценный народ? Но это был — *выбор*, как и честная ассимиляция, растворение без остатка — тоже выбор. Не буду говорить о том, какой из этих путей лучше, нравственнее, легче, но общее между ними то, что оба отрицают бессмыслицу галута, оба предлагают потомкам жизнь в своей стране, среди своего народа, предлагают почву. Да, потомкам, ибо если только потомки ассимилированного еврея становятся своими в своей стране, то ведь и новоприбывший в Землю Израиля не может полностью уйти от страны исхода. Полностью своими тоже станут его потомки, его дети. Когда-то критики сионизма называли его еще одной ассимиляцией — в смысле потери все той же «особой» миссии, которую евреи якобы несут в галуте. Я готов согласиться с таким

определением сионизма. Мне всегда, кстати, было неприятно ханжеское самодовольство, с которым принято обличать «предателей» — ассимилянтов. Не лучше ли понять, что в тяге к ассимиляции было здоровое — да, здоровое! — стремление обрести наконец свою почву, страну, быть своим среди своих, а не каким-то десантом Господа Бога, посланным неизвестно зачем и без согласия тех, к кому послали. От антисемитизма никакая ассимиляция не спасает, так при чем же здесь «предательство» и «дезертирство»? Иное дело, что путь этот болезненнее и труднее и полностью цели достичь там нельзя. И лучше избавиться от галута иным путем.

Вот поэтому не стоило бы нападать на Пастернака — в его крайнем ассимиляторстве была тревога, боль за народ, неизвестно за что страдающий. Но разве не из того же источника возник и сионизм? Пастернак видел только один выход, но ведь есть и второй. Вопрос в другом: может ли быть третий? Выход ли галут? Ведь нам говорят, что галут, по крайней мере, сохранил еврейский народ и сейчас хранит. Да, хранит, хранит... Конечно, в национальном плане, плане больших понятий и чисел это звучит. А вот если просто о человеке, о личности...

Мне вспоминается эпизод из книги Давида Маркиша «Шуты». Эта книга — о евреях при Петре I. Последний эпизод книги таков: бывший шут, гамбургский еврей Ян Лакоста после многих лет в России (и в ссылке) собирается вернуться в Гамбург, ибо там еврея не преследуют за то, что он еврей (тогда, наверно, так и было). Он видитя со своим другом, известным сподвижником Петра бароном Шафировым (тоже по происхождению евреем), прощается с ним, несмотря на уговоры остаться, и увозит с собой внука, фактически полуфранцуза, уже обрусевшего. А кончается книга так: в 1943 году прямые потомки Яна Лакосты (следуют немецкие имена) были убиты в газовой камере в лагере уничтожения.

Если отвлечься от сионистского движения, давшего евреям иной выбор, чем галут или ассимиляция, но явно противостоявшего галутному пониманию еврейства, то остается признать, что еврейский народ так хорошо сохранялся в галуте, только чтобы погибнуть в Катастрофе, — ведь такая судьба ждала *всех евреев*.

Но у книги могло бы быть и еще одно послесловие. А барон Шафиров, выбравший иной путь — Россию, что случилось с его потомками? У него не было сыновей, но четверо его дочерей вышли замуж за представителей

знатных русских фамилий. У них были потомки, и сейчас есть. Среди потомков Шафирова — поэт Петр Вяземский, даже славянофилы Самарины. Да, его потомки перестали быть евреями, но разве они были дурными людьми? Среди них, как видим, были и выдающиеся люди. Так почему же это — не выход? Ведь хотя бы не как евреев — просто как людей — спас Шафиров своих потомков от преследований, от Катастрофы. Почему это плохо? Если и был грех, то он ведь остался на Шафирове. Вот ведь и потомки евреев Веселовских (о них тоже идет речь в книге Давида Маркиша) стали русскими дворянами, интеллигентами, среди них есть известные ученые, языковеды, историки.

Нет, не случайно Пастернак задумался о еврейском вопросе после Катастрофы. Никакого другого вывода и не могло дать происшедшее: нельзя больше жить евреям в галуте. Это уже не только ненормально, но смертельно опасно. Из галута надо выходить — любым путем. Пастернак предлагал ассимиляцию, но не частичную, которая превращает народ в касту, а честную, полную, физическое растворение в потомках. Но есть, конечно, и другой выход.

В те же годы, когда Пастернак писал свой роман, английский публицист и писатель Артур Кестлер написал статью «Иуда на перепутье», где назвал оба выхода. Суть статьи сводится к следующему. Сейчас, когда создано еврейское государство, отпадает необходимость существования еврейского народа в галуте. Перед евреем следующий выбор: если он хочет быть евреем, то ему естественно жить в этом государстве; если же он хочет остаться в стране рождения, то нет смысла быть там инородным телом, надо выбрать ассимиляцию и потомки твои должны слиться с местным населением. Кестлер считал, что суть еврейства — в еврейской религии. Но тогда каким же лицемером должен выглядеть человек, каждый год повторяющий в молитве: «В следующем году — в Иерусалиме» — и все-таки остающийся на месте! Кестлер считал, что теперь нет оснований подозревать еврея-ассимилянта в трусости, в желании оставить преследуемых, ибо раньше у евреев галута не было выхода, а теперь есть: это еврейское государство. Кестлер призывал к выбору, к ясному осознанию галута как несчастья, которое должно исчезнуть.

Разумеется, на Кестлера яростно набросились, причем с наибольшей яростью, именно те евреи, которые

сами давно растеряли все национальное еврейское наследие, но сохранили сознание, что они все равно принадлежат чему-то очень великому.

Вот так и всегда бывает: наиболее яростно обличают сознательных ассимилянтов именно ассимилированные евреи. Это не случайно. Именно в этих евреях бушует психология галута, не связанная уже ни с религией, ни с культурой, ни с бытом, чистая психология, сводящаяся к одному: я рожден евреем, и этого вполне достаточно. «Патриотизм» этих евреев сводится к тому, что они, сидя на диване, подсчитывают выдающихся евреев: вот, мол, какой мы великий народ! Настоящая опасность для еврейского народа как нации — вовсе не ассимилянты, а вот именно это «болото». О, они очень любят детей (еврейская черта), непременно дают им образование, квартиру и так далее. Но они ни за что не передадут им ничего из еврейского наследия (да и сами не имеют), ведь это «опасно»! Эти люди не имеют мужества и силы сделать *выбор* — худшая черта галута. Хотите быть евреями — будьте ими в *своей* стране. Не хотите уезжать — зачем же на детей взваливать бессмыслицу галута? Взрослый человек сам определяет свою судьбу, но зачем же детей заранее ставить в безвыходную, уродующую психику ситуацию: быть своим и чужим одновременно, жить в своей и одновременно чужой стране, быть всегда в обороне, заранее зная, что враг сильнее тебя. Эта «ситуация» исковеркала наше детство, надо ли ее бессмысленно возобновлять? Увы, большинство евреев галута — все еще галутные евреи, независимо от степени ассимиляции. Для выбора надо иметь мужество.

Как-то меня спросили: если бы ты мог снова родиться, то какую бы ты хотел иметь национальность? Я ответил так: я согласен принадлежать к любой национальности, ибо ни одна из них не лучше и не хуже другой. Но с одним условием: родиться среди своего народа на своей земле. К сожалению, это уже неосуществимо. Но только такое положение нормально.

И разве не естественно на такой земле жить без галутной оглядки: а что скажет нееврей? Мне видятся последние остатки галутной психологии в судорожной борьбе непременно за чужие права, если даже это и «право» уничтожить твою страну, в вечной оглядке, комплексе то ли вины, то ли стеснения перед неевреями. Не говоря уже о том, что безумно делать свою землю предметом торга, менять ее на «доброе» отношение вра-

га. Земля этого не прощает. Нельзя жить на ней как в галуте. Народ обязан земле настолько же, насколько и земля народу, их судьбы нерасторжимы. Их судьбы должны быть нерасторжимы, даже если кому-то придется и посторониться при этом, благо есть куда сторониться. Галут должен наконец оставить нас.

*Иерусалим, 1988*



## Ицхак Орен

### РЕЛИГИЯ И НАЦИЯ

Может ли существовать нерелигиозное еврейство? На первый взгляд подобный вопрос выглядит странно и наивно — особенно теперь, спустя сто лет после основания Бунда и «Ховевей-Цион», после Герцля и Жаботинского, Борохова и Бен-Гуриона, Ахад-Гаама и Гордона<sup>1</sup>; после расцвета в Восточной Европе и России светской культуры на языке идиш, которая вместе с ее носителями была уничтожена геноцидом, точнее, двумя геноцидами: физическим и духовным. И наконец, неужели такой вопрос сохраняет актуальность в наши дни, когда в лице современного Израиля восстановлена еврейская государственность и расцвела культура на иврите? Сегодня нет, наверное, ни одного так называемого властителя дум — ни в Израиле, ни в диаспоре, ни среди уроженцев страны, ни среди американских или советских репатриантов, — который не задавал бы себе этот вопрос и не трактовал его по-своему.

Когда кибернетика находилась еще в начале своего пути, одному из ее создателей был задан вопрос: верит ли он, что электронный мозг когда-нибудь сможет заменить человеческий? Ученый ответил: «У Всемогущего на эксперимент по созданию и совершенствованию человеческого мозга ушли десятки миллионов лет, а мы работаем лишь около двух десятилетий. Я готов довольствоваться малым — дайте нам полтора века».

Процитированное замечание почти адекватно характеризует соотношение еврейской религиозной и нерелигиозной культур: существование одной насчитывает 3000 лет, а за плечами другой нет и двухсот! В самом ли деле

настала пора сравнивать, и какой мерой мерить, чтобы не ошибиться в выводах?

Мы не можем предаваться отвлеченному теоретизированию, ибо речь идет о самом существовании нашей духовной жизни. Парадокс заключается в том, что именно теперь, после Катастрофы и после основания государства Израиль, множество евреев — молодых и старых, уроженцев Израиля и обитателей диаспоры — задают себе тот самый вопрос, который Всевышний задал первому человеку, вкусившему от древа познания: «Где ты?» Если рассматривать этот вопрос с позиций нового времени, например, в духе основателя движения Хабад<sup>2</sup>, то звучать он будет так: теперь, когда ты знаешь, как различать добро и зло, и взял на себя бремя ответственности за это устрашающее знание, где пребываешь ты в пространстве и во времени, в природе и в истории? Сегодня, в жарких буднях Израиля (народа и государства), после Катастрофы и Возрождения, в средоточии разнородных культур и жизненных ценностей, в процессе отрыва от недавнего прошлого и тяготения к далекой древности, на фоне неразрывного, осознанного или неосознанного сплетения с постхристианской культурой Европы и Америки — культуры современной, сложной, технократической, — в самом центре восточных мусульманских стран новая реальность ищет выражения на одном из самых древних языков, на языке абсолютно уникальном, который ожил и превратился из языка Торы и раввинской мудрости в язык общения и науки. Язык этот рождался в муках, и, как всегда при рождении, тут были и красота, и безобразие, и достижение, и поучительный опыт — творческий процесс, параллельный борению нации, которая вновь переживает свою юность. Прошлое этой нации столь трагично, что от одного воспоминания о нем кровь стынет в жилах, а над ее настоящим как дамоклов меч нависла лютая ненависть. В этом преодолении ядро нации всегда готово отстоять себя, тогда как ее протоплазма — большая часть народа — все еще разлита многими диаспорами по всему земному шару, как лава после извержения вулкана, когда она утратила свою изначальную форму, но еще не затвердела и новой формы не обрела. Среди этой сумятицы приходят на память древние мифы о сотворении мира, и неудивительно, что и новый репатриант из России, который ходит по нашей земле, словно лунатик, и урожденный израильтянин задают себе все тот же вопрос: «Где я?» — а с ними вся-

кий еврей, живущий в галуте, и всякий ветеран Израиля, который строил здесь первые дома и сажал первые леса. И хотя вопрос один и тот же, ответов дается множество. Если представить ситуацию не столь патетически, то мы приходим к той простой формулировке, которая не раз звучала на разных широтах, а именно: кого считать евреем? Диапазон ответов простирается от краткой формулы Бен-Гуриона: «еврей — это еврей» до ортодоксально-религиозной догмы: «еврей — это сын еврейки либо тот, кто перешел в иудаизм согласно галахе». Если бы я выписал хоть малую толику тех определений, которые слышал сам, получилась бы целая книжка. Вот некоторые из вариантов, распространенные как на Западе, так и на Востоке: «еврей — гражданин мира, не скованный географическими и политическими рамками», «еврей — носитель общечеловеческого интеллекта», «еврей — борец за социальную справедливость», «еврей — это тот, кто облагораживает человеческое общество», «еврей — воплощение мировой скорби», «еврей — это подлинный христианин, один из учеников Иисуса, действовавших еще до того, как возникла церковь», «еврей — это прирожденный враг тирании», «еврей — жертва фашизма», «еврей — это тот, кого исторгает, как чужака, нееврейское общество», «еврей — это тот, кого окружение считает таковым», «еврей — прирожденный коммунист», «еврей — олицетворение свободы и демократического строя». И наконец, последнее определение, услышанное мною от нового репатрианта из России: «еврей — это всякий, кто ненавидит советский режим, являющийся антиподом еврейства».

Существенно ли, что под эту формулу подпадает даже Гитлер? Сколько ответов, столько и точек зрения. Я сам читал подробные рассуждения об иудаизме, усердно распространявшиеся в Самиздате российскими евреями-интеллектуалами — людьми, принявшимися разглагольствовать на эту тему, еще не усвоив начертания еврейских букв. Интересно также отметить, что, за исключением сугубо ортодоксального формально-галахического решения, у религиозных мыслителей ответы не менее разнообразны, чем у светских.

Прежде чем перейти к изложению своего взгляда, я считаю необходимым обрисовать ту реальную ситуацию, на фоне которой этот взгляд сложился. Физически я не уроженец Израиля. Духовно же я пребываю здесь тысячи лет. Я родился в краю, населенном бурятами, а вырос

в Китае (мои родители переселились из Прибалтики в Сибирь, откуда перебрались в Китай). Я никогда не причислял себя к какому-либо другому народу, кроме еврейского. Ивritу мой отец обучал меня с ранних лет, и, когда мне исполнилось восемнадцать, я стал студентом Еврейского университета в Иерусалиме. Мое культурное достояние целиком связано с ивритом, и все прочие знакомые мне культуры (включая русскую, на которой я воспитывался до совершеннолетия) внутренне чужды мне, если, конечно, не учитывать неизбежного влияния, оказываемого чужой культурой. Для меня родная страна — Израиль, родной город — Иерусалим. Другой страны, другого города у меня нет. Я не могу жить нигде, кроме Израиля. Несколько раз я ненадолго ездил за границу, и пребывание в чужих странах только усиливало тоску по своей. Здесь выросла и вышла замуж моя дочь. Здесь служит в армии мой внук.

Я человек нерелигиозный и не выполняю мицвот<sup>3</sup>. Насущный вопрос: что общего между мной и лютым врагом сионизма — Сатмарским ребе, проживающим в Соединенных Штатах? А с другой стороны, что общего между мной и тем сыном еврейки, который живет в России или Франции и путем смешанного брака старается вытравить в своих потомках саму память о принадлежности к еврейскому народу, вплоть до того, что отождествляет себя со злейшими врагами нашего государства, и все ради того, чтобы эти потомки успешно растворились и пустили корни в том народе, среди которого они живут, в его культуре, в его бытии?

До сих пор я всегда находил только один ответ на этот вопрос: нет ничего общего между мной и тем русским или французским евреем, что жаждет ассимилироваться, нет и не может быть, пока я таков, каков есть. Что же касается Сатмарского ребе, то и тут между нами нет никакой связи. Мостом может стать лишь выполнение мною религиозных предписаний. Точнее, если я буду соблюдать мицвот, общего у нас окажется больше, чем разного.

Все это верно. Однако выполнение мицвот не просто волевой акт. Выполнение религиозных предписаний без веры в Бога — это лицемерие, сделка с совестью. Мои предки жертвовали собой ради мицвот, с именем Бога на устах. Я, как еврей, готов принести себя в жертву ради ивритской культуры. И так действительно поступили многие русские сионисты (до известной степени и мой

отец), после того как советская власть решила покончить с ивритом. Будучи свободолюбивым человеком, я готов стойко противиться любому клерикальному и антиклерикальному принуждению. Когда я лежал в больнице, ко мне пришли два активиста Хабада — уговаривали меня наложить тфилин<sup>4</sup>. Я ответил им: я слишком стар, чтобы участвовать в каких бы то ни было боях, но есть две вещи, ради которых я готов лезть на баррикады: если меня будут принуждать не курить в субботу или вам запретят возлагать тфилин. Религия — это грандиознейшее духовное явление, заслуживающее всяческого уважения. Однако она опирается на веру, а вера — личное дело каждого. Некоторые утверждают, что выполнение мицвот является обязанностью, ибо таким образом сохраняется уклад жизни; выработанный многими поколениями евреев, а у каждого народа должны же быть свои традиции. Тот, кто заявляет это, несомненно прав, но лишь до той поры, пока религиозные ритуалы и отвечающая им система общественных ценностей не противоречат жизненным запросам нации и увязываются с современным образом жизни человека нерелигиозного. Что может быть лучше и красивее семейного субботнего или праздничного ужина, сопровождаемого песнями и содержательной беседой? Совсем иное дело — запрещение смотреть телевизор, приемлемое только для верующего. Уже мой отец вместо субботних гимнов распевал песни на слова Шаула Черниховского<sup>5</sup>. Субботний отдых — неотъемлемое право любого члена цивилизованного общества, однако запрет на субботние поездки может распространяться лишь на тех, кто верит, что он наложен непосредственно Господом Богом, повелевшим не разжигать огня в субботу. А для этого необходимо прежде всего верить в Бога. В противном случае соблюдение мицвот может стать лишь темой любопытных философских и теологических рассуждений, но никак не путеводной звездой в повседневной жизни. Ведь в наше время даже народы, испокон веков живущие на своей земле и на протяжении многих поколений создающие свой уклад жизни, радикальнейшим образом изменяют самый характер своего существования. Тем более это верно для рассеянного, разбросанного по свету народа, единственной национальной территорией которого в течение сотен лет была галаха, не знающая ни национальных пределов, ни географических границ; того народа, что живет сейчас на земле, изначально ему принадлежавшей, и

пытается организовать здесь нормальную жизнь государства и общества, которой он был лишен две тысячи лет.

Отсюда следует, что не только между мной и крайними ассимиляторами, но и между мной и религиозными ортодоксами нельзя установить настоящей общности. К счастью, на деле между Сатмарским ребе и ассимилированными евреями России и Франции пролегает дистанция огромного размера. В наши дни выполнение мицвот само по себе вовсе не обязывает ненавидеть сионизм. Напротив, мне думается, что большинство верующих евреев проникнуто горячей любовью к Эрец-Исраэль. В то же время множество совершенно ассимилированных евреев во всех странах мира по-своему содействуют процветанию государства Израиль, и именно из их среды вышло немало активных борцов за алию, за пробуждение национального самосознания советских евреев. И если существует ядро, вокруг которого концентрируется протоплазма и при всей своей текучей аморфности все-таки обретает некую форму, то это, в конце концов, именно государство Израиль, светское и демократическое (я не считаю, что мы должны уступить это определение ООП с ее лозунгом «светской демократической Палестины»). Государство, которое не только служит надежным убежищем для всякого гонимого еврея, но и является той последней спасительной гаванью, где может найти приют истерзанная еврейская душа, если только еврею не угодно терзать свою душу до бесконечности. Ибо после того, как мы освобождаемся от нашей болезненной склонности к самобичеванию, в угоду которой мы огульно и беспощадно отвергали все, что нас окружает, и бросаем взгляд на все то, что есть ценного и возвышенного в идеалах сионизма, у нас есть право без ложного стыда утверждать, что это государство, при всех его несовершенствах, воплотило в себе не только чаяния Герцля, но и надежды Ахад-Гаама. Ивритская культура подобна виноградной лозе: корни ее уходят в почву прошлого, а молодые побеги обвивают опоры будущего, она живет и плодоносит, в ее гроздьях есть и сочные душистые ягоды, и гниль, как в любой современной культуре. Так или иначе, это единственная еврейская культура, которая излучает свет — будь то мерцающий огонек или скромное свечение, подобное сиянию луны рядом с ослепительным солнечным светом великих европейских культур, — все равно творить ее будут те сыны нашего народа, душа которых стремится на этот неяркий огонек.

Нет в мире такой мечты, которая при воплощении своем не начала бы меркнуть. Еще не пробил час подсчитывать амортизацию идеалов сионизма в процессе строительства еврейского государства, однако пора копить фонд для их обновления, когда настанет срок.

У Израиля, как у всех просвещенных народов, религия в наши дни остается личным делом человека. Это непреложный факт, один из тех упрямых фактов, от которых теперь никуда не деться. Оценивать его можно по-разному — в зависимости от мировоззрения. Но всякий, кто однозначно привязывает еврейскую нацию к религии, исключает из народа большую его часть. С тех пор как религия перестала быть единственной формой нашего существования, в Европе возникла идея национальной общности евреев. С этого момента у народа не оставалось иного выбора, кроме как ощутить себя нацией. Все попытки сохранить себя в диаспоре на национальной, а не на религиозной основе кончались плачевно, ибо в странах рассеяния нам недоставало фундаментальных факторов — территории, где мы составляли бы национальное большинство, продуктивной экономики, общего языка и единой культуры. Сионизм был вынужден создать их заново на руинах прошлого.

Все светские национальные культуры — это культуры новые. Их существование насчитывает не более двухсот — трехсот лет. И если физическая, реальная власть сосредоточена в руках мировых империй, то и культурное владычество — если принять во внимание современные средства коммуникации — тоже принадлежит им. Ивритская культура не уступает культурам большинства малых европейских народов, а возможно, и опережает их. Но наша трагедия состоит в том, что при оценке израильской культуры мы выбираем неверные пространственные и временные масштабы и критерии, ибо сравниваем ее, с одной стороны, с культурами европейских держав — и это искажение пространственное, а с другой стороны, с нашей собственной религиозной культурой — несоразмерность временная. Это равнение на высочайшие образцы имеет свои отрицательные и положительные стороны. Отрицательные — потому что у тех, кто со священным трепетом творит культуру, опускаются руки перед этими недосыгаемыми вершинами и возникает искушение отдаться на волю центробежных сил, которые отбрасывают нас либо «к соседям в чуждые пределы», либо в ветхую архаику. Для того чтобы наша куль-

тура вобрала в себя оба эти влияния и преобразовала их в нечто органично ей присущее — в начало творческое, способное укорениться, расти и плодоносить, — мы раболепно подражаем западной культуре или попросту обращаемся к произведениям прошлого, заимствуя их систему ценностей, их методологию и мировоззрение, вместо того чтобы подойти к ним с мерками нашего времени, которые одни способны вдохнуть в них новую жизнь, умножить их ценность и уберечь от застоя и их и нас самих. Итак, вот она, наша задача: наполнить амбары зерном, сжатым на нивах лучших мировых культур, и перемолоть его жерновами нашей культуры.

Иврит должен стать живой, действенной силой, вбирающей в себя и стихи Йегуды Галеви<sup>6</sup>, и комментарии к Торе, и талмудические, а также каббалистические трактаты, повествующие о первородном грехе, а равно и о попытках каббалиста раби Ицхака Лурии<sup>7</sup> воссоздать разбитые сосуды Света. Именно к этому синтезу стремились как отцы-основатели нашей новой культуры, начиная с Бялика<sup>8</sup> и Черниховского, которые творили, вдохновляясь не только литературой прошлого (Бялик — еврейскими сказаниями, Черниховский — эпосом о Гильгамеше), но и переводя шедевры мировой литературы, так и продолжатели — вплоть до Ури Цви Гринберга и Шлёнского<sup>9</sup>: один обогатил свое творчество, обратившись к древним памятникам нашей словесности, перелив их в мощные строфы, а другой ознакомил нас с лучшим наследием европейской и русской поэзии. Зеэв Жаботинский перевел на иврит «Ворона» Эдгара По, замечательные фрагменты из Данте, Гете и Ростана; еще в 20-е годы он собирался перевести также серию детективных романов и рассказов. Лучшие из пишущих в наше время — и среднее поколение, чьи волосы уже тронула седина, и совсем молодежь, у которой едва пробиваются усы, — идут тем же путем, однако у них есть преимущество перед стариками, потому что иврит древних книг для них тот язык, на котором они впервые пролепетали слово «мама». С другой стороны, кажется, никогда не было такого солидного вклада в западную культуру со стороны представителей еврейского народа, как в наше время, а закон сообщающихся сосудов действует также и в сфере духа.

«Идет ветер к югу, переходит к северу, кружит, кружит на пути своем, и возвращается ветер на круги своя», — сказал Екклесиаст. После всего вышеизложен-



ного мы возвращаемся к исходному вопросу, хотя и в несколько иной формулировке: может ли ивритская «светская демократическая» культура считаться адекватным выражением нерелигиозного еврейства? Если да, то способна ли она заменить собой громадное и продуктивное духовное наследие религиозного иудаизма, занять его место в нашей жизни и в жизни наших потомков? Способна ли она выработать новое определение еврейства и стать центром, который объединит тех разных людей со всего света, которых галаха называет евреями и о которых я говорил выше?

И тут я должен разочаровать читателя: на этот вопрос я отвечаю решительным нет. Современная ивритская культура, даже если достигнет продуктивного равновесия между национальной тенденцией и плюрализмом, как это возможно в еврейском государстве, светском и демократическом, есть не более чем переходный период в летописи еврейского народа в то время, когда все человечество шагает из одной эры в другую. Я не сомневаюсь, что идеал покоя и мирного земледелия, как он представлялся основоположникам и вдохновителям сионизма, то есть «нормальный народ», счастливо живущий на своей земле и созидающий скромную культуру на основе своего великого древнего культурного наследия, иными словами, если и не народ, как все другие народы, то, по меньшей мере, как народы современной Греции или Италии, — этот красивый и чистый идеал, к сожалению, оказывается прокрустовым ложем для нашей жизни, и напряженный ритм истории непременно пробьет брешь в его стенках. Приверженность евреев к старине и погоня за новизной — явления, которые не укладываются в рамки естественного жития других народов, так как у нашего народа своя всемирная миссия в истории и своя историческая роль в мире. Моисеево учение, основанное на монотеизме и на идее избранности, было тем облачением, в котором предстало предназначение евреев в эпоху, которую я назвал бы исторической эрой. На смену ей идет эра будущего — эра завоевания дальнего космоса и научного творчества: наука ради науки (как некогда Тора ради нее самой) с использованием совершенной техники и технологии, и едва ли в этом новом мире сохранится деление на нации. В свете этого государство Израиль — большая лаборатория, призванная перевести основные патриархальные ценности Моисеева учения на язык эры будущего и создать в сфере

материи и духа такие инструменты, с помощью которых наш народ стартует в грядущее в полной готовности для столь грандиозного прыжка и достойно осуществит свою миссию.

Накануне Шестидневной войны, когда страх за судьбу еврейского государства охватил наш народ и злое щий образ недавней Катастрофы возник в сердцах людей в связи с угрозой нового опустошения и уничтожения, моя дочь, находившаяся тогда в США, прислала мне взволнованное письмо, в котором выразила свою тревогу. Я ответил ей: «Мы победим, ибо еще не исполнились сроки, и если, не дай Бог, Третий храм будет разрушен, «Буль» превратится в «Песнь песней».

Я абсолютно уверен, что порнографический журнальчик «Буль» не превратился в «Песнь песней», так же как убежден и в том, что наше государство находится в самом начале пути к своей цели. И если в последние дни мира народы сольются в единую семью, то пока еще каждый клочок земли, населенный любым диким племенем, претендует на то, чтобы стать самостоятельным государством и каждая этническая группа в Европе ратует за национальное самоопределение. Таков мир, в котором мы живем и в котором нашей стране предстоит выработать свои жизненные нормы и осуществить перевод святого языка прошлого в будничны й язык настоящего, при условии, что он снова станет священным в будущем.

Я знаю, нынешнему потребительскому технократическому обществу, захлебывающемуся от сытости и довольства, противостоят миллиарды голодных и несчастных людей, а тень водородной бомбы надвигается на наш мир, чтобы его уничтожить. Это грозное знамение на пиру Валтасара, и многим уже довелось увидеть таинственные письмена на стене. Но «МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС»<sup>10</sup> — не только приговор над прошлым, но и намек на родовые муки грядущего, того будущего, в котором все будет исчислено (МАНУЙ), взвешено (ШАКУЛ) и разделено (ПАРУС), иными словами — спланировано заранее.

О, кто постигнет глубины твои, иврит!

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> БУНД — еврейская социалистическая партия в России, позже в Польше и США; основана в 1897 г.; «Ховевей Цион» (Любящие Си-

он) — движение за создание еврейских поселений в Эрец-Исраэль, возникшее в 80-х годах XIX в. среди еврейства России как реакция на погромы и преследования; Бер Борохов (1881—1917) — один из виднейших идеологов и лидеров социалистического сионизма; Ахад-Гаам (1856—1927) — еврейский писатель-публицист и философ, считал, что целью заселения Эрец-Исраэль должно быть перевоспитание еврейского народа на базе национальной культуры; Аарон Давид Гордон (1856—1922) — идеолог и духовный руководитель халуцианского движения в сионизме.

<sup>2</sup> **Х а б а д** — одно из направлений хасидизма; основан раби Шнеуром Залманом из местечка Ляды, Белоруссия, в конце XVIII в.

<sup>3</sup> **М и ц в о т** — заповеди, религиозные предписания о том, что должен и чего не должен делать еврей, основанные на Торе.

<sup>4</sup> **Т ф и л и н** — специальные коробочки с текстами из молитвы «Шма» («Слушай, Израиль»), которые еврей повязывает на лоб и на руку во время молитвы.

<sup>5</sup> **Ш а у л Ч е р н и х о в с к и й** (1875—1943) — один из классиков поэзии на возрожденном иврите.

<sup>6</sup> **Й е г у д а Г а л е в и** (1075—1141) — виднейший еврейский поэт средневековья.

<sup>7</sup> **И ц х а к Л у р и я** (1534—1572) — великий кабалист, один из основоположников школы кабалистов Цфате.

<sup>8</sup> **Х а и м - Н а х м а н Б я л и к** (1873—1934) — крупнейший поэт в ивритской литературе нового времени.

<sup>9</sup> **У р и Ц в и Г р и н б е р г** (1896—1981), **А в р а а м Ш л ё н с к и й** (1900—1973) — корифеи израильской поэзии.

<sup>10</sup> **«МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС»** — таинственные письмена на арамейском языке, возникшие на стене дворца на пиру царя Валтасара (см. Книгу Даниила).

# из архива

---

Марк Кипнис

## ТАЛИСМАН АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Находясь в ссылке в селе Михайловском, А.С.Пушкин между августом 1824 года и первой половиной 1825 года создал одно из своих самых беспросветных по настроению стихотворений — «Храни меня, мой талисман...». Это было после разлуки с горячо любимой им Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, до получения от нее первых писем.

«Храни меня, мой талисман,  
Храни меня во дни гоненья,  
Во дни раскаянья, волненья:  
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан  
Вокруг меня валы ревучи,  
Когда грозою грянут тучи —  
Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран,  
На ложе скучного покоя,  
В тревоге пламенного боя  
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,  
Души волшебное светило...  
Оно сокрылось, изменило...  
Храни меня, мой талисман.

Пускай же век сердечных ран  
Не растравит воспоминанье,

Прощай, надежда; спи, желанье;  
Храни меня, мой талисман».

«Талисманом» называл А. С. Пушкин свой золотой перстень с восьмиугольной сердоликовой печаткой, на которой были вырезаны таинственные письмена и виноградные гроздья. Перстень этот был подарен поэту перед его отправкой в ссылку «в далекий северный уезд» графиней Е. К. Воронцовой на даче Рено близ Одессы. Этому же перстню в 1827 году Пушкин посвятил другое стихотворение — «Талисман», где, романтически описывая, как он был вручен ему любимой «в сладкий час вечерней мглы», вкладывал в ее уста обещанье:

«Милый друг! от преступленья,  
От сердечных новых ран,  
От измены, от забвенья  
Сохранит мой талисман!»

На листках черновика этого стихотворения поэт поставил пять оттисков сердоликового перстня. «Талисманом» запечатывал Пушкин все свои письма. Сестра поэта, О. С. Павлицева, рассказывала, что когда из Одессы приходило письмо, запечатанное сургучом с отпечатком, изукрашенным точно такими же кабалистическими знаками, какие находились на перстне ее брата (Воронцова сняла для себя копию с камня-инталье, подаренного ей), то он запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал. В начале 1825 года Пушкин пишет стихотворение «Сожженное письмо» («Прощай, письмо любви! прощай, она велела»), навеянное просьбой Е.К.Воронцовой уничтожить компрометирующее ее письмо. И в этой исповеди фигурирует заветная печатка.

«Уж перстня верного утрата впечатленье,  
Растопленный сургуч кипит...»

В 1835 году Пушкин нарисовал на черновой рукописи перстень («талисман») на указательном пальце левой руки. На портрете же поэта, написанном В. А. Тропининым в 1827 году, печатка изображена на большом пальце правой руки. Александр Сергеевич никогда не расставался с этим кольцом и до конца дней не снимал его. На дуэль, на Черную речку, он также отправился с «талисманом», веря в его магическую силу, забыв предупреждение дарительницы.

«В нем таинственная сила!  
Он тебе любовью дан.  
От недуга, от могилы,  
В бурю, в грозный ураган,  
Головы твоей, мой милый,  
Не спасет мой талисман».

Снять перстень с мертвой руки Пушкина пришлось В. А. Жуковскому, которому он завещал его на смертном одре. П. А. Анненков в своих воспоминаниях писал: «Пушкин, по известной склонности своей к суеверию, соединял даже талант свой с участью перстня, испещренного какими-то кабалистическими знаками и бережно хранимого им».

П. В. Анненков и С. А. Соболевский сообщали, что перстень находится во владении В. И. Даля. В записке же И. С. Тургенева, написанной в Париже в 1880 году, ныне хранимой в фондах музея А. С. Пушкина, говорится: «От Жуковского перстень перешел к его сыну, Павлу Васильевичу, который подарил его мне». В. Б. Пассек после одной из встреч с И. С. Тургеневым записал его слова: «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему, так же как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому как высшему представителю русской современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет и «его час», граф Толстой передал бы мой перстень, по своему выбору, достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями».

После смерти Тургенева Полина Виардо передала пушкинский «талисман» музею Александровского лицея, из которого в марте 1917 года он был похищен. Были сообщения (отмеченные в советской прессе) о том, что след перстня-талисмана будто бы недавно отыскан в Италии. Достоверность этого сообщения не проверена, да и вполне возможно, что это был перстень-близнец, оставшийся у Е. К. Воронцовой. Лишь после возвращения перстня в Россию в 1880-х годах эксперты определили, что талисман с таинственными письменами оказался еврейской именной печатью с вырезанной раввинским полукурсивом надписью на иврите. В описаниях императорского Александровского лицея, изданных в 1899 году, дается прочтение сокращенной надписи «Симха бен р. Йосеф старый п.б.». Здесь расшифровка не совсем точна: слово, прочитанное как «бен», в действ-

вительности состоит из букв *бет* и *каф*, что вместе с последующим *реш* составляет аббревиатуру слов «сын почтенного раби». На иврите — Симха б[ен] к[вод] р[аби] Йосеф а-закен з[хроно] л[и-враха]. Следовательно, вся надпись гласит: «Симха, сын почтенного раби Йосефа умудренного, да будет память его благословенна». Слово «закен» (буквально «старый», «старик») обычно употребляется в еврейской эпитафике в качестве почетного титула. Хозяин перстня Симха, видимо, также был почитаемым членом общины.

Еврейское происхождение пушкинского «талисмана» долго не вызывало сомнения. Однако в статье кандидата геолого-минералогических наук Н. В. Супрычева «Легендарный камень сердолик» («Наука и жизнь», 1979, № 3) сообщается: «Стиль надписи, по мнению некоторых специалистов, указывает на крымско-караимское происхождение перстня. Надпись на камне, возможно, сделана в Чуфут-Кале в Крыму».

«Возможно!» — Все, конечно, возможно. Но хочется все же, чтобы были приведены доказательства крымско-караимского происхождения печатки. Как, например, быть с тем фактом, что надпись выполнена курсивными (раввинскими) буквами, которые вплоть до нашего столетия употребляли только европейские евреи и которых не знали евреи восточных общин, не говоря уж о караимах? Как быть с титулом «раби», и вовсе невозможным у караимов, антираввинистов? Н. Супрычев, геолог, возможно, считает, что сам сердолик свидетельствует о крымском происхождении камня? Но нет — ступив на твердую почву своей профессии, Н. Супрычев осмотрительно заявляет, что сердолик «скорее всего не местный, а с Ближнего Востока».

Интересно отметить, что, по свидетельству друзей и близких Ю. Н. Тынянова, он считал факт принадлежности Пушкину «талисмана» знамением, т. к. выдающегося писателя и ученого преследовала мысль о еврейском, точнее фалашском, происхождении прадеда Александра Сергеевича — «арапа Петра Великого», Абрама Ганнибала.

Автор и редакция благодарят за помощь в работе над этой статьей директора Тель-авивской музыкальной библиотеки Нехаму Лифшиц (Лифшицайте)

## Семен Черток

### Ф. И. ШАЛЯПИН ПОЕТ ПО-ЕВРЕЙСКИ

В архиве Тель-авивской музыкальной библиотеки хранятся неизвестное русскому читателю письмо Ф. И. Шаляпина, написанное за полтора месяца до смерти, и неопубликованные воспоминания о нем дирижера М. М. Голинкина.

Марк Маркович Голинкин (1875—1963) родился в Херсоне, получил традиционное еврейское образование, рано обнаружил музыкальные способности. Ребенком пел в синагогальных хорах, а в 1896 году окончил Варшавскую консерваторию по классу композиции. Дирижировал во многих провинциальных оперных театрах. О своей жизни рассказал в воспоминаниях, написанных в 1947 году и изданных на иврите в 1974 году. В них приводится письмо Шаляпина и рассказывается о знакомстве с ним. В архиве хранятся и неопубликованные воспоминания Голинкина, посвященные Шаляпину.

В книге рассказ о Шаляпине начинается с впечатлений, сложившихся еще до личного знакомства: «В Москве загорелась звезда молодого могучего Ф. И. Шаляпина. Ненормально высокого роста — почти великан, — он казался символом мощи Российской империи. От него веяло ширью России, вскормившей и вспоившей его. Та-



лант Федора Ивановича, бурный, сильный, подавляющий и покоряющий всех и вся, вызывал преклонение, восхищение, но одновременно также страх. Он был грозою для всех, приходивших с ним в соприкосновение».

Этим страхом была вызвана реакция Голинкина на известие о том, что он должен дирижировать спектаклем с участием Шаляпина. В зимнем сезоне 1912 года Голинкин работал в Большом оперном театре Народного дома Петербурга. Директор театра Н. Н. Фигнер<sup>1</sup> подписал с Шаляпиным контракт на несколько спектаклей. В неопубликованных воспоминаниях Голинкин рассказал об этом так: «Известие это произвело сильное впечатление на членов труппы и вызвало двойное чувство: с одной стороны, перспектива работы с Шаляпиным радостно взволновала труппу, с другой — вызвала опасение предстоящих неприятностей, связанных со вспыльчивостью и невыдержанностью Ф. И. Шаляпина».

Было известно, что артист плохо ладит с дирижерами. Незадолго до его выступлений в Народном доме случился шумный скандал в московском Большом театре: после первого акта «Русалки» недовольный оркестром и хором под управлением У. И. Авранека<sup>2</sup>, Шаляпин уехал из театра и только после долгих уговоров вернулся к третьему акту, чтобы закончить спектакль. В Народном доме Шаляпин тоже должен был петь в «Русалке», и Голинкин попросил, чтобы его освободили от участия в спектакле. Но сделать это не удалось. Шаляпин прихворнул и попросил дирижера и артистов приехать репетировать к нему домой. «К нам вышел огромного роста, чуть не великан, Федор Иванович и всех нас весьма приветливо встретил... Я был готов к очередному скандалу и решил не реагировать, если бы такой случился: не я первый и не я последний. Но случилось нечто совершенно неожиданное для всех.

После первого акта Шаляпин в возбужденном состоянии пошел в свою уборную и послал за Н. Н. Фигнером. Артисты в страхе спрятались, и Фигнер поначалу не хотел идти. Но, придя, услышал: «Поздравляю тебя с этим дирижером, это очень важное приобретение, откуда ты его достал, отчего я о нем до сих пор не слышал?» Фигнер объяснил: «Ездил за ним три года подряд в Харьков, еле-еле уговорил, он не хотел ехать — еврей без права жительства. В этом году я ему привез все бумаги от министерства иностранных дел, и он наконец согласился». Постепенно стали выходить артисты, которых Шаляпин

благодарил и просил позвать дирижера: «Спасибо, маэстро, хорошо, очень хорошо. Вы так хорошо, твердой рукой ведете ансамбль — любо смотреть, просто приятно находиться на сцене. Вот видите, говорят — привередлив, так ведь когда хорошо, то сердце радуется. Просто счастлив, готов расцеловать каждого. Тридцать лет такого первого акта не слышал».

Шаляпин попросил дальнейшие спектакли поручить Голинкину. Это были «Русалка», «Дон-Кихот» и «Борис Годунов». Они почти ежедневно встречались за работой: дома у Шаляпина на Пермской улице, 4, на Петербургской стороне. В домашних встречах участвовали М. Горький и балалаечник-виртуоз, создатель первого оркестра русских народных инструментов А. В. Андреев.

Воспоминания Голинкина, искренние по интонации, вызывают доверие и благодаря одной детали. В отличие от многих мемуаристов, он не утверждает, что его связывала с Шаляпиным личная дружба: «Нас объединяла исключительно работа на сцене; наши дружеские отношения определялись исключительно художественными интересами». Исходя из них, Шаляпин попытался уговорить администрацию сделать Голинкина дирижером императорского Мариинского театра. Вечером после премьеры «Дон-Кихота» он стал звонить директору императорских театров В. А. Теляковскому<sup>3</sup>, и тот упрекнул Шаляпина за то, что он мало поет в Мариинском театре, но гастролит в Народном доме.

— Здравия желаю, ваше превосходительство! Как можется? А семья, детки?.. Ну, и слава Богу!.. Опера идет прекрасно... И право, не знаю, когда смогу выступить, просто беда, ведь в Мариинском петь не с кем... Помилуйте, Эдуард Францевич<sup>4</sup>, сами знаете, стар и болен. Коутс<sup>5</sup> еще молодой, незрелый, а об остальных и говорить не приходится. Ваше превосходительство, нет у нас дирижеров, и я положительно затрудняюсь определить, что и когда могу петь в Мариинском. Скандалы мне надоели. Говорил вам про Голинкина. Я наблюдаю его в работе. Это единственный человек, который может повести наше дело, из всех известных мне дирижеров он самый подходящий для нас... А чем еврей хуже армянина? Ладно, еврей, так что же из того, я его знаю — денег в рост не дает, чистый музыкант, фанатик и мастер своего дела. Он нам необходим, неужели нельзя сделать исключение для него?.. Да, да, понимаю. А вы не можете объяснить министерству двора все это положение?..

Ну, если вы уверены, что такое предложение может отразиться плохо на вашем положении, то я пас, не настаиваю и предложение свое снимаю...

Разговор этот приведен в книге, а в неопубликованных воспоминаниях Голикин рассказывает, что Шаляпин передал слова Теляковского: я лично не антисемит и охотно взял бы этого дирижера в Мариинский театр, но, к сожалению, существует закон, запрещающий прием евреев в императорские театры. «Министерство двора его не допустит, а я за такое предложение могу быть отрешен от должности». Находившийся у Шаляпина Горький прокомментировал: «Вот они, наши порядки, весело на Руси...» А Шаляпин раздраженным тоном посоветовал дирижеру совсем уехать из России, уверяя, что за границей его положение будет лучше.

Голикин приводит в книге примеры гениальности Шаляпина. В «Фаусте» Зибель ставит на балконе букет цветов для Маргариты и уходит, а Мефистофель — Шаляпин вслед ему с насмешкой бросает: «Соблазнитель». «Он делает это так естественно, что кажется, по-другому это слово невозможно произнести. Однако сколько Мефистофелей прошли через мои руки, все пробовали копировать Шаляпина, но ни одному из них не удалось произнести эту фразу так, как Шаляпину». На репетиции «Дон-Кихота» двум артистам, играющим молодых шалопаев, не удавалось пройти мимо балкона Дульцинеи так, как хотелось Шаляпину. Он много раз показывал, как это надо сделать, они повторяли, но ничего не выходило. Шаляпин устал и начал нервничать. Сидевший в зале Фигнер возмутился: «Как это у вас такой пустяк не получается, я сам покажу», выбежал на сцену, встал в позу, прошелся и... ничего не получилось. Он почувствовал это и сконфуженно сел на место. Шаляпин сказал: «Должно быть, действительно это не так просто, как мне кажется, если Коля этого не сделал. Пойдем дальше». Когда Дон-Кихот в четвертом акте просит руки у Дульцинеи, она в ответ хохочет, и Шаляпин, «высокий ростом, гордый рыцарь, тут же под гримом бледнеет, на глазах публики его фигура съезживается, он превращается в дряхлого старика и, опираясь на маленького Санчо-Пансо, уходит разбитым и униженным».

После февральской революции 1917 года еврейское происхождение перестало быть помехой для поступления в государственные театры, и на объявленном конкурсе

Голинкина единодушно, всей труппой, пригласили в Мариинский театр дирижером. В неопубликованных воспоминаниях он рассказывает: «Как потом оказалось, инициатива и тут исходила от Ф. И. Шаляпина. На первом моем выступлении в Мариинском театре при участии Шаляпина уборная его была полна артистов, музыкантов и дирижеров, которые благодарили его за рекомендацию. «Ну, маэстро, — сказал он, — мы победили».

Но Голинкин согласился дирижировать в Мариинском театре только двумя спектаклями, в которых участвовал Шаляпин, и лишь по его просьбе. Он увлекся другой идеей, заставившей его отказаться от чести работать в одном из самых блестящих оперных театров Европы со знаменитыми солистами, оркестром из ста двадцати человек, лучшим русским хором, театре, о котором мечтали музыканты России и Европы. Конечно, это соблазняло и Голинкина, но, как вспоминает Марк Маркович, «в этой борьбе во мне взял верх еврей-палестинец». Он решил создать оперный театр или, по его выражению, Храм Искусства в Палестине. 2 ноября 1917 года была опубликована декларация британского министра иностранных дел Д. Бальфура о «восстановлении национального очага для еврейского народа в Палестине». Это подтолкнуло Голинкина и его единомышленников к действиям. Общество еврейской народной музыки в Петербурге создало камерный оркестр «Змира», который по поручению центрального сионистского комитета провел успешные гастроли по городам России с целью сбора средств для постройки Храма Искусства в Палестине.

В конце 1917 года Голинкин пришел к Шаляпину, рассказал ему о декларации Бальфура, о наступлении эмансипации для еврейского народа и прочитал написанный им проект Еврейского театра в Палестине, построенного на принципах чистого искусства без влияния коммерции. Шаляпину идея понравилась: «Помоги вам Бог, маэстро, проект очень хороший, я верю в вас, вы это сделаете». Голинкин сказал, что рассчитывает и на помощь русского театра, за которым «числится должок: евреи активно содействовали расцвету русского театрального искусства, и вам, Федор Иванович, следовало бы подать пример и дать концерт в пользу Еврейского театра в Палестине». — «Дорогой маэстро, — ответил Федор Иванович, — я бы это охотно сделал, но боюсь нападков со стороны русской общественности за участие в еврейском национальном деле». И после паузы добавил:

«Впрочем, спрошу Алексея Максимовича, и, если он найдет, что опасности нет, я с большим удовольствием спою в пользу Палестинского театра. Позвоните завтра — отвечу». И назавтра дал согласие.

Шаляпин был принципиально против участия артистов в благотворительных вечерах, считая это эксплуатацией их труда, и впервые в жизни сделал исключение, согласившись участвовать в концерте «в пользу фонда образования театра в Палестине». Концерт этот проходил в рамках организованной ЦК партии сионистов Палестинской недели. Концертов было несколько — и в Москве и в Петрограде. В московском участвовал оркестр под управлением С. Н. Валисенко, исполнявший еврейскую музыку, знаменитая сопрано Нина Кошиц, артисты «Габимы», В. Брюсов читал свои переводы стихов Х. Н. Бялика, а И. Бунин — собственные стихотворения «Тора» и «Иерусалим».

Концерт с участием Шаляпина состоялся в Народном доме Петербурга 28 апреля 1918 года. Афиши сообщали: «При благосклонном участии Ф. И. Шаляпина». Он исполнил на идише колыбельную песню Ю. Энгеля «Das Kind liegt in Viegēie» и сионистский гимн на иврите «А-тиква» («Надежда»), который стал впоследствии государственным гимном Израиля. М. Голинкин вспоминает: «Евреи, тщательно скрывавшие свою принадлежность к нашему народу, вдруг появились на этом сенсационном концерте. Важное значение имел он и для еврейской песни. Солидный оперный артист-еврей не решался включить в концертную программу еврейскую народную песню из опасения потерять свой престиж. Шаляпин в этом концерте пел народные еврейские песни на идише и «А-тикву» на иврите и этим узаконил или, так сказать, дал право гражданства еврейской песне в концертной программе. Материальный успех концерта был блестящий. Оперный театр Народного дома включал 2500 мест, и все места были распределены по повышенным ценам, расхватили добавочные места, стояли в проходах, и в партере, и в коридорах лож. Затем был устроен буфет, в котором жена Шаляпина, Мария Валентиновна, окруженная цветом еврейских дам Петербурга, торговала, а детки Шаляпина бегали по кулуарам и продавали букеты цветов, перевязанные лентами, украшенными маген-давидами»<sup>6</sup>.

«В те времена, — добавляет Голинкин, — как теперь нам странным ни кажется, ни один солидный певец-ев-

рей в России не рисковал петь еврейскую песню или на одном из еврейских языков из боязни упреков в отсутствии музыкального вкуса. Шаляпин в этом концерте дал право гражданства еврейской песне и обоим еврейским языкам на русской эстраде. Шаляпин глубоко верил в осуществление идеала возвращения еврейского народа в Палестину еще в то время, когда очень многие из нас считали себя не евреями по национальности, а лишь религиозной сектой Моисеева Закона и еврейской Палестины высокомерно не признавали. Ф. И. Шаляпин в свое время, еще в Москве, сильно интересовался театром «Габима», часто посещал его, а в Нью-Йорке сильно агитировал в его пользу среди еврейских финансовых кругов. Особенно теплое отношение он проявил к Палестинской опере и был готов прийти на помощь в самой активной форме».

...В 1918 году, после двух представлений «Русалки», Голинкин уехал из Петербурга в Одессу, где в марте 1919 года смог получить разрешение на отъезд в Палестину. С собой он взял сделанные поэтом Ш.Черниковским переводы на иврит либретто опер «Фауст», «Демон», «Маккавей» и «Африканка». В том же году премьерой «Травиаты» открылся оперный театр в Тель-Авиве под его руководством. С ним сотрудничали крупные музыканты Ю. Энгель, Ш. Роховский, О. Габрилович, Б. Губерман, приезжавший на гастроли А. Тосканини. В театре ставились «Демон», «Риголетто», «Жидовка», «Цыганский барон», «Севильский цирюльник».

С Шаляпиным Голинкин простился в Петрограде в мае 1918 года и встретился в Нью-Йорке в январе 1928 года. «Голос Шаляпина, — пишет Голинкин, — звучал так хорошо, как никогда раньше не приходилось мне его слышать». У Шаляпина и Голинкина снова возник общий художественный интерес. Дирижер стремился к опере как к единому целому. Шаляпин мечтал возглавить такой театр в качестве режиссера. Голинкину он сказал: «Вы думаете, что тут работают, как мы с вами когда-то в Петербурге? Нет, тут есть хорошие певцы, хороший хор и оркестр, но об искусстве не хлопочут, а просто капиталы наживают». В 1932 году Голинкин получил из Парижа письмо от администратора Шаляпина М. Кашука с предложением занять пост главного режиссера русской оперы под управлением Шаляпина: «Вы будете очень скоро иметь случай видеть Федора Ивановича в Тель-Авиве, куда он приедет концерттировать. От

него вы узнаете еще больше подробностей о нашем деле». Но Голинкин не хотел уезжать из Палестины, а гастроли Шаляпина не состоялись.

В 1936 году они встретились в Париже и «обсуждали вопрос об устройстве ряда концертов за границей и в Палестине в пользу реконструкции оперы. Шаляпин собирался в ближайшем будущем закончить карьеру певца и мечтал о своем театре. Обсуждал в беседе со мной вопрос о том, где бы именно ему такой театр создать. Он живо отозвался на мое предложение основать такой театр в Иерусалиме и стать таким образом сценическим руководителем Палестинской оперы. Помехой этому оказалось отсутствие в стране мало-мальски приличного здания, в котором можно было бы работать. В последнее время в связи с окончанием в скором времени здания для «Габимы» наша переписка по этому вопросу опять возобновилась, но, к несчастью, он заболел и в своем последнем письме от 24 февраля 1938 года написал следующее:

«Париж, 24 февраля 1938

Дорогой Марк Маркович!

Спасибо, друг, за чудное письмо. Мне было приятно, что Палестина и все тамошние евреи помнят меня и мои порывы, которые я делал искренно и от всей души.

Спасибо за приглашение приехать к Вам спеть. К сожалению, я довольно серьезно захворал — расширение сердца — болезнь затянулась, и я не могу сейчас даже приблизительно определить, когда смогу снова взяться за работу.

Кланяйтесь всем добрым евреям и скажите им, что если бы был брюнет, то давно бы надел на себя еврейскую корону, освободившуюся у Саласье<sup>8</sup>, но, увы, я блондин, и боюсь, — обязательно зарежут!.. При всей моей скромности, думаю, однако, что лучшего короля вам не найти.

Крепко жму Вам руку и прошу передать мой искренний привет милой жене Вашей. Как она? Поет?

Душевно Ваш *Ф. Шаляпин*».

Свои неопубликованные воспоминания о Шаляпине, написанные сразу после его смерти, М. Голинкин заканчивает так: «Если вспомнить все эти эпизоды да к тому же еще прибавить, что среди его лучших друзей значился целый ряд евреев, то надо прийти к заключению, что

ушел на вечный покой не только величайший певец нашего века Федор Иванович Шаляпин, но и один из лучших и справедливейших людей, для которых не существовала разница между эллином и иудеем».

В 1963 году, незадолго до смерти М. М. Голинкина, в Тель-Авиве отмечалось сорокалетие премьеры «Травиаты» в Палестинской опере. Сын Федора Ивановича, художник Борис Шаляпин (1905—1979), прислал Голинкину письмо: «Позвольте мне поздравить Вас с сорокалетием со дня открытия оперы «Травиата» на древнем еврейском языке. Поздравляю Вас от всей души — Вы сделали большое дело в своей карьере не только для еврейского народа, но и для нас, русских (...) Как было весело, интересно и приятно у Вас вдвали, когда собрались Ваши друзья и почитатели. Я жалею, что меня там не было в этот памятный день. Возможно, что я еще буду в Израиле, конечно, тогда сообщу Вам о себе и приеду с Вами повидаться. Я вспоминаю и всем рассказываю, как трогательно Вы приняли меня у себя в прошлом году<sup>9</sup>. Я жалею, что тогда у меня было мало времени и что я не сделал с Вас рисунка. Может быть, в следующий раз, если разрешите. Для меня это было бы больше, чем радостью и удовольствием.

Желаю Вам от всей души всего самого хорошего, дорогой Марк Маркович.

С сердечным приветом и глубоким уважением к Вам и Сарре Марковне<sup>10</sup>. Ваш *Борис Шаляпин*».

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Знаменитый русский оперный певец, многолетний солист Мариинского театра в Петербурге, в 1910—1915 гг. директор и солист Оперной труппы Народного дома (Петербург).

<sup>2</sup> Хормейстер и дирижер (по происхождению чех), молодым музыкантом уехал в Россию, с 1882 г. — дирижер и главный хормейстер Большого театра, в котором проработал больше 50-ти лет.

<sup>3</sup> С 1898 по 1901 год — директор императорских театров, способствовал поднятию их художественного уровня, привлекая к работе талантливых артистов, режиссеров, художников (Шаляпин, Собинов, Мейерхольд, Головин и др.).

<sup>4</sup> В 1869 г. первый капельмейстер Мариинского театра.

<sup>5</sup> В 1910—1919 гг. дирижер Мариинского театра.

<sup>6</sup> Щит Давида, шестиугольная звезда, еврейский национальный и религиозный символ.



<sup>7</sup> Театр на иврите, выехал в Палестину в 1926 г., теперь Национальный театр Израиля.

<sup>8</sup> Император Эфиопии Хайле Селасие I, семья которого гостила тогда в Палестине.

<sup>9</sup> Б. Ф. Шаляпин приезжал в Израиль в 1962 г. рисовать портреты государственных и общественных деятелей для обложки журнала «Тайм».

<sup>10</sup> Дочь М. М. Голинкина, живет в Израиле.

## К Р А Т К И Е С В Е Д Е Н И Я О Б А В Т О Р А Х

Давид АВИДАН (1934, Тель-Авив) — израильский поэт, драматург, сценарист, кинорежиссер и художник. Стихотворения «Лингвополитики» и «Страна последняя моя» публикуются по ж-лу «Народ и земля» № 6, 1987.

Мира БЛИНКОВА окончила литературный факультет Московского института философии, литературы и искусства (МИФЛИ); работала в Институте всеобщей истории АН СССР. Репатрировалась в Израиль в 1977 г. Статья «Серьезность и юмор — не антиподы!» — полемический отклик на рецензию А. Ерушалми «Ради красного словца» («Народ и земля» № 6, 1987).

Эли ВИЗЕЛЬ (1928, Сигель, Румыния) — лауреат Нобелевской премии, пишет в основном по-французски. В юношеском возрасте испытал на себе ужасы лагерей в Биркенау, Освенциме и Бухенвальде. После второй мировой войны жил в Париже, где закончил Сорбонну, затем переехал в Нью-Йорк. «Нахман из Брацлава» — глава из книги «Рассыпанные искры» — публикуется по ж-лу «Народ и земля» № 5, 1986.

Александр ВОЛОВИК (1931, Горький) — поэт, прозаик, заведовал литературной частью Свердловского драмтеатра. Репатрировался в Израиль в 1976 г.

Шуламит ГАРЭВЕН — израильская писательница так называемого «поколения государства». Дебютировала как поэтесса в 1962 г., автор ряда романов и сборников рассказов. Рассказ «В поисках личности» взят из ж-ла «Народ и земля» № 2, 1984.

**Виктор ГЛИНЕР** (1947, Ленинград) — в прошлом многолетний «отказник», выпускник института авиаприборостроения. Репатрировался в Израиль в 1989 г.

**Наум ГРЕБНЕВ** (1921, Харбин — 1988, Москва) — известный советский поэт-переводчик. С самого начала Великой Отечественной войны служил в действующей армии. В 1944 г. получил тяжелое ранение и был демобилизован. После войны закончил Литературный институт и в дальнейшем занимался стихотворным переводом фольклора, классической и современной поэзии Востока. Среди переведенных им книг — «Книга скорби» Григора Нарекаци, «Поэма о скрытом смысле» Руми, «Песни былого. Из еврейской народной поэзии» и многие другие.

**Савелий ГРИНБЕРГ** (1914, Екатеринослав) — поэт и переводчик; в прошлом — активист «бригады Маяковского первого состава», научный сотрудник московских музеев. Репатририровался в Израиль в 1973 г.

**Феликс ДЕКТОР** (1930, Минск) — издатель, редактор, переводчик. Окончив Вильнюсский университет, жил в Москве, учился в Литературном институте. В 1975 г. исключен из Союза советских писателей за выпуск неофициального журнала еврейской культуры «Тарбут». Репатририровался в Израиль в 1976 г.

**Овсей (Шике) ДРИЗ** (1908, Красное, Украина — 1971, Москва) — еврейский поэт, писал на идише. Стихотворение «Из рода в род» публикуется по ж-лу «Шалом» № 4, 1989(?).

**Савелий ДУДАКОВ** (1939, Ленинград) — филолог по образованию, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме. Репатририровался в Израиль в 1971 г. Статья «Война 1812 года и ритуальные процессы» была опубликована в ж-ле «Народ и земля» № 7, 1988.

**Эдуард КАПИТАЙКИН** (1937, Ленинград) — критик и журналист, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Репатририровался в Израиль в 1977 г. Статья «Еврейская душа» была опубликована в ж-ле «Народ и земля» № 4, 1985.

**Эли КЕДУРИ** — политолог, член Британской академии наук, редактор сборника «Еврейский мир: история и культура еврейского народа». Статья «Кто еврей?» впервые опубликована в ж-ле «Комментарии», русский перевод — ж-л «Народ и земля» № 8, 1988.

**Аба КОВНЕР** (1918, Севастополь — 1987, кибуц Эйн-а-Хореш) — израильский поэт, эссеист, прозаик, писал на иврите и на идише. В годы второй мировой войны был руководителем боевой организации Вильнюсского гетто, командиром еврейского партизанского отряда. В 1945 г. нелегально приехал в подмандатную Палестину и был арестован британскими властями; в войну за Независимость служил в Армии обороны Израиля; неоднократно избирался председателем Союза израильских писателей. Перевод эссе «Народные песни без народа» был опубликован в ж-ле «Народ и земля» № 5, 1986.

**Хаим ЛЕНСКИЙ** (1905, Слоним, Польша — 1943?, Сибирь?) — еврейский поэт, писал на иврите и на идише, перевел на иврит поэму Лермонтова «Мцыри», народный эпос манси «Книга тундры». В СССР был двукратно осужден. «Я поэт, и мое единственное преступление — стихи на иврите», — писал он М. Горькому. Погиб в заключении. «Ленинградский сонет» был опубликован в ж-ле «Народ и земля» № 6, 1987.

**Ашер ЛОД** (1925, Рига) — псевдоним журналиста и переводчика Оскара Минца. Репатрировался в Израиль в 1974 г. Отрывки из книги «Призмы» публикуются по ж-лу «Народ и земля» № 7, 1988.

**Ицхокас МЕРАС** (1934, Кельме, Литва) — инженер по образованию, дебютировал в 1957 г. автобиографической повестью «Желтый лоскут»; его романы «Вечный шах» и «На чем держится мир», написанные по-литовски, переведены на многие языки, в том числе на идиш и на иврит. Репатрировался в Израиль в 1972 г. Роман «Вечный шах» публикуется по ж-лу «Народ и земля» № 5—7, 1988.

**Ицхак МОШКОВИЧ** (1926, Харьков) — журналист, переводчик, автор книг по проблемам оккультизма. Окончил факультет иностранных языков Харьковского университета. Репатрировался в Израиль в 1984 г. Статья «Шагал и Россия» была опубликована в ж-ле «Народ и земля» № 5, 1986.

**Александр ОКУНЬ** (1949, Ленинград) — художник, литератор. Репатриировался в Израиль в 1979 г.

**Ицхак ОРЕН (НАДЕЛЬ)** (1918, Улан-Удэ) — израильский прозаик, переводчик и публицист, главный редактор «Краткой еврейской энциклопедии». В 1936 г. приехал в Эрец-Исраэль из Харбина, изучал литературу, философию и историю в Еврейском университете в Иерусалиме. Перевод эссе «Религия и нация» был опубликован в ж-ле «Народ и земля» № 8, 1988.

**Нина ПЕРЛИНА** — литературовед, преподаватель университета, живет в США. Статья «Попечитель» была опубликована в ж-ле «Народ и земля» № 5, 1986.

**Илья СЕРМАН** (1913, Витебск) — профессор Еврейского университета в Иерусалиме, в прошлом научный сотрудник Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома). Репатриировался в Израиль в 1976 г. Статья «Наш русский вопрос» была опубликована в ж-ле «Народ и земля» № 5, 1986.

**Роман СПЕКТОР** (1950, Черновцы) — публицист, культуролог, окончил факультет психологии МГУ, вице-президент Еврейской культурной ассоциации, главный редактор журнала «Шалом». Статья «Ломир алэ инэймен» публикуется по ж-лу «Шалом» № 4, 1989.

**Бен-Цион ТОМЕР** (1931, Зап. Украина) — израильский поэт, переводчик, прозаик и драматург, неоднократно избирался председателем Союза писателей Израиля. «Разговор по существу» был опубликован в ж-ле «Народ и земля» № 6, 1987.

**Владимир ФЛАНЧИК** (1945, Харьков) — журналист, переводчик; окончил отделение математической и прикладной лингвистики Харьковского университета. Репатриировался в Израиль в 1971 г.

**Владимир ФРЕНКЕЛЬ** (1941, Горький) — поэт, журналист, учился на историческом факультете Латвийского университета, переводил латышских поэтов, участвовал в работе семинара по еврейской культуре. В 1985 г. был осужден по статье 190-1 УК РСФСР. Репатриировался в Израиль в 1987 г. Эссе «Народ и земля» было опубликовано в ж-ле «Народ и земля» № 8, 1988.

**Вэлвл ЧЕРНИН** (1958, Москва) — поэт, переводчик, историк, пишет на идише и на русском. Окончил истфак МГУ и Высшие литературные курсы, работал в журнале «Советиш Геймланд», где печатал свои стихи, переводит с идиша на русский прозу Шолом-Алейхема, И. Мангера и других еврейских писателей. Репатрировался в Израиль в 1990 г. Преподает идиш и занимается в докторантуре Бар-Иланского университета.

**Семен (Шимон) ЧЕРТОК** (1931, Москва) — журналист, искусствовед, юрист по образованию. Репатрировался в Израиль в 1979 г. Статья «Шалапин поет по-еврейски» была опубликована в ж-ле «Народ и земля» № 8, 1987, «Русское подворье в Иерусалиме» — «Народ и земля» № 6, 1988.

**Хоне ШМЕРУК** (1924, Варшава) — профессор Еврейского университета в Иерусалиме. В годы второй мировой войны жил в СССР; репатрировался в Израиль в 1949 г. Статья «Вклад еврейского журнала» публикуется по ж-лу «Народ и земля» № 8, 1988.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакторов .....	3
---------------------	---

### СТИХИ И ПРОЗА

Давид Авидан. Лингво-политики. Страна последняя моя. Стихи С иврита. <i>Перевел Савелий Гринберг</i> .....	5
Ицхокас Мерас. Вечный шах. Роман С литовского. <i>Перевел Феликс Дектор</i> .....	10
Овсей Дриз. Из рода в род. Стихи С идиша. <i>Перевел Е. Каплан</i> .....	115
Шуламит Гарэвен. В поисках личности. Рассказ С иврита. <i>Перевел Владимир Фланчик</i> .....	117
Псалмы царя Давида в переложении Наума Гребнева .....	149
Эли Визель. Нахман из Брацлава С английского. <i>Перевели Виктор Глинер и Александр Окунь</i> ...	157
Хаим Ленский. Ленинградский сонет. Стихи С иврита. <i>Перевел Александр Воловик</i> .....	183

### ЭКРАН И СЦЕНА

Эдуард Капитайкин. Еврейская душа .....	184
---	-----

### КНИГИ И МНЕНИЯ

Ашер Лод. Призмы .....	194
Авраам Ерушалми. Ради красного слова .....	200
Мира Блинкова. Серьезность и юмор — не антиподы! .....	205

## **ЗВЕНЬЯ**

Аба Ковнер. Народные песни без народа .....	209
Илья Серман. «Наш русский вопрос» .....	236
Хоне Шмерук. Вклад советского журнала .....	250

## **ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

Савелий Дудаков. Война 1812 года и ритуальные процессы в России .....	265
Д. Романовский. Советские евреи под нацистской оккупацией .....	283

## **О, ИЕРУСАЛИМ!..**

Арье Шахар. Еврейский университет и город Иерусалим .....	313
Шимон Черток. Русское подворье в Иерусалиме .....	322
Айвен Швобель. Этюды о царе Давиде .....	330

## **ПРОФИЛИ**

Нина Перлина. Попечитель (Н. И. Пирогов и еврейское просвещение) .....	335
Ю. Каган. О Василии Васильевиче Розанове .....	344
Ицхак Мошкович. Шагал и Россия .....	360

## **ВЗГЛЯД**

Бен-Цион Томер. Разговор по существу .....	377
--	-----

## **ТРИБУНА**

Здравствуй, Земля! .....	406
Роман Спектор. Ломир алэ инэймен .....	408
Эли Кедури. Кто еврей? .....	417
Владимир Френкель. Народ и земля .....	429
Ицхак Орен. Религия и нация .....	448

## **ИЗ АРХИВА**

Марк Кипнис. Талисман Александра Сергеевича .....	459
Семен Черток. Ф. И. Шаляпин поет по-еврейски .....	463
Краткие сведения об авторах .....	473



К 56 Ковчег: Альманах еврейской культуры.— М.:  
Худож. лит., 1990.— 479 с.

ISBN 5-280-02372-8

Альманах еврейской культуры «Ковчег» включает в себя произведения поэтов и прозаиков, историков, критиков и публицистов, рассказывающие об истории, религиозной традиции, современной культурной жизни евреев Израиля, Советского Союза и других стран.

К 4703020600-462 без объявл.  
028(01)-90

ББК 84.5И

## КОВЧЕГ

*Альманах еврейской культуры*

Выпуск I

Редактор С. Анисимов

Художественный редактор И. Сауков

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор Н. Усольцева

ИБ № 6995

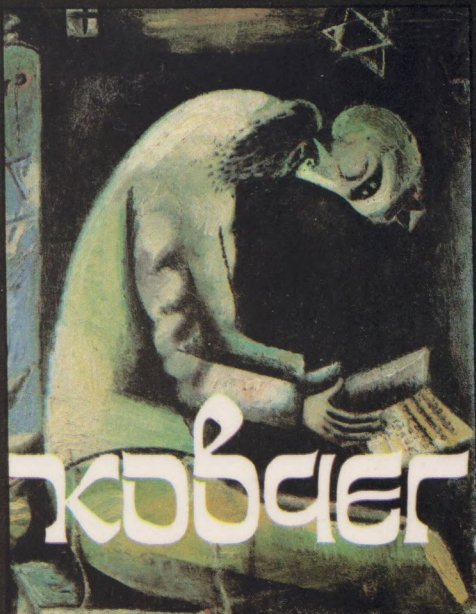
Сдано в набор 10.10.90. Подписано в печать 5.11.90. Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2 + альбом = 26,04. Усл. кр.-отт. 54,18. Уч.-изд. л. 26,84 + альбом = 27,82. Тираж 25 000 экз. Изд. № IX-4283. Заказ № 1811. Цена 10 р.

Набрано на ПЭВМ в ордена Трудового Красного Знамени издательстве «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. Тверь, Ленина, 50

OCR Давид Титиевский, май 2020 г., Хайфа

10 p.



Альманах